Ев. А. Баратынский

Стихотворения
Письма
Воспоминания современников

Е.А.БАРАТЫНСКИЙ
Стихотворения
Письма
Воспоминания современников

Е.А.Баратынский

Стихотворения

Письма

Воспоминания современников





Ев. А. Баратынский

Стихотворения
Письма
Воспоминания современников

Москва. Издательство «Правда» 1987

84 Р 1
Б 24

Составление С. Г. Бочарова
Вступительная статья Л. В. Дерюгиной
Примечания Л. В. Дерюгиной и С. Г. Бочарова
Иллюстрации Н. Г. Раковской

Б $\frac{4702010100-1396}{080\ (02)-87}$ 1396—87

О ЖИЗНИ ПОЭТА ЕВГЕНИЯ БАРАТЫНСКОГО

Усадьба Мара, где 7 марта 1800 г. родился Евгений Абрамович Баратынский, не была родовым имением. Отец поэта, приближенный императора Павла I, был пожалован поместьем на взлете своей карьеры, но почти тут же подвергся опале, потом второй, уже окончательной. Выйдя в отставку, генерал-лейтенант Боратынский поселился в деревне и занялся хозяйством. Он был добрый и просвещенный человек, стремившийся всюду оставить после себя благодарную память. Это ему удавалось — и в служебных занятиях, и особенно в домашней жизни: его благоустроенное хозяйство и гостеприимный дом привлекали соседей, семеро детей, старшим из которых был Евгений, росли окруженные любовью и заботой. Однако эта тихая жизнь, видимо, не давала ему полного удовлетворения: при новом царствовании он начал думать о возвращении на службу и даже хлопотать об этом. На этом переломе его настигла смерть; он скоропостижно скончался в Москве, в 1810 г., когда ему было немногим более сорока лет.

Неизвестно, насколько знал Баратынский прошлое своего рода, слышал ли рассказы о его быстром возвышении при Павле; никаких следов интереса к этому в творчестве поэта нет. В Финляндии он, по-видимому, не вспоминает, что в тех же краях в конце 1780-х годов участвовал в войне со шведами его отец, а создавая эпиграмму на Аракчеева, не думает о том, что тот, будучи сослуживцем отца Баратынского, занял его должности после первой опалы, в 1796 г. Зато чудесный парк, разбитый отцом на месте заросшего оврага, живой отпечаток его мысли, чувства и воли, навсегда остается памятником ему на земле («Запустение», 1834). Не имеющая собственного родового предания Мара для поэтической памяти Баратынского оказывается населена, но не славными тенями прошлого, а образом родного человека, который развел сад

и создал большую, счастливую семью. Усадебное детство дало Баратынскому полный «могучего обаяния» образ родины как истока и вместе с тем завершающей цели человеческих стремлений, начала и конца существования, замка, смыкающего жизненный круг. «Я не знавал человека более привязанного к месту своего рождения,— вспоминал друг Баратынского Н. М. Коншин,— он, как швейцарец, просто одержим был этой, почти неизвестной у нас болезнью, которую французы называют mal du pays*» (с. 341). И в жизни, и в поэзии он часто ощущал себя путешественником, приносящим к домашнему очагу из дальних странствий «пустыни дальной дикий цвет» («При посылке «Бала» С. Э.», 1828); но и в жизни, и в поэзии «домашнее» состояние человека — когда он остается самим собой, когда его любят таким, какой он есть, когда никто не оспаривает его места на земле — оставалось для Баратынского нормой, навсегда запечатлевшейся в его памяти, и идеалом, к которому он стремился, по-видимому, тем же почти болезненным стремлением, которое подметил за ним любящий дружеский взгляд.

О жизни Баратынского известно немного и еще меньше известно наверняка. Молодость его проходила большей частью на глазах у многих людей; в 1830-е годы, после женитьбы, сведения о нем скудеют. Но даже когда имя его не сходит со страниц литературных изданий, постоянно упоминается в письмах и воспоминаниях современников, он часто остается как бы невидимым, ускользает от общественного внимания. Жизнь его менее всего публична, и это отличает его в той или иной степени от всех поэтов-современников. О нем почти не сохранилось анекдотов; не уклоняясь от литературной борьбы, он никогда не брал в ней на себя ведущей роли. Существенные эпизоды его биографии в глубине непроницаемы и для любопытствующего взгляда, и для обоснованного общественного обсуждения и приговора; они могут — и то не до конца — раскрыться лишь индивидуально, в ответ на встречное душевное движение. Определение, которое И. В. Киреевский, близкий друг Баратынского, дал его поэзии — «сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого» (К, с. 70),— можно приложить и к его жизни.

Появление Баратынского в обществе и немного позже в литературе сопровождалось скандалом: он был с позором исключен из аристократического военно-учебного заведения за кражу, совершенную вместе с товарищем. Историю постигшего его «омраченья души» Баратынский рассказал

* *Ностальгия, тоска по родине (фр.).*

в письме Жуковскому (с. 134—140). Поражающее в этом рассказе сочетание серьезности случившегося и «совершенно детских подробностей», видимо, поразило и императора Александра I, на рассмотрение которого было передано дело: двое пятнадцатилетних преступников были наказаны сразу и как дети — их исключили из корпуса, — и как взрослые — им была запрещена всякая служба; единственное, что им было позволено, — это стать солдатами и, выслужив офицерское звание, вернуть себе прежние права.

«...С трудом понимаю, как мог он себя так потерять в Петербурге: мне это кажется ужасным сном» (с. 400), — писала мать Баратынского родным. Как к чему-то совершенно иррациональному, не связанному с реальностью, отнеслись к случившемуся родные, товарищи по корпусу, новые петербургские друзья. Но ждать такого же отношения от чужих людей не приходилось: о происшедшем «все говорили» (с.138); тетка Баратынского не решалась отпустить его из имения, боясь, что его будут «всем показывать» (М, с. 34). Детский грех Баратынского преследовал его всю жизнь, по существу, преследует и теперь. Без этого трудного эпизода немыслима его биография: он всегда будет стоять в ее начале как остерегающий знак, напоминающий, что биограф вступает на территорию чужой души и судьбы.

Очевидно, случившееся отделило для Баратынского более или менее тесный круг близких (для которых никакие объяснения не нужны) от неприязненного или равнодушного большинства (для которого никакие объяснения не достаточны). С тех пор и во всякой иной связи он ощущал постоянно и враждебное давление внешнего круга, и действенную поддержку внутреннего; граница между ними все время перемещалась, расширяясь и сжимаясь, словно пульсируя, в зависимости и от реальных обстоятельств, и от его собственных дурных или хороших минут (в последние годы жизни, судя по воспоминаниям, в нем начали замечать подозрительность, мнительность). Но никогда, несмотря на постоянство мотива одиночества в его поэзии, он не оставался совсем один. Рядом с ним всегда были любящие его люди, и всегда был кто-то, кто откликался на его поэзию, понимал ее глубоким внутренним пониманием и находил, чтобы сказать об этом, всегда какие-то необычные и хорошие слова.

«С самого детства я тяготился зависимостью» (с. 155), — пишет Баратынский Н. В. Путяте; в письме Жуковскому он рассказывает историю детски слабой, беззащитной перед любым посторонним воздействием души, которую словно всякий раз по-новому вылепливают то неприязненное отношение воспитателей, то чтение Шиллера, то «законы»

корпусного товарищества. Наивная попытка «не смотреть ни на что, свергнуть с себя всякое принуждение» лишь заменяет для него одну зависимость другой. Но важно то «восхищение», которое вызвала в нем вдруг осознанная возможность оставаться самим собою: «...радостное чувство свободы волновало мою душу, мне казалось, что я приобрел новое существование» (с. 135). Возможно, это и был главный опыт, вынесенный из грустной детской истории; во всяком случае, ощущение поразило и запомнилось («Я теперь еще живо помню ту минуту»,— пишет он через семь лет). В последовавшей вскоре совсем уже не детской и не шуточной борьбе с новой зависимостью — с судьбой, как постоянно обозначал это Баратынский («В молодости судьба взяла меня в свои руки»; с. 155),— оно становится определяющим, и очевидное желание избавиться от внешнего принуждения сочетается с неявным, но неизменным уклонением от всякого интеллектуального подчинения.

С осени 1818 г. Баратынский в Петербурге; зимой 1819 г. он зачислен рядовым в гвардейский полк. Формально «солдатчина» Баратынского не наказание, а милость: первое офицерское звание должно было означать для него прощение и разрешение служить по своему выбору. Не вполне понятно, имел ли он практическую необходимость добиваться этого; видимо, дело было не в том: происходящее имело для него значение гражданской реабилитации и морального искупления. Оно имело и дополнительный личностный аспект: долгое время все хлопоты за Баратынского, все попытки добиться его прощения сталкивались в конечном счете с личной волей императора Александра I, от которого зависело производство в офицеры. Трудно сказать, чем была вызвана странная «злопамятливость» императора; вряд ли ее можно вполне объяснить, как иногда предлагается, литературной репутацией Баратынского. Трудно также представить, чего могли стоить Баратынскому эти годы под не отпускающим, не забывающим взором Александра I, это мучительное противостояние еще очень молодого и впечатлительного человека живому воплощению государства,— можно только напомнить в этой связи ситуацию, в которой оказался другой Евгений, герой пушкинского «Медного всадника». Нигде — ни в поэзии его, ни в письмах — этот конфликт не обозначен конкретно; Баратынский говорит только о «судьбе», даже не преследующей его, а взявшей в свои руки, поработившей, сделавшей его своей игрушкой. Кажется, в этом обстоятельстве можно видеть одну из причин почти полного отсутствия у него гражданской и политической лирики, таких характернейших для русской поэзии после Отечественной войны 1812 г. тем, как отношения власти и на-

рода, поэта и государства, русской и европейской истории. Пушкинское «Когда б я был царь...» (П, т. 11, с. 23) — государственное мышление, в той или иной степени и модификациях свойственное всем большим русским поэтам XIX века,— Баратынскому совершенно чуждо; отсутствует у него и тема России, ее судьбы как государства и нации. Отказ от этих тем говорит вовсе не о безразличии к ним, а о полном отсутствии иллюзий относительно реального соотношения государства и частного человека, в конечном же счете — о точности лирического самоопределения, способствовавшей созданию высочайших образцов «поэзии индивидуальной».

«Солдатчина» Баратынского была в значительной степени лишь номинальной: она давала повод для злословия, насмешек, а иногда и грубых личных выпадов его литературных врагов, но не вредила его литературным успехам и не лишала его места в обществе. Тем не менее двусмысленность его положения и полная зависимость от чужой воли были тягостны для него. «Должно сносить терпеливо заслуженное несчастие — не спорю, но оно превосходит мои силы, и я начинаю чувствовать, что продолжительность его не только убила мою душу, но даже ослабила разум»,— пишет он Жуковскому (с. 139). Однажды, не выдержав, он даже решается просить об отставке, но наталкивается на непреклонную стойкость матери: она заставляет его пройти испытание до конца и дождаться настоящего освобождения (X, с. 87—88).

Это непростое единоборство продолжалось девять лет — с весны 1816 г., когда он мальчиком был исключен из корпуса и отдан родственникам, до весны 1825 г., когда судьба его оказывается в центре внимания Пушкина, Вяземского, Дениса Давыдова, когда хлопотами В. А. Жуковского и в конечном счете А. И. Тургенева, постоянных заступников за русскую литературу перед властью, он был возвращен «обществу, семейству, жизни» (с. 157). Внутреннюю историю этих девяти лет можно только угадывать; внешний же их рисунок известен достаточно хорошо: за это время Баратынский сделался знаменитым поэтом.

Он начал писать стихи сразу же после исключения из корпуса, в деревне; в Петербурге он необычайно быстро раскрывается как поэт. Этому способствовала дружба с А. А. Дельвигом; она особым образом окрасила вхождение Баратынского в литературу, сделав его, почти помимо его воли, членом пушкинского кружка. В составе «союза поэтов» Дельвига — Кюхельбекера — Пушкина, пользуясь его поддержкой и сам способствуя его успеху, Баратынский включается в чрезвычайно интенсивную в это время литературную жизнь столицы. По сообщению жены Баратынского, Дельвиг

без его ведома отдал его первые стихи в журнал и «Баратынский, которого имя до тех пор не появлялось в печати, часто говорил о неприятном впечатлении, испытанном им при внезапном вступлении в нежеланную известность» (Изд. 1936, т. 2, с. 250). Так или иначе, стихи Баратынского начинают печататься в петербургских журналах, его избирают членом литературных обществ, он знакомится почти со всеми известными петербургскими литераторами. Посредническая роль Дельвига здесь была, по-видимому, очень важна; особенно это касается знакомства с Пушкиным. Существенное значение для Баратынского имела и литературная школа, которую он прошел в «союзе поэтов».

С ростом известности Баратынского у него появлялись и литературные недоброжелатели; однако к тому времени, когда в петербургских литературных обществах и салонах разгорелась настоящая война между «союзом поэтов» и сторонниками литературных традиций, его, как и Пушкина, уже не было в Петербурге. В начале 1820 г. Баратынский был сделан унтер-офицером и переведен в финляндский полк. Литературная романтическая традиция рассматривала окраины страны как место ссылки; после первых финляндских стихов Баратынского за ним закрепилась репутация «финляндского изгнанника». Однако формально это было повышение, немаловажный шаг на пути Баратынского к свободе.

«В далекой Финляндии, посреди дикой и мрачной природы, в разлуке с родными и близкими ему людьми, с неодолимою тоскою по родине, вдали от тех, кто мог бы понять его и утешить сочувствием, печально и одиноко провел он лучшие годы своей юности» (с. 397) — так описал Киреевский этот период жизни своего друга. Но «финляндское изгнание» неожиданно оборачивается для Баратынского своей поэтической стороной, оказывается внутренне плодотворным. Природа Финляндии, впервые увиденное им открытое море поразили его воображение; он признавался Н. М. Коншину, своему начальнику и новому другу, «что в жизни еще не имел такого поэтического лета» (с. 340). В доме командира полка Г. А. Лутковского, старого знакомого его отца, Баратынский находит необходимую ему семейную обстановку. В Финляндии начинается его дружба с Н. В. Путятой, адъютантом генерал-губернатора Финляндии А. А. Закревского. Образованный, любивший поэзию человек, Путята был внутренне близок Баратынскому. «В образе мыслей и характере их было что-то общее. То же озарение высшими понятиями, та же сосредоточенность и сдержанность в их изъявлении» (X, с. 91), — писал П. И. Бартенев, знавший Путяту. Дружба их продолжалась всю жизнь, а позднее укрепилась родством, ко-

гда Путята женился на свояченице Баратынского. Конец 1824 г. Баратынский проводит в Гельсингфорсе, при штабе корпуса Закревского. Здесь он знакомится с женой генерал-губернатора А. Ф. Закревской, женщиной яркой, умной и эксцентричной. Он переживает серьезное увлечение этой женщиной; однако еще сильнее оказывается произведенное ею поэтическое впечатление. Закревская стала прототипом героини поэмы «Бал», образ ее отразился и в лирике Баратынского. Не случайно, покинув Финляндию, Баратынский сожалел о ней, как о стране, где он «пережил все, что было живого» в его сердце (с. 162).

Между тем связь Баратынского с литературной жизнью столицы почти не прерывается; он часто и подолгу бывает в Петербурге то в отпуску, то с полком. Дельвиг с друзьями навещает его в Финляндии. Коншин вспоминает, что Баратынский «как дитя» радовался поездкам в Петербург (с. 343). Однако было и обратное чувство; так, в августе 1825 г., уже после производства, Баратынский пишет Путяте: «Через несколько дней мы возвращаемся в Финляндию, я этому почти рад: мне надоело беспричинное рассеяние, мне нужно взойти в себя...» (с. 159). Именно в Финляндии он ощущал себя дома и мог быть самим собой. Тем временем известность его как поэта росла. Еще в самом начале 1824 г. Жуковский в обзоре русской литературы, составленном для одной из особ императорской фамилии, писал: «Баратынский — жертва ребяческого проступка, имеет дарование прекрасное; оно раскрылось в несчастьи, но несчастье может и угасить его; если судьба бедного поэта не облегчится, то он сам никогда не сделается тем, для чего создан природой» (Ж у к о в с к и й В. А. Эстетика и критика. М., 1985, с. 312), — и в словах его звучали почти обвинительные нотки. Затянувшееся наказание Баратынского становилось уже чем-то вроде общественного скандала, об этом говорили почти открыто, и казалось, что шумная слава поэта поможет облегчить его участь. Но ходатайство Жуковского было отклонено. Тогда за это берется А. И. Тургенев, который действует совершенно иначе и старается, чтобы о литературной деятельности Баратынского по возможности забыли. «Ни в скобках, ни над писеой, ни под титлами, ни in-extenso имени его подписывать не должно. Скоро может решиться его участь» (с. 408), — пишет он Вяземскому весной 1825 г. Вероятно, именно в связи с этим Баратынский задержал издание своего сборника, уже порученное в 1824 г. А. А. Бестужеву и К. Ф. Рылееву. Тургенев наконец добивается успеха: в апреле 1825 г. Баратынский был произведен в прапорщики. В январе 1826 г. он выходит в отставку; болезнь матери вынуждает его посе-

литься в Москве. Здесь в ноябре 1827 г. выходит первое собрание его стихотворений.

Сборник 1827 г. стал для Баратынского первым подведением итогов. Он открывается знаменитой элегией «Финляндия», создавшей в свое время Баратынскому ореол романтического изгнанника. Строка из послания к Дельвигу «И я, певец утех, пою утрату их...» характеризует состав сборника: в нем представлены «эротические» и «вакхические» стихотворения, обычные тогда «безделки», которым Баратынский был обязан первым своим успехом (они в основном оттеснены в раздел «Смесь»); на первом же плане — три «книги» элегий — жанра, составившего ему славу («...в этом роде он первенствует» (П, т. 11, с. 50), — замечает Пушкин в неоконченной рецензии на сборник). Прямые лирико-философские медитации включаются в собрание на правах элегий; два этих жанра объединены темой всесокрушающего хода времени, несущего смерть природе и «разуверение» сердцу человека. В элегиях Баратынского словно меняется центр тяжести: источник элегической грусти переносится извне в глубь человеческой души; таким образом создаются предпосылки для психологического исследования «своенравия» сердца. Такому исследованию посвящена элегия «Признание» *, похожая уже не столько на традиционные произведения этого жанра, сколько на «предельно сокращенный аналитический роман» (Гинзбург Л. Я. О лирике. М.-Л., 1964, с. 72). Завершал сборник раздел «Послания». В него, среди прочих, входили два послания, представляющие этапы творческого самоосознания Баратынского. Первое из них — «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры» — свидетельствует о расхождении Баратынского с литературными принципами писателей-декабристов, но еще более — о его нежелании следовать путем, не соответствующим особенностям его натуры и дарования. Второе — «Богдановичу» — содержит прежде всего пересмотр собственных позиций поэта-элегика; однако оно было воспринято как выпад против элегической поэзии вообще с позиций «французской школы» (с. 406). Послания Баратынского высоко оценил Вяземский, сам большой мастер этого жанра; он отмечал в них «непринужденный язык, веселое остроумие, переходы свободные, мысли светлые и светло выраженные» и считал их «образцовыми» (МТ, 1827, ч. 16, с. 87).

Приступая к подготовке сборника, Баратынский писал: «...я желал бы, чтобы мои пьесы по своему расположению

* *Эта элегия предназначалась для сборника, но не была включена в него Баратынским по причинам личного характера.*

представляли некоторую связь между собою, к чему они до известной степени способны» (с. 141). Характерно это желание оформить свою лирику в какое-то новое, большое единство и придать ей таким образом дополнительный смысл; эти поиски большой формы вне традиционных жанров приведут Баратынского в конце жизни к глубоко оригинальному созданию — книге «Сумерки». Сборник 1827 г. построен так, что произведения, обрамляющие разделы, несут особую смысловую нагрузку. В них последовательно развивается тема судьбы, звучащая и в других стихотворениях сборника; романтический бунт против «прихотей судьбины» («Буря») сменяется тихим утверждением верности себе и «музам» «наперекор судьбе» («Отъезд»), а когда оказывается, что такая верность в конечном счете обеспечивает независимость от судьбы, возникают и оптимистические ноты («Стансы»):

Хвала вам, боги! предо мной
Вы оправдалися отныне!
Готов я с бодрою душой
На все угодное судьбине...

В завершающем сборник послании «Н. И. Гнедичу» тема преодоления судьбы приобретает почти торжествующее, победное звучание:

Я победил ее, и, не убит неволей,
Еще я бытия владею лучшей долей,
Я мыслю, чувствую: для духа нет оков...

Сборник был встречен современниками восторженно; диссонансом на общем фоне звучала только отрицательная рецензия С. П. Шевырева в «Московском вестнике». Баратынский был в зените славы. И совсем неожиданно прозвучала в этих обстоятельствах фраза из его письма Пушкину (весна 1828 г.): «Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех» (с. 175). Но через два года Пушкин развил эту мысль в наброске своей последней, третьей незаконченной статьи о Баратынском. В ней говорилось: «Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению для произведения большего эффекта, никогда не пренебрегал трудом неблагодарным, редко замеченным, трудом отделки и отчетливости, никогда не тащился по пятам свой век увлекающего гения, подбирая им оброненные колосья; он шел своею дорогой один и независим. Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды»

(П, т. 11, с. 186). Баратынский прочитал эти слова через много лет, уже после смерти Пушкина.

Вскоре после отставки Баратынский женился; его свадьба с Анастасией Львовной Энгельгардт состоялась в июне 1826 г. Невеста была некрасива, и современники признали брак «не блестящим, а благоразумным» (с. 172). «...Я желал счастия и нашел его» (с. 170),— писал Баратынский Коншину. Друзья не сомневались в его счастье, но тревожились за его поэтическую судьбу. «Для поэзии он умер; его род, т. е. эротический, не к лицу *мужу*...» — пишет Лев Пушкин (с. 413). Жена Баратынского действительно «мало имела в себе элегического», как осторожно заметил о ней Вяземский (с. 172), она вдохновляла поэзию совсем иного характера. Образец ее — поэма «Переселение душ» (1828), обычно считающаяся «сугубо формалистической стилизацией под XVIII век» (Изд. 1836, т. 1, с. XVI); между тем она писалась одновременно с ключевой поэмой Баратынского «Бал» (1825—1828) и представляет собой нечто вроде поэтического комментария к ней. Несколько лет питавший и мучивший поэтическое воображение Баратынского женский тип, списанный с Закревской, понимание любви как иррациональной и опасной силы определили трагический, неразрешимый характер конфликта поэмы. Княгиня Нина узнает, что ее царственной красоте предпочтена

«...жеманная девчонка
Со сладкой глупостью в глазах,
В кудрях мохнатых, как болонка,
С улыбкой сонной на устах».

Точно так же «творенья диво», царевна Зораида из «Переселения душ», влюбившись в простого певца, обнаруживает соперницу, воспеваемую им Ниэту:

Кого? — пастушку молодую,
Собой довольно недурную,
Но очень смуглую лицом,
Глазами бойкую и злую,
С нахмуренным, упрямым лбом.

Так же, как Нина, мертвеет Зораида, поняв, что находится перед лицом судьбы и в полной ее власти. Но судьба высмеяна в поэме как слепая, бестолковая сила, которая, сотворив души «попарно», не предусмотрела мелочей, препятствующих их соединению:

Шатаясь по свету, порой
Столкнешься с родственной душой
И рад; но вот беда какая:
Душа родная — нос чужой,
И посторонний подбородок!..

Сказка кончается счастливо: Зораида с помощью волшебного кольца потихоньку обменивается судьбой со своей соперницей, жертвуя и красотой и царством ради скромной доли. Но прекрасная душа Зораиды, вселившись в грубое тело пастушки, заставляет его блистать новой, одухотворенной красотой:

Во взорах чувство выражалось,
Горела нежная мечта...

Поэма эта не только галантный комплимент некрасивой Анастасии Львовне. Здесь говорится и о том, что жертвенная любовь слабого человека способна одолеть механическую мощь судьбы, что тайна такого одоления известна лишь любящему и счастье его — утаенное от мира счастье. Зораида в своем новом облике

Тихонько вышла из дворца,
И о судьбе ее до света
Не доходил уж слух потом.
Так что ж? о счастии прямом
Проведать людям неудобно...

Обращенная к жене лирика Баратынского обычно не упоминается среди его шедевров; эти неброские стихотворения словно уклоняются от внимания критики. Однако в них есть громкие, сильные строки, рисующие новый для его поэзии образ «смелой и кроткой» женщины — друга, помощницы и спасительницы, равноправной участницы в судьбе, творчестве, философском определении в мире («Отрывок», 1829; «О верь, ты, нежная, дороже славы мне...», 1834; «Когда, дитя и страсти и сомненья...», 1844).

Строка из концовки «Признания», на которую недвусмысленно намекали скептически относившиеся к его браку друзья — «Обмена тайных дум не будет между нами»,— не стала пророческой. Жена Баратынского разделяла все его заботы и думы, в том числе отчасти и литературные: он «часто удивлялся ее тонким замечаниям и справедливым возражениям, верности ее критического взгляда» (Изд. 1869, с. 395). Уезжая, он писал ей едва ли не ежедневно, письма эти показывают их полное взаимное сочувствие: от нее у него не было тайн. Но что-то в этих письмах осталось тайной для всего остального мира: рукой Анастасии Львовны там вычеркнуты многие строки. Может быть, содержание этих строк, будь они прочитаны, не больше сказало бы о Баратынском, чем сам этот многозначительный факт.

Московский период ознаменован в жизни Баратынского новыми чертами. Он пробует служить; около трех лет он числился в Межевой канцелярии, но служба эта не оставила

никакого следа в его жизни. В Москве он встречается и знакомится с множеством новых для него людей и мнений, принимает участие в обсуждении литературных и философских вопросов. Это несколько видоизменяет характер его собственной литературной деятельности.

Среди писем Баратынского к И. В. Киреевскому сохранился листок с рассуждением о разговоре. «Автор углубляется в свою собственную мысль, стараясь удалить от себя все постороннее; разговаривающий ловит чужую и возносится на ее крыльях. Что развлекает первого, то второму служит вдохновением» (с. 254),— говорится здесь. Мысль Баратынского о двух видах вдохновения можно применить и к его творчеству. Московский период богат для него вдохновением внешним; внутреннее же, авторское вдохновение мешало ему в этом; так происходило в журналистике, которую он осознает именно как «разговорное» творчество. «Мне нужно предаваться журнализму, как разговору, со всею живостью вопросов и ответов, а не то я слишком сам к себе требователен, и эта требовательность часто охлаждает меня и к хорошим моим мыслям»,— пишет он Киреевскому (с. 218).

Вопросы журналистики волновали Баратынского давно, однако его положение лишало реальности все его замыслы: «...слава богу, мы здесь не получаем ни одного журнала, и мне никто не мешает любить поэзию»,— пишет он И. И. Козлову в 1825 г. (с. 156). Все изменилось, когда Баратынский оказался в Москве. Здесь он встретился с П. А. Вяземским, который высоко ценил его поэзию и с нетерпением дожидался конца его «финляндского изгнания». Знакомство их так и не перешло в приятельскую близость; зато отношения эти не были подвержены переменам и ничем не омрачились до конца жизни Баратынского. Его приезд в Москву пришелся на время, когда Вяземский особенно увлекся журналистикой; вместе с Н. А. Полевым он издавал лучший в то время русский журнал — «Московский телеграф». Здесь Баратынский напечатал в 1827 г. свой критический разбор книги А. Н. Муравьева «Таврида». Сотрудничество это не имело продолжения; вскоре Вяземский разошелся с Полевым, и журнал изменил свое направление. Взгляды Баратынского и Вяземского на журналистику, по-видимому, совпадали; одно время они собирались вместе издавать «Литературные современные записки», нечто среднее между журналом и альманахом, но это издание не состоялось.

Журналистика, в противоположность литературе с ее традиционными жанрами, была для Вяземского средством видеть и улавливать текущую, еще не оформившуюся современность; периодику он называл современными летописями.

Жанром, смыкающимся с журналистикой по взгляду на мир — «допытливому» и «исследовательному», он считал современный европейский роман светского содержания, с глубокой психологической проработкой характеров. Именно таким романом был «Адольф» Б. Констана; в 1831 г. Вяземский закончил и издал его перевод с большим проблемным предисловием; за работой его внимательно наблюдали Пушкин и Баратынский. Роман в это время живо интересовал всех троих. Баратынский читал и правил перевод в рукописи; в письмах к Вяземскому он обсуждает вопросы, затронутые в предисловии. Вяземский убеждает Баратынского писать прозу, и тот отвечает, что «уже планировал роман» (с. 180); в другом письме он говорит: «Проза мне не дается, и суетное мое сердце все влечет меня к рифмам. Я пишу поэму» (с. 193). Баратынский умалчивает при этом, что пишет не поэму, а роман в стихах: в предварительных публикациях некоторые части «Наложницы» были представлены как отрывки из романа.

Вяземский пытается увлечь Баратынского и другим прозаическим замыслом — серией статей о классиках русской литературы. Баратынский дал согласие писать о Ломоносове. По-видимому, это должна была быть большая работа, подобная книге Вяземского о Фонвизине. Возможно, именно такое обстоятельное жизнеописание имел в виду Баратынский, говоря и о своем намерении написать «жизнь Дельвига».

Множество прозаических и журналистских замыслов обсуждается и в письмах Баратынского И. В. Киреевскому. Они познакомились в Москве; к концу 1829 г., когда между ними начинается интенсивная переписка, их уже связывают тесные дружеские отношения. Известны 52 письма Баратынского к Киреевскому, ответные письма не сохранились. Письма к Киреевскому — действительно частные, ни в малейшей степени не претендующие на общее значение письма; это качество отличает их от переписки многих современников Баратынского, причем не только Вяземского и А. И. Тургенева, давших великолепные образцы эпистолярно-публицистического жанра, но и Пушкина и Дельвига. Частный характер, очень четкая адресованность свойственны всем значительным коллекциям писем Баратынского; тематика их обычно разграничена, и круг вопросов, обсуждаемых с каждым адресатом, в каждом случае индивидуален. Переписка с Киреевским, таким образом, представляет собой уникальный источник, сохранивший нигде больше не повторяющиеся сведения о Баратынском.

Киреевский в то время также сочиняет роман; в связи с этим о нем и заходит речь в письмах. Слова Баратынского

о необходимости для романа современной философии, не систематической, а «верной нашему чувству» (см. с. 207), смыкаются со взглядом Вяземского, искавшего в произведениях этого жанра «практической метафизики поколения нашего» (Вяз., с. 129).

Вопросы журналистики возникают в связи с готовившимся изданием журнала Киреевского «Европеец». «Твой журнал очень возбуждает меня к деятельности»,— пишет Баратынский (с. 218). У него возникает ряд крупных и не характерных для него замыслов, предназначенных для «Европейца». Из обсуждаемых работ сохранились и были напечатаны в этом журнале только две. Первая — «Антикритика» — ответ Баратынского на критический разбор его поэмы «Наложница» и предисловия к ней, сделанный Н. И. Надеждиным; это первое и единственное полемическое выступление Баратынского. По мнению Пушкина, статья была «хороша, но слишком тонка и растянута» (с. 423). Второе произведение — прозаическая повесть «Перстень», в которой так странно переплелись мотивы «Повестей Белкина», что ее тоже едва ли не приходится считать полемической репликой в литературном споре. Все остальные произведения, предназначавшиеся для «Европейца», не сохранились или так и не были созданы. После второго номера журнал Киреевского был запрещен, и это решило их судьбу. Бесследно исчезла законченная Баратынским драма. Пропала биография Дельвига, работа над которой, видимо, пошла быстрее с началом издания «Европейца». Неизвестен план новой поэмы, которую обдумывал Баратынский; очевидно, не были даже начаты обещанные Киреевскому статьи о романах Загоскина и повестях Гоголя.

«Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным. <...> Будем писать, не печатая» (с. 238—239),— писал Баратынский Киреевскому, узнав о запрещении журнала. Московские литературные круги становились все более чуждыми ему, к московским журналам он относился равнодушно. В 1834 г. Белинский имел основание сказать в «Литературных мечтаниях»: «Замечу еще, что г. Баратынский обнаружил во времена оны претензии на критический талант; теперь, я думаю, он и сам разуверился в нем» (Б, т. 1, с. 60).

Запись Баратынского о разговоре кончается так: «Еще два слова: разговор, о коем я говорю,— дитя какого-то душевного брака и требует между разговаривающими сочувствия, взаимного уважения, без которых он не заключится, и следственно, не принесет своего плода — возможно полного разговора» (с. 254—255). На многие годы он отказался от вдохновения внешнего для внутреннего вдохновения чистой лирики. Возникшее у него в конце жизни желание вернуться в журнали-

стику говорит о том, что эта сторона его деятельности не была случайной, определялась серьезной внутренней потребностью, к сожалению, не реализовавшейся.

В том же 1832 г. Баратынский начинает готовить новое собрание своих сочинений. «Кажется, оно в самом деле будет последним и я к нему ничего не прибавлю»,— пишет он Вяземскому (с. 247). Сборник состоял из двух частей, первая включала в себя лирику, вторая — поэмы. Он вышел только в 1835 г.

С начала 20-х годов, когда составлялся первый сборник Баратынского, прошло десять лет, и поэзия его значительно изменилась. Новый характер ее был определен в 1829 г. Киреевским, который, опровергая устоявшееся мнение о принадлежности Баратынского к «французской школе», писал, что поэзия французская выбирает в жизни только те минуты, «которые *выдаются* из жизни вседневной, которые и толпа разделяет с поэтом». «Но муза Баратынского, обняв всю жизнь поэтическим взором, льет равный свет вдохновения на все ее минуты и самое обыкновенное возводит в поэзию посредством осветительного соприкосновения с *целою* жизнью, с господствующею мечтою» (К, с. 69). Для того, чтобы уловить в поэзии Баратынского эти неяркие, неявные, обычно не проникающие в поэзию звуки, чтобы «дослышать все оттенки лиры» его, нужно иметь особо тонкий слух и особое внимание. Принцип построения сборника в общем соответствовал этому описанию, хотя сам Баратынский определял его иначе. Этот принцип был обоснован им в предисловии к отдельному изданию поэмы «Наложница» (1831) как принцип «смешения». Говоря о том, что нравственными могут быть только характеры, в которых смешаны порок и добродетель, потому что такие характеры истинны, соответствуют действительной жизни, зрелище которой, представленное без односторонности, «конечно, не развратительно», Баратынский распространяет свою мысль и на литературу в целом, на роман, на лирику, от которых также нужно требовать только «истины показаний»: «Читайте романистов, поэтов, и вы узнаете страсти, вами или не вполне, или совсем не испытанные, нравы, выражение которых, может быть, вы сами не заметили; узнаете положения, в которых вы не находились; обогатитесь мыслями, впечатлениями, которых вы до того не имели; приобщите к опытам вашим опыты всех прочтенных вами писателей и бытием их пополните ваше». Отдельное произведение, особенно в лирике, может внушать ложное, одностороннее понятие, но «никто не принуждает читателя в целой книге стихов твердить одно для него соблазнительное, когда, перевернув страницу, он найдет другое, впечатление которого испра-

вит впечатление первого...». Не только лирика, но и литература в целом включает в себя явления неравноценные, наряду с гениями, которые «являют нам полный мир в своих творениях», есть и дарования односторонние. «Или не читайте, или читайте все: иначе вы будете всегда в заблуждении»,— говорит Баратынский (см. Изд. 1951, с. 428—433).

В соответствии с этим принципом лирическая часть нового собрания должна была выглядеть как естественный след прожитой жизни и обладать его живой, ненавязчивой целостностью. Именно так и строит ее Баратынский: он отказывается от всяких жанровых разграничений, снимает большую часть названий, объединяет и уравнивает стихотворения с помощью сплошной нумерации. Многие старые стихотворения серьезно перерабатываются. В таком виде произведения разных лет, порой неравноценные, контрастирующие по тону и содержанию, равно предстают как эпизоды пути поэта.

Смысл композиции сборника не был понят читателями; критика приняла его отрицательно. Белинский был возмущен составом книги; выбрав несколько стихотворений эротического и мадригального характера, он заявил, что именно они характеризуют «светскую, паркетную музу г. Баратынского». «Но зачем же вы выбираете такие стихотворения? может быть, спросит меня иной недоверчивый читатель. Зачем же помещены они? отвечаю я» (Б, т. 1, с. 153, 155). «Московский наблюдатель», журнал, вокруг которого группировались московские друзья и единомышленники Баратынского, о сборнике промолчал.

Неуспех собрания 1835 г., разрыв с Киреевским, случившийся примерно тогда же, все более отдаляли Баратынского от общества московских литераторов. Причины, по которым он порвал с ближайшим, глубоко понимавшим его другом («...никто еще не внушал мне такой доверенности к душе своей и своему характеру»; с. 212—213), не ясны; считали, что виновницей ссоры была жена Баратынского. «Мы оба видим в тебе милого брата и мысленно приобщаем тебя к нашей семейной жизни» (с. 212),— писал еще не так давно Баратынский Киреевскому; его отношения с близкими людьми часто строились по типу родственных. Такими были и отношения с Дельвигом («они были связаны с ним, как братья»,— вспоминала вдова Дельвига; с. 427). «Литературные связи иногда стоют кровных» (с. 246),— писал Баратынский Вяземскому. В его жизни это было действительно так, но постепенно кровные связи все явственнее вытесняли литературные. В самом начале московского периода Баратынский писал Путяте: «...Признаюсь, Москва мне не по сердцу. Вообрази, что я не имею ни одного товарища, ни одного человека, которому

мог бы сказать: помнишь? с кем бы мог потолковать нараспашку» (с. 176). Через десять лет он оказался в том же положении и мог сказать о Москве совсем уже горькие слова; само слово «московский» становится для него синонимом всего неприязненного. Унаследовав в 1836 г. после смерти тестя подмосковное имение Мураново, он переселяется туда и лишь изредка приезжает в Москву. В 1837 г. старый друг Баратынского Путята женится на его свояченице, и эти два семейства составляют тесный родственный круг, в котором Баратынский чувствует себя дома.

Переезд в Мураново не казался внешне переломом в жизни Баратынского. Со времени женитьбы ему приходилось много заниматься делами, и московский период его жизни точно так же делится между Москвой и деревней, как финляндский — между Финляндией и Петербургом. В нескольких стихотворениях Баратынского дано то идиллически-отвлеченное, то до мелочей точное поэтическое изображение сельской родины; с ней связывается мысль о простом труде, мирном вдохновении, счастливой и легкой смерти, сулящей встречу с «милыми тенями». С детства памятный ему тихий быт Мары дал Баратынскому идеал собственной семейной жизни под ее «хранительным кровом».

Однако реальная деревня была совсем другой. «Я ехал в деревню, предполагая найти в ней досуг и беспечность, но ошибся. Я принужден принимать участие в хлопотах хозяйственных: деревня стала вотчиной, а разница между ними необъятна,— писал Баратынский Киреевскому в 1833 г.— Всего хуже то, что хозяйственная деятельность сама по себе увлекательна; поневоле весь в нее вдаешься. С тех пор, как я здесь, я еще ни разу не думал о литературе. Оставляю все поэтические планы к осени, после уборки хлеба» (с. 248). Традиционное сопоставление жатвы земледельца с плодами «жизненного поля» в стихотворении «Осень» (1836—1837) для Баратынского вовсе не художественно-философская условность; оно полно земным, тяжелым смыслом. Не все и не всегда ему удавалось, заботы тяготили, домашняя жизнь иногда складывалась не идиллически. Но хозяйственные труды его увлекали. Стремлением внести в жизнь «стройную красоту», «согласье» поэзии («В дни безграничных увлечений...», 1831) проникнута и его жизнь в Муранове; она стала для него своеобразным творчеством, в котором он проявил талант и мастерство. Мураново не означало для Баратынского ухода на покой; скорее, это была новая схватка с судьбой. Оставшись без читателей, без друзей, он знал, что человек, и не будучи поэтом, способен сделать многое: воспитать детей, построить дом, посадить лес и сад. Все это он сделал. Де-

ти оказались талантливы. В Муранове был построен новый дом — по планам и чертежам самого Баратынского, проявившего незаурядный архитектурный вкус и любовно продумавшего каждую деталь. Смелая предприимчивость и практическая смекалка Баратынского помогли ему создать в имении процветающее современное хозяйство. Однако чем больше укреплялось благосостояние семьи, тем яснее становилось, что для Баратынского это не цель, а средство. Осенью 1841 г. он писал Путяте: «Надеюсь этим годом все наши хозяйственные дела <...> устроить таким образом, что они вперед уже мало меня будут заботить и мне можно будет возвратиться к прежним, мне более привычным занятиям. <...> Я между прочим бодр и весел, как моряк, у которого в виду пристань. Дай бог не ошибиться» (с. 285).

Казалось, Баратынский ушел от поэзии; с 1836 г., после разрыва с «Московским наблюдателем», он почти совершенно не печатается (хотя стихотворение «Осень» тогда же заставляет Шевырева и Мельгунова заговорить о нем как о поэте-философе). «...Давно я не пишу стихов», — пишет он Плетневу в 1839 г. (с. 264) — но с того же года количество публикуемых им стихотворений начинает понемногу увеличиваться. Неожиданный для всех выход книги «Сумерки» (1842) показал, что потребность его в том, чтобы быть услышанным и получить отклик, только выросла за эти годы молчания. Правда, это была особая книга, и обращена она была к особому, своему читателю. Фамилия Баратынского была написана на ее обложке через «о» — не так, как печаталась она на прежних его собраниях, не так, как писали ее Пушкин и Киреевский. Через «о» писалась она не в литературной, а в частной жизни. Построение книги было новаторским, отличало ее от традиционных типов поэтических сборников XIX в. В нее вошло 26 стихотворений; это было почти все, написанное Баратынским в последние годы. Состав книги сложился свободно и непредсказуемо; но некоторый минимальный отбор все же был произведен. Стихотворения характеризовали небольшой промежуток жизни поэта и потому составляли особенно тесное и в то же время естественное смысловое и эмоциональное единство. «Сумерки» стали «одной из первых книг стихов в сегодняшнем ее понимании» (ВЛ, 1975, № 3, с. 179). Была найдена новая большая форма, не стесненная жанровыми традициями, дававшая возможность глубоко индивидуального разговора с читателем.

Вероятно, именно «Сумерки» дали Киреевскому окончательное право сказать о Баратынском: «...такие люди смотрят на жизнь не шутя, разумеют ее высокую тайну, понимают важность своего назначения и вместе неотступно чувствуют

бедность земного бытия» (с. 398). Это книга о слабости человека, о трагизме его одинокой и обреченной схватки с судьбой и вместе с тем о неведомых, не сообщаемых миру источниках его бесстрашия, его душевной защищенности и стойкости. «Выразить чувство значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа»,— говорилось в давнем (1831 г.) письме Баратынского Плетневу (с. 210). Поразительный язык «Сумерек» с такой властной уверенностью передает самые сложные человеческие состояния, что в стихотворениях начинают звучать не только торжественные, но почти торжествующие ноты, заметно усложняющие и углубляющие общий тон книги.

По словам М. Н. Лонгинова, книга Баратынского «произвела впечатление привидения, явившегося среди удивленных и недоумевающих лиц, не умевших дать себе отчета в том, какая это тень и чего она хочет от потомков» (РА, 1867, № 2, с. 262). Белинский критиковал «Сумерки» за несоответствие современному мировоззрению. Положительный отзыв Плетнева в «Современнике» касался поэзии Баратынского в целом и прошел незамеченным. Было получено несколько частных теплых откликов от немногих друзей; вероятно, они были очень важны и дороги для Баратынского, если судить по его реакции на отзыв, полученный в совсем уж тесном семейном кругу: «Похвалы, которые вы воздаете моей книге, любезная и добрая маменька, являются для меня самыми сладостными, самыми лестными из всех когда-либо мною полученных. Зато я и насладился ими со всей наивностью, со всем здравым смыслом удовольствия, на какое я способен» (с. 295).

«Хочется солнца и досуга, ничем не прерываемого уединения и тишины, если возможно, беспредельной»,— пишет Баратынский Плетневу в 1839 г. (с. 265). Состояние его было двойственно: его мучила то ли усталость, то ли жажда новой деятельности. После короткой поездки в Петербург зимой 1840 г., теплого приема, оказанного ему в салоне Карамзиных, встреч с Жуковским, Вяземским, Плетневым, Одоевским, Соболевским возможность деятельной жизни представлялась вполне реальной и привлекательной. Он собирался, покончив с хозяйственными делами, перебраться в столицу и вместе с Плетневым издавать пушкинский «Современник». Но до этого они с женой хотели съездить за границу, повидать Италию. Оба они нуждались в отдыхе.

Осенью 1843 г., заехав ненадолго в Петербург, Баратынский с женой и тремя детьми отправляется за границу. Через Германию они приезжают в Париж и остаются там на зиму. Пароходы, железные дороги, полотна Рафаэля и Тициана в Дрездене, государственное устройство Германии и борьба

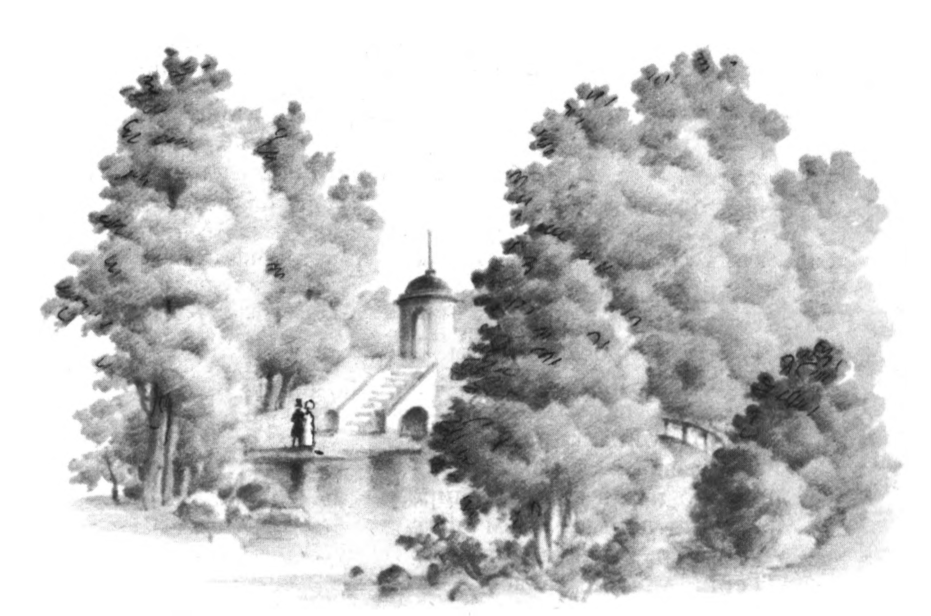
политических партий во Франции в преддверии революционных событий, парижские салоны, встречи с французскими писателями и русскими эмигрантами всех поколений, множество бесед и прочитанных книг — таков перечень европейских впечатлений Баратынского; он затрудняется описать их друзьям «от многосложности предметов» (с. 317). Париж понравился и вскоре утомил; «Буду доволен Парижем, когда его оставлю»,— пишет Баратынский Путяте (с. 318). Его уже тянет на родину; он начинает по-новому видеть ее на фоне европейской жизни. Весной 1844 г. они уезжают в Италию; здесь Баратынский встречается с З. А. Волконской, которую когда-то провожал — в стихотворении 1829 г. — «в лучший край», как в «лучший мир». В Италии характер впечатлений меняется, но они становятся еще более сильными: ночное море, «освещение, которое без резкости лампы выдает все оттенки, весь рисунок человеческого образа во всей точности и мягкости, мечтаемой артистом» (с. 321). Поразительна эта почти болезненная обостренность и насыщенность зрительных впечатлений: «Как наши северные леса, в своей романтической красоте, в своих задумчивых зыбях выражают все оттенки меланхолии, так ярко-зеленый, резко отделяющийся лист здешних деревьев живописует все степени счастья» (там же). В Неаполе он наслаждается «полнотой однообразных и вечно новых впечатлений» (с. 320). Он больше никуда не спешит.

29 июня 1844 г. Баратынский скончался в Неаполе, скоропостижно, как и его отец. Последнее письмо его Путяте звучит пророчески: «Обстоятельства принуждают нас пробыть здесь гораздо долее, чем мы предполагали...» Он просит Путяту уплатить его долги и взять на себя хлопоты по хозяйству. «Мы ведем в Неаполе самую сладкую жизнь. <...> Нежно обнимаю вас обоих, ваших и наших детей» (с. 323—324).

Смерть Баратынского не стала общенародным событием; она «безмолвною и невидимою тенью проскользнула» в русском обществе (с. 439). Его похоронили в Петербурге; из литераторов на похоронах были только Вяземский, Одоевский, Плетнев и Соллогуб.

Последним стихотворением Баратынского стало послание «Дядьке-итальянцу». Это стихотворение о смерти, о могиле отца вдали от его любимой Мары, о могиле итальянца вдали от его Неаполя; здесь странным образом приравнены друг к другу с детства близкая Баратынскому по рассказам Италия и его далекая родина.

Л. В. Дерюгина



Стихотворения

I

ДЕЛЬВИГУ

Так, любезный мой Гораций,
Так, хоть рад, хотя не рад,
Но теперь я Муз и Граций
Променял на вахтпарад;
Сыну милому Венеры,
Рощам Пафоса, Цитеры,
Приуныв, прости сказал;
Гордый лавр и мирт веселый
Кивер воина тяжелый
На главе моей измял.
Строю нет в забытой лире,
Хладно день за днем идет,
И теперь меня в мундире
Гений мой не узнает!

Мне ли думать о куплетах?
За свирель... а тут беды!
Марс, затянутый в штиблетах,
Обегает уж ряды,
Кличет ратников по-свойски...
О судьбы переворот!
Твой поэт летит геройски
Вместо Пинда — на развод.

Вам, свободные Пииты,
Петь, любить; меня же вряд
Иль Камены, иль Хариты
В карауле навестят.

Вольный баловень забавы,
Ты, которому дают
Говорливые дубравы
Поэтический приют,
Для кого в долине злачной,

Извиваясь, ключ прозрачный
Вдохновительно журчит,
Ты, кого зовут к свирели
Соловья живые трели,
Пой, любимец Аонид!
В тихой, сладостной кручине
Слушать буду голос твой,
Как внимают на чужбине
Языку страны родной.

1819

РОПОТ

Он близок, близок день свиданья,
Тебя, мой друг, увижу я!
Скажи: восторгом ожиданья
Что ж не трепещет грудь моя?
Не мне роптать; но дни печали,
Быть может, поздно миновали:
С тоской на радость я гляжу,—
Не для меня ее сиянье,
И я напрасно упованье
В больной душе моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполне:
Все мнится, счастлив я ошибкой,
И не к лицу веселье мне.

<1820>

РАЗЛУКА

Расстались мы; на миг очарованьем,
На краткий миг была мне жизнь моя;
Словам любви внимать не буду я,
Не буду я дышать любви дыханьем!
Я все имел, лишился вдруг всего;
Лишь начал сон... исчезло сновиденье!
Одно теперь унылое смущенье
Осталось мне от счастья моего.

<1820>

ФИНЛЯНДИЯ

В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
    Земли ледяного венца
    Богатыри сторожевые.
Он с лирой между вас. Поклон его, поклон
    Громадам, миру современным;
    Подобно им, да будет он
    Во все годины неизменным!

Как все вокруг меня пленяет чудно взор!
    Там необъятными водами
    Слилося море с небесами;
Тут с каменной горы к нему дремучий бор
  Сошел тяжелыми стопами,
Сошел — и смотрится в зерцале гладких вод!
Уж поздно, день погас; но ясен неба свод,
На скалы финские без мрака ночь нисходит,
    И только что себе в убор
    Алмазных звезд ненужный хор
    На небосклон она выводит!
Так вот отечество Одиновых детей,
    Грозы народов отдаленных!
Так это колыбель их беспокойных дней,
    Разбоям громким посвященных!

Умолк призывный щит, не слышен скальда глас,
Воспламененный дуб угас,
Развеял буйный ветр торжественные клики;
Сыны не ведают о подвигах отцов,
И в дольном прахе их богов
Лежат низверженные лики!

И все вокруг меня в глубокой тишине!
О вы, носившие от брега к брегу бои,
Куда вы скрылися, полночные герои?
Ваш след исчез в родной стране.
Вы ль, на скалы ее вперив скорбящи очи,
Плывете в облаках туманною толпой?
Вы ль? дайте мне ответ, услышьте голос мой,
Зовущий к вам среди молчанья ночи.
Сыны могучие сих грозных, вечных скал!
Как отделились вы от каменной отчизны?
Зачем печальны вы? зачем я прочитал
На лицах сумрачных улыбку укоризны?
И вы сокрылися в обители теней!
И ваши имена не пощадило время!
Что ж наши подвиги, что слава наших дней,
Что наше ветреное племя?
О, все своей чредой исчезнет в бездне лет!
Для всех один закон, закон уничтоженья,
Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья!

Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза их что-то говорит?
Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!
Что нужды до былых иль будущих племен?
Я не для них бренчу незвонкими струнами;
Я, невнимаемый, довольно награжден
За звуки звуками, а за мечты мечтами.

1820

К<ОНШИ>НУ

Пора покинуть, милый друг,
Знамена ветреной Киприды
И неизбежные обиды
Предупредить, пока досуг.
Чьих ожидать увещеваний!
Мы лишены старинных прав
На своеволие забав,
На своеволие желаний.
Уж отлетает век младой,
Уж сердце опытнее стало;
Теперь ни в чем, любезный мой,
Нам исступленье не пристало!
Оставим юным шалунам
Слепую жажду сладострастья;
Не упоения, а счастья
Искать для сердца должно нам.
Пресытясь буйным наслажденьем,
Пресытясь ласками Цирцей,
Шепчу я часто с умиленьем
В тоске задумчивой моей:
Нельзя ль найти любви надежной?
Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души;
В чье неизменное участье
Беспечно веровал бы я,
Случится ль вёдро иль ненастье
На перепутье бытия?
Где ж обреченная судьбою?
На чьей груди я успокою
Свою усталую главу?
Или с волненьем и тоскою
Ее напрасно я зову?
Или в печали одинокой
Я проведу остаток дней,
И тихий свет ее очей
Не озарит их тьмы глубокой,
Не озарит души моей!..

<1821>

ДЕЛЬВИГУ

Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти
В сей жизни блаженство прямое:
Небесные боги не делятся им
С земными детьми Прометея.

Похищенной искрой созданье свое
Дерзнул оживить безрассудный;
Бессмертных он презрел — и страшная казнь
Постигнула чад святотатства.

Наш тягостный жребий: положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться.

Нужды непреклонной слепые рабы,
Рабы самовластного рока!
Земным ощущеньям насильственно нас
Случайная жизнь покоряет.

Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное,
В желании счастья мы вечно к нему
Стремимся неясным желаньем!..

Вотще! Мы надолго отвержены им!
Сияет красою над нами,
На бренную землю беспечно оно
Торжественный свод опирает...

Но нам недоступно! Как алчный Тантал
Сгорает средь влаги прохладной,
Так, сердцем постигнув блаженнейший мир,
Томимся мы жаждою счастья.

<1821>

ЛИДЕ

Твой детский вызов мне приятен,
Но не желай моих стихов:
Не многим избранным понятен
Язык поэтов и богов.
Когда под звонкие напевы,
Под звук свирели плясовой,
Среди полей, рука с рукой,
Кружатся юноши и девы,—
Вмешавшись в резвый хоровод,
Хариты, ветреный Эрот,—
Дриады, фавны пляшут с ними
И гонят прочь толпу забот
Воскликновеньями своими;
Поодаль музы между тем,
Таяся в сумраке дубравы,
Глядят, не зримые никем,
На их невинные забавы;
Но их собор в то время нем.
Певцу ли ветрено бесславить
Плоды возвышенных трудов
И легкомыслие забавить
Игрою гордою стихов?
И той нередко, чье воззренье
Дарует лире вдохновенье,
Не поверяет он его:
Поет один, подобный в этом
Пчеле, которая со цветом
Не делит меда своего.

<1821>



РАЗУВЕРЕНИЕ

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

<1821>

ДЕЛЬВИГУ

Дай руку мне, товарищ добрый мой,
Путем одним пойдем до двери гроба,
И тщетно нам за грозною бедой
Беду грозней пошлет судьбины злоба.
Ты помнишь ли, в какой печальный срок
Впервые ты узнал мой уголок?
Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Я погибал,— ты дух мой оживил
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввел меня в семейство добрых муз;
Деля досуг меж ими и тобою,
Я ль чувствовал ее свинцовый груз
И перед ней унизился душою?

Ты сам порой глубокую печаль
В душе носил, но что? не мне ли вверить
Спешил ее? И дружба не всегда ль
Хоть несколько могла ее умерить?
Забытые фортуною слепой,
Мы ей назло друг в друге все имели
И, дружества твердя обет святой,
Бестрепетно в глаза судьбе глядели.
О! верь мне в том: чем жребий ни грозит,
Упорствуя в старинной неприязни,
Душа моя не ведает боязни,
Души моей ничто не изменит!
Так, милый друг! позволят ли мне боги
Ярмо забот сложить когда-нибудь
И весело на светлый мир взглянуть,
По-прежнему ль ко мне пребудут строги,
Всегда я твой. Судьей души моей
Ты должен быть и в вёдро и в ненастье,
Удвоишь ты моих счастливых дней
Неполное без разделенья счастье;
В дни бедствия я знаю, где найти
Участие в судьбе своей тяжелой;
Чего ж робеть на жизненном пути?
Иду вперед с надеждою веселой.
Еще позволь желание одно
Мне произнесть: молюся я судьбине,
Чтоб для тебя я стал хотя отныне,
Чем для меня ты стал уже давно.

<1822>

ДЕЛИИ

Зачем, о Делия! сердца младые ты
    Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
    Недосягаемого счастья?
Я видел вкруг тебя поклонников твоих,
    Полуиссохших в страсти жадной:

Достигнув их любви, любовным клятвам их
Внимаешь ты с улыбкой хладной.
Обманывай слепцов и смейся их судьбе,
Теперь душа твоя в покое;
Придется некогда изведать и тебе
Очарованье роковое!
Не опасаяся насмешливых сетей,
Быть может, избранный тобою
Уже не вверится огню любви твоей,
Не тронется ее тоскою.
Когда ж пора придет и розы красоты,
Вседневно свежестью беднея,
Погибнут, отвечай: к чему прибегнешь ты,
К чему, бесчарная Цирцея?
Искусством округлишь ты высохшую грудь,
Худые щеки нарумянишь,
Дитя крылатое захочешь как-нибудь
Вновь приманить... но не приманишь!
Взамену снов младых тебе не обрести
Покоя, поздних лет отрады;
Куда бы ни пошла, взроятся на пути
Самолюбивые досады!
Немирного душой на мирном ложе сна
Так убегает усыпленье,
И где для каждого доступна тишина,
Страдальца ждет одно волненье.

<1822>

ВОЗВРАЩЕНИЕ

На кровы ближнего селенья
Нисходит вечер, день погас.
Покинем рощу, где для нас
Часы летели как мгновенья!
Лель, улыбнись, когда из ней
Случится девице моей

Унесть во взорах пламень томный,
Мечту любви в душе своей
И в волосах листок нескромный.

<1822>

ПОЦЕЛУЙ

Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье:
И в шуме дня, и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье!
Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой —
Мне снишься ты, мне снится наслажденье!
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.

<1822>

ЛЕТА

Душ холодных упованье,
Неприязненный ручей,
Чье докучное журчанье
Усыпляет Элизей!
Так! достоин ты укора:
Для чего в твоих водах
Погибает без разбора
Память горестей и благ?
Прочь с нещадным утешеньем!
Я минувшее люблю
И вовек утех забвеньем
Мук забвенья не куплю.

<1823>

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

Желанье счастия в меня вдохнули боги;
Я требовал его от неба и земли
И вслед за призраком, манящим издали,
Жизнь перешел до полдороги;
Но прихотям судьбы я боле не служу:
Счастливый отдыхом, на счастие похожим,
Отныне с рубежа на поприще гляжу —
И скромно кланяюсь прохожим.

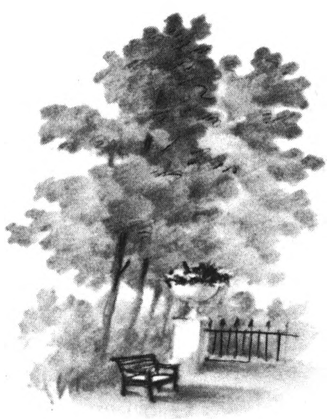
<1823>

* * *

О своенравная София!
От всей души я вас люблю,
Хотя и реже, чем другие,
И неискусней вас хвалю.
На ваших ужинах веселых,
Где любят смех и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Ни на уменье, ни на ум,
Где для холопа иль невежды
Не притворяясь, часто мы
Браним указы и псалмы,
Я основал свои надежды
И счастье нынешней зимы.
Ни в чем не следуя пристрастью,
Даете цену вы всему:
Рассудку, шалости, уму,
И удовольствию, и счастью;
Свет пренебрегши в добрый час
И утеснительную моду,
Всему и всем забавить вас
Вы дали полную свободу;

И потому далеко прочь
От вас бежит причудниц мука,
Жеманства пасмурная дочь,
Всегда зевающая скука.
Иной порою, знаю сам,
Я вас браню по пустякам.
Простите мне мои укоры:
Не ум один дивится вам,
Опасны сердцу ваши взоры;
Они лукавы, я слыхал,
И, все предвидя осторожно,
От власти их, когда возможно,
Спасти рассудок я желал.
Я в нем теперь едва ли волен,
И часто, пасмурный душой,
За то я вами недоволен,
Что недоволен сам собой.

<1823>



ПРИЗНАНИЕ

Притворной нежности не требуй от меня:
Я сердца моего не скрою хлад печальной.
Ты пра́ва, в нем уж нет прекрасного огня
    Моей любви первоначальной.
Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой, и прежние мечтанья:
    Безжизненны мои воспоминанья,
    Я клятвы дал, но дал их выше сил.

    Я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлекся я душою.
Уж ты жила неверной тенью в ней;

Уже к тебе взывал я редко, принужденно,
И пламень мой, слабея постепенно,
Собою сам погас в душе моей.

Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
Нас только первая любовь.

Грущу я; но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной:
Кто знает? мнением сольюся я с толпой;
Подругу без любви, кто знает? изберу я.
На брак обдуманный я руку ей подам
И в храме стану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,
И назову ее моею;
И весть к тебе придет, но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,
Душевным прихотям мы воли не дадим,
Мы не сердца под брачными венцами,
Мы жребии свои соединим.

Прощай! Мы долго шли дорогою одною;
Путь новый я избрал, путь новый избери;
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Невластны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

<1823>

ГНЕДИЧУ, КОТОРЫЙ СОВЕТОВАЛ СОЧИНИТЕЛЮ ПИСАТЬ САТИРЫ

Враг суетных утех и враг утех позорных,
Не уважаешь ты безделок стихотворных,

Не угодит тебе сладчайший из певцов
Развратной прелестью изнеженных стихов.
Возвышенную цель поэт избрать обязан.

К блестящим шалостям, как прежде, не привязан,
Я правилам твоим последовать бы мог;
Но ты ли мне велишь оставить мирный слог
И, едкой желчию напитывая строки,
Сатирою восстать на глупость и пороки?
Миролюбивый нрав дала судьбина мне,
И счастья моего искал я в тишине;
Зачем я удалюсь от столь разумной цели?
И, звуки легкие пастушеской свирели
В неугомонный лай неловко превратя,
Зачем себе врагов наделаю шутя?
Страшусь их множества и злобы их опасной.

Полезен обществу сатирик беспристрастный;
Дыша любовию к согражданам своим,
На их дурачества он жалуется им;
То укоризнами восстав на злодеянье,
Его приводит он в благое содроганье,
То едкой силою забавного словца
Смиряет попыхи надутого глупца;
Он нравов опекун и вместе правды воин.

Все так; но кто владеть пером его достоин!
Острот затейливых, насмешек едких дар,
Язвительных стихов какой-то злобный жар
И их старательно подобранные звуки,
За беспристрастие забавные поруки!
Но если полную свободу мне дадут,
Того ль я устрашу, кому не страшен суд,
Кто в сердце должного укора не находит,
Кого и божий гнев в заботу не приводит,
Кого не оскорбит язвительный язык!
Он совесть усыпил, к позору он привык.

Но слушай: человек, всегда корысти жадный,
Берется ли за труд, наверно безнаградный?
Купец расчетливый из добрых барышей
Вверяет корабли случайностям морей;
Из платы, отогнав сладчайшую дремоту,
Поденщик до зари выходит на работу;

На славу громкую надеждою согрет,
В трудах возвышенных возвышенный поэт.
Но рвенью моему что будет воздаяньем:
Не слава ль громкая? я беден дарованьем.
Стараясь в некий ум соотчичей привесть,
Я благодарность их мечтал бы приобресть,
Но, право, смысла нет во слове: благодарность,
Хоть нам и нравится его высокопарность.
Когда сей редкий муж, вельможа-гражданин,
От дней Фелициных оставшийся один,
Но смело дух ее хранивший в веке новом,
Обширный разумом и сильный, громкий словом,
Любовью к истине и к родине горя,
В советах не робел оспоривать царя;
Когда, прекрасному влечению послушный,
Внимать ему любил монарх великодушный,
Из благодарности о нем у тех и тех
Какие толки шли? — «Кричит он громче всех,
О благе общества как будто бы хлопочет,
А, право, риторством похвастать больше хочет;
Катоном смотрит он, но тонкого льстеца
От нас не утаит под строгостью лица».
Так лучшим подвигам людское развращенье
Придумать силится дурное побужденье;
Так, исключительно посредственность любя,
Спешит высокое унизить до себя;
Так самых доблестей завистливо трепещет
И, чтоб не верить им, на оные клевещет!

. . . .
. . . .

Нет, нет! разумный муж идет путем иным,
И, снисходительный к дурачествам людским,
Не выставляет их, но сносит благонравно;
Он не пытается, уверенный забавно
Во всемогуществе болтанья своего,
Им в людях изменить людское естество.
Из нас, я думаю, не скажет ни единый
Осине: дубом будь, иль дубу — будь осиной;
Меж тем как странны мы! Меж тем любой из нас
Переиначить свет задумывал не раз.

<1823>

ОПРАВДАНИЕ

Решительно печальных строк моих
Не хочешь ты ответом удостоить;
Не тронулась ты нежным чувством их
И презрела мне сердце успокоить!
Не оживу я в памяти твоей,
Не вымолю прощенья у жестокой!
Виновен я: я был неверен ей;
Нет жалости к тоске моей глубокой!
Виновен я: я славил жен других...
Так! но когда их слух предубежденный
Я обольщал игрою струн моих,
К тебе летел я думой умиленной,
Тебя я пел под именами их.
Виновен я: на балах городских,
Среди толпы, весельем оживленной,
При гуле струн, в безумном вальсе мча
То Делию, то Дафну, то Лилету
И всем троим готовый сгоряча
Произнести по страстному обету;
Касаяся душистых их кудрей
Лицом моим; объемля жадной дланью
Их стройный стан; — так! в памяти моей
Уж не было подруги прежних дней,
И предан был я новому мечтанью!
Но к ним ли я любовию пылал?
Нет, милая! когда в уединеньи
Себя потом я тихо поверял,
Их находя в моем воображеньи,
Тебя одну я в сердце обретал!
Приветливых, послушных без ужимок,
Улыбчивых для шалости младой,
Из-за угла Пафосских пилигримок
Я сторожил вечернею порой;
На миг один их своевольный пленник,
Я только был шалун, а не изменник.
Нет! более надменна, чем нежна,
Ты все еще обид моих полна...
Прости ж нáвек! но знай, что двух виновных,
Не одного, найдутся имена
В стихах моих, в преданиях любовных.

<1824>

К...

Мне с упоением заметным
Глаза поднять на вас беда:
Вы их встречаете всегда
С лицом сердитым, неприветным.
Я полон страстною тоской,
Но нет! рассудка не забуду
И на нескромный пламень мой
Ответа требовать не буду.
Не терпит бог младых проказ
Ланит увядших, впалых глаз.
Надежды были бы напрасны,
И к вам не ими я влеком.
Любуюсь вами, как цветком,
И счастлив тем, что вы прекрасны.
Когда я в очи вам гляжу,
Предавшись нежному томленью,
Слегка о прошлом я тужу,
Но рад, что сердце нахожу
Еще способным к упоенью.
Меж мудрецами был чудак:
«Я мыслю,— пишет он,— итак,
Я, несомненно, существую».
Нет! любишь ты, и потому
Ты существуешь: я пойму
Скорее истину такую.
Огнем, похищенным с небес,
Япетов сын (гласит преданье)
Одушевил свое созданье,
И наказал его Зевес
Неумолимый, Прометея
К скалам Кавказа приковал,
И сердце вран ему клевал;
Но, дерзость жертвы разумея,
Кто приговор не осуждал?
В огне волшебных ваших взоров
Я занял сердца бытие:
Ваш гнев достойнее укоров,
Чем преступление мое;
Но не сержусь я, шутка водит
Моим догадливым пером.

Я захожу в ваш милый дом,
Как вольнодумец в храм заходит.
Душою праздный с давних пор,
Еще твержу любовный вздор,
Еще беру прельщенья меры,
Как по привычке прежних дней
Он ароматы жжет без веры
Богам, чужим душе своей.

<1824>

ЧЕРЕП

Усопший брат! кто сон твой возмутил?
Кто пренебрег святынею могильной?
В разрытый дом к тебе я нисходил,
Я в руки брал твой череп желтый, пыльный!

Еще носил волос остатки он;
Я зрел на нем ход постепенный тленья.
Ужасный вид! как сильно поражен
Им мыслящий наследник разрушенья!

Со мной толпа безумцев молодых
Над ямою безумно хохотала;
Когда б тогда, когда б в руках моих
Глава твоя внезапно провещала!

Когда б она цветущим, пылким нам
И каждый час грозимым смертным часом
Все истины, известные гробам,
Произнесла своим бесстрастным гласом!

Что говорю? Стократно благ закон,
Молчаньем ей уста запечатлевший;
Обычай прав, усопших важный сон
Нам почитать издревле повелевший.

Живи живой, спокойно тлей мертвец!
Всесильного ничтожное созданье,
О человек! уверься наконец,
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!

Нам надобны и страсти и мечты,
В них бытия условие и пища:
Не подчинишь одним законам ты
И света шум и тишину кладбища!

Природных чувств мудрец не заглушит
И от гробов ответа не получит;
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.

<1824>



ЗВЕЗДА

Взгляни на звезды: много звезд
    В безмолвии ночном
Горит, блестит кругом луны
    На небе голубом.

Взгляни на звезды: между них
    Милее всех одна!
За что же? Ранее встает,
    Ярчей горит она?

Нет! утешает свет ее
    Расставшихся друзей:
Их взоры, в синей вышине,
    Встречаются на ней.

Она на небе чуть видна,
    Но с думою глядит,
Но взору шлет ответный взор
    И нежностью горит.

С нее в лазоревую ночь
Не сводим мы очес,
И провожаем мы ее
На небо и с небес.

Себе звезду избрал ли ты?
В безмолвии ночном
Их много блещет и горит
На небе голубом.

Не первой вставшей сердце вверь
И, суетный в любви,
Не лучезарнейшую всех
Своею назови.

Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит,
И взору шлет ответный взор,
И нежностью горит.

1824

БУРЯ

Завыла буря; хлябь морская
Клокочет и ревет, и черные валы
Идут, до неба восставая,
Бьют, гневно пеняся, в прибрежные скалы.

Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила в тучи облака
И на краю небес ненастье зародила?
Кто, возмутив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной розлил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью

И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью?
Земля трепещет перед ним:
Он небо заслонил огромными крылами
И двигает ревущими водами,
Бунтующим могуществом своим.

Когда придет желанное мгновенье?
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?
Но знай: красой далеких стран
Не очаровано мое воображенье.
Под небом лучшим обрести
Я лучшей доли не сумею;
Вновь не смогу душой моею
В краю цветущем расцвести.
Меж тем от прихоти судьбины,
Меж тем от медленной отравы бытия,
В покое раболепном я
Ждать не хочу своей кончины;
На яростных волнах, в борьбе со гневом их,
Она отраднее гордыне человека!
Как жаждал радостей младых
Я на заре младого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!

Волнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов к давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.

1824

БОГДАНОВИЧУ

В садах Элизия, у вод счастливой Леты,
Где благоденствуют отжившие поэты,
О Душенькин поэт, прими мои стихи!
Никак в писатели попал я за грехи
И, надоев живым посланьями своими,
Несчастным мертвецам скучать решаюсь ими.

Нет нужды до того! хочу в досужный час
С тобой поговорить про русский наш Парнас,
С тобой, поэт живой, затейливый и нежный,
Всегда пленительный, хоть несколько небрежный,
Чертам заметнейшим лукавой остроты
Дающий милый вид сердечной простоты
И часто, наготу рисуя нам бесчинно,
Почти бесстыдным быть умеющий невинно.

Не хладной шалостью, но сердцем внушена,
Веселость ясная в стихах твоих видна;
Мечты игривые тобою были петы.
В печаль влюбились мы. Новейшие поэты
Не улыбаются в творениях своих,
И на лице земли все как-то не по них.
Ну что ж? поклон, да вон! увы, не в этом дело;
Ни жить им, ни писать еще не надоело,
И правду без затей сказать тебе пора:
Пристала к музам их немецких муз хандра.
Жуковский виноват: он первый между нами
Вошел в содружество с германскими певцами
И стал передавать, забывши божий страх,
Жизнехуленья их в пленительных стихах.
Прости ему господь! — Но что же! все мараки
Ударились потом в задумчивые враки,
У всех унынием оделося чело,
Душа увянула и сердце отцвело.
Как терпит публика безумие такое?—
Ты спросишь. Публике наскучило простое,
Мудреное теперь любезно для нее:
У века дряхлого испортилось чутье.

Ты в лучшем веке жил. Не столько просвещенный,
Являл он бодрый ум и вкус неразвращенный,
Венцы свои дарил, без вычур толковит,
Он только истинным любимцам Аонид.
Но нет явления без творческой причины:
Сей благодатный век был век Екатерины!
Она любила муз, и ты ли позабыл,
Кто «Душеньку» твою всех прежде оценил?
Я думаю, в садах, где свет бессмертья блещет,
Поныне тень твоя от радости трепещет,

Воспоминая день, сей день, когда певца,
Еще за милый труд не ждавшего венца,
Она, друзья ее достойно наградили
И, скромного, его так лестно изумили,
Страницы «Душеньки» читая наизусть.
Сердца завистников стеснила злая грусть,
И на другой же день расспросы о поэте
И похвалы ему жужжали в модном свете.
Кто вкуса божеством теперь служил бы нам?
Кто в наши времена, и прозе и стихам
Провозглашая суд разборчивый и правый,
Заведовать бы мог Парнасскою управой?
О, добрый наш народ имеет для того
Особенных судей, которые его
В листах условленных и в цену приведенных
Снабжают мнением о книгах современных!
Дарует между нас и славу и позор
Торговой логики смышленый приговор.
О наших судиях не смею молвить слова,
Но слушай, как честят они один другого:
Товарищ каждого — глупец, невежда, враль;
Поверить надо им, хотя поверить жаль.

Как быть писателю? В пустыне благодатной,
Забывши модный свет, забывши свет печатный,
Как ты, философ мой, таиться без греха,
Избрать в советники кота и петуха
И, в тишине трудясь для собственного чувства,
В искусстве находить возмездие искусства!

Так, веку вопреки, в сей самый век у нас
Сладкопоющих лир порою слышен глас,
Благоуханный дым от жертвы бескорыстной!
Так нежный Батюшков, Жуковский живописный,
Неподражаемый и целую орду
Злых подражателей родивший на беду,
Так Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Все под пером своим шутя животворящий
(Тебе, я думаю, знаком довольно он:
Недавно от него товарищ твой Назон
Посланье получил), любимцы вдохновенья,
Не могут победить сердечного влеченья

И между нас поют, как некогда Орфей
Между мохнатых пел, по вере старых дней.
Бессмертие в веках им будет воздаяньем!

А я, владеющий убогим дарованьем,
Но рвением горя полезным быть и им,
Я правды красоту даю стихам моим,
Желаю доказать людских сует ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность.
Что мыслю, то пишу. Когда-то веселей
Я славил на заре своих цветущих дней
Законы сладкие любви и наслажденья.
Другие времена, другие вдохновенья;
Теперь важней мой ум, зрелее мысль моя.
Опять, когда умру, повеселею я;
Тогда беспечных муз беспечного питомца
Прими, философ мой, как старого знакомца

1824

ПЕСНЯ

Когда взойдет денница золотая,
    Горит эфир,
И ото сна встает, благоухая,
    Цветущий мир,
И славит все существованья сладость;
    С душой твоей
Что в пору ту? скажи, живая радость,
    Тоска ли в ней?

Когда на дев цветущих и приветных,
    Перед тобой
Мелькающих в одеждах разноцветных,
    Глядишь порой,

Глядишь и пьешь их томных взоров сладость;
    С душой твоей
Что в пору ту? скажи, живая радость,
    Тоска ли в ней?

Страдаю я! Из-за дубравы дальной
    Взойдет заря,
Мир озарит, души моей печальной
    Не озаря.
Будь новый день любимцу счастья в сладость!
    Душе моей
Противен он! что прежде было в радость,
    То в муку ей.

Что красоты, почти всегда лукавой,
    Мне долгий взор?
Обманчив он! знаком с его отравой
    Я с давних пор.
Обманчив он! его живая сладость
    Душе моей
Страшна теперь! что прежде было в радость,
    То в муку ей.

1824 или 1825

* * *

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина, плачешь ты,
И, как русалка, ты хохочешь!

1824—1825

НАДПИСЬ

Взгляни на лик холодный сей,
    Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
    Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
    Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
    Храня движенья вид.

1824 или 1825

СТАНСЫ

В глуши лесов счастлив один,
Другой страдает на престоле;
На высоте земных судьбин
И в незаметной, низкой доле
Всех благ возможных тот достиг,
Кто дух судьбы своей постиг.

Мы все блаженствуем равно,
Но все блаженствуем различно;
Уделом нашим решено,
Как наслаждаться им прилично,
И кто нам лучший дал совет,
Иль Эпикур, иль Эпиктет?

Меня тягчил печалей груз;
Но не упал я перед роком,
Нашел отраду в песнях муз
И в равнодушии высоком,
И светом пре́зренный удел
Облагородить я умел.

Хвала вам, боги! предо мной
Вы оправдалися отныне!
Готов я с бодрою душой
На все угодное судьбине,
И никогда сей лиры глас
Не оскорбит роптаньем вас!

<1825>

ДОРОГА ЖИЗНИ

В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас.
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.

<1825>

ОЖИДАНИЕ

Она придет! к ее устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам
Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье!
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.

<1825>

* * *

Сердечным нежным языком
Я искушал ее сначала;
Она словам моим внимала
С тупым, бессмысленным лицом.
В ней разбудить огонь желаний
Еще надежду я хранил
И сладострастных осязаний
Язык живой употребил...
Она глядела так же тупо,
Потом разгневалася глупо.
Беги за нею, модный свет,
Пленяйся девой идеальной!
Владею тайной я печальной:
Ни сердца в ней, ни пола нет.

<1825>

Д. ДАВЫДОВУ

Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
О ты, который в пыл сражений
Полки лихие бурно мчал
И гласом бранных песнопений
Сердца бесстрашных волновал!
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминаньи горделиво
Хранить я буду оный день!

Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой
И в славный год войны народной
В народе славной бородой!

1825



А. С. П<УШКИ>НУ

Поверь, мой милый! твой поэт
Тебе соперник не опасный!
Он на закате юных лет—
На утренней заре ты юности прекрасной.
Живого чувства полный взгляд,
Уста цветущие, румяные ланиты
Влюбленных песенок сильнее говорят
С душой догадливой Хариты.
Когда с тобой наедине
Порой красавица стихи мои похвалит,
Тебя напрасно опечалит
Ее внимание ко мне:
Она торопит пробужденье
Младого сердца твоего
И вынуждает у него
Свидетельство любви, ревнивое мученье.
Что доброго в моей судьбе,
И что я приобрел, красавиц воспевая?
Одно: моим стихом Харита молодая,
Быть может, выразит любовь свою к тебе!
Счастливый баловень Киприды!
Знай сердце женское, о! знай его верней,
И за притворные обиды
Лишь плату требовать умей!

А мне, мне предоставь таить огонь бесплодный,
Рожденный иногда воззреньем красоты,
Умом оспоривать сердечные мечты
И чувство прикрывать улыбкою холодной.

<1825>

А. А. В<ОЕЙКОВ>ОЙ

Очарованье красоты
    В тебе не страшно нам:
Не будишь нас, как солнце, ты
    К мятежным суетам;
От дольней жизни, как луна,
    Манишь за край земной,
И при тебе душа полна
    Священной тишиной.

<1826>

ЭПИГРАММА

Что ни болтай, а я великий муж!
Был воином, носил недаром шпагу;
Как секретарь, судебную бумагу
Вам начерню, перебелю; к тому ж
Я знаю свет,— держусь Христа и беса,
С ханжой ханжа, с повесою повеса;
В одном лице могу все лица я
Представить вам! Хотя под старость века,
Фаддей, мой друг, Фаддей, душа моя,
Представь лицо честного человека.

<1826>

*К****

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы,—

Прости: я громко негодую;
Прости, наставник и пророк!
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.

Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас удалым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом.

<1827>

ЭПИГРАММА

Окогченная летунья,
Эпиграмма-хохотунья,
Эпиграмма-егоза
Трется, вьется средь народа,
И завидит лишь урода —
Разом вцепится в глаза.

<1827>

СТАНСЫ

Судьбой наложенные цепи
Упали с рук моих, и вновь
Я вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь.

Степного неба свод желанный,
Степного воздуха струи,
На вас я в неге бездыханной
Остановил глаза мои.

Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов
И скромный дом в садовой чаще —
Приют младенческих годов.

Промчалось ты, златое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя
И, наблюдая, восскорбил.

Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье,
Но принесло ли плод оно?..

Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других.

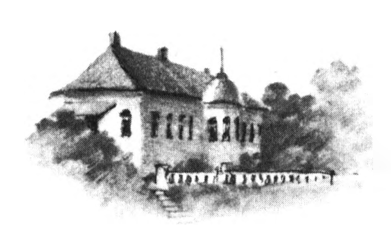
Я твой, родимая дуброва!
Но от насильственных судьбин
Молить хранительного крова
К тебе пришел я не один.

Привел под сень твою святую
Я соучастницу в мольбах —
Мою супругу молодую
С младенцем тихим на руках.

Пускай, пускай в глуши смиренной,
С ней, милой, быт мой утая,
Других урочищей вселенной
Не буду помнить бытия.

Пускай, о свете не тоскуя,
Предав забвению людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни в любви моей.

1827



ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем, как волны, на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон,
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.

Созданье ли болезненной мечты
Иль дерзкого ума соображенье,
Во глубине полночной темноты
Представшее очам моим виденье?

Не ведаю; но предо мной тогда
Раскрылися грядущие года;
События вставали, развивались,
Волнуяся, подобно облакам,
И полными эпохами являлись
От времени до времени очам,
И наконец я видел без покрова
Последнюю судьбу всего живого.

Сначала мир явил мне дивный сад:
Везде искусств, обилия приметы;
Близ веси весь и подле града град,
Везде дворцы, театры, водометы,
Везде народ, и хитрый свой закон
Стихии все признать заставил он:
Уж он морей мятежные пучины
На островах искусственных селил,
Уж рассекал небесные равнины
По прихоти им вымышленных крил;
Все на земле движением дышало,
Все на земле как будто ликовало.

Исчезнули бесплодные года,
Оратаи по воле призывали
Ветра, дожди, жары и холода,
И верною сторицей воздавали
Посевы им, и хищный зверь исчез
Во тьме лесов, и в высоте небес,
И в бездне вод, сраженный человеком,
И царствовал повсюду светлый мир.
Вот, мыслил я, прельщенный дивным веком,
Вот разума великолепный пир!
Врагам его и в стыд и в поученье,
Вот до чего достигло просвещенье!

Прошли века. Яснеть очам моим
Видение другое начинало:
Что человек? что вновь открыто им?
Я гордо мнил, и что же мне предстало?
Наставшую эпоху я с трудом
Постигнуть мог смутившимся умом.

Глаза мои людей не узнавали;
Привыкшие к обилью дольных благ,
На все они спокойные взирали,
Что суеты рождало в их отцах,
Что мысли их, что страсти их, бывало,
Влечением всесильным увлекало.

Желания земные позабыв,
Чуждаяся их грубого влеченья,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им заменил другие побужденья,
И в полное владение свое
Фантазия взяла их бытие,
И умственной природе уступила
Телесная природа между них:
Их в Эмпирей и в Хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих;
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали.

Прошли века, и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершалася живущего судьбина.
Где люди? где? Скрывалися в гробах!
Как древние столпы на рубежах,
Последние семейства истлевали;
В развалинах стояли города,
По пажитям заглохнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада;
С людьми для них исчезло пропитанье:
Мне слышалось их гладное блеянье.

И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.
По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло,

Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло:
Один туман над ней, синея, вился
И жертвою чистительной дымился.

<1827>



УВЕРЕНИЕ

Нет, обманула вас молва,
По-прежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца;
Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца.

1828(?)

ФЕЯ

Порою ласковую Фею
Я вижу в обаяньи сна,
И всей наукою своею
Служить готова мне она.
Душой обманутой ликуя,
Мои мечты ей лепечу я;
Но что же? странно и во сне
Непокупное счастье мне:
Всегда дарам своим предложит
Условье некое она,

Которым, злобно смышлена,
Их отравит иль уничтожит.
Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;
Знать, миру явному дотоле
Наш бедный ум порабощен,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон!

1828<?>

ИЗ А. ШЕНЬЕ

Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо мое утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую ее, покой ее люблю,
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта,
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Мое грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой музы —
Все обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.

<1828>

* * *

Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем:

Какой же плод науки долгих лет?
Что наконец подсмотрят очи зорки?
Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? точный смысл народной поговорки.

<1828>

* * *

Мой дар убог и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

<1828>

* * *

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик,
Доратов ли, Шекспиров ли двойник —
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

1828

ПРИ ПОСЫЛКЕ «БАЛА» С. Э.

Тебе ль, невинной и спокойной,
Я приношу в нескромный дар
Рассказ, где страсти недостойной
Изображен преступный жар?

И безобразный и мятежный,
Он не пленит твоей мечты;
Но что? на память дружбы нежной
Его, быть может, примешь ты.

Жилец семейственного круга,
Так в дар приемлет домосед
От путешественника-друга
Пустыни дальной дикий цвет.

1828

СМЕРТЬ

Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболепною мечтой
Гробовый остов ей даруя,
Не ополчу ее косой.

О дочь верховного эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.

Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое храненье всемогущий
Его устройство поручил.

И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия,
И в нем прохладным дуновеньем
Смиряя буйство бытия.

Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты, на брега свои бегущий,
Вспять возвращаешь океан.

Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.

А человек! Святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.

Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.

Недоуменье, принужденье,
Условье смутных наших дней:
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

<1828>

КНЯГИНЕ З. А. ВОЛКОНСКОЙ НА ОТЪЕЗД ЕЕ В ИТАЛИЮ

Из царства виста и зимы,
Где, под управой их двоякой,
И атмосферу и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон —
Одушевленный, сладострастный,
Где в кущах, в портиках палат
Октавы Тассовы звучат;
Где в древних камнях боги живы,
Где в новой, чистой красоте
Рафаэль дышит на холсте;
Где все холмы красноречивы,
Но где не стыдно, может быть,
Герои, мира властелины,
Ваш Капитолий позабыть
Для капитолия Коринны;
Где жизнь игрива и легка,
Там лучше ей, чего же боле?
Зачем же тяжкая тоска
Сжимает сердце поневоле?
Когда любимая краса
Последним сном смыкает вежды,
Мы полны ласковой надежды,
Что ей открыты небеса,
Что лучший мир ей уготован,
Что славой вечною светло
Там заблестит ее чело;
Но скорбный дух не уврачеван,
Душе стесненной тяжело,
И неутешно мы рыдаем.
Так, сердца нашего кумир,
Ее печально провожаем
Мы в лучший край и лучший мир.

1829

ЭПИГРАММА

Поверьте мне, Фиглярин-моралист
Нам говорит преумиленным слогом:
«Не должно красть: кто на руку нечист,
Перед людьми грешит и перед богом;
Не надобно в суде кривить душой,
Нехорошо живиться клеветой,
Временщику подслуживаться низко;
Честь, братцы, честь дороже нам всего!»
Ну что ж? Бог с ним! все это к правде близко,
А может быть, и ново для него.

1829

ЭПИГРАММА

Что пользы вам от шумных ваших прений?
Кипит война; но что же? никому
Победы нет! Сказать ли, почему?
Ни у кого ни мыслей нет, ни мнений.
Хотите ли, чтобы народный глас
Мог увенчать кого-нибудь из вас?
Чем холостой словесной перестрелкой
Морочить свет и множить пустяки,
Порадуйте нас дельною разделкой:
Благословясь, схватитесь за виски.

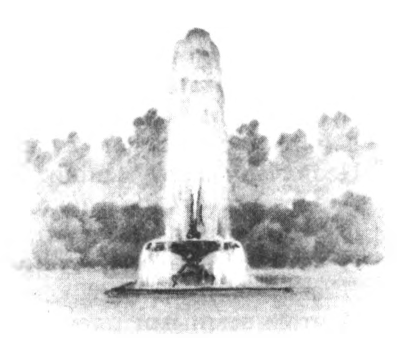
1829

* * *

Чудный град порой сольется
Из летучих облаков,
Но лишь ветр его коснется,
Он исчезнет без следов.

Так мгновенные созданья
Поэтической мечты
Исчезают от дыханья
Посторонней суеты.

<1829>



МУЗА

Не ослеплен я Музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он, скорей чем едким осужденьем,
Ее почтит небрежной похвалой.

<1829>

ПОДРАЖАТЕЛЯМ

Когда, печалью вдохновенный,
Певец печаль свою поет,
Скажите, отзыв умиленный
В каком он сердце не найдет?
Кто, вековых проклятий жаден,
Дерзнет осмеивать ее?
Но для притворства всякий хладен,
Плач подражательный досаден,
Смешно жеманное вытье!
Не напряженного мечтанья
Огнем услужливым согрет —
Постигнул таинства страданья
Душемутительный поэт.
В борьбе с тяжелою судьбою
Познал он меру вышних сил,
Сердечных судорог ценою
Он выраженье их купил.
И вот нетленными лучами
Лик песнопевца окружен,
И чтим земными племенами,
Подобно мученику, он.
А ваша муза площадная,
Тоской заемною мечтая
Родить участие в сердцах,
Подобна нищей развращенной,
Моляцей лепты незаконной
С чужим ребенком на руках.

<1829>

ОТРЫВОК

О н

Под этой липою густою
Со мной сядь, мой милый друг;
Смотри, как живо все вокруг!

Какой зеленой пеленою
К реке нисходит этот луг!
Какая свежая дуброва
Глядится с берега другого
В ее веселое стекло!
Как небо чисто и светло!
Все в тишине; едва смущает
Живую сень и чуткий ток
Благоуханный ветерок,—
Он сердцу счастье навевает!
Молчишь ты?

Она

О любезный мой!
Всегда я счастлива с тобой
И каждый миг равно ласкаю.

Он

Я с умиленною душой
Красу творенья созерцаю.
От этих вод, лесов и гор
Я на эфирную обитель,
На небеса подъемлю взор
И думаю: велик зиждитель,
Прекрасен мир! Когда же я
Воспомню тою же порою,
Что в этом мире ты со мною,
Подруга милая моя...
Нет сладким чувствам выраженья,
И не могу в избытке их
Невольных слез благодаренья
Остановить в глазах моих.

Она

Воздай тебе создатель вечный!
О чем еще его молить!
Ах! об одном: не пережить
Тебя, друг милый, друг сердечный.

Он

Ты грустной мыслию меня
Смутила. Так! сегодня зренье
Пленяет свет веселый дня,
Пленяет божие творенье;
Теперь в руке моей твою
Я с чувством пламенным сжимаю,
Твой нежный взор я понимаю,
Твой сладкий голос узнаю...
А завтра... завтра... как ужасно!
Мертвец незрящий и глухой,
Мертвец холодный!.. Луч дневной
В глаза ударит мне напрасно!
Вотще к устам моим прильнешь
Ты воспаленными устами,
Ко мне с обильными слезами,
С рыданьем громким воззовешь —
Я не проснусь! И что мы знаем?
Не только завтра, сей же час
Меня не будет! Кто из нас
В земном блаженстве не смущаем
Такою думой?

Она

Что с тобой?
Зачем твое воображенье
Предупреждает провиденье?
Бог милосерд, друг милый мой!
Здоровы, молоды мы оба,
Еще далеко нам до гроба.

Он

Но все ж умрем мы наконец,
Все ляжем в землю.

Она

Что же, милый?
Есть бытие и за могилой,
Нам обещал его творец.

Спокойны будем: нет сомненья,
Мы в жизнь другую перейдем,
Где нам не будет разлученья,
Где все земные опасенья
С земною пылью отряхнем.
Ах! как любить без этой веры!

Он

Так, всемогущий без нее
Нас искушал бы выше меры;
Так, есть другое бытие!
Ужели некогда погубит
Во мне он то, что мыслит, любит,
Чем он созданье довершил,
В чем, с горделивым наслажденьем,
Мир повторил он отраженьем
И сам себя изобразил?
Ужели творческая сила
Лукавым светом бытия
Мне ужас гроба озарила,
И только?.. Нет, не верю я.
Что свет являет? Пир нестройный!
Презренный властвует; достойный
Поник гонимою главой;
Несчастлив добрый, счастлив злой.
Как! не терпящая смешенья
В слепых стихиях вещества,
На хаос нравственный воззренья
Не бросит мудрость божества?
Как! между братьями своими
Мы видим правых и благих,
И, превзойден детьми людскими,
Не прав, не благ создатель их?..
Нет! мы в юдоли испытанья,
И есть обитель воздаянья;
Там, за могильным рубежом,
Сияет день незаходимый,
И оправдается незримый
Пред нашим сердцем и умом.

Она

Зачем в такие размышленья
Ты погружаешься душой?
Ужели нужны, милый мой,
Для убежденных убежденья?
Премудрость вышнего творца
Не нам исследовать и мерить;
В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.
Пойдем; грустна я в самом деле,
И от мятежных слов твоих,
Я признаюсь, во мне доселе
Сердечный трепет не затих.

<1829>

* * *

Где сладкий шепот
Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы лугов?
Деревья голы.
Ковер зимы
Покрыл холмы,
Луга и долы.
Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет;
Все цепенеет,
Лишь ветер злой,
Бушуя, воет
И небо кроет
Седою мглой.

Зачем, тоскуя,
В окно слежу я
Метели лёт?

Любимцу счастья
Кров от ненастья
Оно дает.
Огонь трескучий
В моей печи;
Его лучи
И пыл летучий
Мне веселят
Беспечный взгляд.
В тиши мечтаю
Перед живой
Его игрой,
И забываю
Я бури вой.



О провиденье,
Благодаренье!
Забуду я
И дуновенье
Бурь бытия.
Скорбя душою,
В тоске моей,
Склонюсь главою
На сердце к ней,
И под мятежной
Метелью бед,
Любовью нежной
Ее согрет,
Забуду вскоре
Крутое горе,
Как в этот миг
Забыл природы
Гробовый лик
И непогоды
Мятежный крик.

1831 (?)

* * *

Бывало, отрок, звонким кликом
Лесное эхо я будил,
И верный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил.
Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.
Игра стихов, игра златая!
Как звуки, звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но все проходит. Остываю
Я и к гармонии стихов —
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.

1831

МОЙ ЭЛИЗИЙ

Не славь, обманутый Орфей,
Мне Элизийские селенья:
Элизий в памяти моей
И не кропим водой забвенья.
В нем мир цветущий старины
Умерших тени населяют,
Привычки жизни сохраняют
И чувств ее не лишены.
Там жив ты, Дельвиг! там за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.

1831

* * *

В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей
Со мною жил превратный гений,
Наперсник юности моей.
Он жар восторгов несогласных
Во мне питал и раздувал;
Но соразмерностей прекрасных
В душе носил я идеал:
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой,
Поэта мерные творенья
Блистали стройной красотой.

Страстей порывы утихают,
Страстей мятежные мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты;
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.

1831

Н. М. ЯЗЫКОВУ

Языков, буйства молодого
Певец роскошный и лихой!
По воле случая слепого
Я познакомился с тобой
В те осмотрительные лета,
Когда смиренная диета
Нужна здоровью моему,
Когда и тошный опыт света
Меня наставил кой-чему,

Когда от бурных увлечений
Желанным отдыхом дыша,
Для благочинных размышлений
Созрела томная душа;
Но я люблю восторг удалый,
Разгульный жар твоих стихов.
Дай руку мне: ты славный малый,
Ты в цвете жизни, ты здоров;
И неумеренную радость,
Счастливец, славить ты в правах;
Звучит лирическая младость
В твоих лирических грехах.
Не буду строгим моралистом
Или бездушным журналистом;
Приходит все своим чредом:
Послушный голосу природы,
Предупредить не должен годы
Ты педантическим пером;
Другого счастия поэтом
Ты позже будешь, милый мой,
И сам искупишь перед светом
Проказы музы молодой.

1831

ЯЗЫКОВУ

Бывало, свет позабывая
С тобою, счастливым певцом,
Твоя Камена молодая
Венчалась гроздьем и плющом
И песни ветреные пела,
И к ней, безумна и слепа,
То, увлекаясь, пламенела
Любовью грубою толпа,
То, на свободные напевы
Сердяся в ханжестве тупом,
Она ругалась чудной девы
Ей непонятным божеством.

Во взорах пламень вдохновенья,
Огонь восторга на щеках,
Был жар хмельной в ее глазах
Или румянец вожделенья...
Она высоко рождена,
Ей много славы подобает:
Лишь для любовника она
Наряд Менады надевает;
Яви ж, яви ее скорей,
Певец, в достойном блеске миру:
Наперснице души твоей
Дай диадему и порфиру;
Державный сан ее открой,
Да изумит своей красой,
Да величавый взор смущает
Ее злословного судью,
Да в ней хулитель твой познает
Мою царицу и свою.

1831

НА СМЕРТЬ ГЕТЕ

Предстала, и старец великий смежил
    Орлиные очи в покое;
Почил безмятежно, зане совершил
    В пределе земном все земное!
Над дивной могилой не плачь, не жалей,
Что гения череп — наследье червей.

Погас! но ничто не оставлено им
    Под солнцем живых без привета;
На все отозвался он сердцем своим,
    Что просит у сердца ответа:
Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашел ей предел.

Все дух в нем питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
Цветущих времен упованья;
Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату, и в царский чертог.

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Изведан, испытан им весь человек!
И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век
И нас за могильной доскою,
За миром явлений, не ждет ничего,—
Творца оправдает могила его.

И если загробная жизнь нам дана,
Он, здешней вполне отдышавший
И в звучных, глубоких отзывах сполна
Все дольное долу отдавший,
К предвечному легкой душой возлетит,
И в небе земное его не смутит.

1832

КОЛЬЦО

С. Э<нгельгард>т

«Дитя мое,— она сказала,—
Возьмешь иль нет мое кольцо?—
И головою покачала,
С участьем глядя ей в лицо.—

Знай, друга даст тебе, девица,
Кольцо счастливое мое,
Ты будешь дум его царица,
Его второе бытие.

Но договор судьбой ревнивой
С прекрасным даром сопряжен,
И красоте самолюбивой
Тяжел, я знаю, будет он.

Свет, к ней суровый, не приметит
Ее приветливых очей,
Ее улыбку хладно встретит
И не поймет ее речей.

Вотще ей разум, дарованья,
И чувств и мыслей прямота:
Их свет оставит без вниманья,
Обезобразит клевета.

И долго, долго сиротою
Она по сборищам людским
Пойдет с поникшей головою,
Одна с унынием своим.

Но девы нежной не обманет
Мое счастливое кольцо:
Ей судия ее предстанет,
И процветет ее лицо».

Внимала дева молодая,
Невинным взором весела,
И, тайный жребий свой решая,
Кольцо с улыбкою взяла.

Иди ж с надеждою веселой!
Творец тебя благослови
На подвиг долгий и тяжелый
Всезабывающей любви.

И до свершенья договора,
В твои ненастливые дни,
Когда нужна тебе опора,
Мне, друг мой, руку протяни.

<1833>

* * *

К чему невольнику мечтания свободы?
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных брегах, по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти. Небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет. Бродячий ветр не волен, и закон
Его летучему дыханью положен.
Уделу своему и мы покорны будем,
Мятежные мечты смирим иль позабудем,
Рабы разумные, послушно согласим
Свои желания со жребием своим —
И будет счастлива, спокойна наша доля.
Безумец! не она ль, не вышняя ли воля
Дарует страсти нам? и не ее ли глас
В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.

<1833>

* * *

Наслаждайтесь: все проходит!
То благой, то строгий к нам,
Своенравно рок приводит
Нас к утехам и к бедам.
Чужд он долгого пристрастья:
Вы, чья жизнь полна красы,
На лету ловите счастья
Ненадежные часы.

Не ропщите: все проходит,
И ко счастью иногда
Неожиданно приводит
Нас суровая беда.

И веселью и печали
На изменчивой земле
Боги праведные дали
Одинакие криле.

<1834>

* * *

Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня,
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?
Освобожусь воображеньем,
И крылья духа подыму,
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму?

Вотще ль мольбы? напрасны ль пени?
Увижу ль снова ваши сени,
Сады поэзии святой?
Увижу ль вас, ее светила?
Вотще! я чувствую: могила
Меня живого приняла,
И, легкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла.

<1834>

* * *

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

<1834>

* * *

О мысль! тебе удел цветка:
Он свежий манит мотылька,
Прельщает пчелку золотую,
К нему с любовью мошка льнет,
И стрекоза его поет;
Утратил прелесть молодую
И чередой своей поблек —
Где пчелка, мошка, мотылек?
Забыт он роем их летучим,
И никому в нем нужды нет;
А тут зерном своим падучим
Он зарождает новый цвет.

<1834>

* * *

О, верь: ты, нежная, дороже славы мне.
Скажу ль? мне иногда докучно вдохновенье:
    Мешает мне его волненье
    Дышать любовью в тишине!
Я сердце предаю сердечному союзу:
    Приди, мечты мои рассей,
Ласкай, ласкай меня, о друг души моей!
И покори себе бунтующую музу.

<1834>

* * *

Есть милая страна, есть угол на земле,
Куда, где б ни были: средь буйственного стана,
В садах Армидиных, на быстром корабле,
Браздящем весело равнины океана,—
Всегда уносимся мы думою своей;
Где, чужды низменных страстей,
Житейским подвигам предел мы назначаем,
Где мир надеемся забыть когда-нибудь
    И вежды старые сомкнуть
    Последним, вечным сном желаем.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
    Я помню ясный, чистый пруд;
    Под сению берез ветвистых,
Средь мирных вод его три острова цветут;
Светлея нивами меж рощ своих волнистых,

За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкой,
А там счастливый дом... туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!
Там сердце томное, больное обрело
    Ответ на все, что в нем горело,
И снова для любви, для дружбы расцвело
    И счастье вновь уразумело.
Зачем же томный вздох и слезы на глазах?
Она, с болезненным румянцем на щеках,
Она, которой нет, мелькнула предо мною.
Почий, почий легко под дерном гробовым:
    Воспоминанием живым
    Не разлучимся мы с тобою!
Мы плачем... но прости! Печаль любви сладка,
    Отрадны слезы сожаленья!
Не то холодная, суровая тоска,
    Сухая скорбь разуверенья.

<1834>

* * *

Весна, весна! как воздух чист!
    Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
    Слепит мне очи он.

Весна, весна! как высоко
    На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
    Летают облака!

Шумят ручьи! блестят ручьи!
    Взревев, река несет
На торжествующем хребте
    Поднятый ею лед!

Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.



Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жаворонок поет
Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит,
Летает в небе с ней!

Зачем так радует ее
И солнце и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?

Что нужды! счастлив, кто на нем
Забвенье мысли пьет,
Кого далеко от нее
Он, дивный, унесет!

<*1834*>

* * *

Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей:
Безотчетное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно символ
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашел.

Вспыхнув полною любовью
И любви посвящено,
Не хочу, чтоб суесловью
Было ведомо оно.
Что в нем свету? Но сомненье
Если дух ей возмутит,
О, его в одно мгновенье
Это имя победит;
Но в том мире, за могилой,
Где нет образов, где нет
Для узнанья, друг мой милый,
Здешних чувственных примет,
Им бессмертье я привечу,
К безднам им воскликну я,
Да душе моей навстречу
Полетит душа твоя.

<1834>

ЗАПУСТЕНИЕ

Я посетил тебя, пленительная сень,
Не в дни веселые живительного мая,
Когда, зелеными ветвями помавая,
Манишь ты путника в свою густую тень,
Когда ты веешь ароматом
Тобою бережно взлелеянных цветов,—
Под очарованный твой кров
Замедлил я моим возвратом.
В осенней наготе стояли дерева
И неприветливо чернели;
Хрустела под ногой замерзлая трава,
И листья мертвые, волнуяся, шумели;
С прохладой резкою дышал
В лицо мне запах увяданья;
Но не весеннего убранства я искал,
А прошлых лет воспоминанья.

Душой задумчивый, медлительно я шел
С годов младенческих знакомыми тропами;
Художник опытный их некогда провел.
Увы, рука его изглажена годами!
Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход
Случайно протоптал. Сошел я в дол
заветный,
Дол, первых дум моих лелеятель
приветный!
Пруда знакомого искал красивых вод,
Искал прыгучих вод мне памятной каскады;
Там, думал я, к душе моей
Толпою полетят виденья прежних дней...
Вотще! лишенные хранительной преграды,
Далече воды утекли,
Их ложе поросло травою.
Приют хозяйственный в нем улья обрели
И легкая тропа исчезла предо мною.
Ни в чем знакомого мой взор не обретал!
Но вот по-прежнему, лесистым косогором,
Дорожка смелая ведет меня... обвал
Вдруг поглотил ее... Я стал
И глубь нежданную измерил грустным взором.
С недоумением искал другой тропы.
Иду я: где беседка тлеет
И в прахе перед ней лежат ее столпы,
Где остов мостика дряхлеет.
И ты, величественный грот,
Тяжело-каменный, постигнут разрушеньем
И угрожаешь уж паденьем,
Бывало, в летний зной прохлады полный свод!
Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей.
Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,
Кто, безыменной неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал,
Кто, преклоняя слух к таинственному шуму
Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал
Ему сочувственную думу.

Давно кругом меня о нем умолкнул слух,
Прияла прах его далекая могила,
Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух;
    Здесь, друг мечтанья и природы,
    Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной тени невянущих дубров,
    У нескудеющих ручьев,
    Я тень, священную мне, встречу.

1834

* * *

Вот верный список впечатлений
И легкий и глубокий след
Страстей, порывов юных лет,
Жизнь родила его — не гений.
Подобен он скрыжали той,
Где пишет ангел неподкупный
Прекрасный подвиг и преступный —
Все, что творим мы под луной.
Я много строк моих, о Лета!
В тебе желал бы окунуть
И утаить их как-нибудь
И от себя и ото света...
Но уж свое они рекли,
А что прошло, то непреложно.
Года волненья протекли,
И мне перо оставить можно.
Теперь я знаю бытие.
Одно желание мое —
Покой, домашние отрады.

И, погружен в самом себе,
Смеюсь я людям и судьбе,
Уж не от них я жду награды.
Но что? с бессонною душой,
С душою чуткою поэта
Ужели вовсе чужд я света?
Проснуться может пламень мой,
Еще, быть может, я возвышу
Мой голос, родина моя!
Ни бед твоих я не услышу,
Ни славы, струны утая.

1834 (?)

II

СУМЕРКИ

КНЯЗЮ ПЕТРУ АНДРЕЕВИЧУ ВЯЗЕМСКОМУ

Как жизни общие призывы,
Как увлеченья суеты,
Понятны вам страстей порывы
И обаяния мечты;
Понятны вам все дуновенья,
Которым в море бытия
Послушна наша ладия.
Вам приношу я песнопенья,
Где отразилась жизнь моя:
Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты,
И между тем любви высокой,
Любви добра и красоты.

Счастливый сын уединенья,
Где сердца ветреные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет, —
Еще порою покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой.
Ищу я вас, гляжу: что с вами?
Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами,
И светом высшего огня?

Что вам дарует провиденье?
Чем испытует небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье,
Да скоро минет скорбный час!

Звезда разрозненной Плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благости молю,
От вас отвлечь судьбы суровой
Удары грозные хочу,
Хотя вам прозою почтовой
Лениво дань мою плачу.

1834

ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

Для ликующей свободы
Вновь Эллада ожила,
Собрала свои народы
И столицы подняла;
В ней опять цветут науки,
Носит понт торговли груз,
Но не слышны лиры звуки
В первобытном рае муз!

Блестит зима дряхлеющего мира,
Блестит! Суров и бледен человек;
Но зелены в отечестве Омира
Холмы, леса, брега лазурных рек.
Цветет Парнас! пред ним, как в оны годы,
Кастальский ключ живой струею бьет;
Нежданный сын последних сил природы —
Возник Поэт: идет он и поет.

Воспевает, простодушной,
Он любовь и красоту
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету:
Мимолетные страданья
Легкомыслием целя,
Лучше, смертный, в дни незнанья
Радость чувствует земля.

Поклонникам Урании холодной
Поет, увы! он благодать страстей;
Как пажити Эол бурнопогодной,
Плодотворят они сердца людей;
Живительным дыханием развита,
Фантазия подъемлется от них,
Как некогда возникла Афродита
Из пенистой пучины вод морских.

И зачем не предадимся
Снам улыбчивым своим?
Жарким сердцем покоримся
Думам хладным, а не им!
Верьте сладким убежденьям
Вас ласкающих очес
И отрадным откровеньям
Сострадательных небес!

Суровый смех ему ответом; персты
Он на струнах своих остановил,
Сомкнул уста, вещать полуотверсты,
Но гордыя главы не преклонил:
Стопы свои он в мыслях направляет
В немую глушь, в безлюдный край; но свет
Уж праздного вертепа не являет,
И на земле уединенья нет!

Человеку непокорно
Море синее одно,
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.

Оно шумит перед скалой Левкада.
На ней певец, мятежной думы полн,
Стоит... в очах блеснула вдруг отрада:
Сия скала... тень Сафо!.. голос волн...
Где погребла любовница Фаона
Отверженной любви несчастный жар,
Там погребет питомец Аполлона
Свои мечты, свой бесполезный дар!

И по-прежнему блистает
Хладной роскошию свет,
Серебрит и позлащает
Свой безжизненный скелет;
Но в смущение приводит
Человека вал морской,
И от шумных вод отходит
Он с тоскующей душой!

<1835>

* * *

Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.

Гонит в нем наш век надменный,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.

Воздержи младую силу!
Дней его не возмущай;
Но пристойную могилу,
Как уснет он, предку дай.

<1841>

НОВИНСКОЕ

А. С. Пушкину

Она улыбкою своей
Поэта в жертвы пригласила,
Но не любовь ответом ей
Взор ясный думой осенила.
Нет, это был сей легкой сон,
Сей тонкой сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви — для вдохновенья.

1826<?>



ПРИМЕТЫ

Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил ее знаменья с верой;

Покуда природу любил он, она
    Любовью ему отвечала,
О нем дружелюбной заботы полна,
    Язык для него обретала.

Почуя беду над его головой,
    Вран каркал ему в опасенье,
И замысла, в пору смирясь пред судьбой,
    Воздерживал он дерзновенье.

На путь ему выбежав из лесу, волк,
    Крутясь и подъемля щетину,
Победу пророчил, и смело свой полк
    Бросал он на вражью дружину.

Чета голубиная, вея над ним,
    Блаженство любви прорицала.
В пустыне безлюдной он не был одним,
    Нечуждая жизнь в ней дышала.

Но чувство презрев, он доверил уму;
    Вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось ему,
    И нет на земле прорицаний.

<1839>

* * *

Всегда и в пурпуре и в злате,
В красе негаснущих страстей,
Ты не вздыхаешь об утрате
Какой-то младости твоей.
И юных Граций ты прелестней!
И твой закат пышней, чем день!
Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень!

<1840>

* * *

Увы! Творец не первых сил!
На двух статейках утомил
Ты кой-какое дарованье!
Лишенный творческой мечты,
Уже, в жару нездравом, ты
Коверкать стал правописанье!

Неаполь возмутил рыбарь,
И, власть прияв, как мудрый царь,
Двенадцать дней он градом правил;
Но что же? — непривычный ум,
Устав от венценосных дум,
Его в тринадцатый оставил.

<1838>

НЕДОНОСОК

Я из племени духо́в,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.
Как мне быть? Я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.

Блещет солнце: радость мне!
С животворными лучами
Я играю в вышине
И веселыми крылами
Ластюсь к ним, как облачко́;
Пью счастливо воздух тонкой:
Мне свободно, мне легко,
И пою я птицей звонкой.

Но ненастье заревет
И до облак, свод небесный
Омрачивших, вознесет
Прах земной и лист древесный:
Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня, как пух,
Мчит под небо громовое.

Бури грохот, бури свист!
Вихорь хладный! вихорь жгучий!
Бьет меня древесный лист,
Удушает прах летучий!
Обращусь ли к небесам,
Оглянуся ли на землю —
Грозно, черно тут и там;
Вопль унылый я подъемлю.

Смутно слышу я порой
Клич враждующих народов,
Поселян беспечных вой
Под грозой их переходов,
Гром войны и крик страстей,
Плач недужного младенца...
Слезы льются из очей:
Жаль земного поселенца!

Изнывающий тоской,
Я мечусь в полях небесных,
Надо мной и подо мной
Беспредельных — скорби тесных!
В тучу кроюсь я, и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.

Мир я вижу, как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу... На земле
Оживил я недоносок.
Отбыл он без бытия:

Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!

<1835>

АЛКИВИАД

Облокотясь перед медью, образ его отражавшей,
Дланью слегка приподняв кудри златые чела,
Юный красавец сидел, горделиво-задумчив, и, смехом
Горьким смеясь, на него мужи казали перстом;

Девы, тайно любуясь челом благородно-открытым,
Нехотя взор отводя, хмурили брови свои.
Он же глух был и слеп; он, не в меди глядясь,
а в грядущем,
Думал: к лицу ли ему будет лавровый венок?

<1835>



РОПОТ

Красного лета отрава, муха досадная, что ты
Вьешься, терзая меня, льнешь то к лицу,
то к перстам?
Кто одарил тебя жалом, властным прервать самовольно
Мощно-крылатую мысль, жаркой любви поцелуй?
Ты из мечтателя мирного, нег европейских питомца,
Дикого Скифа творишь, жадного смерти врага.

<1841>

МУДРЕЦУ

Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью,
философ,
Хочешь ты пристань найти, имя даешь ей: покой.
Нам, из ничтожества вызванным творчества словом
тревожным,
Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье — одно.

Тот, кого миновали общие смуты, заботу
Сам вымышляет себе: лиру, палитру, резец;
Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя,
Первым стенаньем качать нудит свою колыбель!

<1840>

* * *

Филида с каждою зимою,
Зимою новою своей,
Пугает большей наготою
Своих старушечьих плечей.

И, Афродита гробовая,
Подходит, словно к ложу сна,
За ризой ризу опуская,
К одру последнему она.

<1841>

БОКАЛ

Полный влагой искрометной,
Зашипел ты, мой бокал!
И покрыл туман приветный
Твой озябнувший кристал...

Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин;
Сластолюбец вольнодумный,
Я сегодня пью один.

Чем душа моя богата,
Все твое, о друг Аи!
Ныне мысль моя не сжата
И свободны сны мои;
За струею вдохновенной
Не рассеян данник твой
Бестолково оживленной,
Разногласною толпой.



Мой восторг неосторожный
Не обидит никого;
Не откроет дружбе ложной
Таин счастья моего;
Не смутит глупцов ревнивых
И торжественных невежд
Излияньем горделивых
Иль святых моих надежд!

Вот теперь со мной беседуй,
Своенравная струя!
Упоенья проповедуй
Иль отравы бытия;
Сердцу милые преданья
Благодатно оживи
Или прошлые страданья
Мне на память призови!

О бокал уединенья!
Не усилены тобой
Пошлой жизни впечатленья,
Словно чашей круговой:
Плодородней, благородней,
Дивной силой будишь ты
Откровенья преисподней
Иль небесные мечты.

И один я пью отныне!
Не в людском шуму, пророк
В немотству́ющей пустыне
Обретает свет высок!
Не в бесплодном развлеченьи
Общежительных страстей —
В одиноком упоеньи
Мгла падет с его очей!

<1835>

* * *

Были бури, непогоды,
Да младые были годы!

В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий;

Вольной песнью разольется:
Скорбь-невзгода распоется!

А как век-то, век-то старой
Обручится с лютой карой,

Груз двойной с груди усталой
Уж не сбросит вздох удалой;

Не положишь ты на голос
С черной мыслью белый волос!

1839

* * *

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья.
Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!

И, тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь; а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!

<1840>

АХИЛЛ

Влага Стикса закалила
Дикой силы полноту
И кипящего Ахилла
Бою древнему явила
Уязвимым лишь в пяту.

Обречен борьбе верховной,
Ты ли, долею своей
Равен с ним, боец духовный,
Сын купели новых дней?

Омовен ее водою,
Знай, страданью над собою
Волю полную ты дал,
И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал!

<1841>

* * *

Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую Поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена
В свободной прозе романиста;
Болтунья старая, затем
Она, подъемля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

<1837>

* * *

Еще как Патриарх не древен я; моей
Главы не умастил таинственный елей:
Непосвященных рук бездарно возложенье!

И я даю тебе мое благословенье
Во знаменье ином, о дева красоты!
Под этой розою главой склонись, о ты,
Подобие цветов царицы ароматной,
В залог румяных дней и доли благодатной.

1839

* * *

Толпе тревожный день приветен, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она
Раскованной мечты видений своевольных.
Не легкокрылых грез, детей волшебной тьмы,
    Видений дня боимся мы,
    Людских сует, забот юдольных.

    Ощупай возмущенный мрак:
    Исчезнет, с пустотой сольется
    Тебя пугающий призрак,
И заблужденью чувств твой ужас улыбнется.

    О сын Фантазии! ты благодатных Фей
Счастливый баловень, и там, в заочном мире,
Веселый семьянин, привычный гость на пире
    Неосязаемых властей!
    Мужайся, не слабей душою
    Перед заботою земною:
Ей исполинский вид дает твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою —
Исчезнет; а за ним опять перед тобою
Обители духов откроются врата.

<1839>

* * *

Здравствуй, отрок сладкогласной!
Твой рассвет зарей прекрасной
Озаряет Аполлон!
Честь возникшему Пииту!
Малолетную Хариту
Ранней лирой тронул он.

С утра дней счастлив и славен,
Кто тебе, мой мальчик, равен?
Только жаворонок живой,
Чуткой грудию своею,
С первым солнцем, полный всею
Наступающей весной!

<1841>

* * *

Что за звуки? Мимоходом
Ты поешь перед народом,
Старец нищий и слепой!
И, как псов враждебных стая,
Чернь тебя обстала злая,
Издеваясь над тобой.

А с тобой издавна тесен
Был союз Камены песен,
И беседовал ты с ней,
Безымянной, роковою,
С дня, как в первый раз тобою
Был услышан соловей.

Бедный старец! слышу чувство
В сильной песни... Но искусство...
Старцев ста́рее оно:
Эти радости, печали —
Музыкальные скрыжали
Выражают их давно!

Опрокинь же свой треножник!
Ты избранник, не художник!
Попеченья Гений твой
Да отложит в здешнем мире:
Там, быть может, в горнем клире,
Звучен будет голос твой!

<1841>

* * *

Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Всё тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.

<1840>

СКУЛЬПТОР

Глубокий взор вперив на камень,
Художник Нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.

Но, бесконечно вожделенный,
Уже он властвует собой:
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.



В заботе сладостно-туманной
Не час, не день, не год уйдет,
А с предугаданной, с желанной
Покров последний не падет,

Покуда, страсть уразумея
Под лаской вкрадчивой резца,
Ответным взором Галатея
Не увлечет, желаньем рдея,
К победе неги мудреца.

<1841>

ОСЕНЬ

1

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виется вкруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!

2

И вот сентябрь! и вечер года к нам
Подходит. На поля и горы
Уже мороз бросает по утрам
Свои сребристые узоры.

Пробудится ненастливый Эол;
    Пред ним помчится прах летучий,
Качаяся, завоет роща, дол
    Покроет лист ее падучий,
И набегут на небо облака,
И, потемнев, запенится река.

3

Прощай, прощай, сияние небес!
    Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
    Златочешуйчатые воды!
Веселый сон минутных летних нег!
    Вот эхо в рощах обнаженных
Секирою тревожит дровосек,
    И скоро, снегом убеленных,
Своих дубров и холмов зимний вид
Застылый ток туманно отразит.

4

А между тем досужий селянин
    Плод годовых трудов сбирает;
Сметав в стога скошенный злак долин,
    С серпом он в поле поспешает.
Гуляет серп. На сжатых бороздах
    Снопы стоят в копнах блестящих
Иль тянутся вдоль жнивы, на возах,
    Под тяжкой ношею скрыпящих,
И хлебных скирд золотоверхий град
Подъемлется кругом крестьянских хат.

5

Дни сельского, святого торжества!
    Овины весело дымятся,
И цеп стучит, и с шумом жернова
    Ожившей мельницы крутятся.
Иди, зима! на строги дни себе
    Припас оратай много блага:

Отрадное тепло в его избе,
Хлеб-соль и пенистая брага;
С семьей своей вкусит он без забот
Своих трудов благословенный плод!

6

А ты, когда вступаешь в осень дней,
Оратай жизненного поля,
И пред тобой во благостыне всей
Является земная доля;
Когда тебе житейские бразды,
Труд бытия вознаграждая,
Готовятся подать свои плоды
И спеет жатва дорогая,
И в зернах дум ее сбираешь ты,
Судеб людских достигнув полноты,—

7

Ты так же ли, как земледел, богат?
И ты, как он, с надеждой сеял;
И ты, как он, о дальнем дне наград
Сны позлащенные лелеял...
Любуйся же, гордись восставшим им!
Считай свои приобретенья!..
Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским
Тобой скопленные презренья,
Язвительный, неотразимый стыд
Души твоей обманов и обид!

8

Твой день взошел, и для тебя ясна
Вся дерзость юных легковерий;
Испытана тобою глубина
Людских безумств и лицемерий.
Ты, некогда всех увлечений друг,
Сочувствий пламенный искатель,
Блистательных туманов царь — и вдруг
Бесплодных дебрей созерцатель,
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоей гордыней задушен.

9

Но если бы негодованья крик,
Но если б вопль тоски великой
Из глубины сердечныя возник,
Вполне торжественный и дикой,—
Костями бы среди своих забав
Содроглась ветреная младость,
Играющий младенец, зарыдав,
Игрушку б выронил, и радость
Покинула б чело его навек,
И заживо б в нем умер человек!

10

Зови ж теперь на праздник честный мир!
Спеши, хозяин тороватый!
Проси, сажай гостей своих за пир
Затейливый, замысловатый!
Что лакомству пророчит он утех!
Каким разнообразьем брашен
Блистает он!.. Но вкус один во всех
И, как могила, людям страшен:
Садись один и тризну соверши
По радостям земным твоей души!

11

Какое же потом в груди твоей
Ни водворится озаренье,
Чем дум и чувств ни разрешится в ней
Последнее вихревращенье:
Пусть в торжестве насмешливом своем
Ум бесполезный сердца трепет
Угомонит и тщетных жалоб в нем
Удушит запоздалый лепет,
И примешь ты, как лучший жизни клад,
Дар опыта, мертвящий душу хлад.

12

Иль, отряхнув видения земли
Порывом скорби животворной,
Ее предел завидя невдали,
Цветущий брег за мглою черной,

Возмездий край, благовестящим снам
Доверясь чувством обновленным
И бытия мятежным голосам,
В великом гимне примиренным,
Внимающий, как арфам, коих строй
Превыспренний не понят был тобой,—

13

Пред Промыслом оправданным ты ниц
Падешь с признательным смиреньем,
С надеждою, не видящей границ,
И утоленным разуменьем,—
Знай, внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку
И легких чад житейской суеты
Не посвятишь в свою науку;
Знай, горняя иль дольная, она
Нам на земле не для земли дана.

14

Вот буйственно несется ураган,
И лес подъемлет говор шумный,
И пенится, и ходит Океан,
И в берег бьет волной безумной:
Так иногда толпы ленивый ум
Из усыпления выводит
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,
И звучный отзыв в ней находит,
Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.

15

Пускай, приняв неправильный полет
И вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечет;
Пусть заменит ее другая;
Не явствует земле ущерб одной,
Не поражает ухо мира
Падения ее далекий вой,
Равно как в высотах Эфира
Ее сестры новорожденный свет
И небесам восторженный привет!

16

Зима идет, и тощая земля
    В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
    Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой —
    Все образы годины бывшей
Сравняются под снежной пеленой,
    Однообразно их покрывшей:
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!

1836—1837

* * *

Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.
Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы.
Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек!
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.

1839

РИФМА

    Когда на играх Олимпийских,
На стогнах греческих недавних городов,
Он пел, питомец Муз, он пел среди валов
Народа, жадного восторгов мусикийских,—

В нем вера полная в сочувствие жила:
Свободным и широким метром,
Как жатва, зыблемая ветром,
Его гармония текла.
Толпа вниманием окована была,
Пока, могучим сотрясеньем
Вдруг побежденная, плескала без конца
И струны звучные певца
Дарила новым вдохновеньем.
Когда на греческий амвон,
Когда на римскую трибуну
Оратор восходил, и славословил он
Или оплакивал народную Фортуну,
И устремлялися все взоры на него,
И силой слова своего
Вития властвовал народным произволом,—
Он знал, кто он; он ведать мог,
Какой могучий правит бог
Его торжественным глаголом.
Но нашей мысли торжищ нет,
Но нашей мысли нет форума!..
Меж нас не ведает поэт,
Высок полет его иль нет,
Велика ль творческая дума.
Сам судия и подсудимый,
Скажи: твой беспокойный жар —
Смешной недуг иль высший дар?
Реши вопрос неразрешимый!
Среди безжизненного сна,
Средь гробового хлада света,
Своею ласкою поэта
Ты, Рифма! радуешь одна.
Подобно голубю ковчега,
Одна ему, с родного брега,
Живую ветвь приносишь ты;
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаешь его мечты!

<1840>

III

ЗВЕЗДЫ

Мою звезду я знаю, знаю,
  И мой бокал
Я наливаю, наливаю,
  Как наливал.
Гоненьям рока, злобе света
  Смеюся я:
Живет не здесь — в звездах Моэта
  Душа моя!
Когда ж коснутся уст прелестных
  Уста мои,
Не нужно мне ни звезд небесных,
  Ни звезд Аи!

<1839>

ОБЕДЫ

Я не люблю хвастливые обеды,
Где сто обжор, не ведая беседы,
Жуют и спят. К чему такой содом?
Хотите ли, чтоб ум, воображенье
Привел обед в счастливое броженье,
Чтоб дух играл с играющим вином,
Как знатоки Эллады завещали?
Старайтеся, чтоб гости за столом,
Не менее Харит своим числом,
Числа Камен у вас не превышали.

<1839>

* * *

На все свой ход, на все свои законы.
Меж люлькою и гробом спит Москва;
Но и до ней, глухой, дошла молва,
Что скучен вист и веселей салоны
Отборные, где есть уму простор,
Где властвует не вист, а разговор.
И погналась за модой новосветской,
Но погналась старуха непутем:
Салоны есть,— но этот смотрит детской,
А тот, увы! глядит гошпиталем.

1840—1841



* * *

Спасибо злобе хлопотливой,
Хвала вам, недруги мои!
Я не усталый, но ленивый,
Уж пил Летийские струи.

Слегка седеющий мой волос
Любил за право на покой;
Но вот к борьбе ваш дикий голос
Меня зовет и будит мой.

Спасибо вам, я не в утрате!
Как богоизбранный еврей,
Остановили на закате
Вы солнце юности моей!

Спасибо! молодость вторую,
И человеческим сынам
Досель безвестную, пирую
Я в зависть Флакку, в славу вам!

1841 или 1842



С КНИГОЮ «СУМЕРКИ»

С. Н. К.

Сближеньем с вами на мгновенье
Я очутился в той стране,
Где в *оны дни* воображенье
Так сладко, складно лгало мне.
На ум, на сердце мне излили
Вы благодатные струи
И чудотворно превратили
В день ясный *сумерки* мои.

1842

НА ПОСЕВ ЛЕСА

Опять весна; опять смеется луг,
И весел лес своей младой одеждой,
И поселян неутомимый плуг
Браздит поля с покорством и надеждой.

Но нет уже весны в душе моей,
Но нет уже в душе моей надежды,
Уж дольный мир уходит от очей,
Пред вечным днем я опускаю вежды.

Уж та зима главу мою сребрит,
Что греет сев для будущего мира,
Но праг земли не перешел пиит,—
К ее сынам еще взывает лира.

Велик господь! Он милосерд, но прав:
Нет на земле ничтожного мгновенья;
Прощает он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.

Кого измял души моей порыв,
Тот вызвать мог меня на бой кровавый;
Но подо мной, сокрытый ров изрыв,
Свои рога венчал он падшей славой!

Летел душой я к новым племенам,
Любил, ласкал их пустоцветный колос,
Я дни извел, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.

Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.

И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти,
Поэзии таинственных скорбей
Могучие и сумрачные дети.

1842

* * *

Когда твой голос, о Поэт,
Смерть в высших звуках остановит,
Когда тебя во цвете лет
Нетерпеливый рок уловит,—

Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стесненной грудию восстонет,

И тихий гроб твой посетит,
И над умолкшей Аонидой,
Рыдая, пепел твой почтит
Нелицемерной панихидой?

Никто! — но сложится певцу
Канон намеднишним Зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадилом.

<1843>

* * *

Люблю я вас, богини пенья,
Но ваш чарующий наход,
Сей сладкий трепет вдохновенья,—
Предтечей жизненных невзгод.

Любовь Камен с враждой Фортуны —
Одно. Молчу! Боюся я,
Чтоб персты, падшие на струны,
Не пробудили вновь перуны,
В которых спит судьба моя.

И отрываюсь, полный муки,
От Музы, ласковой ко мне,
И говорю: до завтра, звуки!
Пусть день угаснет в тишине.

<1844>

МОЛИТВА

Царь небес! успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли,
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

1842 или 1843

* * *

Когда, дитя и страсти и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,
Решилась ты делить его волненья,
В нем таинство печали полюбя.

Ты, смелая и кроткая, со мною
В мой дикий ад сошла рука с рукою:
Рай зрела в нем чудесная любовь.

О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я приникал главой моей мятежной,
С тобой себе и небу веря вновь.

1844

ПИРОСКАФ

Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль Средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан.

Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колеса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилица,
Чайке подобна, вод его птица,
Парус развив, как большое крыло,
С бурной стихией в томительном споре,
Лодка рыбачья качается в море;
С брегом набрежное скрылось, ушло!

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Темную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская,
Пеною здравия брызжет мне вал!

Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду: мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

1844

ДЯДЬКЕ-ИТАЛЬЯНЦУ

Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,
Янтарный виноград, лимон ее златой
Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,
И в край, суровый край, снегами покровенный,
Приставший с выбором загадочных картин,
Где что-то различал и видел ты один!
Прости наш здравый смысл: прости, мы та из наций,
Где брату вашему всех меньше спекуляций.
Никто их не купил. Вздохнув, оставил ты
В глушь севера тебя привлекшие мечты;
Зато воскрес в тебе сей ум, на все пригодный,
Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный!
Ты счастлив был, когда тебе кое-что дал
Почтенный, для тебя богатый генерал,
Чтоб, в силу строгого с тобою договора,
Ты дал мне благодать нерусского надзора.
Благодаря богов, с тобой за этим вслед
Друг другу не были мы чужды двадцать лет.

Москва нас приняла, расставшихся с деревней.
Ты был вожатый мой в столице нашей древней.
Всех макаронщиков тогда узнал я в ней,
Ментóра моего полуденных друзей.
Увы! оставив там могилу дорогую,
Опять увидели мы вотчину степную,
Где волею небес узнал я бытие,
О сын Авзонии, для бурь, как ты свое,
Но где, хотя вдали твоей отчизны знойной,
Ты мирный кров обрел, а позже гроб спокойный.

Ты полюбил тебя призревшую семью
И, с жизнию ее сливая жизнь свою,
Ее событьями в глуши чужого края
Былого своего преданья заглушая,
Безропотно сносил морозы наших зим;
В наш краткий летний жар тобою был любим
Овраг под сению дубов прохладовейных.

Участник наших слез и праздников семейных,
В дни траура главой седой ты поникал;
Но ускорял шаги и членами дрожал,
Как в утро зимнее, порой, с пределов света,
Питомца твоего, недавнего корнета,
К коленам матери кибитка принесет,
И скорбный взор ее минутно оживет.

Но что! радушному пределу благодарный,
Нет! ты не забывал отчизны лучезарной!
Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра
Имел ты на устах от утра до утра,
Именовал ты нам и принцев и прелатов
Земли, где зрел, дивясь, суворовских солдатов,
Входящих (вопреки тех пламенных часов,
Что, по твоим словам, со стогнов гонят псов),
В густой пыли побед, в грозе небритых бóрод,
Рядами стройными в классический твой город;
Земли, где год спустя тебе предстал и он,
Тогда Буонапарт, потом Наполеон,
Минутный царь царей, но дивный кондотьери,
Уж зиждущий свои гигантские потери.

Скрывая власти глад, тогда морочил вас
Он звонкой пустотой революцьонных фраз.
Народ ему зажег приветственные плошки;
Но ты, ты не забыл серебряные ложки,
Которые, среди блестящих общих грез,
Ты контрибуции назначенной принес:
Едва ты узнику печальному Британца
Простил военную систему Корсиканца.

Что на твоем веку, то ль благо, то ли зло,
Возникло, при тебе в преданье перешло:
В Альпийских молниях, приемлемый опалой,
Свой ратоборный дух, на битвы не усталый,
В картечи эпиграмм Суворов испустил.
Злодей твой на скале пустынной опочил;
Ты сам глаза сомкнул, когда мирские сети
Уж поняли тобой взлелеянные дети;
Когда, свидетели превратностей земли,
Они глубокий взор уставить уж могли,
Забвенья чуждые за жизненною чашей,
На итальянский гроб в ограде церкви нашей.

А я, я, с памятью живых твоих речей,
Увидел роскоши Италии твоей!
Во славе солнечной Неаполь твой нагорный,
В парах пурпуровых и в зелени узорной,
Неувядаемой,— амфитеатр дворцов
Над яркой пеленой лазоревых валов;
И Цицеронов дом, и злачную пещеру,
Священную поднесь Камены суеверу,
Где спит великий прах властителя стихов,
Того, кто в сей земле волканов и цветов
И ужасов и нег взлелеял эпопею,
Где в мраки Тенара открыл он путь Энею,
Явил его очам чудесный сад утех,
Обитель сладкую теней блаженных тех,
Что, крепки в опытах земного треволненья,
Сподобились вкусить эфирных струй забвенья.

Неаполь! До него среди садов твоих
Сердца мятежные отыскивали их.
Сквозь занавес веков еще здесь помнят виллы
Приюты отдыхов и Мария и Силлы.
И кто, бесчувственный среди твоих красот,
Не жаждал в их раю обресть навес иль грот,
Где б скрылся, не на час, как эти полубоги,
Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги,
Но чтоб незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладостной с последним вечным сном.

И в сей Италии, где все — каскады, розы,
Мелезы, тополи и даже эти лозы,
Чей безымянный лист так преданно обник
Давно из божества разжалованный лик,
Потом с чела его повиснул полусонно,—
Все беззаботному блаженству благосклонно,
Ужиться ты не мог и, помня сладкий юг,
Дух предал строгому дыханью наших вьюг,
Не сетуя о том, что за пределы мира
Он улететь бы мог на крылиях Зефира!
О тайны душ! меж тем как сумрачный поэт,
Дитя Британии, влачивший столько лет
По знойным берегам груди своей отравы,

У миртов, у олив, у моря и у лавы,
Молил рассеянья от думы роковой,
Владеющей его измученной душой,
Напрасно! (уст его, как древле уст Тантала —
Струя желанная насмешливо бежала) —
Мир сердцу твоему дал пасмурный навес
Метелью полгода скрываемых небес,
Отчизна тощих мхов, степей и древ иглистых!
О, спи! безгрезно спи в пределах наших льдистых,
Лелей по-своему твой подземельный сон,
Наш бурнодышащий, полночный Аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем!

1844



Письма

1. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Осень 1814 г. Петербург>

Дражайшая маменька.

Спешу воспользоваться отъездом Аполлона Николаевича, чтобы написать вам. Экзамен наш окончен. Меня не перевели в следующий класс. Я очень огорчен, что не могу известить вас о том, что получил награду, как это было в прошлом году; но вы знаете — подобные вещи не всегда случаются. Надеюсь, однако, получить ее в будущем году. В последнее время я занимаюсь на досуге переводами или же сочинением небольших пьесок, и если сказать вам правду, ничего я не люблю так, как поэзию. Я очень бы хотел стать автором. В следующий раз я пошлю вам нечто вроде небольшого романа, который я должен скоро закончить. Мне бы очень хотелось узнать ваше мнение о нем. Коль скоро вы найдете, что у меня есть немного таланта, я буду стремиться усовершенствоваться, изучая необходимые правила. Но, говоря откровенно, маменька, я видел множество напечатанных русских переводов, сделанных так плохо, что я не понимаю, как автор их мог осмелиться вынести подобные глупости на суд общества, да еще в довершение бесстыдства подписав их своим именем. Скажу вам без хвастовства, что я сумею переводить гораздо лучше. Чтобы дать вам представление о тех переводах, какие я имею в виду, приведу только один пример: французскую фразу Il jetait feu et flamme* сей автор переводит: *«Огнем и пламенем рыкал»*. То, что было прекрасно выражено по-французски, по-русски вышло прескверно: более зверского выражения я никогда не встречал. Простите, если я так поношу этого беднягу, но мне бы хотелось, чтобы он мог услышать то, что о нем говорят; может быть, это отбило бы у него охоту терзать наш слух выражениями истинно варварскими. Но вот уже я написал вам целую сатиру на бедных сочинителей, словно какой-нибудь француз-

* *Он извергал огонь и пламя (фр.).*



ский журналист. Простите мне это, милая маменька, я знаю, что мне не подобает выступать самозванным судьей в искусстве, в котором я столь неопытен, но мне всегда казалось, что сообщить своей матери то, что ты думаешь, еще не есть нескромность. Прощайте, милая маменька. Я, слава Богу, здоров. Обнимаю милых моих сестер и брата.

Евгений Боратынский.

P. S. Прошу вас, известите меня, запечатанным или распечатанным вы получите это письмо.

2. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Осень 1814 г. Петербург>

Дражайшая маменька,

Я только что получил ваше письмо и не могу выразить вам радость, которую я ощутил, видя, что вы меня по-прежнему любите и прощаете мне мои проступки. Мне в самом деле необходимо было это утешение. Оно примирило меня с самим собою, и мне теперь ясно, во сколько раз это предпочтительнее всех удовольствий рассеяния. Я провожу каждый праздник у дяди, который был так добр, что взял для меня учителя математики, и я уже сделал в ней довольно значительные успехи. Осмелюсь ли я повторить вам мою просьбу касательно морской службы. Я умоляю вас, милая маменька, об этой мне милости. Мои интересы, которые вам так дороги (говорите вы), этого настоятельно требуют. Я знаю, насколько вашему сердцу

должно быть тяжело, что я вступлю в службу столь опасную. Но скажите, знаете ли вы какое-либо место в мире, хотя бы вне области океана, где бы жизнь человека не была подвержена тысяче опасностей, где бы смерть не похитила сына у матери, отца, сестру? Везде малейшее дуновение может разрушить эту слабую пружину, которую мы называем жизнью. Что бы вы ни говорили, милая маменька, есть вещи, от нас зависящие; другими же управляет провидение. Наши поступки, наши мысли зависят от нас; но я не могу допустить, чтобы наша смерть зависела от выбора службы на суше или на море. Как! возможно ли, чтобы судьба, которая предназначила конец моему поприщу, исполнила бы свой приговор на Каспийском море и не могла бы поразить меня в Петербурге? Я умоляю вас, милая маменька, не противиться моей наклонности. Я не могу служить в гвардии: ее слишком берегут. Во время войны она ничего не делает и остается в постыдном бездействии. И вы назовете это жизнью? Нет, беспрерывный покой не может назваться жизнью. Верьте мне, милая маменька, можно привыкнуть ко всему, кроме бездействия и скуки. Я бы даже предпочел в полном смысле несчастие — невозмутимому покою. По крайней мере живое и глубокое чувство захватило бы мою душу, по крайней мере сознание моих бедствий удостоверяло бы меня в том, что я существую. В самом деле, я чувствую, что мне всегда нужно что-либо опасное, что бы меня занимало, — иначе я скучаю. Представьте себе, милая маменька, грозную бурю и меня, стоящего на палубе, как бы повелевающего разъяренному морю, доску между мною и смертью, морских чудовищ, дивящихся чудесному орудию, — произведению человеческого гения, повелевающего стихиями. А затем я буду писать к вам, как можно чаще, о всем том, что увижу прекрасного. Подумайте еще, милая маменька, что вместо того чтобы увидеться через пять лет, мы увидимся через два года. Через два года, милая маменька, я вас обниму, буду смотреть на вас, буду говорить с вами! Милая маменька, понимаете ли вы мою радость? Останетесь ли вы к ней равнодушны? Мне это не верится. И если даже судьба предназначила мне погибнуть через несколько лет на море, я бы имел случай увидеть вас, я бы насладился этим счастьем. Несколько мгновений радости, счастья не заменят ли они собою длинный ряд скучных годов? Итак, милая маменька, я надеюсь, что вы не откажете мне в этой милости. Вы говорите, что вы очень довольны моею склонностью

к умственным занятиям; но признайтесь, что нет ничего смешнее молодого человека, который выставляется педантом, считает себя автором, потому что перевел две-три странички *Эстеллы* Флориана, в которых до тридцати орфографических ошибок и напыщенный слог, который он почитает живописным, и убежден в том, что он вправе критиковать все, не будучи еще в состоянии оценивать те красоты, которыми он восхищается, и проникаться ими; потому только, что другие восторгаются ими, он превозносит их с упоением, между тем как он даже никогда не читал их. В самом деле, милая маменька, во мне есть этот недостаток, и я стараюсь от него отделаться. Я часто восхвалял *Илиаду,* хотя читал ее в Москве и в таком раннем возрасте, когда не мог не только быть проникнутым ее красотами, но даже понимать ее содержания. Я слышу, что ею везде восхищаются, и расхваливаю ее, как обезьяна. Я знаю людей, которые не дают себе труда мыслить и предоставляют общественному мнению установить их убеждение, и эти люди, не исключая и моего благородия, очень похожи на автоматов, приводимых в движение посредством пружин, сокрытых в их теле. Вот чрезвычайно длинное письмо, я боюсь вам уже слишком наскучить.

Прощайте, милая маменька. Дай бог нам скоро увидеться. Остаюсь вашим покорным слугою, по обычаю, и вашим послушным, нежным, благодарным сыном, по сердцу.

Евгений Боратынский.

P. S. Прошу вас прислать мне полотенца, ибо у меня осталось только два.

3. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Январь 1818 г. Тамбов>

Мы уезжаем через два часа, любезная маменька, и я хочу сказать дважды прощай этой земле, которая мне так дорога. Что бы там ни говорили — небезразлично, близко ты или далеко от

тех, кого любишь. Большие расстояния ужасают и леденят сердце. Я покидаю Тамбов почти с таким же огорчением, что и Мару. Пока мы оставались в этом городе, я не ощущал в полную меру предстоящего отъезда. Но я не хочу добавлять свои горести к вашим. Прощайте, любезная маменька, будем надеяться на скорую встречу. Лишь ожидание может сделать для меня ваше отсутствие выносимым. Я хотел бы вам сказать еще тысячу вещей, но на сердце моем такая тяжесть и мои мысли так грустны, что я не могу и не решаюсь вам изъяснить их.

Что делает моя дорогая Софья? Она тоже, без сомнения, грустит. Попросите ее не предаваться скорби, которая может подорвать ее здоровье. Она принадлежит мне, и я хочу, чтобы она берегла себя для меня. Я видел ее милую подругу; я с ней не поговорил, но смотрел на нее очень внимательно. Какая интересная особа! Она не красива, но можно ли видеть ее и не полюбить! Какая нежность в ее глазах! Какая скромность в манере держать себя! Она говорит так проникновенно, и я не удивляюсь тому, что Софья к ней так привязана. Она этого вполне заслуживает. Я сказал ей, прощаясь с ее сестрами, что Софья вспоминает ее, что Софья говорила мне о ней, что Софья передает ей тысячу приветов. Если бы вы видели выражение ее лица, пока я говорил. Вначале она испугалась, но потом ответила мне в обычных выражениях, но с каким огнем! с какой силой! с каким изяществом! Ее лицо запечатлелось в моем сердце. Я увожу его с собой. Мне кажется, что, уезжая из Мары, я простился с дружбой, а уезжая из Тамбова, я простился с любовью. Если бы я мог, вернувшись сюда однажды, оказаться между этими двумя дивными, милыми созданиями! Еще раз прощайте, любезная маменька. Я живу только надеждой свидеться с вами вновь.

Евгений Б.

4. *С. С. УВАРОВУ*

12 марта 1821 г. Кюмень

Ваше превосходительство
милостивый государь
Сергей Семенович.

Вы приказали доставить Вам записку об унтер-офицере Боратынском — с благодарностью исполняю Ваше приказание.

Боратынский по выключении своем из Пажеского корпуса вступил солдатом в гвардейский полк; через год произведен в унтер-офицеры и переведен в Нейшлотский пехотный. Теперь представлен своим начальством в прапорщики, но производство его зависит от высшего начальства.

Вот все, что до него касается — следует то, что касается и Вашего превосходительства: возвратить человеку имя и свободу; возвратить его обществу и семейству; отдать ему самобытность, без которой гибнет душевная деятельность; одним словом: воскресить мертвого.— Все это Вы сделаете, и все это Вам возможно сделать. Я бы не осмелился говорить таким образом, ежели б Анна Николаевна не заставила меня почти веровать в Ваше превосходительство.

Приобщите к числу тех, которые Вам обязаны, еще одного благодарного.

С глубочайшим почтением честь имею быть Вашего превосходительства, милостивый государь, покорнейшим слугою

Евгений Боратынский.

1821-го года
марта 12 дня.

5. *А. А. НИКИТИНУ*

<Середина апреля 1821 г. Кюмень>

Милостивый государь Андрей Афанасьевич.

Долгом себе поставляю изъявить мою признательность почтенному обществу, снисходительно избравшему меня в действи-

тельные свои члены. Ежели усердие и любовь к искусству обратили на меня лестное его внимание — я постараюсь оправдать выгодное обо мне мнение и не пощажу для того ни трудов, ни усилий.— Не смею сказать, что я не достоин сделанной мне чести.— Просвещенные судьи мои не способны ни к ошибкам, ни к пристрастию, и я подчиняю собственное мое мнение — мнению общества, как нельзя более для меня лестного.

С истинным почтением честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою.

Е. Боратынский.

6. *В. А. ЖУКОВСКОМУ*

<Конец 1823 г. Роченсальм>

Вы налагаете на меня странную обязанность, почтенный Василий Андреевич; сказал бы трудную, ежели бы знал вас менее. Требуя от меня повести беспутной моей жизни, я уверен, что вы приготовились слушать ее с тем снисхождением, на которое, может быть, дает мне право самая готовность моя к исповеди, довольно для меня невыгодной.

В судьбе моей всегда было что-то особенно несчастное, и это служит главным и общим моим оправданием: все содействовало к уничтожению хороших моих свойств и к развитию злоупотребительных. Любопытно сцепление происшествий и впечатлений, сделавших меня, право, из очень доброго мальчика почти совершенным негодяем.

12 лет вступил я в Пажеский корпус, живо помня последние слезы моей матери и последние ее наставления, твердо намеренный свято исполнять их, и, как говорится в детском училище, служить примером прилежания и доброго поведения.

Начальником моего отделения был тогда некто Кр<истафо>вич (он теперь уже покойник, чем на беду мою еще не был в то время), человек во всем ограниченный, кроме в страсти своей к вину. Он не полюбил меня с первого взгляда и с первого дня вступления моего в корпус уже обращался со

мною как с записным шалуном. Ласковый с другими детьми, он был особенно груб со мною. Несправедливость его меня ожесточила: дети самолюбивы не менее взрослых, обиженное самолюбие требует мщения, и я решился отмстить ему. Большими каллиграфическими буквами (у нас был порядочный учитель каллиграфии) написал я на лоскутке бумаги слово *пьяница* и прилепил его к широкой спине моего неприятеля. К несчастию, некоторые из моих товарищей видели мою шалость и, как по-нашему говорится, на меня доказали. Я просидел три дня под арестом, сердясь на самого себя и проклиная Кр<истафо>вича.

Первая моя шалость не сделала меня шалуном в самом деле, но я был уже негодяем в мнении моих начальников. Я получал от них беспрестанные и часто несправедливые оскорбления; вместо того чтобы дать мне все способы снова приобрести их доброе расположение, они непреклонною своею суровостию отняли у меня надежду и желание когда-нибудь их умилостивить.

Между тем сердце мое влекло к некоторым из моих товарищей, бывших не на лучшем счету у начальства; но оно влекло меня к ним не потому, что они были шалунами, но потому, что я в них чувствовал (здесь нельзя сказать замечал) лучшие душевные качества, нежели в других. Вы знаете, что резвые мальчики не потому дерутся между собою, не потому дразнят своих учителей и гувернеров, что им хочется быть без обеда, но потому, что обладают большею живостию нрава, большим беспокойством воображения, вообще большею пылкостию чувств, нежели другие дети. Следовательно, я не был еще извергом, когда подружился с теми из моих сверстников, которые сходны были со мною свойствами; но начальники мои глядели на это иначе. Я не сделал еще ни одной особенной шалости, а через год по вступлении моем в корпус они почитали меня почти чудовищем.

Что скажу вам? Я теперь еще живо помню ту минуту, когда, расхаживая взад и вперед по нашей рекреационной зале, я сказал сам себе: буду же я шалуном в самом деле! Мысль не смотреть ни на что, свергнуть с себя всякое принуждение меня восхитила; радостное чувство свободы волновало мою душу, мне казалось, что я приобрел новое существование.

Я пропущу второй год корпусной моей жизни: он не содержит в себе ничего замечательного; но должен говорить

о третьем, заключающем в себе известную вам развязку. Мы имели обыкновение после каждого годового экзамена несколько недель ничего не делать — право, которое мы приобрели не знаю каким образом. В это время те из нас, которые имели у себя деньги, брали из грязной лавки Ступина, находящейся подле самого корпуса, книги для чтения, и какие книги! Глориозо, Ринальдо Ринальдини, разбойники во всех возможных лесах и подземельях! И я, по несчастию, был из усерднейших читателей! О, если б покойная нянька Дон-Кишота была моею нянькою! С какою бы решительностью она бросила в печь весь этот разбойничий вздор, стоющий рыцарского вздора, от которого охладел несчастный ее хозяин! Книги, про которые я говорил, и в особенности Шиллеров Карл Моор, разгорячили мое воображение; разбойничья жизнь казалась для меня завиднейшею в свете, и, природно-беспокойный и предприимчивый, я задумал составить общество мстителей, имеющее целию сколько возможно мучить наших начальников.

Описание нашего общества может быть забавно и занимательно после главной мысли, взятой из Шиллера, и остальным, совершенно детским его подробностям. Нас было пятеро. Мы сбирались каждый вечер на чердак после ужина. По общему условию, ничего не ели за общим столом, а уносили оттуда все съестные припасы, которые возможно было унести в карманах, и потом свободно пировали в нашем убежище. Тут-то оплакивали мы вместе судьбу свою, тут выдумывали разного рода проказы, которые после решительно приводили в действие. Иногда наши учители находили свои шляпы прибитыми к окнам, на которые их клали, иногда офицеры наши приходили домой с обрезанными шарфами. Нашему инспектору мы однажды всыпали толченых шпанских мух в табакерку, от чего у него раздулся нос; всего пересказать невозможно. Выдумав шалость, мы по жеребью выбирали исполнителя, он должен был отвечать один, ежели попадется; но самые смелые я обыкновенно брал на себя, как начальник.

Спустя несколько времени, мы (на беду мою) приняли в наше общество еще одного товарища, а именно сына того камергера, который, я думаю, вам известен как по моему, так и по своему несчастию. Мы давно замечали, что у него водится что-то слишком много денег; нам казалось невероятным, чтоб родители его давали 14-летнему мальчику по 100 и по 200 р. каждую неделю. Мы вошли к нему в доверенность и узнали,

что он подобрал ключ к бюро своего отца, где большими кучами лежат казенные ассигнации, и что он всякую неделю берет оттуда по нескольку бумажек.

Овладев его тайною, разумеется, что мы стали пользоваться и его деньгами. Чердашные наши ужины стали гораздо повкуснее прежних: мы ели конфекты фунтами; но блаженная эта жизнь недолго продолжалась. Мать нашего товарища, жившая тогда в Москве, сделалась опасно больна и желала видеть своего сына. Он получил отпуск и в знак своего усердия оставил несчастный ключ мне и родственнику своему Х<анык>ову: «Возьмите его, он вам пригодится»,— сказал он нам с самым трогательным чувством, и в самом деле он нам слишком пригодился!

Отъезд нашего товарища привел нас в большое уныние. Прощайте, пироги и пирожные, должно ото всего отказаться. Но это было для нас слишком трудно: мы уже приучили себя к роскоши, надобно было приняться за выдумки; думали и выдумали!

Должно вам сказать, что за год перед тем я нечаянно познакомился с известным камергером, и этот случай принадлежит к тем случаям моей жизни, на которых я мог бы основать систему предопределения. Я был в больнице вместе с его сыном и, в скуке долгого выздоровления, устроил маленький кукольный театр. Навестив однажды моего товарища, он очень любовался моею игрушкою и прибавил, что давно обещал такую же маленькой своей дочери, но не мог еще найти хорошо сделанной. Я предложил ему свою от доброго сердца; он принял подарок, очень обласкал меня и просил когда-нибудь приехать к нему с его сыном; но я не воспользовался его приглашением.

Между тем Х<анык>ов, как родственник, часто бывал в его доме. Нам пришло на ум: что возможно одному негодяю, возможно и другому. Но Х<анык>ов объявил нам, что за разные прежние проказы его уже подозревают в доме и будут за ним присматривать, что ему непременно нужен товарищ, который по крайней мере занимал бы собою домашних и отвлекал от него внимание. Я не был, но имел право быть в несчастном доме. Я решился помогать Х<анык>ову. Подошли святки, нас распускали к родным. Обманув, каждый по-своему, дежурных офицеров, все пятеро вышли из корпуса и собрались у Молинари. Мне и Х<анык>ову положено было идти в гости к из-

вестной особе, исполнить, если можно, наше намерение и прийти с ответом к нашим товарищам, обязанным нас дожидаться в лавке.

Мы выпили по рюмке ликеру для смелости и пошли очень весело негоднейшею в свете дорогою.

Нужно ли рассказывать остальное? Мы слишком удачно исполнили наше намерение; но по стечению обстоятельств, в которых я и сам не могу дать ясного отчета, похищение наше не осталось тайным, и нас обоих выключили из корпуса с тем, чтоб не определять ни в какую службу, разве пожелаем вступить в военную рядовыми.

Не смею себя оправдывать; но человек добродушный и, конечно, слишком снисходительный, желая уменьшить мой проступок в ваших глазах, сказал бы: вспомните, что в то время не было ему 15 лет; вспомните, что в корпусах то только называют кражею, что похищается у своих, а остальное почитают законным приобретением (des bonnes prises) и что между всеми своими товарищами едва ли нашел бы он двух или трех порицателей, ежели бы счастливо исполнил свою шалость; вспомните, сколько обстоятельств исподволь познакомили с нею его воображение. Сверх того, не более ли своевольства в его поступке? Истинно порочный, следовательно, уже несколько опытный и осторожный, он бы легко расчел, что подвергает себя большой опасности для выгоды довольно маловажной; он же не оставил у себя ни копейки из похищенных денег, а все их отдал своим товарищам. Что его побудило к такому негодному делу? Корпусное молодечество и воображение, испорченное дурным чтением. Из сего следует то единственно, что он способнее других принимать всякого роду впечатления и что при другом воспитании, при других, более просвещенных и внимательных наставниках, самая сия способность, послужившая к его погибели, помогла бы ему превзойти многих из своих товарищей во всем полезном и благородном.

По выключке из корпуса я около года мотался по разным петербургским пансионам. Содержатели их, узнавая, что я тот самый, о котором тогда все говорили, не соглашались держать меня. Я сто раз готов был лишить себя жизни. Наконец поехал в деревню к моей матери. Никогда не забуду первого с нею свидания! Она отпустила меня свежего и румяного; я возвращаюсь сухой, бледный, с впалыми глазами, как сын Евангелия

к отцу своему. *Но еще же ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть и тек нападе на выю его и облобыза его.* Я ожидал укоров, но нашел одни слезы, бездну нежности, которая меня тем более трогала, чем я менее был ее достоин. В продолжение четырех лет никто не говорил с моим сердцем: оно сильно встрепетало при живом к нему воззвании; свет его разогнал призраки, омрачившие мое воображение; посреди подробностей существенной гражданской жизни я короче узнал ее условия и ужаснулся как моего поступка, так и его последствий. Здоровье мое не выдержало сих душевных движений: я впал в жестокую нервическую горячку, и едва успели призвать меня к жизни.

18 лет вступил я рядовым в гвардейский Егерский полк, по собственному желанию; случайно познакомился с некоторыми из наших молодых стихотворцев, и они сообщили мне любовь свою к поэзии. Не знаю, удачны ли были опыты мои для света; но знаю наверно, что для души моей они были спасительны. Через год, по представлению великого князя Николая Павловича, был я произведен в унтер-офицеры и переведен в Нейшлотский полк, где нахожусь уже четыре года.

Вы знаете, как неуспешны были все представления, делаемые обо мне моим начальством. Из году в год меня представляли, из году в год напрасная надежда на скорое прощение меня поддерживала; но теперь, признаюсь вам, я начинаю приходить в отчаяние. Не служба моя, к которой я привык, меня обременяет; меня тяготит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Ничьи надежды, ничьи наслаждения мне не приличны. Я должен ожидать в бездействии, по крайней мере душевном, перемены судьбы моей, ожидать, может быть, еще новые годы! Не смею подать в отставку, хотя, вступив в службу по собственной воле, должен бы иметь право оставить ее, когда мне заблагорассудится; но такую решимость могут принять за своевольство. Мне остается одно раскаяние, что добровольно наложил на себя слишком тяжелые цепи. Должно сносить терпеливо заслуженное несчастие — не спорю; но оно превосходит мои силы, и я начинаю чувствовать, что продолжительность его не только убила мою душу, но даже ослабила разум.

Вот, почтенный Василий Андреевич, моя повесть. Благодарю вас за участие, которое вы во мне принимаете; оно для меня более нежели драгоценно. Ваше доброе сердце мне порукою, что мои признания не ослабят вашего расположения к то-

му, который много сделал негодного по случаю, но всегда любил хорошее по склонности.

Всей душой вам преданный

Боратынский.

7. *В. А. ЖУКОВСКОМУ*

<Январь (?) 1824 г. Кюмень>

Почтенный Василий Андреевич!

По совету дяди моего, я пишу к будущей великой княгине Елене Павловне и прошу ее покровительства в моем деле. Для человека Вашего сердца не нужны красноречивые убеждения, чтоб подвигнуть его к благодетельной деятельности; довольно одного уведомления. Ежели, при этом случае, Вы можете мне быть полезным, не откажите мне в Вашей помощи. Я с моей стороны уверен, что великая княгиня, предуведомленная Вами обо мне как об человеке с некоторыми дарованиями (Вы не погрешите, если кое-что и прибавите), примет двойное во мне участие. Я пишу к дяде, чтоб он постарался перед подданием письма моего с Вами увидеться. Извините, почтенный Василий Андреевич, ежели я пишу к Вам слишком наскоро и без особого старания. Дядя торопит меня, и в одно утро я должен был изготовить грамоту к великой княгине, письмо к нему и это маранье к Вам. Не успевая изъяснить Вам всю мою благодарность за всегдашнее Ваше участие в судьбе моей, оставляю всю ее в моем сердце. Всею душою преданный — *Боратынский.*

8. *В. А. ЖУКОВСКОМУ*

<5 марта 1824 года. Кюмень>

Болезнь, почтенный Василий Андреевич, препятствовала мне изъявить вам мою признательность за трогательные строки, доставленные мне Дельвигом. Вы меня благодарите в них за письмо

мое, как будто я обязал вас, потрудившись написать его, и забывая, что вы одни мне благодетельствуете, помните только, что я несчастлив и имею нужду в утешении. Поверьте, что мне не тягостна благодарность, особенно благодарность к вам. Я любил вас, плакал над вашими стихами, прежде нежели мог предвидеть, что мне могут быть полезны прекрасные качества вашего сердца.

До меня дошли такие хорошие вести о моем деле, что, право, я боюсь им верить. Препоручаю судьбу мою вам, моему Гению-покровителю. Вы начали, вы и довершите. Вы возвратите мне общее человеческое существование, которого я лишен так давно, что даже отвык почитать себя таким же человеком, как другие, и тогда я скажу вместе с вами: хвала поэзии, поэзия есть добродетель, поэзия есть сила; но в одном только поэте, в вас, соединены все ее великие свойства.

Да будут дни ваши так прекрасны, как ваше сердце, как ваша поэзия. Лучшего желания не может придумать до глубины души вам преданный

Боратынский.

9. *А. А. БЕСТУЖЕВУ и К. Ф. РЫЛЕЕВУ*

<Весна 1824 г. Роченсальм>

Милые собратья Бестужев и Рылеев!

Извините, что не писал к вам вместе с присылкою остальной моей дряни, как бы следовало честному человеку. Я уверен, что у вас столько же добродушия, сколько во мне лени и бестолочи. Позвольте приступить к делу. Возьмите на себя, любезные братья, классифицировать мои пьесы. В первой тетради они у меня переписаны без всякого порядка, особенно вторая книга элегий имеет нужду в пересмотре; я желал бы, чтобы мои пьесы по своему расположению представляли некоторую связь между собою, к чему они до известной степени способны. Второе: уведомьте, какие именно стихи не будет пропускать честная цензура; я, может быть, успею их переделать.

Третье: Дельвиг мне пишет, что «Маккавеи» мне будут доставлены через тебя, любезный Рылеев, пришли их поскорее: переводить, так переводить. Впрочем, я душевно буду рад, ежели без меня обойдутся. Четвертое: о други и братья! постарайтесь в чистеньком наряде представить деток моих свету,— книги, как и людей, часто принимают по платью.

Прощайте, мои милые, желаю всего того, чем сам не пользуюсь: наслаждений, отдохновений, счастия,— жирных обедов, доброго вина, ласковых любовниц. Остаюсь со всею скукою финляндского житья душевно вам преданный

Боратынский.

10. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<25 мая 1824 г. Вильманстранд>

Боратынский был у вас, желая засвидетельствовать вам свое почтение и благодарить за участие, которое вы так благородно принимаете в нем и в судьбе его. Когда лучшая участь даст ему право на более короткое знакомство с вами, чувство признательности послужит ему предлогом решительно напрашиваться на ваше доброе расположение, а покуда он остается вашим покорнейшим слугою.

11. *Н. М. КОНШИНУ*

<Сентябрь — октябрь 1824 г. Кюмень>

Получил я письмо твое, милый Коншин: оно дышит счастием, и я сердечно рад, что хоть кто-нибудь из наших нашел исполнение сердечных надежд своих. Я одного с тобою мнения

о милой спутнице твоей жизни, какое-то чувство, чувство, никогда ни тебя, ни меня не обманывавшее, говорит мне и говорило прежде, что она доставит тебе всю отраду возможную. Дай бог, чтобы дни последующие были подобны первым, и почему не надеяться!

Мы недавно танцовали на серебряной свадьбе у Нортмана, очень было весело: были приезжие из Ф<ридрихс>гама, между прочим твоя Амалия. Лутковский с маленькою злостию рассказывал при ней о счастливой твоей женитьбе, о твоих доходах, простирающихся до 20 тысяч, о надеждах твоих получать со временем до 50 (ты узнаешь нашего Егора). Бедняжка не знала, куда девать глаза, и то бледнела, то краснела. Поделом ей.

Почти все здешние тебе кланяются, узнав, что я получил от тебя письмо и собираюсь отвечать, Наталья же Нортман очень усердно.

Я живу помаленьку — ни весел, ни скучен. Волочусь от безделья за Анетой, обыкновенно по воскресеньям у Лутковского. Дома пишу стихи и лечусь от раны, которую мне нанесла любовь; но эта рана не сердечная.

Степанов произведен в генералы. Мы ели у него превосходительный пирог. Наши дамы жалуются на А. И. гордость: прежде она жаловалась на ихнюю. Так-то вертится колесо фортуны.

Приехать к тебе — один из тех воздушных замков, которых почитаешь такими, но все-таки строишь для своего удовольствия. Сердечно хотел бы посмотреть на твое житье-бытье и полюбоваться твоим счастием, но это вряд ли когда случится. Я в себе несвободен и бог весть буду ль свободным заживо.

Ты мне говоришь о наших счетах. Ежели можешь, то пришли сколько-нибудь: я в Петербурге начисто промотался.

Клеркер живет тоже счастливо. Я был у него и прочел в глазах его, которые никогда не лгут, что он доволен своею судьбою. Дистерло уехал в Лифляндию на воды — я один остался из старой братии нашей.

Прощай, желаю тебе продолжительно теплой жизни в твоем семействе, простоты в чувствах, всегдашней доверенности, основы супружеского счастья. Мне кажется, что это счастие всегда должно держать несколько на диэте, и что всякая неумеренность для него неудобна. Забавно, что я, холостой, преподаю советы тебе, женатому, но это от доброй души и по

старой привычке философствовать. Прощай, вспоминай, когда вспомнится.— *Боратынский.*

Милостивой Государыне Авдотье Яковлевне мое усерднейшее почтение.

12. *Н. В. ПУТЯТЕ*

11 октября 1824 г. Кюмень

Получил я письмо ваше, любезный мой покровитель, и не умею иначе благодарить вас за благосклонное ваше предложение, как принимая его с живейшею благодарностью. Меня точно бы пугала ваша столица, ежели б вы не подавали мне надежды найти в вас и наставника и защитника. Впрочем, что бы меня ни ожидало в Гельзингфорсе, случай, доставляющий мне удовольствие провести несколько дней с вами и утвердить столько же для меня лестное, сколько приятное знакомство, я почитаю очень счастливым случаем в моей жизни.

Не зная имени вашего, я не мог употребить в заглавии письма моего обыкновенной формы писем; извините меня в этом и будьте уверены, что это нисколько не ослабляет истинного уважения и совершенной преданности, с которыми остаюсь, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою

Е. Боратынский.

1824-го года
11 октября.

13. *М. Е. ЛОБАНОВУ*

<Осень (?) 1824 г. Гельсингфорс (?)>

Судьба моя такова, почтенный Михаил Евстафьевич, что я никогда не могу сказать наперед, сделаю ли я что или нет. Маккавеи не

переведены, но вы, может быть, уже слышали от Дельвига, что я переменил местопребывание, с этим вместе и обстоятельства мои переменились. Мне очень совестно, что не могу сдержать моего слова; но должен решительно отказаться от труда, на который точно не имею досуга, кроме того что чувствую себя к нему неспособным. Побраните меня: я этого стою; но не лишите доброго вашего расположения, которое я тоже несколько заслуживаю, ценя его очень дорого. Преданный вам

Е. Боратынск<ий>.

14. *А. И. ТУРГЕНЕВУ*

31 октября 1824 г. Гельсингфорс

Ваше превосходительство
Милостивый государь
Александр Иванович!

Если б я не был глубоко тронут великодушным вашим участием, я не имел бы сердца. Не скажу ни слова более о моей признательности: вы ни на кого не похожи; нет такого человеконенавистника, который не помирился бы с людьми, встретя вас между ними. Многое мог бы я прибавить, но мое дело не судить, а чувствовать.

Арсений Андреевич прав, желая повременить представлением; настоящая тому причина решительна. На последней докладной записке обо мне рукою милостивого монарха было отмечено так: *не представлять впредь до повеления.* Вот почему я и не был представлен в Петербурге. Вы видите, что после такого решения Арсений Андреевич иначе как на словах не может обо мне ходатайствовать и что он подвергается почти верному отказу, если войдет с письменным представлением. Едва ли не лучше подождать; два месяца пройдут неприметно, а я привык уже к терпению.

Хотя ваше превосходительство сами удостоиваете осведомляться о поэтических моих занятиях, может быть, я поступ-

лю нескромно, ежели скажу вам, что я написал небольшую поэму, и ежели попрошу у вас позволения доставить вам с нее список. Стихи все мое добро, и это приношение было бы лептою вдовицы.

С истинным почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашего превосходительства покорный слуга

Боратынский.

Гельзингфорс.
Октября 31 дня.

15. *И. И. КОЗЛОВУ*

7 января <1825 г. Гельсингфорс>

Вот и до нового года дожили, мой любезный Козлов; желаю, чтобы он был для вас счастливым и обильным прекрасными вдохновениями. Получил вашего «Чернеца», прочитал его с особым удовольствием; некоторые места меня глубоко тронули. Вы называете его любимым детищем вашим, и вы имеете полные основания любить его: это прекрасное, по моему мнению, произведение. Положения в нем отличаются силой, слог полон жизни и блещет красками; в нем вы излили вашу душу. Места, где вы подражаете Байрону, значительно его превосходят, насколько я мог это угадать. Четыре стиха «Гяура»:

А руки жадные дрожали
И только воздух обнимали;
Мечтой обмануты, они
К груди прижалися одни,—

вышли прекрасно по-русски.

Но в чем бы сам Байрон захотел вам подражать,— это в окончании вашей поэмы. Оно в особенности говорит воображению, оно полно особенного, национального романтизма, и мне сдается, что вы первый так хорошо его уловили. Продолжайте идти тем же путем, мой милый поэт, и вы совершите чудеса. Возвращу вам вашу тетрадь на будущей неделе; я ее

списываю для себя, ибо я хочу не только вас читать,— я хочу вас изучать.

Мне совестно говорить об «Эде» после «Чернеца»; но худо ли, хорошо ли, а все же я окончил мое писанье. Мне кажется, что я увлекся немного тщеславием; мне не хотелось идти избитой дорогой, я не хотел подражать ни Байрону, ни Пушкину; вот почему я и вдался в разные прозаические подробности, усиливаясь их излагать стихами, и вышла у меня лишь рифмованная проза. Я желал быть оригинальным, а оказался только странным!

Скажите нашей небесной Пери, что я настолько тронут ее воспоминанием обо мне, насколько может быть тронут земной поселенец, что я целую полу ее платья, переливающегося тысячами оттенков, и умею ценить ее сердце, одаренное тысячью добродетелей.

Дела мои идут все хуже и хуже. Находясь в Петербурге, вы знаете, что мой теперешний покровитель выходит в отставку, тем самым мое повышение отсрочено по крайней мере на год. Все это располагает меня более чем когда-нибудь к рифмоплетству, служа мне доказательством, что настоящее место мое в мире поэтическом, ибо нет для меня места в мире действительном.

Мы получаем здесь почти все журналы. В «Мнемозине» есть полемическая статья Кюхельбекера, на мой взгляд, прекрасно продуманная и прекрасно написанная. Наши Фрероны отвечали на нее неумно и с недоверием. Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств, и ничем нельзя помочь! Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного и честного. Какой-нибудь Греч, Булгарин, Каченовский составляют триумвират, который управляет Парнасом. Согласитесь, что это довольно грустно. Следовало бы поддержать «Мнемозину», следовало бы дать ход журналу Полевого; без этого репутация наших произведений будет в зависимости от степени расположения к нам вышеназванных господ. Поговорите об этом с нашими; это дело меня сильно волнует.

Прощайте, мой дорогой друг. Передайте мое почтение госпоже Козловой и пожелайте ей от меня счастливого нового года.

Весь ваш *Е. Боратынский.*

P. S. Дела изменились: генерал остается, и я оживаю.

16. *А. И. ТУРГЕНЕВУ*

25 января 1825 г. Гельсингфорс

Ваше превосходительство
Милостивый государь
Александр Иванович!

Арсений Андреевич поехал в Петербург 24-го сего месяца, подав мне возможные надежды на свое покровительство; но я очень хорошо знаю, что вашему только ходатайству обязан я добрым его расположением. Теперь, когда моя участь так решительно зависит от его предстательства, не откажитесь напомнить ему об участии, которым вы меня удостоиваете, и тем поощрить Арсения Андреевича к исполнению его обещаний.

Препровождаю при сем стихотворную повесть, о которой упоминал я в одном из моих писем. Ежели вы оцените не произведение, а чувство, с которым я приношу его вашему превосходительству, вы будете довольны мною и примете благосклонно этот незначительный памятник живой моей благодарности.

С истинным почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашего превосходительства, милостивый государь, покорнейшим слугою.

Е. Боратынский.

Гельзингфорс.
Генваря 25. 1825.

Письмо это доставит вашему превосходительству адъютант Арсения Андреевича Муханов. Ежели по благорасположению вашему ко мне вы пожелаете подробно осведомиться о моих обстоятельствах — он коротко их знает и будет удовлетворительно отвечать на все вопросы вашего превосходительства.

17. *В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ*

<Конец января — начало февраля 1825 г. Кюмень>

Милый Вильгельм, письмо это тебе доставит Николай Васильевич Путята, человек, уважающий твои дарования, твой нрав и твое сердце и потому желающий с тобою сблизиться. Мы вместе жили в Гельзингфорсе более двух месяцев; ежели подробности, до меня касающиеся, покажутся тебе занимательными, можешь его расспросить; он тебе расскажет все, что невозможно уместить в письме.

Давно, и слишком давно, я к тебе не писал; но ты сам виноват, не доставя мне своего адреса. Послав мне 1-ю часть «Мнемозины», ты не удостоил меня ни двумя строчками твоего рукописания; несмотря на то, я желал поблагодарить тебя за приятный для меня подарок, но не мог, ибо не знал места твоего жительства, и решился для возобновления нашей переписки дожидаться того времени, когда ты до такой бы степени прославился своим журналом, чтобы можно было надписывать письма к тебе, как некогда надписывали их к математику Эйлеру: *Г-ну Кюхельбекеру в Европе.* Не сердись за эту шутку, старый товарищ, а прими мой сердечный привет от доброго сердца.

Я читал с истинным удовольствием в 3-й части «Мнемозины» разговор твой с Булгариным. Вот как должно писать комические статьи! Статья твоя исполнена умеренности, учтивости и, во многих местах, истинного красноречия. Мнения твои мне кажутся неоспоримо справедливыми. Тебе отвечали глупо и лицемерно.

Не оставляй твоего издания и продолжай говорить правду. Я уверен, что оно более и более будет расходиться; но я советовал бы тебе сделать его по крайней мере ежемесячным. Ты знаешь, что журнальная литература получает всю свою занимательность от занимательности вседневных обстоятельств, об которых она судит и рядит; пропущено время — потеряно действие.

Посылаю тебе кое-что для твоего журнала: послал бы более, ежели б имел, но чем богат, тем и рад. Прощай, милый Вильгельм; отвечай мне, сделай милость; напиши, как живешь и что с тобою. Наше старое знакомство дает мне право требовать от тебя некоторой доверенности; я тот же сердцем, надеюсь, что и ты не переменился.

Преданный тебе *Боратынский.*

18. *Н. М. КОНШИНУ*

26 февраля <1825 г. Кюмень>

Виноват, неизвинительно виноват пред тобою, милый Коншин; но, ей-богу, заботы моей гельзингфорской жизни были отчасти причиною, что я не отвечал на письмо твое. Сначала по обыкновению своему откладывал с почты до почты, а потом узнал по газетам, что ты приехал в Петербург, но, не зная твоего адреса, не мог писать тебе туда. Что скажу тебе? Я все тот же ветреник и брюзга, как и прежде, но зато ты во мне найдешь и прежнего товарища финляндской жизни. Спасибо тебе за деньги, они пришли кстати. Я не понял первой половины письма твоего — догадываюсь, что ты не доволен тем, что не нашел в моем письме такого восторга, какой дышит в твоем первом: этого ты и не мог от меня требовать. Нравы наши довольно не сходны. Ты во всем охотно видишь хорошую сторону; а я охотно дурную. Впрочем, кажется, я не старался тебя разочаровывать и надеюсь, что ты никогда не разочаруешься, ибо счастие твое основано не на мечтах, а на первых началах природы че-

ловеческой. Не спрашиваю тебя о твоем житье-бытье, ибо знаю, что женатые редко отвечают искренно на вопрос такого рода. Мы имеем с тобою общим только прошедшее, а настоящее и будущее принадлежат уже одному тебе и сопутнице твоей жизни. Так и должно быть. Мы на лето идем в Петербург, надеюсь и желаю с тобою увидеться; поговорим про старое время и обнимемся как старые знакомые. Прощай. Преданный тебе *Боратынской.*

Милостивой государыне Авдотье Яковлевне мое усерднейшее почтение.

19. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<2-я половина февраля — начало марта 1825 г. Кюмень>

В шумной Москве ты не забыл финляндского отшельника, милый Путята, спасибо тебе: да благо ти будет и долголетен будеши на земли. Жаль мне, что ты не застал Кюхельбекера: он человек занимательный по многим отношениям и рано или поздно в роде Руссо очень будет заметен между нашими писателями. Он с большими дарованиями, и характер его очень сходен с характером женевского чудака: та же чувствительность и недоверчивость, то же беспокойное самолюбие, влекущее к неумеренным мнениям, дабы отличиться особенным образом мыслей; и порою та же восторженная любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он все готов принести на жертву. Человек вместе достойный уважения и сожаления, рожденный для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастия. Спасибо тебе за попечение твое о моих стихотворных детках: ты всех их пристроил пристойным образом. Очень меня обяжешь, ежели исполнишь свое обещание и пришлешь «Горе от ума». Не понимаю, за что москвичи сердятся на Грибоедова и на его комедию: титул ее очень для них утешителен и содержание отрадно. Что сказать тебе о моей Кюменской жизни? Гельзингфорские воспоминания наполняют пустоту ее. С удовольствием привожу себе на память некоторые откровенные

часы, проведенные с тобою и с Мухановым. Вспоминаю общую нашу Альсину с грустным размышлением о судьбе человеческой. Друг мой, она сама несчастна: это роза, это Царица цветов; но поврежденная бурею — листья ее чуть держатся и беспрестанно опадают. Боссюет сказал, не помню о какой принцессе, указывая на мертвое ее тело: La voilà telle que la mort nous l'a faite*. Про нашу Царицу можно сказать: La voilà telle que les passions l'ont faite**. Ужасно! Я видел ее вблизи, и никогда она не выйдет из моей памяти. Я с нею шутил и смеялся; но глубоко унылое чувство было тогда в моем сердце. Вообрази себе пышную мраморную гробницу, под счастливым небом полудня, окруженную миртами и сиренями,— вид очаровательный, воздух благоуханный; но гробница — все гробница, и вместе с негою печаль вливается в душу: вот чувство, с которым я приближался к женщине, тебе еще больше, нежели мне, знакомой.

Я заболтался, да немудрено заболтаться. Прощай, мой милый, кружись в вихре большого света московского, но не забывай уединенного друга, которому твое воспоминание очень дорого. Ты позабыл доставить мне твой адрес. Я прошу Муханова переслать тебе это письмо. Прощай, обнимаю тебя от всей души.

Е. Боратынский.

20. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Март 1825 г. Кюмень>

Получил я второе письмо твое из Москвы, милый Путята, спасибо тебе. С живым участием прочел я его первые строки. Ежели мое сравнение удачно, то твое распространение трогательно;

* *Вот во что превратила ее смерть (фр.).*
** *Вот во что превратили ее страсти (фр.).*

но холод гробницы не совсем еще умертвил твою душу: она жива для дружбы и для всего доброго и прекрасного. Заблуждения нераздельны с человечеством, и иные из них делают больше чести нашему сердцу, нежели преждевременное понятие о некоторых истинах.

Нам надобны и страсти и мечты,
В них бытия условие и пища.
Не подчинишь одним законам ты
И света шум и тишину кладбища.

Зачем же раскаиваться в сильном чувстве, которое ежели сильно потрясло душу, то, может быть, развило в ней много способностей, дотоле дремавших? Не хочешь ли видеть предметы с новой точки зрения и, вместо нашей гробницы, не вспомнишь ли ты Шекспиров плуг, раздирающий и плодотворящий землю.

Но не кончишь, когда дело пойдет на сравнения. Фея твоя возвратилась уже в Гельзингфорс. Кн. Львов провожал ее. В Фридрихсгаме расписалась она в почтовой книге таким образом: Le prince Chou-Cheri, héritier présomptif du royaume de la Lune, avec une partie de sa cour et la moitié de son sérail*. Веселость природная или судорожная нигде ее не оставляет. Виделся я с генералом при проезде его через Ф<ридрихс>гам. Кажется, мне мало надежды на производство; но так и быть! Муханов оставил адъютантство, и корпусная квартира потеряла для меня половину своей приманчивости. Ты один теперь у меня остаешься при Гельзингфорском дворе. Остальные лица для меня более нежели чужды.

Не заедешь ли ты ко мне в Кюмень. Я живу в доме полкового командира и имею особую комнату. То-то бы ты меня обрадовал!

Пишу новую поэму. Вот тебе отрывок описания бала в Москве:

Блистает тысячью огней
Обширный зал; с высоких хоров
Гудят смычки; толпа гостей;
С приличной важностию взоров,
В чепцах узорных, распашных,

* *Принц Шу-Шери, предполагаемый наследник Лунного королевства, с частью своего двора и половиной своего сераля (фр.).*

Ряд пестрых барынь пожилых
Сидит. Причудницы от скуки
То поправляют свой наряд,
То на толпу, сложивши руки,
С тупым вниманием глядят.
Кружатся дамы молодые,
Пылают негой взоры их;
Огнем каменьев дорогих
Блестят уборы головные.
По их плечам полунагим
Златые локоны летают;
Одежды легкие, как дым,
Их легкий стан обозначают.
Вокруг пленительных Харит
И суетится и кипит
Толпа поклонников ревнивых;
С волненьем ловят каждый взгляд:
Шутя несчастных и счастливых
Из них волшебницы творят.
В движеньи все. Горя добиться
Вниманья лестного красы,
Кавалерист крутит усы,
Франт штатский чопорно острится.

21. *Н. В. ПУТЯТЕ*

29 марта <1825 г. Кюмень>

Я поклепал на тебя в моем сердце, милый Путята; думал, что ты приехал уже в Гельзингфорс, не повидавшись со мною. Письмо твое много меня порадовало: приезжай, приезжай, обниму тебя с нежнейшею дружбою.

По какому случаю ты ждешь письма от генерала, чтоб возвратиться в корпусную квартиру? Неужели и ты хочешь оставить Финляндию? На кого же ты меня оставишь? Сколько перемен произошло в два месяца!

Благодарю тебя за похвалы моему отрывку. В самой поэме ты узнаешь Гельзингфорские впечатления. *Она* моя героиня. Стихов 200 уже у меня написано. Приезжай, посмотришь и посудишь, и мне не найти лучшего и законнейшего критика.

Московская цензура либо невинна, как пятилетняя девочка, либо весела, как пьяная сводня; можно ли позволить напечатать такую непристойную поэму, как Леда. Неужели Одоевской вытиснул под ней мое имя? Сохрани боже! мне нельзя будет показать глаз читающим дамам. Пиши после этого! Леда моя публично целуется со своим Лебедем, а буре шуметь не позволено. Неисповедимы судьбы твои, о цензура русская!

На Руси много смешного; но я не расположен смеяться, во мне веселость — усилие гордого ума, а не дитя сердца. С самого детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив. В молодости судьба взяла меня в свои руки. Все это служит пищею гению; но вот беда: я не гений. Для чего ж все было так, а не иначе? На этот вопрос захохотали бы все черти.

И этот смех служил бы ответом вольнодумцу; но не мне и не тебе: мы верим чему-то. Мы верим в прекрасное и добродетель. Что-то развитое в моем понятии для лучшей оценки хорошего, что-то улучшенное во мне самом — такие сокровища, которые не купят ни богач за деньги, ни счастливец счастием, ни самый гений, худо направленный.

Прощай, милый Путята, обнимаю тебя от всей души.

Боратынский.

22. *И. И. КОЗЛОВУ*

<Апрель 1825 г. Кюмень>

Воистину воскрес, почтенный и любезный Иван Иванович, и у нас о том слухи носятся, да полно, верить ли? У вас в просвещенной столице, конечно, это лучше знают, нежели в нашей темной глуши. Благодарю за милое письмо, очень рад, что, начиная писать ко мне по-русски, вы и меня разрешаете на то же. По большей части мы говорили с вами по-французски, оттого-то я и начал с вами переписку на языке, которого от долгого

неупотребления я позабыл правописание и самые обороты. Возвращаюсь вместе с вами на отечественную почву.

Полк наш нынешним летом будет в Петербурге. У меня сердце трепещет от радости, когда подумаю, что скоро буду в кругу истинных друзей моих и обниму вас, милого брата-поэта. Ваша «Венециянская ночь» без лести прелестна! В ней роскошная мечтательность искусно сливается с мечтательностью мрачною. Описание Венеции исполнено какой-то полуденной неги; а место, где красавица направляет гондолу свою к морю, едва ли не лучшее во всей пьесе. Так мне кажется, и я без обиняков говорю свое мнение, потому что вы сами к тому меня пригласили. Жду с нетерпением «Чернеца» и благодарю за похвалы отрывку из «Эды». В третьей части я воспользовался вашими советами и старался в ней поместить более лирических движений, нежели в двух первых.

«Элисейские поля» написаны назад тому года четыре: это французская шалость, годная только для альманаха. Я до половины написал новую небольшую поэму. Что-то из нее выйдет! Главный характер щекотлив, но смелым бог владеет. Вот что говорят в Москве об моей героине:

Кого в свой дом она манит?
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен <ли> слух людей
Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связей?

И вот что я прибавляю:

Беги ее: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Обворожительной приманки,
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар, не жар любви!

Вы говорите о наших журналистах; но, слава богу, мы здесь не получаем ни одного журнала, и мне никто не мешает любить поэзию. Полевого я видел только раз, перед отъездом его в Москву: он мне показался энтузиастом вроде Кюхельбекера. Ежели он бредит, то бредит от доброй души и по крайней мере добросовестен. Всего досаднее Вяземский. Он образо-

вался в беспокойные времена междуусобий Карамзина с Шишковым, и военный дух не покидает его и ныне:

Войной журнальною бесчестит без причины
Он дарования свои:
Не так ли славный вождь и друг Екатерины
Орлов еще любил кулачные бои?

Это экспромт; и я думаю, по стихам оно заметно. Прощайте.

Преданный вам *Боратынский.*

23. *А. И. ТУРГЕНЕВУ*

9 мая 1825 г. Кюмень

Ваше превосходительство
милостивый государь
Александр Иванович!

Наконец я свободен и вам обязан моею свободою. Ваше великодушное, настойчивое ходатайство возвратило меня обществу, семейству, жизни! Примите, ваше превосходительство, слабое воздаяние за великое добро, сделанное мне вами, примите несколько слов благодарности, вам, может быть, не нужных, но необходимых моему сердцу. Вот уже несколько дней, как все около меня дышит веселием: от души меня поздравляют добрые мои товарищи, и вам принадлежат их поздравления! Скоро возвращусь я в мое семейство, там польются слезы радости, и вы их исторгнете! Да наградит вас бог и ваше сердце.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею быть

вашего превосходительства,
милостивый государь,
покорнейший слуга

Евгений Боратынский.

Кюменьгород.
Маия 9 дня 1825.

24. *Н. В. ПУТЯТЕ*

15 мая <1825 г. Кюмень>

Спасибо, Путятушка, за присланные письма и особенно за твое собственное. Ты в нем сказал почти все, что могло мне быть занимательным, чем отплачу тебе? Одною живою благодарностью. Получил я письмецо от Муханова: он остается в Петербурге до 20 июля, итак, я надеюсь с ним увидеться. Заочно ты будешь с нами. Порадуемся и погорюем вместе. Скажу тебе между прочим, что я уже щеголяю в нейшлотском мундире: это довольно приятно; но вот что мне не по нутру — хожу всякий день на ученье и через два дня в караул. Не рожден я для службы царской. Когда подумаю о Петербурге, меня трясет лихорадка. Нет худа без добра и нет добра без худа. Скажи, ежели можешь, Магдалине, что я сердечно признателен за ее участие. Она не покидает моего воображения. Напиши мне, какую роль играет Мефистофелес и каково тебе. Я часто переношусь мыслями в ваш круг; но, может быть, он уже не похож на круг мне прежде знакомый. Мы скоро выступаем в поход: адресуй мне свои письма либо на имя Муханова, либо на имя барона Дельвига в импер. библиотеку. Прощай, душа моя, обнимаю тебя от всего сердца.

Е. Боратынский.

25. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Нач. августа 1825 г. Петербург>

Виноват, милый Путята, виноват, но не сердцем, истинно к тебе привязанным, а нравом беспечным и ленивым. Давно не писал к тебе, но не переставал о тебе думать, не переставал вспоминать о нашей гельзингфорской жизни и о дружеском твоем появлении в Кюмени.

Ты можешь себе вообразить, как меня изумило и обрадовало неожиданное свидание с Агр<афеной> Фед<оров-

ной>, с Мисинькой и, наконец, с Каролиною Левандер, которая вовсе было вышла из моей памяти. Я уже два раза их видел. Аграфена Федоровна обходится со мною очень мило, и хотя я знаю, что опасно и глядеть на нее, и ее слушать, я ищу и жажду этого мучительного удовольствия. В сентябре думаю побывать в Гельзингфорсе, чтобы поблагодарить генерала за мое воскрешение и пожить с тобою.

Многие подробности оставляю до первой почты. Письмо это доставит тебе Аграфена Федоровна. Она очень любезно вызвалась на это. Она же может сообщить тебе, почему я не успевал к тебе писать, почему не приехал в Парголово и проч. и проч.

Проводил я Муханова в Москву: он поехал беспокойный и грустный и будет таковым повсюду. Какой несчастный дар — воображение, слишком превышающее рассудок! Какой несчастный плод преждевременной опытности сердце, жадное счастия, но уже неспособное предаться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе беспредельных желаний! Таково положение Муханова, и мое, и большей части молодых людей нашего времени.

Через несколько дней мы возвращаемся в Финляндию, я этому почти рад: мне надоело беспричинное рассеяние, мне нужно взойти в себя, а взошед в себя, я, наверно, встречусь с тобою и чаще стану к тебе писать. Ты, я думаю, видишь по слогу этого письма, в каком беспорядке мои мысли. Прощай, милый Путята, до досуга, до здравого смысла и, наконец, до свидания. Спешу к ней: ты будешь подозревать, что и я несколько увлечен. Несколько, правда; но я надеюсь, что первые часы уединения возвратят мне рассудок. Напишу несколько элегий и засну спокойно. Поэзия чудесный талисман: очаровывая сама, она обессиливает чужие вредные чары. Прощай, обнимаю тебя.

Боратынский.

Письмо, приложенное здесь, я сначала думал вручить Магдалине; но мне показалось, что в нем поместил опасные подробности. Посылаю его по почте, а ей отдаю в запечатанном конверте лист белой бумаги. Как будет наказано ее любопытство, если она распечатает мое письмо! Прощай.

26. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

16 августа <1825. Выборг>

Пишу вам из Выборга, любезная маменька. Слава богу, наши парады закончились, и мы уже на пути к этой Финляндии, которая еще недавно казалась мне ссылкой, а теперь я почитаю ее лишь спокойным и приятным местом. Утомительная и рассеянная жизнь, которую я вел в Петербурге, вынудила меня к перерыву в нашей переписке; теперь я ее возобновляю; в то же время я усиленно размышляю над тем, как мне должно устроить свою жизнь теперь, когда я могу располагать собой. Это положение мне несколько внове: до сей поры я жил, не думая о будущем, поскольку у меня, можно сказать, его не было. Став, наконец, свободен, я хотел бы извлечь все возможное из того, что я видел и о чем думал до сей поры, из того, что я знаю о себе и других, я хотел бы, чтобы прожитые дни не были для меня днями потерянными.

Я надеюсь провести по крайней мере шесть месяцев около вас. Только не знаю, пущусь ли я в путешествие в октябре, или подожду санного пути. Мне хотелось бы знать, что вы решили насчет Сержа. Необходимо, чтобы он приехал в Петербург с дворянскими грамотами, без них история будет длиться бесконечно долго. Как только он предъявит их, его примут в заведение, о котором я говорил, и я почти уверен, что при его способностях и благодаря людям, которые могут замолвить за него слово, он останется в штабе. Закревский приедет на зиму в Петербург, я думаю, что он не откажется оказать содействие моему брату; ему достаточно будет сказать лишь два слова. Я уеду на несколько дней в Гельсингфорс, прежде всего чтобы поблагодарить генерала за все, что он сделал для меня, а также чтобы возобновить мои отношения с ним. Я видел г-жу Закревскую в Петербурге: она приезжала туда посмотреть празднество в Петергофе и привезла с собою молодую финляндку, чтобы показать ей чудеса столицы. Мы бегали по городу вместе. Моя поездка в Гельсингфорс будет развлечением и в то же время исполнением долга. Прощайте, маменька, любезная.

Желаю вам доброго здоровья, и да хранит вас бог. Завтра мы покидаем Выборг и 30 сего месяца будем в Роченсальме.

27. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Ноябрь 1825. Москва>

Ежели с приезда в Москву я к тебе не писал, милый Путята, я виноват не душой, а бренным моим телом, заболевшим через неделю после. Я теперь еще не выезжаю; однакож в первые дни успел повидаться с твоим батюшкой, с Рылеевым и с Мухановым. Странно, что, проживши почти два месяца в Москве, я принужден писать к тебе как будто из Кюмени, ибо не знаю ничего нового, ничего не мог заметить, почти ни с кем не познакомился и сидел один в моей комнате с ветхим моим сердцем и с ветхими его воспоминаниями. Я отдал письмо твое Муханову. Что скажу тебе про него? Он живет домком, много читает, жалуется на хандру и оживляется одними финляндскими воспоминаниями; однакож признается, что страсть к Авроре очень поуспокоилась. Все проходит!

За неимением занимательнейшего предмета буду говорить о себе. Я нашел семью свою в Москве. Свидание было радостно и горестно. Я нашел мать мою в самом жалком положении, хотя приезд мой оживил ее несколько. Брат Путята, судьба для меня не сделалась милостивее. Поверишь ли, что теперь именно начинается самая трудная эпоха моей жизни. Я не могу скрыть от моей совести, что я необходим моей матери, по какой-то болезненной ее нежности ко мне, я должен (и почти для спасения ее жизни) не расставаться с нею. Но что же я имею в виду? Какое существование? Его описать невозможно. Я рассказывал тебе некоторые подробности, теперь все то же, только хуже. Жить дома для меня значит жить в какой-то тлетворной атмосфере, которая вливает отраву не только в сердце, но и в кости. Я решился, но признаюсь, не без усилия. Что делать? Противное было бы чудовищным эгоизмом... Прощай, свобода, прощай, поэзия! Извини, милый друг, что я налегаю на твою душу моим горем, но, право, мне нужно было несколько излиться.

Я думаю просить перевода в один из полков, квартирующих в Москве. Не говори покуда об этом генералу: к нему напишут отсюда. Я слышал, что ты будешь скоро к нам в бело-

каменную. Приезжай, милый Путята, поговорим еще о Финляндии, где я пережил все, что было живого в моем сердце. Ее живописные, хотя угрюмые, горы походили на прежнюю судьбу мою, также угрюмую, но по крайней мере довольно обильную в отличительных красках. Судьба, которую я предвижу, будет подобна русским однообразным равнинам, как теперь, покрытым снегом и представляющим одну вечно унылую картину. Прощай, мой милый. Я отослал письмо твое к Ознобишину; но за нездоровьем с ним еще не виделся. Преданный тебе

Е. Боратынский.

28. *А. С. ПУШКИНУ*

<Первая половина декабря 1825 г. Москва>

Благодарю тебя за письмо, милый Пушкин: оно меня очень обрадовало, ибо я очень дорожу твоим воспоминанием. Внимание твое к моим рифмованным безделкам заставило бы меня много думать о их достоинстве, ежели б я не знал, что ты столько же любезен в своих письмах, сколько высок и трогателен в своих стихотворных произведениях.

Не думай, чтобы я до такой степени был маркизом, чтоб не чувствовать красот романтической трагедии! Я люблю героев Шекспировых, почти всегда естественных, всегда занимательных, в настоящей одежде их времени и с сильно означенными лицами. Я предпочитаю их героям Расина, но отдаю справедливость великому таланту французского трагика. Скажу более: я почти уверен, что французы не могут иметь истинной романтической трагедии. Не правила Аристотеля налагают на них оковы — легко от них освободиться,— но они лишены важнейшего способа к успеху: изящного языка простонародного. Я уважаю французских классиков, они знали свой язык, занимались теми родами поэзии, которые ему свойственны,

и произвели много прекрасного. Мне жалки их новейшие романтики: мне кажется, что они садятся в чужие сани.

Жажду иметь понятие о твоем Годунове. Чудесный наш язык ко всему способен; я это чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление.

Вяземского нет в Москве; но я на днях еду к нему в Остафьево и исполню твое препоручение. Духов Кюхельбекера читал. Не дурно, да и не хорошо. Веселость его не весела, а поэзия бедна и косноязычна. Эду для тебя не переписываю, потому что она на днях выйдет из печати. Дельвиг, который в П<етербур>ге смотрит за изданием, тотчас доставит тебе экземпляр и, пожалуй, два, ежели ты не поленишься сделать для меня, что сделал для Рылеева. Посетить тебя живейшее мое желание; но бог весть, когда мне это удастся. Случая же, верно, не пропущу. Покаместь будем меняться письмами. Пиши, милый Пушкин, а я в долгу не останусь, хотя пишу к тебе с тем затруднением, с которым обыкновенно пишут к старшим.

Прощай, обнимаю тебя. За что ты Левушку называешь Львом Сергеевичем? Он тебя искренно любит, и, ежели по ветрености как-нибудь провинился перед тобою — твое дело быть снисходительным. Я знаю, что ты давно на него сердишься; но долго сердиться не хорошо. Я вмешиваюсь в чужое дело, но ты простишь это моей привязанности к тебе и твоему брату.

Преданный тебе *Боратынский.*

Адрес мой: в Москве, у Харитона в Огородниках, дом Мясоедовой.

29. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Конец 1825 г. Москва>

Простите, спорю невпопад
Я с вашей Музою прелестной;
Но мне Парни ни сват, ни брат:
Совсем не он отец мой крестный.
Он мне однако же знаком:
Цитерских истин возвеститель,
Любезный князь, не спорю в том,
Был вместе с вами мой учитель.

Извините, ежели я так поздно отвечаю на лестное письмо ваше. Вместе с Мухановым я думал сей же час воспользоваться дружеским приглашением вашим, но не удалось. Письмо ваше к барону Дельвигу отправлено. Сближение с вами есть живейшее мое желание, и мне очень хочется напроситься на доброе ваше расположение. При первой возможности буду к вам в Остафьево. Между тем примите уверение в искренней преданности одного из усердных почитателей ваших.— *Е. Боратынский.*

30. *А. С. ПУШКИНУ*

<5—20 января 1826 г. Москва>

Посылаю тебе Уранию, милый Пушкин; не велико сокровище; но блажен, кто и малым доволен. Нам очень нужна философия. Однакож позволь тебе указать на пьесу под заглавием: «Я есмь». Сочинитель мальчик лет осмнадцати и, кажется, подает надежду. Слог не всегда точен, но есть поэзия, особенно сначала. На конце метафизика, слишком темная для стихов. Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии. Не знаю, хорошо ли это, или худо; я не читал Канта и, признаюсь, не слишком понимаю новейших эстетиков. Галич выдал пиэтику на немецкий лад.

В ней поновлены откровения Платоновы и с некоторыми прибавлениями приведены в систему. Не зная немецкого языка, я очень обрадовался случаю познакомиться с немецкой эстетикой. Нравится в ней собственная ее поэзия, но начала ее, мне кажется, можно опровергнуть философически. Впрочем, какое о том дело, особливо тебе. Твори прекрасное, и пусть другие ломают над ним голову. Как ты отделал элегиков в своей эпиграмме! Тут и мне достается, да и поделом; я прежде тебя спохватился и в одной ненапечатанной пьесе говорю, что стало очень приторно

Вытье жеманное поэтов наших лет.—

Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму *Ермака.* Предмет истинно поэтический, достойный тебя. Говорят, что, когда это известие дошло до Парнаса, и Камоэнс вытаращил глаза. Благослови тебя бог и укрепи мышцы твои на великий подвиг.

Я часто вижу Вяземского. На днях мы вместе читали твои мелкие стихотворения, думали пробежать несколько пьес и прочли всю книгу. Что ты думаешь делать с *Годуновым?* Напечатаешь ли его, или попробуешь его прежде на театре? Смерть хочется его узнать. Прощай, милый Пушкин, не забывай меня.

Е. Боратынский.

31. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Около 19 января 1826 г. Москва>

Спасибо тебе, милый Путята, за твои письма. Одно из них принесло двойную пользу: доставило мне большое удовольствие и успокоило твою матушку, которая некоторое время не получала о тебе известия и несколько горевала.

Немудрено, что от тебя ускользнуло описание Финляндии, которое ты нашел в «Телеграфе». Оно писано не в Гельзинг-

форсе, а в Москве. На днях выйдет моя «Эда», и я тотчас пришлю к тебе экземпляр. Любезного Буткова, нежного обожателя Ф. В. Булгарина, благодарю за замечание; но прибавлю свое. В поэзии говорят не то, что есть, а то, что кажется. На краю горизонта скалы касаются неба, следственно, всходят до небес. В прозе я виноват, а в стихах едва ли не прав. Между тем вот ему на потеху маленькое посланьице к его приятелю:

В своих листах душонкой ты кривишь,
Уродуешь и мненья и сказанья;
Приятельски дурачеству кадишь,
Завистливо поносишь дарованья;
Дурной твой нрав дурной приносит плод:
Срамец, срамец! все шепчут.— Вот известье!
Эх, не тужи, уж это мой расчет:
Подписчики мне платят за бесчестье.

Я думаю послать хорошо переплетенный экземпляр «Эды» генералу. Я позабыл поздравить его с новым годом; а теперь уж поздно. Мне этого очень совестно. Я бы не хотел, чтоб он мог подумать, что я позабыл моего благодетеля. Негодная поэтическая беспечность!

Я скучаю в Москве. Мне несносны новые знакомства. Сердце мое требует дружбы, а не учтивостей, и кривлянье благорасположения рождает во мне тяжелое чувство. Гляжу на окружающих меня людей, с холодною ирониею. Плачу за приветствия приветствиями и страдаю.

Часто думаю о друзьях испытанных, о прежних товарищах моей жизни — все они далеко! и когда увидимся? Москва для меня новое изгнание. Для чего мы грустим в чужбине? Ничто не говорит в ней о прошедшей нашей жизни. Москва для меня не та же ли чужбина? Извини мне мое малодушие, но в скучной Финляндии, может быть, ты с некоторым удовольствием узнаешь, что и в Москве скучают добрые люди. Прощай, мой милый, обнимаю тебя. Благодарю Александра за незабвение; а я тебя и его очень помню.

Боратынский.

32. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Январь 1826. Москва>

Милый Путята, вот письмо к А. А. Закревскому об моей отставке; я прошу тебя, милый друг, или просто отдать письмо мое А. А. или объяснить ему, почему я так поздно прошу его ходатайствовать об увольнении меня от службы. Я послал просьбу мою в полк прежде петерб<ургских> смятений. Во время оных, несколько испуганный, я написал к Лутк<овскому>, чтоб он удержал мою просьбу. Когда все поуспокоилось, я снова просил его отправить прошение мое по команде. Теперь же я хорошенько не знаю (не получал известия от Лутковского), мог ли он остановить его или нет. Ежели нет, то прошение мое давно уже дошло до вас, ежели да, то вы на днях его получите. Окажи мне это одолжение, да еще одно. Я, право, не знаю, жив ли мой Лутковский или нет: он мне не отвечает. Извини, что я беспокою тебя моими препоручениями, но ты чувствуешь, что на тебе одном все мои надежды.

Я довольно часто вижу Муханова. Кажется, что любовь его к Авроре очень поуспокоилась. На днях познакомился я с Толстым, Американцем. Очень занимательный человек. Смотрит добряком, и всякий, кто не слыхал про него, ошибется.

Стихи у меня что-то не пишутся, и я почти ничем не занят. Когда решится судьба моя, более спокойный духом, снова примусь за перо. Вот тебе покуда эпиграмма на поэтов прекрасного пола:

Не трогайте Парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам не много в нем добра,
И им Амур другие дал игрушки.
Любовь ли вам оставить в забытьи
Для жалких рифм? Над рифмами смеются,
Уносят их Летийские струи:
На пальчиках чернила остаются.

Обнимаю тебя.

33. *В. В. ИЗМАЙЛОВУ*

<Осень 1826 г. Москва>

Я столько виноват перед вами, что верно не упустил бы случая в чем-нибудь сделать вам угодное, не говоря уже, до какой степени мне лестно внимание одного из просвещеннейших наших литераторов. Несмотря на все это не могу исполнить желания вашего. Поэма моя нáбросана с большою небрежностью; и вы сами чувствуете, что неприлично являться публике в неопрятной одежде. Что ж касается до имени *Магдалина,* которое пугает цензуру, я решил изменить его словом: *богомолка,* хотя эта перемена портит всю пьесу. Жаль мне очень, что я теперь так беден стихами: все бы были к вашим услугам. Я довольно самолюбив, чтобы охотно вверять стихи мои писателю, которого собственные произведения научили строгой разборчивости, нежели неграмотным сборщикам стихов, для которых все благо, все добро. С истинным почтением и совершенною преданностью честь имею быть,

милостивый государь
ваш покорный слуга

Е. Боратынский.

34. *А. А. МУХАНОВУ*

26 октября 1826 г. <Москва>

Душа моя Муханов. Брат Ираклий привез мне изустные вести о тебе; позволь пожалеть, что не привез письменных. Мне больно, что мы в Москве так мало виделись; но я в этом не виноват: я был в первых попыхах женитьбы и принадлежал обязанностям, может, более приятным, нежели обязанности службы, но столько же определенным. Я пожил с Путятой и на днях проводил его в Петербург или, лучше сказать, в Финляндию.

Он едет туда на смертную скуку. Там у него не будет ни одного товарища, что говорится, ни одного. Я ему советовал пуститься в авторство, чтобы сберечь себя от сумасшествия. А. Ф. видел по разрешении от бремени. Что об ней сказать? Облегчилась! Двор уехал, Москва глупа и тошна; но мне мало до этого дела, потому что я счастлив дома. Принялся опять за стихи, привожу к концу Дамский вечер. Пушкин здесь, читал мне Годунова: чудесное произведение, которое составит эпоху в нашей словесности. Прощай, мой милый. Обнимаю тебя усердно и столько же усердно молю тебя не обречь меня забвению. Твой *Боратынский.*

35. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Ноябрь 1826. Москва>

Как мне жаль, милый Путята, что мне не удалось с тобой проститься при отъезде твоем из Москвы; а с тех пор от тебя ни слуху ни духу: что с тобою? Я узнал от твоей матушки, что ты еще в Петербурге и, по московским слухам, что ты не поедешь далее. Здесь говорят, что Закревский будет министром юстиции. Дай Бог! Я думаю, тебе и ему равно надоела Финляндия. Один из моих братьев приехал из Тульчина и привез известия о Муханове: в новом положении он скучает по-прежнему. В Тульчине еще скучнее, чем в Гельсингфорсе. Брат мне рассказывал подробности тамошней жизни. Витгинштейн живет в своей деревне и ходит за своими виноградниками, а штаб его в городе. Он добрый немец, счастливый в своем семействе, эконом, ни в чем не похожий на нашего герцога: у него не за кем волочиться, не о чем хлопотать, не с кем мириться и ссориться, одним словом — нет двора. Доставил ли ты письмо мое Дельвигу? Я не получаю от него ни строчки. Сделай милость, попеняй ему и узнай, печатаются ли мои сочиненья или нет. Скажи Дельвигу, что я на него очень сердит. Три письма мои к нему остались без ответа. Писать к человеку, который нам не отвечает, все равно что яриться на облако, подобно какому-то

баснословному герою. Будь милее Дельвига, милый Путята, не забывай меня и пиши ко мне.

Я живу потихохоньку, как следует женатому человеку, и очень рад, что променял беспокойные сны страстей на тихий сон тихого счастия. Из действующего лица я сделался зрителем и, укрытый от ненастья в моем углу, иногда посматриваю, какова погода в свете. Прощай, мой милый, люби меня, если не хочешь быть у меня в долгу, и верь, что у меня в сердце всегда готово участье для радостей твоих и печалей.

36. *Н. М. КОНШИНУ*

19 декабря 1826 г. <Москва>

Как неожиданное письмо твое меня обрадовало, милый Коншин! Я было потерял тебя из виду, но все тебя помнил: нельзя забыть столько лет, проведенных вместе, столько необыкновенных происшествий, столько истинного товарищества! Так, мой милый: вашего полку прибыло: я женат и счастлив. Ты знаешь, что сердце мое всегда рвалось к тихой и нравственной жизни. Прежде мое существование, беспорядочное и своенравное, всегда противоречило и свойствам моим, и мнениям. Наконец я дышу воздухом, мне потребным; но я не стану приписывать счастия моего моим философическим правилам, нет, мой милый, главное дело в том, что Бог мне дал добрую жену, что я желал счастия и нашел его. Я был подобен больному, который, желая навестить прекрасный отдаленный край, знает лучшую к нему дорогу, но не может подняться с постели. Пришел врач, возвратил ему здоровье, он сел и поехал. Отдаленный край — счастие; дорога — философия; врач — моя Настинька. Какова аллегория? И не узнаешь ли ты в страсти к метафизике твоего финляндского знакомца? Мы точно будем с тобою в родстве. Саратовский губернатор брат мужа родной моей тетки. В вашу сторону я не буду; но в Москве проживу по крайней мере еще год. Ежели ты исполнишь милое твое намерение навестить старого товарища, то он нальет тебе суповую чашку

шампанского и напишет Оду. Препоручаю жену мою доброму расположению твоей. Поклонись от меня батюшке и скажи ему, что я живо помню его финляндское гостеприимство. Где Петр Андреевич? Пиши ко мне прямо на мое имя в Москву, у прихода Рождества Столешникова в доме профессора Малова. Прощай, мой милый, обнимаю тебя от всей души и благодарю за воспоминание, которое мне доставило истинную радость.

Твой Боратынской.

37. *П. А. ВЯЗЕМСКИЙ и Е. А. БАРАТЫНСКИЙ — В. А. ЖУКОВСКОМУ и А. И. ТУРГЕНЕВУ*

<25 февраля — 12 марта 1827 г. Москва>

<Рукою П. А. Вяземского:>

Благодарю тебя, друг Жуковский, за твое письмо от 26-го декабря. Жаль мне, что нельзя его напечатать. Я теперь сделался журнальная душа: у меня же всякое лыко в строку, а всякую строку бы в печать.

<Рукою Е. А. Баратынского:>

Грузинский князь, газетчик русской
Героя трусом называл:
Не эпиграммою французской
Ему наш воин отвечал.
На глас войны летит он к Куру,
Спасает родину князька;
А князь наш держит корректуру
Реляционного листка.

Позвольте, почтенный Василий Андреевич, напомнить Вам о Боратынском, у которого Вы живете в сердечной памяти. Примите уверение в неизменившейся любви его к Василью Андреевичу и к Жуковскому. Неужели нет надежды на скорое возвращение Ваше в отечество? Увидим ли Вас когда-нибудь в Москве, где между прочим нахожусь и я, но в другом положении, нежели то, в котором Вы мне оказали столько дружбы.

День, в который я Вас увижу, будет для меня истинным сердечным праздником.

Препоручаю себя Вашему воспоминанию.

Душевно Вам преданный
Е. Боратынский.

Сейчас узнаю от князя Вяземского, что Александр Иванович живет вместе с Вами. Я должен вспомнить о нем всякий раз, как вспоминаю о самом себе. Прошу Вас засвидетельствовать ему мое почтение и сказать, что я пользуюсь семейственным счастием и независимостью, которые он столько желал мне доставить и наконец доставил. Всегда я буду хранить о нем признательное воспоминание. Ничего счастливого не случится в моей жизни без того, чтобы он и Вы не пришли мне на память.

Е. Б.

<П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу:>

Баратынский прервал мое письмо. Вот история эпиграммы его. Князь Шаликов назвал где-то и как-то в своем «Дамском журнале» Дениса Давыдова трусом, а Денис воюет теперь с персианами. Баратынский женился на дочери Энгельгардта-московского. Брак не блестящий, а благоразумный. Она мало имеет в себе элегического, но бабенка добрая и умная. Я очень полюбил Баратынского: он ума необыкновенного, ясного, тонкого. Боюсь только, чтобы не обленился на манер московского Гименея и за кулебяками тетушек и дядюшек <...>

38. *Н. А. ПОЛЕВОМУ*

<25 ноября 1827 г. Мара>

Получил я, любезный Николай Алексеевич, «Дива», «Онегина» и мои стихотворения. «Див», как мне кажется, вами оценен

беспристрастно в «Телеграфе». Подолинский, конечно, с талантом. Про «Онегина» что и говорить! Какая прелесть! Какой слог блестящий, точный и свободный! Это рисовка Рафаэля, живая и непринужденная кисть живописца из живописцев. Что касается до меня, то не могу сказать, как я вам обязан. Издание прелестно. Без вас мне никак бы не удалось явиться в свет в таком красивом уборе. Много, много благодарен. Довершите ваше одолжение, исполнив еще одну покорнейшую просьбу. Пошлите барону Антону Антоновичу Дельвигу 600 экземпляров. На Большой Миллионной, в доме г-жи Эбелинг. Между нами особые счеты и отношения. Остальными не откажитесь располагать по вашему усмотрению. Для отсылки такого количества экземпляров, разумеется, нужны деньги; может быть, вы теперь не имеете готовых, а потому я пишу к моему тестю, чтоб он доставил вам 100. Я вам без того много должен. Позвольте вас уверить, что, ежели не окупится издание, я все равно буду исправным должником. При выпуске издания сделайте одолжение доставить моему тестю 12 экз<емпляров>, в том числе 1 на александрийской бумаге. Это для раздачи моим московским родным. Вас же, любезный Николай Алексеевич, прошу доставить по экземпляру к<нязю> Вяземскому, Дмитриеву, Погодину, попросите вашего братца принять от меня на память мои мелочи, а ваш крепостной экземпляр удостойте поставить в вашей библиотеке между Батюшковым и В. Л. Пушкиным. Пришлите мне еще 8 экземпляров. Сколько комиссий! Беда иметь дело с стихотворцем. Простите мне все это во имя господа Феба.

Прощайте, обнимаю вас от всей души.

Е. Боратынский.

P. S. 600 экземпляров, как я думаю, по почте отправить будет чересчур дорого, нельзя ли по какой-нибудь оказии?

<*Адрес:*> Милостивому государю Николаю Алексеевичу Полевому в Большой Мещанской, за Сухаревой башней, в доме Поля, в Москве.

39. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Начало декабря 1827 г. Москва>

Желаю вам, любезный князь, счастливой дороги, а еще более скорого возвращения. Брат мой препоручает себя вместе со мною вашему воспоминанию. Я взял у вас со стола мой Московский Вестник. У меня остался Невский альманах, принадлежащий кн. Дол<горуковой>: я его ей доставлю. Прощаюсь с вами с истинной грустию. *Е. Боратынский.*

40. *А. С. ПУШКИНУ*

<Конец февраля (не позднее 23) 1828 г. Москва>

Давно бы я писал к тебе, милый Пушкин, ежели бы знал твой адрес и ежели бы не поздно пришла мне самая простая мысль написать: Пушкину в Петербург. Я бы это, наверно, сделал, ежели б отъезжающий Вяземский не доставил мне случай писать к тебе — при сей верной оказии. В моем Тамбовском уединении я очень о тебе беспокоился. У нас разнесся слух, что тебя увезли, а как ты человек довольно увозимый, то я этому поверил. Спустя некоторое время я с радостью услышал, что ты увозил, а не тебя увозили. Я теперь в Москве сиротствующий. Мне, по крайней мере, очень чувствительно твое отсутствие. Дельвиг погостил у меня короткое время. Он много говорил мне о тебе: между прочим, передал мне одну твою фразу, и ею меня несколько опечалил.— Ты сказал ему: «Мы нынче не переписываемся с Баратынским, а то бы я уведомил его»,— и проч.— Неужели, Пушкин, короче прежнего познакомясь в Москве, мы стали с тех пор более чуждыми друг другу? — Я, по крайней мере, люблю в тебе по-старому и человека, и поэта.

Вышли у нас еще две песни «Онегина». Каждый о них толкует по-своему: одни хвалят, другие бранят, и все читают.

Я очень люблю обширный план твоего «Онегина»; но большее число его не понимает. Ищут романической завязки, ищут обыкновенного и, разумеется, не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания кажется им бедностию вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях, проходит перед их глазами, mais que le diable les emporte et que Dieu les bénisse!* Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большею обдуманностью, с большим глубокомыслием; он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза. Не принимай на свой счет этих размышлений: они общие. Портрет твой в «Северных Цветах» чрезвычайно похож и прекрасно гравирован. Дельвиг дал мне особый оттиск. Он висит теперь у меня в кабинете, в благопристойном окладе. Василий Львович пишет романтическую поэму. Спроси о ней у Вяземского. Это совершенно балладическое произведение. Василий Львович представляется мне Парнасским Громобоем, отдавшим душу свою романтическому бесу. Нельзя ли пародировать балладу Жуковского? Между тем прощай, милый Пушкин! Пожалуйста, не поминай меня лихом.

41. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Апрель (?)1828 г. Москва>

Я перед тобой смертельно виноват, мой милый Путята: отвечаю на письмо твое через три века; но лучше поздно, нежели никогда. Не думай, однакож, чтобы я имел неблагодарное сердце:

* *Но пусть их черт возьмет и благословит бог! (фр.)*

мне мила и дорога твоя дружба, но что ты станешь делать с природною неаккуратностью?

Прости, мой милый, так создать
Меня умела власть господня:
Люблю до завтра отлагать,
Что сделать надобно сегодня!

Не гожусь я ни в какую канцелярию, хотя недавно вступил в Межевую; но, слава богу, мне дела мало; а то было бы худо моему начальнику.

Благодарю тебя за твою дружескую критику. Замечания твои справедливы в частности; но ежели б мы были вместе, я, может быть, доказал бы тебе, что некоторые из моих перемен хороши для целого. Впрочем, я никак не ручаюсь за справедливость своего мнения. Поэты по большей части дурные судьи своих произведений. Тому причиной чрезвычайно сложные отношения между ими и их сочинениями. Гордость ума и права сердца в борьбе беспрестанной. Иную пьесу любишь по воспоминанию чувства, с которым она писана. Переправкой гордишься, потому что победил умом сердечное чувство. Чему же верить? Одним я недоволен в письме твоем: оно не совсем дружеское. Ты пишешь ко мне как к постороннему, которому боишься наскучить, говоришь много обо мне и о себе ни слова. Что твоя Альсина? Все ли по-прежнему держит тебя в плену? Кстати, я слышал, что А<рсений> А<ндреевич> сделан министром внутренних дел; остаешься ли ты при нем? Думаешь ли побывать в красной Москве? Я теперь постоянный московский житель. Живу тихо, мирно, счастлив моею семейственною жизнью, но, признаюсь, Москва мне не по сердцу. Вообрази, что я не имею ни одного товарища, ни одного человека, которому мог бы сказать: помнишь? с кем бы мог потолковать нараспашку. Это тягостно. Жду тебя, как дождя майского. Здешняя атмосфера суха, пыльна неимоверно. Женатые люди имеют более нужды в дружбе, нежели холостые. Волокитство доставляет молодому свободному человеку почти везде (?) небольшое рассеяние: он переливает из пустого в порожнее с какой-нибудь пригожей дурой, и горя ему мало. Человек же семейный уже не способен к этой ребяческой забаве; ему нужна лучшая пища, ему необходим бодрый товарищ, равносильный ему умом и сердцем, любезный сам по себе, а не по мелочным отношениям мелочного самолюбия. Приезжай к нам, мой милый Путята, ты подаришь меня истинно счастливыми минута-

ми. Прощай, прости великодушно мою лень и прочие мои недостатки. Люби меня за то, что я люблю тебя душевно. Твой

Е. Боратынский.

Адрес мой: На Никитской, у прихода Малого Вознесения, дом Энгельгардта.

Я пришлю Магдалине экземпляр, но не поздно ли? Доставил ли тебе Дельвиг экземпляр от меня?

42. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Апрель 1828 г. Москва>

Исполнил я ваше препоручение, любезный князь: говорил с Полевым довольно серьезно. Результат моей негосиации состоит в том, что он дал мне честное слово послать вам 3000 с первою почтою, в остальных же деньгах росписку. Я не показывал ему первого письма вашего, оно довольно затейливо и я берегу его на крайний случай. Вы можете быть уверены, что я употребил себя усердно в этом деле: мне в то же время хотелось и оправдать вашу доверенность и найти Полевого честным человеком.

Что наше или, лучше сказать, ваше журнальное предприятие? Неужели вы остановитесь на одном проекте. Не знаю, принесет ли этот журнал большую выгоду редакторам; но он, без сомнения, будет полезен литературе. Забавно подумать, что решительно у всех теперешних наших журналистов нет ни малейшего понятия о вкусе (именно того, что бы нужно было), что почти все наши журналы преимущественно литературные, а ни один из издателей не имеет настоящего литературного образования. И вот между тем наши судьи! Скажите, кто написал этот позорный разговор о Персидской войне, напечатанный у Булгарина? C'est le coup de pied de l'âne*. Можно ли так

* *Это пинок осла (фр.).*

подло потворствовать правительству или так низко выказывать личную вражду? Сверх того, сатира эта отвратительно обыкновенна, и как не чувствовать, что кто кидает грязью в своего неприятеля, марает в ней, во-первых, собственную свою руку. Не могу вам сообщить новостей светских: вы знаете, что я не живу в свете. Москва для меня множество домов и только. Любуюсь на них снаружи и, может быть, она и лучше снаружи, чем внутри. Отсутствие ваше для меня истинная потеря и, проходя мимо вашего дома, жалею, что могу любоваться одною его архитектурою и не могу зайти к милому хозяину. После отъезда вашего я не был у Василья Львовича. Храбров его храбрится без свидетелей, по крайней мере я не в числе их. В. Л. фонарь, в котором вы зажигали свечку, без вас он не светит. Прощайте, любезный князь, усердно препоручаю себя вашему доброму расположению. *Е. Боратынский.*

Земной поклон Василью Андреевичу, которого я столько же люблю, сколько Жуковского. С радостью услышал я голос любимого моего Поэта в стихах, вами присланных; когда-то приведет меня бог увидеть человека, к которому я привязан всем сердцем и к которому храню глубокую признательность?

43. *А. А. ДЕЛЬВИГУ*

<Октябрь — начало ноября 1828. Москва>

Нет, душа моя Дельвиг: исключение фамилии и исключение пьес не все равно. Я читал их некоторым, ты, вероятно, тоже, следственно, автор будет известен, и у каждого на языке естественный вопрос: для чего вы скрыли ваше имя? Верно, потому-то и потому-то. Потешь меня, мой ангел, уничтожь вовсе эти две пьесы. Я тебе в замену пришлю на будущей неделе новое стихотворение под названием «Бесенок»: ежели не затейливо творение, то заглавие задорно. «Северные цветы» твои будут великолепны. Приложишь ли мой портрет, как имел намерение? Признаюсь, это было бы приятно моему самолюбию. Что ты помещаешь в «Цветах»? «Последнюю эпоху Золотого века» или что другое?

Надеюсь, что первое. Я получил письмо от Пушкина, в котором он мне говорит несколько слов о моем «Бале». Ему, как тебе, не нравится речь мамушки. Не защищаю ее; но желал бы знать, почему именно она не хороша, ибо, чтобы поправить ее, надобно знать, чем грешит она. Ты мне хорошо растолковал комический эффект моей поэмы и утешил меня. Мне бы очень было досадно, ежели б в «Бале» видели одну шутку, но таково должно быть непременно первое впечатление. Сочинения такого рода имеют свойство каламбуров: разница только в том, что в них играют чувствами, а не словами. Кто отгадал настоящее намерение автора, тому и книгу в руки. Кстати об руках; от всей души целую ручки у милой Софьи Михайловны и усердно благодарю ее за попечения о моей Настиньке <нрзб>. Я люблю ее как сестру родную, да что об этом и говорить и для чего сравнение. Роднее вас у меня никого нет. Сергею ничего не стоила укладка, итак, об этом не беспокойся. Ширяев «Двойника» доставил и получил от него росписку. Прощай, мой милый Дельвиг: усердно поклонись от меня Гнедичу. Все собираюсь к нему писать, да как-то не удается. Обнимаю тебя

Е. Боратынский.

P. S. Сделай милость, не упрямься и выбрось известные пьесы. Тебе это ничего не стоит, а для меня очень важно.

44. *С. П. ШЕВЫРЕВУ*

<1826—1828 (?) гг. Москва>

К крайнему моему сожалению, почтенный Степан Петрович, внезапное нездоровье не позволяет мне сегодня присутствовать в заседании общества. Прилагаю при сем две рукописи Ивана Петровича Бороздны, который не будет по той же причине и просит меня доставить оные вам. Не откажитесь. Примите общее наше извинение господам чтецам. Душевно преданный

Е. Боратынс<кий>.

45. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<18 марта — 1 апреля 1829 г. Москва>

Вы предупредили меня, любезный князь, но только делом, а не намерением. Давно собирался я к вам писать, хотя, имея мало сношений как с грамотным, так и с безграмотным светом, не мог сообщить вам ничего занимательного; но мне хотелось сказать вам, сколько я дорожу вашим добрым расположением и, ежели позволите,— дружбою. Вы не можете себе представить, как Москва для меня без вас опустела! При вас я видался со многими людьми, с которыми теперь не вижусь, потому что уже не надеюсь встретить вас между ними. Вы были лентою, которая связывала пук, а без вас он распался. Пушкин здесь, и я ему отдал ваш поклон. Он дожидается весны, чтобы ехать в Грузию. Я с ним часто вижусь, но вы нам очень недостаете. Как-то из нас двух ничего не выходит, как из двух мафематических линий. Необходима третья, чтобы составить какую-нибудь фигуру, и вы были ею. Вы мне очень лестно советуете приняться за прозу, и, признаюсь, ваше ободрение для меня очень искусительно. Ваши разговоры произвели уже на меня свое действие, и я уже планировал роман, который напишу, ежели станет у меня терпения, а в особенности дарования. Кстати о романах, вышел роман Булгарина *Выжигин*. Неимоверная плоскость! Четыре тома, в которых вы не найдете не только ни одной мысли, ни одного положения, ни одной картины, ни даже того достоинства, которого можно ожидать от Булгарина, т. е. особенного знания некоторого рода людей, с которыми не знаются порядочные люди, оригинальности шпионских, ежели не литературных замечаний, нет, душа Булгарина — такая земля, которую никакой навоз не может удобрить. Роман его, soit disant, вроде Жильблаза, заключает в себе одну только характерную черту: посвящение министру юстиции. Я не отказываюсь от мысли что-нибудь выдать вместе с вами: у меня набралось несколько стихотворных пьес, есть кое-что и в прозе. Пишите со своей стороны, а ежели, бог даст, в мае увидимся, то и увидим, какое сделать употребление из наших матерьялов. Полевому сказал о *Телеграфе*. С Раичем еще не видался. Надиньке Озеро-

вой не сказал еще ничего, потому что она теперь говеет, а ваше препоручение не *пользительно* ее душевному спасению. Я с нею похристосуюсь вашим комплиментом. Прощайте, любезный князь. Засвидетельствуйте мое усердное почтение княгине. Я очень признателен ей за воспоминание. Свербеева препоручила мне вам кланяться всякой раз, как буду к вам писать. Она едет весною в чужие краи и, кажется, ей это нужно. Жена моя благодарит вас и княгиню за вашу память. Истинно к вам привязанный — *Е. Боратынский.*

46. *И. В. КИРЕЕВСКИЙ и Е. А. БАРАТЫНСКИЙ — М. П. ПОГОДИНУ*

<1829 г. Москва>

<Рукою И. В. Киреевского:>
<...>

3. Баратынский еще не возвращался. Я покажу ему, что ты пишешь о страстях, и сообщу его ответ. Также и об Альманахе. <...>

5. Статьи об Жук<овском> не будет, а, вероятно, Баратынский даст какую-нибудь однородную и высокороднейшую. <...>

Баратынский возвратился и сам будет отвечать следующее: <Рукою Е. А. Баратынского:> Главная моя мысль: человечество состоит из человеков, следственно, в нем развивается человек. Ход их развития один и тот же. Закон его в законе разума человеческого. Употребляю страсти, как понятнейшие представители сил человека и человечества для светских людей. Пусть не примут приложения системы, лишь бы приняли систему. <*Зачеркнуто:* Тождество идей народов и идей лиц в их великом разнообразии> Определить истинную соответственность развития человека и развития человечества в подробностях дело целой эпохи. Общими и даже своенравными применениями хочу только несколько истолковать систему. Изъясняю мысль мою сравнением, и более поэт, нежели философ.

Что касается до Альманаха, во всем согласен и постараюсь все исполнить как следует. До свидания.

<Рукою И. В. Киреевского:> Так как Баратынский намерен написать об Истории непременно, так вот вместо Жук<овского>. Может быть, он напишет и о Батюшкове, и о Дельвиге!

47. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Май 1829 г. Москва>

Василий Львович доставил мне ваш подарок — экз<емпляр> «Станции». Приношу усерднейшую мою благодарность за этот знак вашего воспоминания. Вы обещали заняться полным собранием ваших сочинений; не отлагайте: оно принесет вам выгоду во всех возможных смыслах, а нам будет что почитать и о чем поговорить. Пушкин уехал в Грузию. Когда я получил письмо ваше, в котором вы у него просите «Полтаву», его уже не было в Москве. «Полтава» вообще менее нравится, чем другие поэмы Пушкина: ее критикуют вкривь и вкось. Странно! Я говорю это не потому, чтобы чрезмерно уважал суждение публики и удивлялся, что на этот раз оно оказалось погрешительным; но «Полтава», независимо от настоящего ее достоинства, кажется, имеет то, что доставляет успех: почтенный титул, занимательность содержания, новость и народность предмета. Я, право, уже не знаю, чего надобно нашей публике? Кажется, Выжигиных! Знаете ли вы, что разошлось 2000 экз<емпляров> этой глупости? Публика либо вовсе одуреет, либо решительно очнется и спросит с благородным негодованием: за кого меня принимают? У меня до вас просьба. Ежели вы имеете еще несколько лишних экз<емпляров> вашего портрета, подарите мне один. Д. Давыдов хитростию у меня выманил тот, который вы мне прежде дали, хотел его срисовать, но вместо того удержал подлинник и прямо говорит: не отдам. Вы имеете право сказать: on se m'arrache*. Прощайте,

* *Меня разрывают на части (фр.).*

любезный князь, надеюсь, что ваши домашние здоровы и что вы теперь спокойнее сердцем. Княгине свидетельствую усердное мое почтение.

Е. Боратынский.

48. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Лето 1829 г. Москва>

Я еще не отвечал на последнее ваше письмо, любезный князь, однакож исполнил ваше поручение. Письмо ваше Плетневу ему доставлено. Прочитав его с вашего позволения, я с истинным удовольствием увидел, что вы приступаете к изданию ваших сочинений. Литературная ваша слава уже установлена, и потому я не скажу вам, что книга ваша будет иметь блистательный успех в этом отношении: это само собою разумеется; но я поручусь вам за успех книгопродавческий, что также не маловажно и по собственным вашим словам: приличнее взять оброк с публики, нежели с крестьян. Не заключите из моего долгого молчания, что вы сколько-нибудь вышли из моей памяти. Причина его была потеря моей меньшей дочери, которая на некоторое время привела меня в совершенное уныние. Потеря ребенка не есть великая потеря, но она живо напоминает возможность утрат важнейших, и эта смерть, которая так неожиданно, так невозвратно похищает у нас то, что мы любим, долго не выходит из памяти. Смерть подобна деспотической власти. Обыкновенно она кажется дремлющею, но от времени до времени некоторые жертвы выказывают ее существование и наполняют сердце продолжительным ужасом. Я недавно видел Корсакова, который собирается к вам в Пензу. Где вы проводите нынешнюю зиму? Ежели в деревне, то я буду в вашем соседстве и постараюсь с вами увидеться. О Пушки-

не нет ни слуху, ни духу. Я ничего бы о нем не знал, ежели б не прочел в тифлисских газетах объявлений о приезде его в Тифлис.

Прощайте, любезный князь, обнимаю вас с душевною горячностью и препоручаю себя вашему воспоминанию.

Е. Боратынский.

49. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Лето 1829 г. Москва>

Письмо ваше, любезный князь, застало меня на самом отъезде в подмосковную. Отвечаю вам наскоро и только об ваших комиссиях. На днях послал я к вам книги, присланные вам Дельвигом на ваше имя из Петербурга, и при них вашу гербовую печать, которую просил мне вам доставить Мицкевич. Сестра моя писала к Фильду о его *Дуре* и прописала желание ваше иметь его doigté*, но он прислал ее без оного; посылаю ее, как она есть. Ежели желание ваше не исполнено, в том виноват Фильд, а не усердный вам корреспондент. Посылаю вам вашу пьесу *К ним,* перемеченную Пушкиным. Признаюсь, что и я согласен с его замечаниями. Ради бога, переправьте ее: она высокого лирического достоинства. В первом письме моем из деревни я постараюсь вам доказать, почему вы несправедливо защищаете стих: *новорожденному дар на зубок был нужен,* упоминая об иронии. Покуда прощайте, но только на одну неделю. Ваш домашний критик то же, что Сократов Демон или нимфа Егерия, надобно ему верить. Прощайте, любезный князь, и верьте, что я принимаю в сердце каждое ваше сердечное слово. Преданный вам *Е. Боратынский.*

* *Дуатэ, аппликатура (цифровое обозначение порядка распределения пальцев исполнителя в нотах) (фр.).*

50. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Лето 1829 г. Мураново>

С нетерпением жду, любезный князь, вашего мнения о замечаниях Пушкина на стихи ваши *«К ним»*. Мне кажется, что мы разно думаем о лирической иронии. По мне лирическая поэзия исключает все похожее на остроумие, потому что лукавство его совершенно противусвойственно ее увлеченности. Сердитесь, но не шутите. Пусть будет ирония горькая, но не затейливая. Вот почему мне не нравится: *дар на зубок был нужен.* Стих этот слишком весел. Я еще не говорил вам о ваших стансах. Критиковать их можно в целом и в частях. В целом можно желать большой сжатости, в частях привязаться к тому или другому выражению; но это различие чувств прекрасно своим обилием: как же требовать от него красоты меры? Ежели кто-нибудь найдет ваше стихотворение растянутым, или вам самим это придет на ум в холодную минуту, то, право, не верьте ни другим, ни себе, оставьте целое его неприкосновенным, а исправляйте только ту или другую строфу в особенности. Я думаю, что в произведениях поэзии, как в творениях природы, близ красоты должен быть непременно недостаток, ее оживляющий. Не знаю, ясно ли я выражаюсь: мысль моя в том, что некоторые недостатки во всяком авторе необходимы для существования его в известном роде, что ежели их уничтожишь, уничтожишь и жизненную меру его произведений и неумолимый вкус будет для творений искусства тем же, что смерть для творений природы. Положим, что можно себя переделать; но в таком случае будешь другим существом, с другими достоинствами, с другими несовершенствами. Чувствую, как трудно переводить светского *Адольфа* на язык, которым не говорят в свете, но надобно вспомнить, что им будут когда-нибудь говорить и что выражения, которые нам теперь кажутся изысканными, рано или поздно будут обыкновенными. Мне кажется, что не должно пугаться неупотребительности выражений и стараться только, чтобы коренной их смысл совершенно соответствовал мысли, которую хочешь выразить. Со временем они будут приняты и войдут в ежедневный язык. Вспомним,

что те из нас, которые говорят по-русски, говорят языком Жуковского, Пушкина и вашим, языком поэтов, из чего следует, что не публика нас учит, а нам учить публику. Я не согласен, однако, на слово *выторгуем.* Оно принадлежит известному ремеслу, а потому неприлично светской даме. Не лучше ли *выгадаем,* как более общее? Я порадовался вашей эпиграмме на Булгарина. Сегодня же отсылаю ее Дельвигу.

Прощайте, любезный князь. Любите любящего вас

Е. Боратынского.

51. *М. П. ПОГОДИНУ*

<1829 г.>

Милостивый государь Михайло Александрович.

Домашние, непредвиденные мною хлопоты отвлекают меня от литературы, и, не имея возможности изготовить обещанные мною статьи для нашего Альманаха, я принужден отказаться от участия в его издании. Маловажные стихотворения, которые я мог бы вам доставить, помогли бы вам не много, и в этом случае я обязан отдать себе справедливость. Искренне радуюсь изданию *Московского вестника* на будущий год. Он нужен нашей литературе. Почитаю долгом записаться в его службу и тем доказать по крайней мере мое словесное правоверие.

Прошу вашего снисхождения к моей неустойке, поверьте, весьма не добровольной. Надеюсь, что вы не перемените ко мне вашего доброго расположения, которое мне весьма дорого.

С истинным почтением честь имею быть,

Милостивый государь, ваш покорный слуга

Е. Боратынск<ий>.

52. *С. Д. ПОЛТОРАЦКОМУ*

<Конец 1820-х гг. Москва>

Не могу быть у тебя сегодня, милый Сергей Дмитриевич, за тем что не совсем здоров. Я лишен большого удовольствия, но надеюсь, что не надолго, и только оправлюсь, явлюсь к тебе на поклон. Преданный тебе

Е. Боратынс<кий>.

53. *Н. М. КОНШИНУ*

<Вторая половина сентября 1829 г. Москва>

Спасибо тебе за твое письмо, милый Коншин, тем более, что я жестоко виноват перед тобою. Но я вижу, что ты знаешь старого своего товарища и прощаешь ему многое за доброе сердце, тебе преданное. Стихов тебе пришлю, душа моя, но не прогневайся, пришлю немного. Нынешний год за разными семейными заботами я писал особенно мало, но чем богат, тем и рад, братски поделюсь между тобой и Дельвигом. Рад, что ты при добром месте. Эта добрая весть успокаивает мне душу. Трудности твоей жизни никогда не выходили из моей памяти. Поздравляю тебя с твоею семейственною радостию. Знаю по себе, как велика радость быть отцом. У меня, брат, уже порядочная семейка: сын и дочь, да я еще потерял одну малютку. Я и жена очень благодарим за дружеское ваше приветствие, отвечаем ему, препоручая себя и вперед вашему вниманию. Как жаль, что мы так издалека друг с другом перекликаемся. Скажи мое почтение барону Розену; мы познакомились с ним очень мельком у Полевого, и я весьма жалею, что я не успел утвердить с ним приятельской связи. Стихи его показывают человека не только с дарованием, но и с сердцем, и такие люди мне очень по душе. Я через два дни оставляю Москву и еду

в деревню к моей матери. Ты знаешь старинный адрес: Тамбовской губернии в город Кирсанов. Письмо твое меня застало посреди походных сборов. Извини, что не сей же час посылаю тебе стихов. К 1-му ноября пришлю непременно. Прощай, милый Коншин, обнимаю тебя. Напомни обо мне милой супруге своей как о старом знакомце. Не забудь меня уведомить, что тебе бог дает. Я в моей татарской глуши выпью за здоровье твоего потомства. Твой *Е. Боратынский.*

54. *Н. М. КОНШИНУ*

<Октябрь — ноябрь 1829 г. Мара>

Посылаю тебе, милый Коншин, обещанные стихи. Ты извинишь их неполновесность и поверишь, что вклад мой маловажен не от скупости, а от бедности. Я получил письмо твое, адресованное в Кирсанов. От души поздравляю тебя отцом, а милой твоей Олиньке желаю все, что ты ей желаешь. Воображаю твою радость и очень, очень бы желал вместе с Дельвигом быть у тебя на крестинах. Когда-то сведет нас бог: моя жизнь, кажется, всегда будет делиться между Москвою и Тамбовом; ты основался в Царском Селе, но кому известно будущее! Может быть, свидимся: дай только бог, чтобы не тяжелыми переворотами мы были выведены из теперешнего круга. Жена моя усердно благодарит милую Авдотью Яковлевну за ее доброе расположение, и ей было бы очень грустно, если б вы ее считали себе чужою. Прощай, милый Коншин, обнимаю тебя от всей души. Спасибо тебе за известие о Лутковском: я давно о нем не имею ни слуха, ни духа. Куда он отправился? и дали ли ему какую-нибудь команду. Я несколько знаю его родных и не могу постигнуть, от какого дяди досталось ему наследство.— *Е. Боратынский.*

P. S. Под стихотворением моим *Фея* выставлен год: не забудь его напечатать в твоем альманахе, это мне нужно.

55. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Осень 1829. Мара>

Не знаю, застанет ли тебя письмо мое в России, и все-таки пишу, чтоб уведомить тебя о благополучном моем приезде в мою татарскую родину, а главное, чтобы доказать тебе, что для тебя я не вовсе безграмотен или не так ленив на письма, как ты думаешь. Отъезд твой из Москвы утешит меня в собственном моем отъезде; но грустно мне думать, что при возвращении моем я не найду тебя у Красных Ворот, в доме бывшем Мертваго. Надеюсь, однако, что мы с тобой довольно пожили, поспорили, помечтали, чтоб не забыть друг друга. Мы с тобой товарищи умственной службы, умственных походов, и связь наша должна быть по крайней мере столько же надежною, сколько б она могла быть между товарищами по службе Е. И. В. и по походам графа Паскевича Эриванского. Пиши мне из просвещенного Парижа, а я буду писать тебе из варварского Кирсанова. Ежели письма мои тебе покажутся не довольно подробными, не сердись: я в самом деле писать не охотник, и это служит только прекрасным доказательством, что нам не должно разлучаться. О моем теперешнем житье-бытье сказать тебе мне почти нечего. Я не успел еще осмотреться на новом месте. Надеюсь, что в деревенском уединении проснется моя поэтическая деятельность. Пора мне приняться за перо: оно у меня слишком долго отдыхало. К тому же, чем я более размышляю, тем тверже уверяюсь, что в свете нет ничего дельнее поэзии.

Прощай, милый Киреевский, люби меня и помни, а я тебя верно не разлюблю и не забуду. Маменьке твоей свидетельствую мое усердное почтение. Она любезна со всеми, но ежели мое чувство меня не обманывает, со мной обходилась она дружески, и я вспоминаю это с самою нежною признательностию. Обнимаю тебя.—

Е. Боратынский

Жена моя кланяется маменьке твоей и тебе.

56. *А. П. ЕЛАГИНОЙ*

<Осень 1829 г. Мара>

Вы так добры ко мне, что я даже не берусь выразить вам мою благодарность. Позвольте мне откинуть общепринятые формы; предположите, что они уже соблюдены и предоставьте мне пользоваться правами дружбы, которую я давно оцениваю. Я бы почел себя очень счастливым, ежели те минуты, которые вы посвящаете мне в вашем воспоминании, могли бы несколько отвлечь вас от чувств более тягостных. Я воображаю ваше горе при разлуке с вашим сыном. Я предался ему с такою полною дружбой, что я не удивляюсь, если, думая о нем постоянно, вы вспоминаете иногда обо мне. Я вам премного обязан за присланные вами стихотворения. В них много простодушия и оригинальности. Стихотворение: *Ласточки,* исполнено грации; но мне еще более нравится: «Du bist wie eine Blume». В этом последнем есть чувство, которое, конечно, испытал всякий, кто только одарен душою не чуждой восторженности; но никто не решался выразить этого чувства, по чрезвычайной простоте его. Мне кажется, что я разговариваю с вами, когда пишу к вам. Мне так часто случалось рассуждать и спорить при вас о литературе. Вы принимали такое живое участие в том, что обыкновенно занимает только людей причастных к этому делу, что я все еще сохраняю привычку обходиться с вами как с собратом по ремеслу. Мы с женою искренно благодарим вас за участие, принимаемое вами в нашем домашнем благополучии: это роскошь чувства с вашей стороны, так как вы сами так счастливы в вашем милом семейном кругу. Прошу вас напомнить обо мне г-ну Елагину и верить тому, что я всегда с истинно-отрадным чувством думаю о дружбе моей с вами и с своей стороны искренно предан вам.

Е. Боратынский

57. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Осень 1829. Мара>

Милое, теплое и умное письмо твое меня и заняло, и обрадовало, и тронуло. Не думай, чтобы я хотел писать тебе мадригалы, нет, мой милый Киреевский, но я рад, что я нахожу тебя таким, каков ты есть, рад, что мое чутье меня в тебе не обмануло, рад еще одному — что ты, с твоей чувствительностию пылкою и разнообразною, полюбил меня, а не другого. Я нахожу довольно теплоты в моем сердце, чтоб никогда не охладить твоего, чтобы делить все твои мечты и отвечать душевным словом на душевное слово. Береги в себе этот огонь душевный, эту способность привязанности, чистый, богатый источник всего прекрасного, всякой поэзии и самого глубокомыслия. Люди, которых охлаждает суетный опыт, показывают не проницательность, а сердечное бессилие. Вынесть сердце свое свежим из опытов жизни, не позволить ему смутиться ими, вот на что мы должны обратить все наши нравственные способности. Прекрасное положительнее полезного, оно принадлежит нам в большей собственности, оно проникает все существо наше, между тем как остальное едва нами осязается. Я пишу эти строки с истинным восторгом, знаю, что твое сердце не имеет нужды в подобных поощрениях, но мне, в мои теперешние леты, испытав по некоторым обстоятельствам более другого, размышляя не менее других, мне сладко с глубоким убеждением принести это свидетельство в пользу первых чистых вдохновений сердца, простительных, годных, по мнению эгоизма, только в одну пору, а по мне, священных, драгоценных во всякое время.— Я заболтался, душа моя, но от доброго сердца. Желание мое состоит в том, чтобы ты воротился из дальних странствий, каким поехал, и обнял бы меня с старинною горячностию. Скажи Максимовичу, что я ему пришлю первую пьесу, которая у меня напишется. Ежели же Музы ко мне не будут милости-

вы, то пусть на меня не пеняет и любит меня по-прежнему. Прощай, мой милый, поклонись от меня и от жены моей милой твоей маменьке. Когда будешь писать к Соболевскому, скажи ему от меня несколько добрых дружеских слов. Напиши, когда именно ты выезжаешь из Москвы.

Жена моя тебя очень благодарит за твое дружеское воспоминание и любит тебя столько же, сколько я.

58. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<29 ноября 1829 г. Мара>

Доставь, душа моя, эти стихи Максимовичу и поблагодари от меня за милое его письмо. Не отвечаю ему за недосугом и спеша отправить на почту мой посильный оброк его альманаху. В последнем моем письме я непростительно забыл благодарить твою маменьку за намерение прислать мне Вальтер-Скоттовскую новинку. Я, кажется, ее уже имею: это — Charles le Téméraire*, не правда ли? По приложенным стихам ты увидишь, что у меня новая поэма в пяльцах, и поэма ультра-романтическая. Пишу ее, очертя голову. Прощай, мой милый, обнимаю тебя преусердно, разумеется, что также свидетельствую мое почтение всему твоему дому, мне очень, очень любезному.

Е. Боратынский.

<*Адрес:*> Его Благородию Милостивому Государю Ивану Васильевичу Киреевскому. У Красных ворот в доме Елагина бывшем Мертваго в Москве.

* *Карл Смелый (фр.).*

59. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<20 декабря 1829. Мара>

По приезде моем в деревню ежедневно собирался я вам напомнить о себе, любезный князь, но как-то все не удавалось, и я оставался при благом намерении. Могу вас, однако, уверить, что письмо ваше не предупредило бы мое, ежели б пришло одною почтою позже. Благодарю вас за присылку вашей рукописи: я не принесу ей великую пользу, но для меня чрезвычайно любопытен перевод светского, метафизического, тонко чувственного *Адольфа* на наш необработанный язык, и перевод вашей руки. Я еще не успел разглядеть его. Набег целой орды соседей отнял у меня на дело время. Но я уверен в вашем успехе, и этот успех должен быть эпохиальным для нашей словесности. Сердечно радуюсь вашему предисловию к Ф.-Визину. Вы одни на поприще нашей литературы поступаете, как настоящий писатель. Вы передаете ваше мнение обо всем и наконец нам будет известно, что вы о чем думали, между тем, как все другие русские писатели, даже с дарованием, вовсе без образа мыслей. Дельвиг мне пишет, что вы вместе с ним издаете «Литературную Газету»: правда ли это? и как хорошо, ежели это правда! Что бы вы ни издавали, прошу почитать меня вашим сотрудником малосильным, но усердным. С Кривцовым, за моим нездоровьем, виделся я только один раз. Он человек любопытный своею оригинальностию и в наших краях он служит предметом множества пересудов. Я пользуюсь деревенским уединением, но не совсем так, как вы советуете. Проза мне не дается, и суетное мое сердце все влечет меня к рифмам. Я пишу поэму. В альманахе Максимовича вы найдете один из нее отрывок. Боюсь, не чересчур ли он романтической. Свидетельствую усердное мое почтение княгине и вас прошу о продолжении вашей дружбы, мне драгоценной во всех отношениях. Я истинно к вам привязан, мне кажется, что вы угадываете это, и ничто меня столько не радует.

Преданный вам
Е. Боратынский.

60. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

24 января 1830 г. Мара

С благодарностию возвращаю вам Адольфа и прошу извинить долгую его задержку. Ее некоторым образом оправдывает семейное событие, в котором трудно сохранить свободу мыслей, нужную для литературной работы. Сестра моя была помолвлена, и среди общей домашней суеты я не мог оставаться спокойным. Вы победили великие трудности в вашем переводе, но ежели вы мне позволите сказать мое мнение, живо пораженные красотою оригинала, как всякой хороший переводчик, вы наложили на себя слишком строгую верность переложения. Знаю, что перифрасы не имеют большого достоинства; но должно уступать необходимости и там, где вы — опытный знаток русского языка — находите невозможность сохранить точные выражения подлинника, там она наверное существует. Я обременил тетрадь вашу замечаниями. Ни за одно из них не стою, но все вместе отдаю на ваше рассмотрение. Вы сами распознаете, которое дельно, которое нет. Может быть, иное из них внушит вам счастливую переправку. Противуречие возбуждает, а намеки заставляют угадывать. Ежели это правда, я оказал вам истинную услугу, немилосердно испещрив вашу рукопись.

Я не получил никакого отношения от нового литературного общества, о котором вы говорите. Против партий должно действовать партиями. Составим свое общество, призовем всех людей с дарованием и будем издавать труды его, ежегодно, ежемесячно, как придется. Мы теряем потому, что мы ленивы, а противники наши деятельны. На публику действует не качество, а количество произведений. Все ее мнения похожи на мнения религиозные. Они впечатлеваются повторением, а не убеждением. Одним словом, надобно действовать. Вы скажете: c'est bon à dire*, и я пойму вас, но не так c'est bon à faire**. По-

* *легко сказать (фр.).*
** *легко сделать (фр.).*

пробуем; ежели не удастся, не нам привыкать к беззаботливости. Препоручаю себя вашему доброму расположению. Будете ли вы в Москве на ту зиму? — *Е. Боратынский.*

<*Адрес:*> Его сиятельству Милостивому Государю Князю Петру Андреевичу Вяземскому. Между Тверской и Никитской в Чернышевском переулке в собственном доме в Москве.

61. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Июль — август 1830. Москва>

*Не доезжая до тамбовской деревни, куда мне была дорога, обстоятель*ства заставили меня вдруг повернуть в Москву, и таким образом я разъехался с вашею посылкою, которая теперь в руках моего брата и будет мне доставлена им самим только зимою. Я истинно был тронут этим знаком вашей памяти. Я видел в нем внимание к связи отдаленной, но в которой вы справедливо полагаете много душевного. Я провел несколько дней в Пензе, куда предо мною приехал Д. Давыдов. Это было в самую ярмарку. Гуляя по рядам, где и вы гуляли третьего году, мы много о всем говорили, и я досадовал на судьбу, которая, выбирая не в пору, привела меня двумя годами позже или вас двумя годами раньше в Пензу. Между многими из ваших знакомых, кажется, всех живее вас помнит хорошенькая Золотарева. Навестил я воспетую вами головку: она стоит ваших стихов и своей славы. О Москве мне сказать вам нечего. Я живу в подмосковной и приезжаю в город издалека и случайно. В последнюю мою поездку я познакомился с княг. Одоевской, которая мне показывала стихи ваши Авроре Шернваль, которая была некогда и моей вдохновительницей. Судя по ним, она все еще заслуживает свое имя и как прежде румяна и блистательна. Когда я вас увижу? И так как <зачеркнуто> провела зиму в Петербурге, следственно и вы его не скоро покинете. Будьте по крайней мере мыслию в Москве. Проживать можно

где хочешь и где судьбе угодно, но жить надобно дома. Прощайте, любезный князь, еще раз благодарю вас за вашу память. Убеждение в приязни вашей одна из моих потребностей.

Е. Боратынский.

62. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Лето 1830. Москва>

Переписка наша, милый Путята, прервалась просто потому, что ты уехал в армию, и я не знал, куда адресовать тебе мои письма. Благодарю тебя за твое дружеское воспоминание. Ты меня им истинно порадовал. Письмо твое мне показывает, что есть еще люди, с которыми можно вспомнить старину и подышать ею. Я тоже не переставал помнить и любить тебя. Милый мой Путята, мы с тобою редкие люди! Как бы я хотел тебя видеть и поговорить вдоволь души. Знаю твои теперешние огорчения и принимаю в них самое живое участие. Утешать тебя нечего; но мы бы погоревали вместе. Ты познакомил меня с Адрианополем. Письмо твое живо и занимательно: ты бы отдал его в «Литературную газету». С тех пор, как мы расстались, в жизни моей не было никакой перемены, и слава Богу. Ты все еще при Арсении Андреевиче. Напиши мне, что у вас поделывается, ведь я de la famille*. Как я живо помню гельсингфорскую жизнь! Ты по обязанности часто посещаешь Финляндию. Поверишь ли, что я бы с большим удовольствием теперь навестил ее? Я думаю о ней с признательностью: в этой стране я нашел много добрых людей, лучших, нежели те, которых узнал в отечестве; нашел тебя; этот край был пестуном моей поэзии. Лучшая мечта моей поэтической гордости состояла бы в том, чтобы в память мою посещали Финляндию будущие поэты. Прощай, милый Путята, пиши ко мне: я не буду ленив на ответы. Обнимаю тебя от всей души.

* *Человек семейный (фр.).*

63. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Ноябрь (до 23) 1830 г. Москва>

Скоро ли, любезный князь, вы решитесь оставить Астафьево и взглянуть на воскресающую Москву? Ежели она вам еще кажется опасною, то вы не правы. Можно сказать решительно, что у нас нет уже холеры. Вновь занемогающие, во-первых, малочисленны, во-вторых, болезнь их уже не та, и они почти все выздоравливают. Все грозное время провел я в Москве, и хотя мне не было весело, но в то же время не так и тошно, как я ожидал. Мы заперлись в своем доме, никуда не выезжая и никого не принимая. Теперь все оживились, но к моему полному оживлению не достает вашего присутствия. Я слышал, что княгиня в Астафьеве. Прошу ей засвидетельствовать мое почтение. Преданный вам *Е. Боратынский.*

64. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Конец ноября 1830 г. Москва>

Спорить с вами не могу, любезный князь, как ни желал бы поспорить. Оставаться в Астафьеве покуда благоразумнее, чем ехать в Москву. Приглашение мое было немного ветрено, но его внушило сильное желание вас видеть. Благодарю вас за дружественное и лестное письмо ваше, но поверьте, что вы меня еще более тронули своим участием, нежели одобрительным вашим отзывом о моем новом труде, хотя я высоко ценю ваше одобрение. Степную прогулку вашу я уже отправил Дельвигу и, судя по известной его нерасторопности, думаю, что стихотворение ваше придет вовремя. Оно исполнено красок и чувства. Такая поэзия лучше хлору очищает воздух. Вы мне освежили им душу, и я вам очень признателен за то, что вы через меня его переслали в Северные Цветы. Не знаю, что отвечать вам на предложение ваше издавать русских классиков или ста-

риков. Я мало писал в прозе и сколько раз за нее ни принимался, всегда неудачно. Терпение мое истощалось на втором листе. По совести, я никак за себя отвечать не могу. Примусь за дело и попробую свои силы. Позвольте мне взяться за Ломоносова. Имея мало затейливости в уме, я думаю, что мне лучше удастся статья важная, нежели игривая. Что касается до Тредьяковского, то я ни себя, ни публику не хочу лишить того, что вы о нем скажете. Читая ваше письмо, мне кажется, я вижу, с какою улыбкою вы написали его имя. Сколько новостей в Москве! Между ними одна величайшей важности. Варшава возмутилась и Великий Князь принужден был ее оставить. Этого мало. С небольшим числом войска он поставил себя в западню. Висла, находящаяся за ним, не позволяет ему ретироваться в Литву. Прибавьте к этому, что и Литва ненадежна. Литовский корпус весь составлен из поляков. Много, много, что половина его останется на стороне русских. Вот минута борьбы решительной, развязка, которая влечет за собой неисчислимые последствия. Нам теперь нужна величайшая быстрота и энергия. После этой новости все другие маловажны. Скажу вам однакож (что, может быть, вы уже знаете): *Литературная Газета* запрещена за четверостишие Казимира де ла Виня, вероятно, по старанию Булгарина. Прощайте, любезный князь. Как жаль, что вы не <в> соседстве, а делать нечего. Жена моя благодарит княгиню и вас за вашу память, ей очень лестную.— Преданный вам *Е. Боратынский.*

65. *Д. Н. СВЕРБЕЕВУ*

<Декабрь 1830 г. Москва>

Приношу чувствительнейшую мою признательность, почтенный Димитрий Николаевич, за дружеское письмо ваше. Вы меня истинно тронули вашим воспоминанием. Поверьте, что, к сожалению, недолговременное наше знакомство и во мне оставило неизгладимое впечатление; я не оставляю надежды когда-нибудь еще более сблизиться с вами и еще полнее пользо-

ваться знакомством, которое и в новости своей было так приятно. Я долго не терял вас из виду. Я знал, что вам не удалось ваше путешествие в чужие края, и надеялся скоро видеть вас в Москве, где в теперешнее время, может быть, безопаснее, нежели во всяком другом месте. Теперь холера у нас проходит и действие ее не было так ужасно, как мы ожидали. Мы провели все это время в Москве, запершись в своем доме, и признаюсь — первые недели, в которые болезнь развивалась и нельзя было предвидеть, до чего она разовьется, были ужасны. Теперь мы оживаем, равно как и другие жители московские. На улицах — прежнее движение, в домах прежние балы. Спасавшиеся в подмосковных приезжают в город. Кн. Вяземский еще в Астафьеве, но мы его ждем ежедневно. Деревенское уединение было ему полезно; он писал очень много, равно как и Пушкин, проведший это грозное время в своей нижегородской деревне. Он теперь здесь и привез с собой 4 трагедии, поэму, последние две главы Онегина и целую папку прозы. Деятельность его неимоверна.

Пишу вам все сии подробности, зная, что для вас будут занимательны. Киреевский воротился из Германии. Он приехал оттуда с невероятною ненавистью к немцам, впрочем, вывез оттуда много новых философических мыслей. По газетам вы знаете новости политические. Последняя отменно важна и занимательна. Мы с вами имели много политических прений, желал бы очень возобновить их, тем более что, размышляя наедине, я оставил многие из своих мнений для ваших. Препоручаю себя дружескому вашему воспоминанию и остаюсь истинно вам преданный — *Е. Боратынский.*

66. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Середина декабря 1830 г. Москва>

Отвечаю наскоро на письмо ваше, ибо люди ваши сей час едут. С Пушкиным еще не успел поговорить о письме, но думаю, что он будет согласен. Мы думали было издавать журнал здесь

в Москве. Эпиграмма удивительно хороша: я не знаю лучше, не знаю обиднее. Завтра же порадую ею Пушкина и у него вместе с ним буду подробно отвечать вам. Преданный вам душевно — *Е. Боратынский.*

67. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Декабрь 1830 г. Москва>

Вот тебе моя тетрадь, милый мой Киреевский. Возьми ее на свое попечение. Постараюсь в скором времени с тобой увидеться. Ежели Максимович тебе доставил обещанную пробу печати, то пришли мне ее. Обнимаю тебя. — *Е. Боратынский.*

68. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Декабрь 1830 — начало января 1831 г. Москва>

Я буду у тебя завтра. Давно с тобою не виделся от того, что занят был Пушкиным. Все наши, и в том числе я, здоровы и кланяемся тебе и твоим. Озеров о своих сыновьях не имеет никаких известий, кроме печатных. Написал ли ты повесть? моя готова. — *Е. Боратынский.*

69. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<1830-е годы. Москва>

Мне лучше, но я еще не совсем здоров и не знаю, когда мне удастся побывать у тебя. Навести меня, мой милый: поговорим о Се-

меновой да еще кой о чем. Поклонись от меня батюшке и матушке поцелуй ручки. Жена моя тебе и ей усердно кланяется.

70. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<30-е гг. Москва>

Каков ты, милый Киреевский? Мы очень боимся, не простудился ли ты вчера. Человек наш сказывал, что ты без шинели отыскивал жену мою, которая тебе очень, очень признательна за попечения твои о ней. Напиши мне слова два и успокой нас обоих.— *Е. Боратынский.*

71. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Апрель 1831 г. Москва>

Милый мой Киреевский, сдержи слово и приезжай ко мне либо сей час, либо в 6 часов после обеда. Эдиция моя готова, надо подписывать экземпляры. Попроси Петерсона о чернилах. Сколько я вам доставляю хлопот! Лучше бы мне и не говорить об этом. Напиши, когда будешь.— *Е. Боратынский.*

72. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Апрель 1831 г. (?) Москва>

Спасибо тебе за твои хлопоты обо мне. Я думаю, что Смирдин просто прибавил 50 экземпляров, <нрзб.>. Но все ты прав,

и зевать не надобно. Я напишу к своим знакомым, а вас прошу написать к вашим. Я здоров и скоро с тобой увижусь. Ежели Языков у вас, поцелуй его за меня, пока мне самому будет досуг с ним похристосоваться. Обнимаю тебя.— *Е. Боратынский.*

73. *П. А. ПЛЕТНЕВУ*

<Апрель 1831. Москва>

Посылаю тебе, милый Плетнев, экз. «Наложницы», чтоб им напомнить об одном из старых друзей твоих. Не знаю, доставил ли тебе покойный Дельвиг письмо мое, в котором было много такого, на что, зная твое сердце, я мог бы ожидать ответа. Я не получил его, и, признаться, это было для меня очень больно. Как ты ни переменился в продолжение пятилетней разлуки, я могу тебя уверить, что я остался тем же, чем был до нее. Я имею несчастье быть мало известным моим знакомым или, лучше сказать, не возбуждаю в них довольно участия, чтоб они потрудились узнать меня. Что делать? Им же хуже! Они отвергают сердце, способное к преданности. Прощай. Обнимаю тебя.

Е. Боратынский.

74. *М. Д. ДЕЛАРЮ*

<Апрель 1831 г. Москва>

Посылаю вам, любезный Деларю, экземпляр новой моей поэмы. Извините, ежели притом доставлю вам некоторые хлопоты, прося вас покорно разослать остальные по адресам. Надеюсь,

что по доброму расположению вашему ко мне и по нашему поэтическому товариществу вы не отяготитесь моим препоручением. Давно нет ничего вашего в *Литературной газете*. Тому назад несколько времени я читал с большим удовольствием стихи ваши, посвященные памяти барона Дельвига. Ежели не ошибаюсь, вы участвуете в издании *Литературной газеты*. Мне очень совестно, что я до сих пор не был вашим сотрудником. Надеюсь нынешнее лето оправдаться перед вами. У меня на первый случай есть повесть, которую в скором времени вам доставлю. Прощайте, любезный поэт. Жена моя вместе со мною свидетельствует свое почтение Наталье Сергеевне и Даниле Андреевичу. Оба мы предпоручаем себя вашему воспоминанию. Преданный вам

Е. Боратынс<кий>

75. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Начало лета 1831 г.>

Вообрази себе, милый Киреевский, что мы совсем нечаянно собрались ехать в Казань, и что мне, может быть, не удастся с тобой проститься, ибо до нас доходят слухи, что в Москве снова холера, и мои домашние никак меня не отпускают. Пишу к тебе посреди хлопот, нераздельных с путевыми сборами. Посылаю тебе твоего Сисмонди и Villemain. В Петербурге не могли достать экземпляра, и ты не можешь себе вообразить, как мне перед тобою совестно. Urbain говорил мне, что в июле месяце у него будет. Ежели так, купи у него все сочинение и, переменив один том, перешли ко мне в Казань. Деньги возьми у Салаева. Данные ему экземпляры «Наложницы», вероятно, разошлись. Кстати: я тебе послал его росписку, но ты не пишешь, получил ли ее. Так-то, мой милый, в то самое время, когда я думал основаться в Москве, я ее покидаю. Но это путешествие мне через год или два должно было бы непременно сделать и расстаться с моими родными. Теперь мы едем вместе, и, прожив

до будущей весны, я уже не буду иметь нужды возвращаться. Несмотря на это, еду с стесненным сердцем, и будущее пугает меня, тем более, что я люблю настоящее. Дай бог, чтобы я не нашел в Москве никакой перемены, и всех бы вас нашел, как оставил. Прощай, мой милый, более писать некогда. Куча дела. Обнимаю тебя. Языкова тоже. Скажи мое почтение всем твоим, которых я готов назвать своими.— *Е. Боратынский.*

76. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Июнь 1831. Казань>

Пишу тебе из Казани, милый Киреевский. Дорогой писать не мог, потому что мы объезжали города, в которых снова показалась холера. Как путешественник, я имею право говорить о моих впечатлениях. Назову главное: скука. Россию можно проехать из конца в конец, не увидав ничего отличного от того места, из которого выехал. Все плоско. Одна Волга меня порадовала и заставила вспомнить Языкова, о котором впрочем я и без того помнил. Приехав в Казань, я стал читать московские газеты и увидел в них объявление брошюрки *О Борисе Годунове.* Не твое ли это? Вероятно, нет; во-первых, потому, что ты слишком ленив, чтоб так проворно написать и напечатать; во-вторых, потому, что ты обещал мне прислать статью твою до печати. Надеюсь в деревенском уединении путем приняться за перо. Ежели я ничего не заметил дорогою, то многое обдумал. Путешествие по нашей родине тем хорошо, что не мешает размышлению. Это путешествие по беспредельному пространству, измеряемое одним временем: зато и приносит плод свой, как время. Кстати, не мешало бы у нас означать расстояние часами, а не верстами, как то и делается в некоторых землях не по столь неоспоримому праву. Прощай, мой милой. Я пишу к тебе ералаш оттого, что устал, оттого, что жарко. Из деревни буду писать тебе порядочнее. Поклонись от меня всем своим. Жена моя не пишет за хлопотами. Она закупает разные вещи, нуж-

ные нам в деревне, и теперь ее нет дома. Обнимаю тебя от всей души.—

Е. Боратынский.

77. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Июнь 1831 г. Казань>

Поздно отвечаю на письмо твое, милый Путята, но ты со мною помиришься, когда узнаешь, что я получил его весьма недавно, что оно мне было переслано из Москвы в Казань, где я теперь нахожусь со всем моим семейством. Благодарю тебя за доставление «Наложницы» по адресу и за твои замечания. Не спорю, что в «Наложнице» есть несколько стихов небрежных, даже дурных, но поверь мне, что вообще автор «Эды» сделал большие успехи в своей последней поэме. Не говорю уже о побежденных трудностях, о самом роде поэмы, исполненной движения, как роман в прозе, сравни беспристрастно драматическую часть и описательную; ты увидишь, что разговор в «Наложнице» непринужденнее, естественнее, описания точнее, проще. Собственно же дурных мест в «Эде» гораздо больше, нежели в Саре. В последней можно критиковать стих, выражение; а в «Эде» целые тирады, например: весь разговор гусара с Эдой в первой песне. Обыкновенно мне мое последнее сочинение кажется хуже прежних, но, перечитывая «Наложницу», меня всегда поражает легкость и верность ее слога в сравнении с прежними моими поэмами. Ежели в «Наложнице» видна некоторая небрежность, зато уж совсем незаметен труд; а это-то и нужно было в поэме, исполненной затруднительных подробностей, из которых должно было выйти совершенным победителем или не браться за дело. Я заболтался, мой милый. Извини, что с тобою спорю. Ты знаешь, что я охотно соглашаюсь с критиками, когда нахожу их справедливыми; но на твою не согласен. Желал бы сказать тебе что-нибудь занимательное, но я живу в совершенном уединении и ничем не могу с тобою де-

литься, кроме своими мыслями. Вижу по газетам, что у вас не прекращается холера; но знаю по опыту, что умеренностью в пище и старанием не простудиться наверно можно ее избегнуть. Надеюсь, что ты не будешь ее жертвою и что бог дозволит нам еще раз обнять друг друга. Прощай. Адрес мой: на мое имя в Казань.

Е. Боратынский.

78. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Июль 1831 г. Каймары>

Как ты поживаешь, милый мой Киреевский, и что ты поделываешь? Благодатно ли для тебя уединение? Идет ли вперед твой роман? Кстати об романе: я много думал о нем это время, и вот что я о нем думаю. Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего времени по той причине, что все они придерживались какой-нибудь системы. Одни спиритуалисты, другие материалисты. Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только ее духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем, и другим образом. Все сказано, но все сказано порознь. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете. Вот тебе вкратце и на франмасонском языке мои размышления. Я покуда ничего не делаю. Деревья и зелень покуда столько же развлекают меня в деревне, сколько люди в городе. Езжу всякой день верхом, одним словом, веду жизнь, которой может быть доволен только Рамих.— Прощай, мой милый, обнимаю тебя, а ты обними за меня Языкова. Не забывайте об альманахе.

Твой *Е. Боратынский.*

Я прочел в *Литературной газете* разбор *Наложницы* весьма лестный и весьма неподробный. Это дружеский отзыв. Что-то

говорят недруги? Ежели у тебя что-нибудь есть, пришли, сделай милость. Я намерен отвечать на критики. Жена моя тебе кланяется.

79. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Июль 1831 г. Каймары>

Не стану благодарить тебя за твои хлопоты: пора оставить эти сухие формулы между нами; они отзываются недоверчивостью, а у меня нет ее к тебе. Надеюсь, что в этом мы сочувствуем. Денег мне не присылай, а оставь у себя до нашего свидания. Я буду в Москву в июле, а в сентябре непременно. Мне надо тебе растолковать мысли мои о романе: я тебе изложил их слишком категорически. Как идеал конечного возьми «L'âne mort» и «La confession», как идеал спиритуальности все сентиментальные романы: ты увидишь всю односторонность того и другого рода изображений и их взаимную неудовлетворительность. Фильдинг, Вальтер Скотт ближе к моему идеалу, особенно первый, но они угадали каким-то инстинктом современные требования, и потому, попадая на настоящую дорогу, беспрестанно с нее сбиваются. Писатель, привыкший мыслить эклектически, пойдет, я думаю, далее, то есть будет еще отчетливее. Не думай, чтобы я требовал систематического романа, нет, я говорю только, что старые не могут служить образцами. Всякой писатель мыслит, следственно, всякой писатель, даже без собственного сознания, философ. Пусть же в его творениях отразится собственная его философия, а не чужая. Мы родились в век эклектический, ежели мы будем верны нашему чувству, эклектическая философия должна отразиться в наших творениях; но старые образцы могут нас сбить с толку, и я указываю на современную философию для современных произведений, как на магнитную стрелку, могущую служить путеводителем в наших литературных поисках.— Что с твоею мамень-

кою? Надеюсь, что нездоровье ее неважно. Поцелуй ей за меня ручки и скажи, чтоб она не полагалась на одну силу воли для выздоровления и похлопотала бы хоть раз о себе, как ежедневно хлопочет о других. Жена моя тебе усердно кланяется и благодарит Языкова за его память. Свояченица моя препоручила мне тоже тебе поклониться. Дело в том, что все мы очень тебя любим. Посылаю тебе росписку Салаева. Ежели Логинов и другие покупают *Наложницу*, то его экземпляры вероятно разошлись и можно с него потребовать деньги. Возьми их и оставь у себя. Что ты, Языков, не выздоравливаешь? Это, право, грустно. Прощайте, братцы, до будущего свидания. Обнимаю тебя.

80. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Июль 1831 г. Каймары>

Отвечаю тебе весьма наскоро и потому прошу принять эту грамоту за записку, а не за письмо. Благодарю тебя за добрые вести о здоровье твоей маменьки. Надеюсь, что оно скоро утвердится. О торговых делах мой ответ мог бы быть очень короток: я бы сказал: делай, что хочешь, и был бы покоен; но я знаю, что ты — человек чересчур совестливый, и ежели б что-нибудь не удалось, тебе было бы более досадно, нежели мне. Вот почему скажу тебе, что насчет Ширяева я с тобой согласен. Что же до Кольчугина, то думаю уступить менее 8 р. экземпляр, ежели возьмут 100 разом, по 7 р. 50 к. или даже по 7.

Об романе мне кажется, что мы оба правы: всякий взгляд хорош, лишь бы он был ясен и силен. Я писал тебе более о романе вообще, нежели о твоем романе, думаю между тем, что мои мысли внушат тебе что-нибудь, может быть, подробности какой-нибудь сцены. Я очень хорошо знаю, что нельзя пересоздать однажды созданное. Напиши мне, как ты найдешь Гнеди-

ча. Признаюсь, мне очень жаль, что я его не увижу. Я любил его, и это чувство еще не остыло. Может быть, теперь я нашел бы в нем кое-что смешное: что за дело! Приятно взглянуть на колокольню села, в котором родился, хотя она уже не покажется такою высокою, как казалась в детстве. Я покуда ничего не делаю: езжу верхом и, как ты, читаю Руссо. Я об нем напишу тебе на днях: он пробудил во мне много чувства и мыслей. Человек отменно замечательный и более искренний, нежели я сначала думал. Все, что он о себе говорит, без сомнения, *было*, может быть, только не совсем в том порядке, в котором он рассказывает. Его «Confessions» огромный подарок человечеству. Обнимаю тебя.

Е. Боратынский

P. S. Деньги я получил.

81. *П. А. ПЛЕТНЕВУ*

<Июль 1831 г. Каймары>

Когда я получил письмо твое, милый Плетнев, я укладывался в долгую дорогу, оттого и не отвечал тебе в то же время. Теперь пишу к тебе не из Москвы, а из деревни в 20 верстах от Казани. Я стал от тебя дальше расстоянием, но не дальше сердцем. Письмо твое взволновало мне душу. Оно дышит разуверенностью и унынием. С горьким угрызением думаю, что сам я несколько способствовал привести тебя к этому печальному расположению духа. Довольный в душе моей живым дружеским воспоминанием о тебе, я не заботился в нем уверять тебя и, казалось, забыл о старом друге. Мне страшно подумать, что, вспомнив обо мне, ты сам себе говорил: вот как нечувствительны, как неблагодарны люди! Между тем я был виноват в одной лености, отлагающей до другого дня сегодняшнее дело. Потеря Дельвига для нас незаменяема. Ежели мы когда-нибудь

и увидимся, ежели еще в одну субботу сядем вместе за твой стол,— боже мой! как мы будем еще одиноки! Милый мой, потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратно прошедшее, которое мы угадывали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений. Я еще не принимался за жизнь Дельвига. Смерть его еще слишком свежа в моем сердце. Нужны не одни сетования, нужны мысли; а я еще не в силах привести их в порядок. Поговорим о тебе. Неужели ты вовсе оставил литературу? Знаю, что поэзия не заключается в мертвой букве, что молча можно быть поэтом; но мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа. Примись опять за перо, мой милый Плетнев; не изменяй своему назначению. Совершим с твердостию наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия, а главное из них — унылость. Прощай, мой милый. Я стал проповедником. Слушай мои увещания, а я буду слушать — твои. Благодарю тебя за похвалы «Наложнице»: они меня утешили в неблагорасположении других моих критиков. Обнимаю тебя от всей души. Пиши ко мне, когда найдешь досужное время. Поклонись Пушкину. Адрес мой — такому-то, в Казань.

Е. Боратынский.

82. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<6 августа 1831 г. Каймары>

Что ты молчишь, милый Киреевский? Твое молчание меня беспокоит. Я слишком тебя знаю, чтобы приписать его охлаждению; не имею права приписать его и лени. Здоров ли ты и здоровы ли все твои? Право, не знаю что думать. Я в самом

гипохондрическом расположении духа, и у меня в уме упрямо вертится один вопрос: отчего ты не пишешь? Письмо от тебя мне необходимо. Не знаю, о чем тебе говорить. Вот уже месяц, как я в своей казанской деревне. Сначала похлопотал по хозяйству, говорил с прикащиками и старостами. У меня тяжебное дело, толковал с судьями и секретарями. Можешь себе вообразить, как это весело. Теперь я празден, но не умею еще пользоваться досугом. Мысль приходит за мыслью, ни на одной не могу остановиться. Воображение напряжено, мечты его живы, но своевольны, и ленивый ум не может их привести в порядок. Вот тебе моя психологическая исповедь.— Дорогой и частию дома я перечитал «Элоизу» Руссо. Каким образом этот роман казался страстным? Он удивительно холоден. Я нашел насилу места два истинно трогательных и два или три выражения прямо от сердца. Письма Saint-Preux лучше, нежели Юлии, в них более естественности, но вообще это трактаты нравственности, а не письма двух любовников. В романе Руссо нет никакой драматической истины, ни малейшего драматического таланта. Ты скажешь, что это и не нужно в романе, который не объявляет на них никакого притязания, в романе чисто аналитическом, но этот роман в письмах, а в слоге письма должен быть слышен голос пишущего: это в своем роде то же, что разговор, и посмотри, какое преимущество имеет над Руссо сочинитель «Клариссы». Видно, что Руссо не имел в предмете ни выражения характеров, ни даже выражения страсти, а выбрал форму романа, чтобы отдать отчет в мнениях своих о религии, чтобы разобрать некоторые тонкие вопросы нравственности. Видно, что он писал Элоизу в старости: он знает чувства, определяет их верно, но самое это самопознание холодно в его героях, ибо оно принадлежит не их летам. Роман дурен, но Руссо хорош как моралист, как диалектик, как метафизик, но... отнюдь не как создатель. Лица его без физиономии, и хотя он говорит в своих «Confessions», что они живо представлялись его воображению, я этому не верю. Руссо знал, понимал одного себя, наблюдал за одним собою, и все его лица Жан-Жаки, кто в штанах, кто в юпке. Прощай, мой милый. Делюсь с тобою, чем могу: мыслями. Пиши, ради бога. Поклонись от меня всем твоим и Языкову. Надеюсь, что я скоро перестану о тебе беспокоиться и только посержусь немного.

83. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<13 августа 1831 г. Каймары>

Я не шутя о тебе горюю, милый Киреевский. Вот еще почта, и нет от тебя ни слова. Ты, верно, болен, или с тобою случилось что-нибудь весьма необыкновенное. Последнее предположение меня не утешает. Ты промолчишь свое горе, а счастием верно поделишься. Чем более я думаю о причинах твоего молчания, тем более тревожусь. Желал был приписать его лени, но знаю, что, по несчастию, ты не имеешь этого недостатка, когда дело идет о дружбе. Я сердит на твоих. Они знают, что наша связь не простое знакомство. Что бы им уведомить меня о тебе, ежели ты сам писать не можешь. Сегодня думал я спросить о тебе твою маменьку, но оставил это из суеверия. Пишу к тебе с беспокойством и грустию. Прощай, мой милый, дай Бог, чтобы опасенья мои были несправедливы. Ежели ты был болен (в чем я почти не сомневаюсь) и еще не довольно выздоровел, чтобы писать, попроси или маменьку, или брата, или сестру уведомить нас о тебе. Все мои тебе кланяются и разделяют со мной мое беспокойство. Обнимаю тебя.— *Е. Боратынский.*

84. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Август 1831 г. Каймары>

Дружба твоя, милый Киреевский, принадлежит к моему домашнему счастию: картина его была бы весьма не полной, ежели б я пропустил речи наши о тебе, удовольствие, с которым мы читаем твои письма, искренность, с которою тебя любим и радуемся, что ты нам платишь тем же. Мы оба видим в тебе милого брата и мысленно приобщаем тебя к нашей семейной жизни. Ты из нее не выходишь и в мечтах наших о будущем, и когда мы располагаем им по воле нашего сердца, ты всегда у нас в соседстве, всегда под нашим кровом. Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь я без застенчивости: это значит, что никто еще не внушал мне такой доверенности к ду-

ше своей и своему характеру. Сделал бы тебе описание нашей деревенской жизни, но теперь не в духе. Скажу тебе вкратце, что мы пьем чай, обедаем, ужинаем часом раньше, нежели в Москве. Вот тебе рама нашего существования. Вставь в нее прогулки, верховую езду, разговоры, вставь в нее то, чему нет имени: это общее чувство, этот итог всех наших впечатлений, который заставляет проснуться весело, гулять весело, обедать весело, эту благодать семейного счастия, и ты получишь довольно верное понятие о моем бытье. *Наложницу* оставляю совершенно на твое попечение. Жду с нетерпением твоего разбора. Пришли, когда кончишь. О недостатаках *Бориса* можешь ты намекнуть вкратце и распространиться о его достоинствах. Таким образом ты будешь прав перед собою и перед отношениями. Я не совсем согласен с тобою в том, что слог *Иоанны* служил образцом слога *Бориса.* Жуковский мог только выучить Пушкина владеть <*нрзб.*> стихом без рифмы, и то нет, ибо Пушкин не следовал приемам Жуковского, соблюдая везде цезуру. Слог *Иоанны* хорош сам по себе, слог *Бориса* тоже. В слоге *Бориса* видно верное чувство старины, чувство, составляющее поэзию трагедии Пушкина, между тем как в *Иоанне* слог прекрасен без всякого отношения.— Прощай, мой милый, крепко обнимаю тебя. Пиши к нам. Жена моя очень благодарна тебе за дружеские твои приветствия. Впрочем, я всегда пишу к тебе в двух лицах. Обними за меня Языкова, рад очень, что он выздоравливает. Очень мне хочется с вами обоими повидаться, и, может быть, я соберусь на день-другой в Москву, ежели здоровье мое позволит. Не забудь поклониться от меня Гнедичу.

85. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Лето 1831 г. Каймары>

Спасибо тебе за твою записку. Это истинно дружеское внимание, и ежели б ты знал, какое удовольствие приносят пустыннику самые коротенькие строки из живого места (не говоря уже, как приятно видеть, что нас помнят те, которых мы любим),

ты бы всегда делал, как нынче. Не всегда мы расположены писать, не всегда есть мысли, не всегда есть время на длинное письмо; но всегда можно сказать: здравствуй и прощай, которые в письме более значат, нежели в горнице. Я буду следовать твоему примеру, но не переставай мне давать его. Это отстранит от нашей переписки всякое принуждение, всякую обдуманность; да к тому же, садясь за бумагу с тем, чтобы написать два слова, всегда напишешь более, и в этой прибавке будет истинное вдохновение. Сегодня голова моя довольно пуста, и я кончаю письмо мое известием, что я жив и здоров; а чтоб оно было не совсем пусто, переписываю тебе две небольшие пьесы, написанные мною недавно.

Не славь, обманутый Орфей,
Мне залетийские селенья.
Элизий в памяти моей,
И в нем не льется вод забвенья.
В нем мир цветущей старины
Умерших тени населяют,
Привычки жизни сохраняют
И чувств ее не лишены.
Там жив ты, Дельвиг; там за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.

В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей,
Со мною жил превратный гений —
Наперсник юности моей.
Он жар восторгов несогласных
Во мне питал и раздувал;
Но соразмерностей прекрасных
В душе носил я идеал.
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой,
Поэта мерные творенья
Блистали стройной красотой.
Страстей порывы утихают,
Страстей нечистые мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты,
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.

Эти пьесы, равно как и та, которую я написал Языкову — для тебя и для твоих. Не показывай и не давай их посторонним. Обнимаю тебя от всей души.— *Е. Боратынский.*

86. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<21 сентября 1831 г. Каймары>

Отвечаю разом на два твои письма, милый Киреевский, потому что они пришли в одно время. Не дивись этому: московская почта приходит в Казань два раза в неделю, а мы из своей деревни посылаем в город только раз. Благодарю тебя за хлопоты о «Наложнице». Авось разойдется зимою. Впрочем, успех и неуспех ее для меня теперь равнодушен: я как-то остыл к ее участи. Ты меня истинно обрадовал намерением издавать журнал. Боюсь только, чтобы оно не было одним из тысячи наших планов, которые остались — планами. Ежели дело дойдет до дела, то я непременный и усердный твой сотрудник, тем более что все меня клонит к прозе. Надеюсь в год доставить тебе две-три повести и помогать тебе живо вести полемику. Критик на «Наложницу» я не читал: я не получаю журналов. Ежели б ты мог мне прислать № *Телескопа,* в котором напечатано возражение на мое предисловие, я бы непременно отвечал, и отвечал дельно и обширно. Я еще более обдумал мой предмет со времени выхода в свет «Наложницы», обдумал со всеми вопросами, к нему прикосновенными, и надеюсь разрешить их, ни в чем не противореча первым моим положениям. Статья моя пригодилась бы для твоего журнала. Я сберегу тебе твой № *Телескопа* и перешлю обратно, как скоро статья моя будет готова. Ты напрасно почитаешь меня неумолимым критиком Руссо; напротив, он совершенно увлек меня. В «Элоизе» я критикую только роман, так же, как можно критиковать создание поэм Байрона. Когда-то сравнивали Байрона с Руссо, и это сравнение я нахожу весьма справедливым. В творениях того и другого не должно искать независимой фантазии, а только выражения их индивидуальности. Оба поэты самости; но Байрон безусловно предается думе о себе самом; Руссо, рожденный с душою бо-

лее разборчивою, имеет нужду себя обманывать: он морализирует и в своей морали выражает требования души своей, мнительной и нежной. В «Элоизе» желание показать возвышенное понятие свое о нравственном совершенстве человека, блистательно разрешить некоторые трудные задачи совести беспрестанно заставляет его забывать драматическую правдоподобность. Любовь по природе своей — чувство исключительное, не терпящее никакой совместности, оттого-то «Элоиза», в которой Руссо чаще предается вдохновению нравоучительному, нежели страстному, производит такое странное, неудовлетворительное впечатление. Мы видим в «Confessions», что любовь к m-me Houdetot внушила ему «Элоизу»; но по тому несоразмерному участку, который занимает в ней мораль и философия (кровная собственность Руссо), мы чувствуем, что идеал любовницы Saint-Lambert всегда уступал в его воображении идеалу Жан-Жака. В составе души Руссо еще более, нежели в составе его романа, находятся недостатки последнего. «Элоиза» мне нравится менее других произведений Руссо. Роман, я стою в том, творение, совершенно противоречащее его гению. В то время как в «Элоизе» меня сердит каждая страница, когда мне досаждают даже красоты ее, все другие его произведения увлекают меня неодолимо. Теплота его слова проникает мою душу, искренняя любовь к добру меня трогает, раздражительная чувствительность сообщается моему сердцу. Видишь, как я с тобой заболтался. Прощай. Жена моя, которая тебя очень любит, тебе кланяется. Обнимаю тебя.

Е. Боратынский.

87. *Н. М. ЯЗЫКОВУ*

<Конец сентября 1831 г. Каймары>

Благодарю тебя, милый Языков, за приписку ко мне. Это великий подвиг, увы, твоей лени и настоящее доказательство дружбы. Заняв мое место у Гермеса, ты обязан вполне заменить меня. Я служил два года с отличной ревностью, за что и удостоился

повышения в чине. Расспроси Киреевского о моих служебных подвигах: я уверен, что это воспламенит тебя благодарным соревнованием. Кажется, бог поэтов ныне не Аполлон, но Гермес: кроме тебя и меня, служил у него когда-то Вяземский. Как бы написать ему стихи, в которых хорошенько похвалить его за то, что под его управлением и Межевая канцелярия превратилась в Геликон. Кстати — о стихах: я как-то от них отстал, и в уме у меня все прозаические планы. Это очень грустно.

Бывало, отрок, звонким кликом
Лесное эхо я будил,
И верный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил.
Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.
Игра стихов, игра златая!
Как звуки, звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но все проходит: остываю
Я и к гармонии стихов
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.

Вот единственная пьеса, которую написал я с тех пор, как с тобой расстался, стараясь в ней выразить мое горе. Что ты поделываешь и скоро ли будешь писать стихотворения? Пришли, что напишешь. Это разбудит во мне вдохновение.

Киреевский принимается за журнал. Весть эта меня очень обрадовала. Будем помогать ему всеми силами: дело непременно пойдет на лад. Прощай, обнимаю тебя очень дружески.

Е. Боратынский.

88. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<8 октября 1831 г. Каймары>

Спасибо тебе за стихи Пушкина и Жуковского. Я хотел было их выписать, но ты меня предупредил. Стихи Жуковского читал

я без подписи в *Северной Пчеле* и никак не мог угадать автора. Необыкновенные рифмы и приметная твердость слога меня поразили, но фамильярный тон удалил всякую мысль о Жуковском. Первое стихотворение Пушкина мне более нравится, нежели второе. В нем сказано дело и указана настоящая точка, с которой должно смотреть на нашу войну с Польшей. Ты подчеркнул стих: *Стальной щетиною сверкая.* Ты, вероятно, находишь его слишком изысканным. Может быть, ты прав, однако он силен и живописен. Я уже отвечал тебе о журнале. Принимайся с богом за дело. Что касается до названия, мне кажется всего лучше выбрать такое, которое бы ровно ничего не значило и не показывало бы никаких притязаний. *Европеец,* вовсе не понятый публикой, будет понят журналистами в обидном смысле; а зачем вооружать их прежде времени? Нельзя ли назвать журнал *Северным Вестником, Орионом* или своенравно, но вместе незначительно, вроде Nain jaune, издаваемого при Людовике XVIII наполеонистами? Ты слишком много на меня надеешься, и я сомневаюсь, исполню ли я и половину твоих надежд. Могу тебя уверить в одном: в усердии. Твой журнал очень возбуждает меня к деятельности. Я написал еще несколько мелких стихотворных пьес, кроме тех, которые тебе послал. Теперь пишу небольшую драму, первый мой опыт в этом роде, которая как ни будет плоха, но все годится для журнала. Вероятно, я ее кончу на этой неделе и пришлю тебе. Не говори о ней никому; но прочти и скажи мне свое мнение. В журнале я помещу ее без имени. Не говорю тебе о дальнейших моих замыслах из суеверия. Никогда того не пишешь, чем заранее похвастаешь. Мне очень любопытно знать, что ты скажешь о романах Загоскина. Все его сочинения вместе показывают дарование и глупость. Загоскин отменно любопытное психологическое явление. Пришли мне статью твою, как напишешь. Настоящим образом я помогать тебе буду, когда ворочусь в Москву. Я должен писать к спеху, чтобы писать много. Мне нужно предаваться журнализму, как разговору, со всею живостью вопросов и ответов, а не то я слишком сам к себе требователен, и эта требовательность часто охлаждает меня и к хорошим моим мыслям. Между тем все, что удастся мне написать в моем уединении, будет принадлежать твоему журналу. Прощай, кланяйся твоим.— *Е. Боратынский.*

Скажи Языкову, что на него сердится Розен за то, что он не только не прислал ему стихов прошлого года, но даже не отвечал на письмо. Он жалуется на это очень и даже трогательно.

89. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Октябрь 1831 г. Каймары>

Пишу тебе два слова, милый Киреевский, а почему — увидишь из письма моего к твоей маминьке. Я получил повестку на деньги: это, верно, твои хлопоты. Вероятно, при деньгах есть и письмо; но я не успел еще послать в город. Прощай, мой милый. Я кончил драму, о которой тебе писал, и очень посредственно ею доволен. Еще раз прошу тебя, не говори никому, что я что-либо пишу. Я отвечаю всем альманашникам, что у меня стихов нет, и на днях тем же буду отвечать Пушкину. Обнимаю тебя.— *Е. Боратынский.*

90. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<26 октября 1831 г. Каймары>

Со мною сто раз случалось в обществе это тупоумие, о котором ты говоришь. Я на себя сердился, но признаюсь в хорошем мнении о самом себе: не упрекал себя в глупости, особенно сравнивая себя с теми, которые отличались этою наметанностию, которой мне недоставало. Чтобы тебя еще более утешить в твоем горе (горе я ставлю для шутки), скажу тебе, что

ни один смертный так не блистал в petits jeux* и особенно в secrétaire**, как Василий Львович Пушкин и даже брат его Сергей Львович. Сей последний, на вопрос: Quelle différence y-a-t-il entre M-r Pouchkine et le soleil?*** отвечал: Tous les deux font faire la grimace****. Впрочем, говорить нечего, хотя мы заглядываем в свет, мы не светские люди. Наш ум иначе образован, привычки его иные. Светский разговор для нас ученый труд, драматическое создание, ибо мы чужды настоящей жизни, настоящих страстей светского общества. Замечу еще одно: этот laisser aller*****, который делает нас ловкими в обществе, есть природное качество людей ограниченных. Им дает его самонадеянность, всегда нераздельная с глупостию. Люди другого рода приобретают его опытом. Долго сравнивая силы свои с силами других, они наконец замечают свое преимущество и дают себе свободу не столько по чувству собственного достоинства, сколько по уверенности в ничтожности большей части своих совместников. Не посылаю еще моего драматического опыта потому, что надо его переписать, а моя переписчица еще в постели. Благодарю тебя за деньги и за Villemain. У меня на душе стало легче, когда увидел я этот замаранный том, который меня порядочно помучил. Я прочел уже две части: много хорошего и хорошо сказанного; но Villemain часто выдает за новость и за собственное соображение — давно известное у немцев и ими отысканное. Многое лишь для успеха минуты и рукоплесканий партии. Еще одно замечание: у Villemain часто заметна аффектация аттицизма, аффектация наилучшего тона. Его скромные оговорки, во-первых, однообразны, во-вторых, несколько изысканны. Чувствуешь, что он любуется своим светско-эстетическим смирением. Это не мешает творению его быть очень занимательным. О Гизо скажу тебе, что у меня теперь нет денег. Ежели ты можешь ссудить меня нужною суммою до января, то возьми его; ежели нет, то скажи Urbain, что

* *Салонные игры. (фр.).*
** *Игра в вопросы и ответы.*
*** *В чем различие между г-ном Пушкиным и солнцем? (фр.).*
**** *Оба заставляют делать гримасу (фр.).*
***** *Непринужденность (фр.).*

Гизо мне не нужен, или попроси подождать денег. Прощай; все мои тебе кланяются. Языкову буду писать на будущей почте, а покуда обнимаю.

Е. Боратынский.

91. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Ноябрь 1831 г. Каймары>

Благодарю тебя за твое дружеское поздравление и милые шутки. Впрочем, я тебя ловлю на слове: в год рождения моей Машеньки должен непременно издаваться *Европеец;* а там, ежели в 12 лет она будет в состоянии слушать твои лекции, прошу в самом деле позаботиться о ее просвещении. Не беда, что моя пьеса пошла по рукам. Я послал Пушкину и другую: «Не славь, обманутый Орфей», но уверяю, что больше ничего нет за душою. Я не отказываюсь писать; но хочется на время, и даже долгое время, перестать печатать. Поэзия для меня не самолюбивое наслаждение. Я не имею нужды в похвалах (разумеется, черни), но не вижу, почему обязан подвергаться ее ругательствам. Я прочел критику Надеждина. Не знаю, буду ли отвечать на нее и что отвечать? Он во всем со мною согласен, только укоряет меня в том, что я будто полагаю, что изящество не нужно изящной литературе, между тем как я очень ясно сказал, что не говорю о прекрасном, потому что буду понят немногими. Критика эта меня порадовала; она мне показала, что я вполне достигнул своей цели: опроверг убедительно для всех общий предрассудок, и что всякий несколько мыслящий читатель, видя, что нельзя искать нравственности литературных произведений ни в выборе предмета, ни в поучениях, ни в том, ни в этом, заключит вместе со мною, что должно искать ее в истине или прекрасном, которое ничто иное, как высочайшая истина. Хорош бы я был, ежели б я говорил языком Надеждина. Из тысячи его подписчиков вряд ли найдется один, который что-нибудь бы понял из этой страницы, в которой он хочет

объяснить прекрасное. А что всего забавнее, это то, что перевод ее находится именно в предисловии, которое он критикует. Ежели буду отвечать, то потому только, что мне совестно перед тобою, заставив тебя понапрасну отыскивать и посылать журнал. Я пишу, но не пишу ничего порядочного. Очень недоволен собою. Ne pas perdre du temps c'est en gagner*, говорил Вольтер. Я утешаю себя этим правилом. Теперь пишу я жизнь Дельвига. Это только для тебя. Ты мне напоминаешь о Свербеевых, которых, впрочем, я не забыл. Поклонись им от меня и скажи, что ежели они останутся будущую зиму в Москве, я надеюсь провести у них много приятных часов. Обнимаю тебя.

Е. Б.

92. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

29 ноября <1831 г. Каймары>

Вот тебе и число. Я пропустил одну почту оттого, что в моем глубоком уединении

Позабыл все дни в неделе
Называть по именам.

Я думал, что был понедельник, когда была середа. В это время, однакож, трудился для твоего журнала. Отвечал Надеждину. Статья моя, я думаю, вдвое больше моего предисловия. Сам удивляюсь, что мог написать столько прозы. Драма моя почти переписана набело. Теперь сижу за повестью, которую ты помнишь: «Перстень». Все это ты получишь по будущей тяжелой почте. Все это посредственно; но для журнала годится. Благодарю тебя за обещание прислать повести малороссийского автора. Как скоро прочту, так и напишу о них. О Загоскине писать что-то страшно. Я вовсе не из числа его ревностных по-

* *Не терять времени — это значит выиграть время (фр.).*

клонников. «Милославский» его — дрянь, а «Рославлев», быть может, еще хуже. В «Рославлеве» роман ничтожен; исторический взгляд вместе глуп и неверен. Но как сказать эти крутые истины автору, который все-таки написал лучшие романы, какие у нас есть? Мне очень жаль, что Жуковскому не нравится название моей поэмы. В ответе моем Надеждину я стараюсь оправдать его. Не могу понять, почему люди умные и просвещенные так оскорбляются словом, которого полный смысл допущен во всех разговорах. Скажи мне, что он думает о самой поэме, что хвалит и что осуждает. Не бойся меня опечалить. Мнение Жуковского для меня особенно важно, и его критики будут мне полезнее. У меня план новой поэмы, со всех сторон обдуманный. Хороша ли будет, Бог знает. На днях примусь писать. Не отдаю тебе отчета в моем плане, потому что это охлаждает. Кстати, послание к Языкову и элегия, которую ты называешь европейской, принадлежат *Европейцу.* По будущей почте пришлю тебе еще две-три пьесы. Прощай, поклонись от меня милой твоей маменьке, которой не успеваю писать сегодня. Напомни обо мне Алексею Андреевичу. Каково его здоровье, и совершенно ли он успокоился насчет холеры?

Е. Боратынский.

Жена моя на богомолье в соседней пустыне и будет отвечать твоей маменьке по будущей почте.

93. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Декабрь 1831 г. Каймары>

Вот тебе для Европейца. Извини, что это все так дурно переписано: ты знаешь страсть мою к переправкам. Я не мог от них удержаться даже при том, что тебе посылаю. Особенно мне совестно за мою драму, которая их не стоит. И я ни за что бы тебе ее не послал, ежели б не думал, что в журнале и посредственное годится для занятия нескольких листов. Пересмотри мою анти-

критику, и что тебе в ней покажется лишним, выбрось. Боюсь очень, что я в ней не держусь немецкого правоверия и что в нее прокрались кой-какие ереси. Драму напечатай без имени и не читай ее никому как мое сочинение. Под сказкой поставь имя сочинителя. Я читал твое объявление: оно написано как нельзя лучше, и я тотчас узнал, что оно твое. Ты истолковал название журнала и умно, и скромно. Но у нас не понимают скромности, и я боюсь, что в твоем объявлении не довольно шарлатанства для приобретения подписчиков. Впрочем, воля Божия. Я подпишусь в будущий год на некоторые из русских журналов и буду за тебя отбраниваться, когда нужно. У меня, кроме плана поэмы, в запасе довольно желчи; я буду рад как-нибудь ее излить. Это письмо совершенно деловое. Я должен тебе дать препоручение, конечно, не литературное, а между тем не совсем ей чуждое, ибо дело идет об моем желудке. Посылаю тебе 50 рублей. Вели, сделай одолжение, купить мне полпуда какао и отправь это по тяжелой почте. Он продается в Охотном ряду: спроси у кого-нибудь, хоть у Ейнброда, как узнавать свежий от несвежего. Прощай, обнимаю тебя очень усердно. Что у меня еще напишется, пришлю. Мы переезжаем из деревни в город. Буду рекомендовать *Европейца* моим казанским знакомым.

Е. Боратынский.

94. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Конец 1831 г. Каймары или Казань>

Благодарю вас за присылку А д о л ь ф а *и за знакомство с Козарским,* которого однакож удалось мне видеть только с полчаса. Я был у него перед самым его отъездом из Казани. В нем много добродушия: он вам чрезмерно признателен за знакомства, которые вы ему доставили в Москве, и не может нахвалиться ласковым приемом Пашковых, Киндяковых и вообще московскими веселостями <?> Я перечитал *Адольфа* на досуге. Вы

избрали лучшую систему перевода, именно полезнейшую для языка. Когда вы мне прислали вашу рукопись, я не понял вашего намерения, вот почему замечания мои были истинно бестолковы. Я перечитал ваше умное и остроумное предисловие, которое так объясняет и пополняет <?> сочин<ение> Бенжамен-Констана. Вы заставили меня сызнова продумать все то, что мне внушило первое чтение *Адольфа.* Вы намекаете на недуг душевный, особенный нашему веку, который очень слегка обозначает автор *Адольфа:* он касается его вскользь, а вы, более нежели он, заставляете его заметить. Этот недуг еще не вполне им исследован и может быть предметом нового романа. Подумайте: вы, может быть, его напишете. Еще одно: неужели ничто не врачует развращения чувства, заметного в нашем веке? и точно ли мы хуже наших предков? Я не совсем вдаюсь в современные мечты усовершенствования, но склонен думать, что нет эпохи лучше или хуже другой. В наше время, мне кажется, успехи морали, высокое подробное просвещение совести очень уравновешивают эти своенравия сердца, привычки эгоизма, неизвестные прошлому веку. В старое время Адольф либо шутя оставил бы Елеонору, либо оставление ее почел бы в себе усилием добродетели и совесть его нисколько бы не мучила. Его страдания показывают, что он принадлежит времени, в которое не позволено шутить сердечными связями, времени, в которое увлечение редко, зато ветреность непростительна. Прощайте, любезный князь. Я заговорился с вами, как будто бы сидел в вашем кабинете у камина. Княгине прошу засвидетельствовать мое усердное почтение и напомнить обо мне Александру Ивановичу Тургеневу, ежели он еще в Москве.

95. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Декабрь 1831. Казань>

Ежели уже получено позволение издавать журнал под фирмою Европейца, пусть он останется *Европейцем.* Не в имени дело. Ты меня приводишь в стыд твоим слишком хорошим мне-

нием о моей драме. Спешу тебе сказать, что это только драматический опыт, несколько сцен с самою легкою завязкою. Я от нее не в отчаянии только потому, что надеюсь со временем написать что-нибудь подельнее. Ежели б я вполне следовал своему чувству, я бы поступил с нею, как ты поступаешь с некоторыми из своих творений, то есть бросил бы в печь. Кстати: я не нахожу тебя в этом отменно благоразумным. Во-первых: не мне быть судьею в собственном деле; во-вторых: каждый, принимающийся за перо, поражен какою-либо красотою, следственно, и в его творении, как бы оно ни поддавалось критике, наверно есть что-нибудь хорошее. Что ж касается до совершенства, оно, кажется, не дано человеку, и мысль о нем может скорее охладить, нежели воспламенить писателя. Это думает и Жуковский, который советует беречься

От убивающия дар
Надменной мысли совершенства.

Жуковский будет в Москве. Как жаль, что я в Казани. Поклонись ему от меня как можно усерднее. Я видел в газетах объявление о выходе его новых баллад. Не терпится прочесть их. «Повести Белкина» я знаю. Пушкин мне читал их в рукописи. Напиши мне о них свое мнение. Спасибо тебе за то, что не ленишься писать: после каждого твоего письма я, ежели можно, еще более к тебе привязываюсь. Засвидетельствуй мое почтение милой твоей маменьке. Что с нею было? Нечего тебе сказать, что я искренно радуюсь ее выздоровлению. Обними за меня Языкова, да пришли же мне новые его пьесы.

Е. Б.

Ты мне пишешь о портретах известных людей; но подумай, что у нас их весьма немного, что эти портреты должны быть панегириками, и тогда ни для кого не будут занимательными. Ты скажешь, что не надо называть поименно всех, но по двум или трем приметам легко узнать знакомого человека, особенно автора, а тень невосхищения будет уже обидою и личностию. Оставим наших соотечественников, но не мешает тебе положить на бумагу все, что ты знаешь о Шеллинге и других отличных людях Германии. Загадывать их не нужно, ибо надо их

знать, чтобы ценить их; а многие ли с ними знакомы, не только лично, но и по сочинениям? Вот тебе мое мнение: суди сам, справедливо ли оно, или нет.

96. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Конец декабря 1831 г. Казань>

Спасибо тебе за дельную критику. В конце моего ответа Надеждину я очень некстати разговорился. Вот тебе переправка:

«Первые строки мы охотно принимаем за иронию, за небрежную, следственно, шутку над неблагонамеренною привязчивостью *Московского Телеграфа.* Не будем оспаривать чувства собственного преимущества, которое их внушило; заметим только, что они не на своем месте и что могут принять их за неосторожное признание. Отдадим справедливость критику: в пристрастном разборе его видно» etc.

«Недостаток логики» замени «недостатком обдуманности», и ежели еще какое-нибудь выражение покажется тебе жестким, препоручаю тебе его смягчить.

Первый № твоего журнала великолепен. Нельзя сомневаться в успехе. Мне кажется, надо задрать журналистов, для того чтобы своими ответами они разгласили о существовании оппозиционного журнала. Твое объявление было слишком скромно. Скажи, много ли у тебя подписчиков. Напечатай в московских газетах, какие и какие статьи помещены в 1-м № *Европейца.* Это будет тебе очень полезно.

Я и все мои усердно поздравляем тебя и твоих с праздниками и новым годом. Дай бог, чтоб будущий нашел нас вместе.

Мы переехали из деревни в город: я замучен скучными визитами. Знакомлюсь с здешним обществом, не надеясь найти в этом никакого удовольствия. Нечего делать: надо повиноваться обычаю, тем более что обычай по большей части благоразумен. Я гляжу на себя, как на путешественника, который проез-

жает скучные, однообразные степи. Проехав, он с удовольствием скажет: я их видел. Прощай до будущей недели.

Е. Б.

Благодарю тебя за какао. Вероятно, рублей 15 стоила пересылка; на остальные, если можно, пришли новые баллады Жуковского.

97. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Начало января 1832 г. Казань>

Сейчас получил от тебя неожиданную и прелестную новинку, Гизо, которого мне очень хотелось иметь. Спасибо тебе. Я замечаю, что эту фразу мне приходится повторять в каждом из моих писем. Напиши, много ли я тебе должен: теперь я в деньгах.

Я мало еще познакомился с здешним городом. С первого дня моего приезда я сильно простудился и не мог выезжать. Знаешь ли, однакож, что, по-моему, провинциальный город оживленнее столицы. Говоря оживленнее, я не говорю приятнее; но здесь есть то, чего нет в Москве: действие. Разговоры некоторых из наших гостей были для меня очень занимательны. Всякий говорит о своих делах или о делах губернии, бранит или хвалит. Всякий, сколько можно заметить, деятельно стремится к положительной цели и оттого имеет физиономию. Не могу тебе развить всей моей мысли, скажу только, что в губерниях вовсе нет этого равнодушия ко всему, которое составляет характер большей части наших московских знакомцев. В губерниях больше гражданственности, больше увлечения, больше элементов и политических и поэтических. Всмотрясь внимательнее <в> общество, я, может быть, напишу что-нибудь о нем для твоего журнала; но я уже довольно видел, чтобы местом действия русского романа всегда предпочесть губернский город столичному. Хвалю здесь твоего *Евро-*

пейца; не знаю только, заставят ли мои похвалы кого-нибудь на него подписаться. Здесь выписывают книги и журналы только два или три дома и ссужают ими потом своих знакомых. Здесь живет страшный Арцыбашев: я с ним говорил, не зная, что это он. Я постараюсь с ним сблизиться, чтобы рассмотреть его натуру. Когда мне в первый раз указали Каченовского, я глядел на него с отменным любопытством, однако воображение меня обмануло:

Je le vis, son aspect n'avait rien de farouche*.

Обнимаю тебя, ты же от меня обними Языкова. Поклон всем твоим.

98. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<18 января 1832 г. Казань>

Давно не получал я от тебя писем, милый Киреевский, и не жалуюсь, ибо знаю, что хлопот у тебя много. У меня к тебе просьба: ежели еще не напечатано первое мое послание к Языкову, не печатай его: оно мне кажется довольно слабо. Напечатай лучше второе, которым я более доволен. Я здесь веду самую глупую жизнь, рассеянную без удовольствия, и жду не дождусь возвращения нашего в деревню. Мы переезжаем на первой неделе великого поста. Там я надеюсь употребить время с пользою для себя и для *Европейца,* а здесь нет никакой возможности. Подумай, кого я нашел в Казани? Молодого Перцова, известного своими стихотворными шалостями, которого нам хвалил Пушкин, но мало. Это человек очень умный и очень образованный, с решительным талантом. Он мне читал отрывки из своей комедии в стихах, исполненные живости и остроумия. Я постараюсь их выпросить у него для *Европейца.*

* *Я его увидел, его облик не представлял ничего зверского (фр.).*

С ним одним я здесь говорю натуральным моим языком. Вот тебе бюллетень моего житья-бытья. Что ты не шлешь мне *Европейца?* Я получил баллады Жуковского. В некоторых необыкновенное совершенство слова и простота, которую не имел Жуковский в прежних его произведениях. Он мне дал охоту рифмовать легенды. Прощай, обнимаю тебя.

Е. Боратынский.

99. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Январь 1832 г. Казань>

Благодарю тебя и за коротенькое письмо, но не ленись и на обещанное пространное. Ты, я думаю, теперь чрезвычайно озабочен своим журналом, и тебе остается мало времени на переписку. Мне немного совестно заставлять тебя думать обо мне, но ты извинишь мне это. Я тоже не без забот, хотя другого рода. Губернская светская жизнь довольно утомительна, и то выезжая, то принимая у меня, мало остается досуга. Языков расшевелил меня своим посланием. Оно прелесть. Такая ясная грусть, такое грациозное добродушие! Такая свежая чувствительность! Как цветущая его муза превосходит все наши бледные и хилые! У наших истерика, а у ней настоящее вдохновение! Я познакомился с Арцыбашевым. Человек очень ученый и в разговоре более приличный, нежели в печати. Впрочем весь погрязший в изысканиях. Выше хронологических чисел он ничего не видит в истории. Здешние литераторы (можешь вообразить какие) задумали издавать журнал и просят меня в нем участвовать. Это в числе неприятностей моей здешней жизни. Многие имеют здесь мои труды и Пушкина, но переписные, а не печатные. Надо продавать книги наши подешевле. Отсылаю тебе *Телескоп.* Прощай, спешу посылать на почту, где между прочим лежит ко мне посылка, надеюсь, что от тебя с *Европейцем.*

100. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Январь 1832 г. Казань>

Европеец твой бесподобен. Мысли, образ выражения, выбор статей, все небывалое в наших журналах со времен *Вестника Европы* Карамзина, и я думаю, что он будет иметь столько же успеха, как сей последний, ибо для своего времени он имеет все достоинства, которые тот имел для своего. Только не покидай своего дела. Все статьи, тобою писанные, особенно замечательны. Обозрение 19-го века богато мыслями, но ежели б мы были вместе, я в некоторых с тобою бы поспорил. Это не критика. Предмет так обширен, что можно глядеть на него с множества разных точек, и замечание мое доказывает только, что ты разбудил во мне мысленную деятельность. О слоге Вильмена статья прекрасная. Нельзя более сказать в меньших словах с такою ясностию, с таким вкусом, с такою правдою. И Вильмен, и Бальзак оценены вполне и отменно справедливо. Разбор *Годунова* отличается тою же верностию, тою же простотою взгляда. Ты не можешь себе представить, с каким восхищением я читал просвещенные страницы твоего журнала, сам себе почти не веря, что читаю русскую прозу, так я привык почерпать подобные впечатления только в иностранных книгах. Посылаю тебе небольшое стихотворение Перцова, которым я очень недоволен. Он много мне читал лучшего, и не знаю, почему выбрал эту пьесу для *Европейца.* Я с ним об этом поговорю. Он мне читал комедию, написанную прекраснейшими стихами, исполненную остроумия, и ее многие характеры изображены верно и живо. Он с решительным талантом; но видно, не все роды ему одинаково даются.

Здорова ли твоя маменька? Давно мы от нее ничего не имеем. Поцелуй у нее за меня ручки и напомни обо мне Алексею Андреевичу.

Скажи, сделай одолжение, отправил ли ты мне мой какао? Я до сих пор его не получил.

Вот тебе в заключение эпиграмма, которую должно напечатать без имени:

Кто непременный мой ругатель?
Необходимый мой предатель?

Завистник непременный мой?
Тут думать нечего — родной.
Нам чаще друга враг полезен,
Подлунный мир устроен так.
О как же дорог, как любезен
Самой природой данный враг!

101. *А. П. ЕЛАГИНОЙ*

<Начало 1832 г. Казань>

Ваше письмо, милая Авдотья Петровна, заставило меня печально пересчитать месяцы, которые мне остается провести далеко от вас, в моем Казанском изгнании. Право, нельзя быть добрее вас, и кто вас не любит, у того дурное сердце. Скажу ли, что мое вам беспредельно предано? Вы не сомневаетесь в этом, иначе вы, и ко мне и к себе, были бы очень несправедливы. Москва мне мила вами, и я бы жалел о ней, ежели бы и не собралось туда столько людей, мне давно знакомых и любезных. Стихи Жуковского тешили меня целую неделю. Кто бы подумал, что они писаны меланхоликом и придворным! Я особенно люблю Жуковского в его шалостях: так утешительно видеть в человеке с отличным умом это детское простодушие, которое удостоверяет, что могущество мысли не препятствует сердечному счастию. Ежели в других творениях Жуковского я люблю поэта, я люблю его самого в его шутках; но, кажется, мне нечего вам хвалить Жуковского. На вас уже сердится Алексей Андреевич; боюсь, чтоб и мне не досталось. Скажу вам однакож (это уже не шутка), что я понимаю волшебство вашего свидания, все счастие и всю грусть его. Вы провели вместе детство и молодость, и впечатления прошедшего, которые незаметно прикованы одни к другим, все ожили и заговорили в одно время. Этот праздник, как все большие праздники, миновался, оставив нас смущенными и встревоженными, и долго после мы не можем приноровиться к обыкновенной нашей жизни. Понимаю пустоту, оставленную вам отъездом Жуковского. Я тружусь усердно для *Европейца,* и на днях вы получите

материалов на целый номер. У меня в голове поэма; но я еще за нее не принимался: продолжительный труд пугает мою лень. Прощайте, моя милая, моя добрая Авдотья Петровна. Будьте здоровы: когда-то пройдет столько лет, что и наша дружба будет иметь свои воспоминания.

Е. Боратынский.

102. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Февраль 1832 г. Казань>

Понимаю, брат Киреевский, что хлопотливая жизнь журналиста и особенно разногласные толки и пересуды волнуют тебя неприятным образом. Я предчувствовал твое положение, и жаль мне, что я не с тобою, потому что у нас есть сходство в образе воззрения, и мы друг друга же в нем утверждали. Мнение Жуковского, Пушкина и Вяземского мне кажется несправедливым. Приноровляясь к публике, мы ее не подвинем. Писатели учат публику, и ежели она находит что-нибудь в них непонятное, это вселяет в нее еще более уважения к сведениям, которых она не имеет, заставляет ее отыскивать их, стыдяся своего невежества. Надеюсь, что Полевой менее ясен, нежели ты, однакож журнал его расходится и, нет сомнения, приносит большую пользу, ибо ежели не дает мыслей, то будит оные, а ты и даешь их, и будишь. Бранить публику вправе всякий, и публика за это никогда не сердится, ибо никто из ее членов не принимает на свой счет сказанного о собирательном теле. Вяземский сказал острое слово — и только. Ежели ты имеешь мало подписчиков, тому причиною: 1-е — слишком скромное объявление, 2-е — неизвестность твоя в литературе, 3-е — исключение мод. Но имей терпение издавать еще на будущий год, я ручаюсь в успехе. По прочтении 1-го № *Европейца* здесь в Казани мы на него подписались. Вообще журнал очень понравился. Нашли его и умным, и ученым, и разнообразным. Поверь мне, русские имеют особенную способность и особен-

ную нужду мыслить. Давай им пищу: они тебе скажут спасибо. Не упускай, однакож, из виду пестроты и повестей, без чего журнал не будет журналом, а книгою. Статья твоя о 19-м веке непонятна для публики только там, где дело идет о философии, и в самом деле, итоги твои вразумительны только тем, которые посвящены в таинства новейшей метафизики, зато выводы литературные, приложение этой философии к действительности, отменно ясны и знакомым чувством с этой философией, еще не совершенно понятной для ума. Не знаю, поймешь ли ты меня; но таков ход ума человеческого, что мы прежде верим, нежели исследуем, или, лучше сказать, исследуем для того только, чтобы доказать себе, что мы правы в нашей вере. Вот почему я нахожу полезным поступать как ты, то есть знакомить своих читателей с результатами науки, дабы, заставив полюбить оную, принудить заняться ею. Постараюсь что-нибудь прислать тебе для 3-го №. Ты прав, что Казань была для меня мало вдохновительной. Надеюсь, однакож, что несколько впечатлений и наблюдений, приобретенных мною, не пропадут. Прощай. Не предавайся унынию. Литературный труд сам себе награда, и у нас, слава богу, степень уважения, которую мы приобретаем, как писатели, не соразмеряется торговым успехом. Это я знаю достоверно и по опыту. Булгарин, несмотря на успехи свои в этом роде, презрен даже в провинциях. Я до сих пор еще не встречался с людьми, для которых он пишет.

Е. Боратынский.

103. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Февраль 1832 г. Казань>

Поздравляю тебя с масляницей. Это значит, что мне писать тебе недосуг. Вот тебе другая пьеса Перцова, которая лучше первой. Еще просьба: напечатай в *Европейце* мое: *Бывало, отрок,* etc. Я не

знаю, отчего Пушкин отказал ей место в *Северных Цветах*. Прощай, обнимаю тебя. На той неделе буду более твоим, нежели на этой.— *Е. Боратынский.*

104. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<22 февраля 1832 г. Казань>

Начинаю письмо мое пенями на тебя, а у меня их набралось нарочитое количество. Во-первых, ты мне не пишешь, много ли я тебе должен за Гизота и за другие мелочи. Нам с тобою нечего чиниться, особенно в этом. Во-вторых, позволь мне побранить тебя за то, что ты не говоришь мне своего мнения о моей драме. Вероятно, она тебе не нравится; но неужели ты так мало меня знаешь, что боишься обидеть мое авторское самолюбие, сказав мне откровенно, что я написал вздор? Я больше буду рад твоим похвалам, когда увижу, что ты меня не балуешь. Я получил 2-ю книжку *Европейца.* Разбор «Наложницы» для меня истинная услуга. Жаль, что у нас мало пишут особенно хорошего, а то бы ты себе сделал имя своими эстетическими критиками. Ты меня понял совершенно, вошел в душу поэта, схватил поэзию, которая мне мечтается, когда я пишу. Твоя фраза: *переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную* заставила меня встрепенуться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия, но выражал его хуже. Не могу не верить твоей искренности: нет поэзии без убеждения, а твоя фраза принадлежит поэту. Нимало не сержусь за то, что ты порицаешь род, мною избранный. Я сам о нем то же думаю и хочу его оставить. 2-я книжка *Европейца* вообще не уступает первой.— Мы переезжаем из города в деревню. Надеюсь, что буду писать, по крайней мере у меня твердое намерение не баловать моей лени. Ежели будут упрямиться стихи, примусь за прозу. Прощай, обнимаю тебя.

Е. Боратынский.

Я получил какао.

105. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Начало марта 1832 г. Казань>

Наконец я дождался вести о тебе, милый Киреевский, но вести не утешительной. В письме твоем много печальных известий. Благодарю тебя за уверенность в моей дружбе. Твои откровенные намеки ее доказывают. Чувствую, делю твое положение, хотя не совершенно его знаю. Темная судьба твоя лежит на моем сердце. Ежели в некоторых случаях бесполезны советы и даже утешение дружбы, всегда отрадно ее участие. Не хочу насиловать твоей доверенности; знаю, что она у тебя в сердце, хотя не изливается в словах, понимаю эту застенчивость чувства, не прошу тебя входить в подробности, но прошу хотя общими словами уведомлять меня, каково тебе и что с тобою. Таким образом ты удовлетворишь и любопытству дружбы, и той стыдливой тайне, которую требует другое чувство. Что бы с тобою ни было, ты по крайней мере знаешь, что никто более меня не порадуется твоей радости и не огорчится твоим горем. В этой вере настоящее утешение дружбы. О тебе я думаю с тою же верою, и она пополняет мое домашнее счастие. Прощай, милый Киреевский, обнимаю тебя от всей души. Что с бедным Языковым, больным и пораженным смертию матери? Уведомь меня о нем. Сколько вам горя в одно время! Не могу опомниться от траурного твоего письма и вообразить без грусти ваш дом, недавно шумевший веселостию, теперь исполненный такого глубокого уныния. Не ленись ко мне писать, потому что мне нужны твои письма. Когда просветлеет у тебя на душе, и я буду это знать, можешь откладывать от почты до почты, но теперь это будет тебе непростительно.— Твой *Боратынский.*

106. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Начало марта 1832 г. Казань>

Ты разбираешь мою драматическую попытку серьезнее, нежели она стоит. Я учился форме и думал более расположить сценами

анекдоты, нежели написать настоящую драму. Я выбрал ничтожный предмет для того, чтобы ученическим пером не испортить хорошего. Ежели есть некоторая занимательность в ходе, некоторая естественность в разговоре, я собой доволен, ибо я не помышлял о красотах высшего рода.

Читал ли ты 8-ю главу *Онегина,* и что ты думаешь о ней и вообще об *Онегине,* конченном теперь Пушкиным? В разные времена я думал о нем разное. Иногда мне *Онегин* казался лучшим произведением Пушкина, иногда напротив. Ежели б все, что есть в *Онегине,* было собственностию Пушкина, то, без сомнения, он ручался бы за гений писателя. Но форма принадлежит Байрону, тон тоже. Множество поэтических подробностей заимствовано у того и у другого. Пушкину принадлежат в *Онегине* характеры его героев и местные описания России. Характеры его бледны. Онегин развит не глубоко. Татьяна не имеет особенности. Ленский ничтожен. Местные описания прекрасны, но только там, где чистая пластика. Нет ничего такого, что бы решительно характеризовало наш русский быт. Вообще это произведение носит на себе печать первого опыта, хотя опыта человека с большим дарованием. Оно блестящее; но почти все ученическое, потому что почти все подражательное. Так пишут обыкновенно в первой молодости из любви к поэтическим формам, более, нежели из настоящей потребности выражаться. Вот тебе теперешнее мое мнение об *Онегине.* Поверяю его тебе за тайну и надеюсь, что оно останется между нами, ибо мне весьма некстати строго критиковать Пушкина. От тебя же утаить настоящий мой образ мыслей мне совестно.

Покуда я заготовлял тебе это письмо, я получил от тебя другое. Перцов тебе соврал: будущую зиму я непременно проведу в Москве, но не надеюсь остаться постоянным ее жителем и на всякий случай строю дом в деревне. Я тебе уже говорил, что мы будем жить особо. Это введет нас в издержки, которые прежде опыта мы определить не можем. Не мудрено, что московская жизнь придется нам не по состоянию, и тогда хоть не хотя, надо будет поселиться в деревне. Планы твои не однажды были моими, и поэтому ты легко поверишь, что ежели я увижу какую-нибудь возможность остаться в твоей Москве, то ее не оставлю. Знакомец мой Перцов, кажется, не очень тебе понравился. Признаюсь, и у меня не весьма лежит к нему сердце. Может быть, он человек с умом и даже с хорошими душевными качествами, но как-то существо его не гармонирует

с моим. Мне с ним неловко и невесело. Правда ли, что Горскина выходит за Щербатова? Она сначала была в довольно частой переписке с сестрою Соничкой, но теперь месяца три как уже к ней не пишет. Когда ты ее увидишь, попрекни ей от сестры этой недружеской переменой.— В здешний университет пришла бумага от министра просвещения, в которой рекомендуется иметь строгое смотрение за тем, чтобы студенты не читали ни *Телеграфа,* ни *Телескопа,* как журналов, распространяющих вредные мысли. Говорят, что издание их прекращено. Правда ли это? Прощай, мой милый, обнимаю тебя от всей души. Сердечно радуюсь лучшему здоровью твоей маменьки и усердно целую ее ручки.— *Е. Боратынский.*

107. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<14 марта 1832 г. Казань>

Я приписывал молчание твое недосугу и не воображал ничего неприятного; можешь себе представить, как меня поразило письмо твое, в котором ты меня извещаешь о стольких домашних печалях и, наконец, о запрещении твоего журнала! Болезнь твоей маменьки (далеко не первая с тех пор, как мы расстались) крайне нас огорчила, несмотря на то, что, по письму твоему, ей лучше. От запрещения твоего журнала не могу опомниться. Нет сомнения, что тут действовал тайный, подлый и несправедливый доносчик, но что в этом утешительного? Где найти на него суд? Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру, и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным. Поблагодарим Провидение за то, что оно нас подружило, что каждый из нас нашел в другом человека, его понимающего, что есть еще несколько людей нам по уму и по сердцу. Заключимся в своем кругу, как первые братия христиане, обладатели света, гонимо-

го в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая. Может быть, придет благопоспешное время. Прощай, мой милый, обнимаю тебя. Пиши ко мне. Письма твои мне нужны. Ты найдешь убеждение это сильным.

Е. Боратынский.

Жена моя усердно тебя просит извещать нас о выздоровлении твоей маменьки.

108. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<12 апреля 1832 г.>

Ты провел день рождения твоего довольно печально. Надеюсь, что народное замечание не сбудется, и что этот день не будет для тебя образчиком всех последующих сего года. Много минут жизни, в которых нас поражает ее бессмыслица: одни почерпают в них заключения, подобные твоим, другие — надежду другого, лучшего бытия. Я принадлежу к последним. Не стану теперь рассуждать о предмете, который может наполнить томы, но с удовольствием переношусь мыслию в то время, когда мы опять примемся за наши бесконечные споры. «Вечера на Диканке», без сомнения, показывают человека с дарованием. Я приписывал их Перовскому, хоть не вовсе в них узнавал его. В них вообще меньше толку и больше жизни и оригинальности, чем в сочинениях сего последнего. Молодость Яновского служит достаточным извинением тому, что в его повестях есть неполного и поверхностного. Я очень рад буду с ним познакомиться. О свадьбе Скарятина мы поговорим, когда увидимся. Может быть, я докажу тебе, что предположения наши не были особенно неблагоразумны. Прощай. Я и жена моя поздравляем тебя и твоих с праздником.

Твой *Е. Боратынский.*

109. *И. М. СИМОНОВУ*

<Весна 1832 г. Казань или Каймары>

Милостивый государь Иван Михайлович!
Прибегаю к вам с покорнейшею просьбою. Денис Васильевич Давыдов желает иметь при своих детях хорошего учителя математики и русского языка, который согласился бы с ним ехать в деревню, находящуюся в Саратовской губернии. Может быть, при университете находятся люди, которым предложение его будет сподручно. Вы бы весьма меня одолжили, ежели б довели оное до их сведения и, буде найдется желающий, уведомили о его условиях. Я не слишком совещусь обременить вас этим препоручением, потому что оно может доставить вам случай пристроить хорошего человека к хорошему месту.

С истинным почтением и совершенною преданностию честь имею быть,

милостивый государь,
ваш покорнейший слуга
Е. Боратынский.

110. *И. М. СИМОНОВУ*

<Весна 1832 г. Каймары>

Милостивый государь Иван Михайлович!
Денис Васильевич Давыдов, которому сообщил я ваш ответ касательно нужного ему учителя, усердно вас благодарит за посредничество ваше в этом деле. Он охотно будет ожидать назначенного вами времени; но вы сами чувствуете, что надобно заранее уговориться. Денис Васильевич желает иметь учителя русского языка и математики по новой методе (так он выражается) и предлагает от 600 до 1000 ежегодного жалования. В случае согласия он просит *теперь же* дать ему верное слово, дабы, положась на оное, ему не нужно было более хлопо-

тать в Москве. Наконец он просит доставить ему адрес г-на учителя.

Обстоятельными ответами вашими вы ободрили меня снова вас беспокоить. При первом приезде своем в Казань я не премину лично снова засвидетельствовать вам чрезвычайную мою признательность.

С истиннейшим почтением и совершенною признательностью честь имею быть,

милостивый государь,
ваш покорный слуга
Е. Боратынский.

111. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Апрель — май 1832 г. Казань>

Я так давно к тебе не писал, что, право, совестно. Молчал не от лени, не от недосуга, а *так.* Этот *так* — русский абсолют, но толковать его невозможно. Сегодня мне по-настоящему некогда писать писем, потому что пишу стихи, а вот я за грамотою к тебе. Как это делается, ежели не *так?* Я очень благодарен Яновскому за его подарок. Я очень бы желал с ним познакомиться. Еще не было у нас автора с такою веселою веселостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский — человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нем виден наблюдатель, и в повести своей «Страшная месть» он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение немножко нескромно, но оно хорошо выражает мое чувство к Яновскому.

О трагедии Хомякова ты мне писал только то, что она кончена. Поговори мне о ней подробнее. Мне пишет из Петербурга брат, которому Хомяков ее читал, что она далеко превосходит «Бориса» Пушкина, но не говорит ничего такого, по чему можно бы составить себе о ней понятие. Надеюсь в этом на тебя.

Поблагодари за меня милую Каролину за перевод «Переселения душ». Никогда мне не бывало так досадно, что я не знаю

по-немецки. Я уверен, что она перевела меня прекрасно, и мне бы веселее было читать себя в ее переводе, нежели в своем оригинале: как в несколько флатированном портрете охотнее узнаешь себя, нежели в зеркале.

Сестра Соничка не сердится за то, что ты подозреваешь в Горскиной немного кокетства. Дело не в этом, а в том, что до нее дошли слухи, что ты между ними находишь большое сходство, из чего следует, что ты и о ней того же мнения, а в справедливости его она не признается.

Прощай, мой милый; напиши, сделай милость, какой у тебя чин, мне это нужно для того, чтобы адресовать тебе квитанцию из Опекунского совета. Это тебе не доставит никаких хлопот: тебе вручат, и только. Что Свербеевы? Поклонись им от меня, равно как и всем своим.

Твой *Боратынский.*

Напиши мне скорей о своем чине. 25 мая я выезжаю отсюда.

112. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<16-го мая 1832 г. Казань>

Я поставлю себе за правило не пропускать ни одной почты и писать к тебе хоть два слова, но еженедельно. Писать к тебе для меня сердечная потребность, и мне легко будет не отступать от своего правила. Чтó ты говоришь о басне нового мира — мне кажется очень справедливым. Я не знаю человека богаче тебя истинно критическими мыслями. Я написал всего одну пьесу в этом роде и потому не могу присвоить себе чести, которую ты приписываешь. Изобретение этого рода будет нам принадлежать вдвоем, ибо замечание твое меня поразило, и я непременно постараюсь написать десятка два подобных эпиграмм. Писать их не трудно, но трудно находить мысли, достойные выражения. Мы накануне нашего отъезда отсюда. Тесть мой

едет в Москву, а я с женою в Тамбовскую губернию к моей матери. Пиши однако мне все в Казань, покуда не получишь от меня письма, в котором я решительно тебя уведомлю о моем отъезде. Мы увидимся в конце августа, и ежели бог даст, долго поживем вместе. Прощай, обнимаю тебя.—

Е. Боратынский.

Что поделывает Языков? Этот лентяй из лентяев пишет ли что-нибудь? Прошу его пожалеть обо мне: одна из здешних дам, женщина степенных лет, не потерявшая еще притязаний на красоту, написала мне послание в стихах без меры, на которое я должен отвечать.

113. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<30 мая 1832 г. Казань>

Тесть мой поехал в Москву. Я должен был выехать в одно время в Тамбов к моей матери, где я намерен был провести лето, но нездоровье моей жены меня удержало. Пиши мне по-прежнему в Казань. Не могу вообразить, что такое трагедия Хомякова. Дмитрий Самозванец — лицо отменно историческое, воображение наше поневоле дает ему физиономию, сообразную с сказаниями летописцев. Идеализировать его — верх искусства. Байронов Сарданапал — лицо туманное, которому поэт мог дать такое выражение, какое ему было угодно. Некому сказать: не похож. Но Дмитрия мы все как будто видели и судим поэта, как портретного живописца. Род, избранный Хомяковым, отменно увлекателен: он представляет широкую раму для поэзии. Но мне кажется, что Ермаку он приходится лучше, нежели Дмитрию. Скоро ли он напечатает свою трагедию? Мне не терпится ее прочесть, тем более что ее издание противоречит всем моим понятиям, и я надеюсь в ней почерпнуть совершенно новые поэтические впечатления. Это время я писал все мелкие пьесы. Теперь у меня их пять, в том числе одна, на смерть

Гете, которой я более доволен, чем другими. Не посылаю тебе этого всего, чтоб было мне что прочесть, когда увидимся. Извини мне это Хвостовское чувство. Прощай. Наши проведут дня три в Москве. Повидайся с ними: они расскажут тебе о похождениях наших в Казани.

114. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

13 июня 1832 г. Каймары

Я все еще в моей Казанской деревне и не знаю, когда выеду. Пишу к тебе, чтоб не пропустить почты, по нашему условию. Когда решусь ехать, я тебя уведомлю, а покуда пиши на старый адрес. Прощай, обнимаю тебя.— *Е. Боратынский.*

115. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Июнь 1832 г. Казань>

Ты мне развил мысль свою о басне с разительною ясностию. Мне бы хотелось, чтоб ты написал статью об этом. Мысль твоя нова и, по моему убеждению, справедлива: она того стоит. Я берегу твои письма, и когда мы увидимся в Москве, я тебе отыщу те два, в которых ты говоришь о басне. Ты перенесешь сказанное в них в твою статью, ибо мудрено выразиться лучше. Ты необыкновенный критик, и запрещение *Европейца* для тебя большая потеря. Неужели ты с тех пор ничего не пишешь? Что твой роман? Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надоб-

но нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления. Я прочитал здесь «Царя Салтана». Это совершенно русская сказка, и в этом, мне кажется, ее недостаток. Что за поэзия слово в слово привести в рифмы Еруслана Лазаревича или Жар-птицу? И что это прибавляет к литературному нашему богатству? Оставим материалы народной поэзии в их первобытном виде или соберем их в одно полное целое, которое столько бы их превосходило, сколько хорошая история превосходит современные записки. Материалы поэтические иначе нельзя собрать в одно целое, как через поэтический вымысел, соответственный их духу и по возможности все их обнимающий. Этого далеко нет у Пушкина. Его сказка равна достоинством одной из наших старых сказок и только. Можно даже сказать, что между ними она не лучшая. Как далеко от этого подражания русским сказкам до подражания русским песням Дельвига! Одним словом, меня сказка Пушкина вовсе не удовлетворила. Прощай, поздравь от меня Свербеева и жену его. Пиши мне по-старому в Казань. Я не знаю, долго ли здесь пробуду. В июле постараюсь быть в Москве, чтобы увидеть Жуковского и скорее тебя обнять, но можно ли будет, еще не знаю.

116. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Июнь 1832 г. Казань>

Пишу тебе в последний раз из Казани. 19-го числа я выезжаю в Тамбов. Адресуй мне теперь свои письма: Тамбовской губернии, в город Кирсанов. Что ты мне говоришь о Hugo и Barbier, заставляет меня, ежели можно, еще нетерпеливее желать возвращения моего в Москву. Для создания новой поэзии именно недоставало новых сердечных убеждений, просвещенного фанатизма: это, как я вижу, явилось в Barbier. Но вряд ли он найдет в нас отзыв. Поэзия веры не для нас. Мы так далеко от

сферы новой деятельности, что весьма неполно ее разумеем и еще менее чувствуем. На европейских энтузиастов мы смотрим почти так, как трезвые на пьяных, и ежели порывы их понятны иногда нашему уму, они почти не увлекают сердца. Что для них действительность, то для нас отвлеченность. Поэзия индивидуальная одна для нас естественна. Эгоизм наше законное божество, ибо мы свергнули старые кумиры и еще не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покаместь наше назначение. Может быть, мы и вздумаем подражать Barbier, но в этих систематических попытках не будет ничего живого, и сила вещей поворотит нас на дорогу, более нам естественную. Прощай, поклонись от меня твоим. Когда-то я попрошу тебя нанять себе дом в Москве! Когда-то мы с тобою просидим с 8 часов вечера до трех или четырех утра за философическими мечтами, не видя, как летит время! Однажды в Москве надеюсь долго с тобой не разлучаться и дать своей жизни давно мною желанную оседлость.

117. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Декабрь 1832 г. Москва>

Письмо это отдаст вам мой брат, которого прошу вас, любезный князь, принять в свое благоволение. Литературные связи иногда стоют кровных, и я препоручаю его вам, доверяясь вполне этой мысли.

Долго не отвечал я на ваше милое, дружеское письмо, но глубоко вам за него признателен.

Вы недостаете Москве. Нет общества, в котором бы вас не вспоминали и не сетовали на ваше отсутствие. Я познакомился с старым вашим знакомым М. Орловым и с отменно любезной женой его. В кругу, который некогда был вашим привычным, еще чувствительнее ваше удаление. Д. Давыдов прислал мне начало вашего послания к нему, в котором вы поэтически под-

делались к его слогу. Он думает недели на две прискакать в Москву. Не решитесь ли и вы последовать его примеру и пригласить с собою Пушкина? Тогда слово будет делом, тогда

Будут дружеской артели
Все ребята налицо.

Я не пишу ничего нового и вожусь с старым. Я продал Смирдину полное собрание моих стихотворений. Кажется, оно в самом деле будет последним и я к нему ничего не прибавлю. Время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело.

Засвидетельствуйте мое почтение княгине и верьте моей всегдашней вам преданности.

Е. Боратынский

118. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<3 февраля 1833 г. Москва>

Наша московская литературная братия задумала издать альманах к светлому празднику, и мне препоручено, любезный князь, просить вашего содействия. Подайте нам руку помощи во имя Москвы, вами любимой. Здешние вкладчики — Киреевский, Языков, Чадаев (в переводе), я и несколько других молодых людей, вам незнакомых, но которых, может быть, выгодно с вами познакомить. Попросите Пушкина нас не оставить и дать хоть безделицу в знак товарищества. Вероятно, у вас бывает Гоголь, автор «Вечеров на Диканьке», и наверное он часто видится с Пушкиным. У него много в запасе. Попросите у него от всех нас посильной вкладчины. Не забудьте и Козлова. Одним словом, похлопочите об нас с дружеским радушием. Надеюсь на вашу любовь к Москве, к литературе, а я несколько полагаюсь на ваше доброе расположение к некоторым из участников. Прошу вас поклониться от меня Пушкину. Я ему очень благодарен за участие, которое он принял в продаже

полного собрания моих стихотворений. Я ему обязан тем, что продал его за семь тысяч вместо пяти.

Прощайте, любезный князь, от души желаю вам всего лучшего. Адрес мой: у Арбатских ворот, в доме Загряжского.— *Е. Боратынский.*

119. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<4 августа 1833. Мара>

Что ты делаешь и почему ко мне не пишешь? Неужели в самом деле потому, что не мог затвердить моего адреса? Признайся, что с твоей стороны есть небольшое упрямство, которое ты не оправдаешь никакой диалектикой. Чтоб у тебя не было отговорки, вот мой адрес: *Тамбовской губернии, в Кирсанов.* Он весьма несложен. Я до сих пор не писал к тебе просто от неимоверных жаров нынешнего лета, отнимавших у меня всякую деятельность, умственную и физическую. Я откладывал от почты до почты, и таким образом прошло довольно времени. Я ехал в деревню, предполагая найти в ней досуг и беспечность, но ошибся. Я принужден принимать участие в хлопотах хозяйственных: деревня стала вотчиной, а разница между ними необъятна. Всего хуже то, что хозяйственная деятельность сама по себе увлекательна; поневоле весь в нее вдаешься. С тех пор, как я здесь, я еще ни разу не думал о литературе. Оставляю все поэтические планы к осени, после уборки хлеба. Ты что делаешь? Ты хотел усердно работать пером, и у тебя нет моих отговорок. Надеюсь, что ты не даром заручил свое слово мне и Хомякову. Недавно тебя видели у Берже. Это с твоей стороны очень мило. Похож ли твой портрет и скоро ли ты мне пришлешь его? Прощай, мое почтение всем твоим. Ежели увидишь Ширяева, сделай одолжение, скажи ему, что я весьма неисправно получаю корректуру. Лист должен оборотиться в три недели, а он оборачивается в пять. Ежели все так пойдет, то я не напечатаюсь и к будущему году.

Е. Боратынский.

120. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<27 октября 1833 г. Мара>

Сердечно благодарю тебя за твой подарок. Я получил твой портрет. Он похож и даже очень; но, как все портреты и как все переводы, неудовлетворителен. Странно, что живописцы, занимающиеся исключительно портретом, не умеют ловить на лету, во время разговора, настоящей физиономии оригинала и списывают только пациента. Я помню бездушную систему Берже, объясненную мне им самим. По его мнению, портретный живописец не должен давать волю своему воображению, не должен толковать своевольно списываемое лицо, но аккуратно следовать всем материальным линиям и доверить сходство этой точности. Он и здесь был верен своей системе, отчего твой портрет может привести в восхищение всех людей, которые тебя знают не так особенно, как я, а меня оставляет весьма довольным присылкой, но не весьма довольным живописцем. О себе мне тебе почти сказать нечего. Я весь погряз в хозяйственных расчетах. Немудрено: у нас совершенный голод. Для продовольствия крестьян нужно нам купить 2000 четвертей ржи. Это, по нынешним ценам, составляет 40 000. Такие обстоятельства могут заставить задуматься. На мне же, как на старшем в семействе, лежат все распорядительные меры. Прощай, усердно кланяюсь всем твоим.

Е. Баратынский.

121. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<28 ноября 1833 г. Мара>

На днях получил я от Смирдина программу его журнала с пригласительным письмом к участию. Не знаю, удастся ли ему

эта спекуляция. Французские писатели не нашим чета; но ничего нет беднее и бледнее Ладвокатова «Cent et un»*. Все-таки надо помочь ему. Его смелость и деятельность достойны всякого ободрения. Приготовляешь ли ты что-нибудь для него? Знаешь ли, что у тебя есть готовая и прекрасная статья для журнала? Это теория туалета, которую можно напечатать отрывком. Я о ней вспомнил, читая недавно теорию походки Бальзака. Сравнивая обе статьи, я нашел, что вы имеете большое сходство в обороте ума и даже в слоге, с тою разницею, что перед тобою еще широкое поприще и что ты можешь избегнуть его недостатков. У тебя теперь, что было у него вначале: совестливая изысканность выражений. Он заметил их эффектность, стал менее совестлив и еще более изыскан. Ты останешься совестлив и будешь избегать принужденности. У тебя, как у него, потребность генерализировать понятия, желание указать сочувствие и соответственность каждого предмета и каждого факта с целою системою мира; но он, мне кажется, грешит излишним хвастовством ученостию, театральным заимствованием цеховых выражений каждой науки. Успех его несколько избаловал. Я не люблю также его слишком общего, слишком легкомысленного сентилизма. Постоянное притязание на глубокомыслие не совсем скрывает его французскую ветреность. Как признаться мыслителю, что он не достиг ни одного убеждения, и еще более, не смешно ли хвалиться этим. Ты можешь быть Бальзаком с двумя или тремя мнениями, которые дадут тебе точку опоры, которая ему недостает, с языком более прямым и быстрым, и столько же отчетливым. Прощай, кланяюсь твоим.

Е. Боратынский.

Сделай одолжение: узнай деревенский и городской адрес Пушкина; мне нужно к нему писать. Нарочно для этого распечатываю письмо.

* *«Сто один» (фр.).*

122. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<22 декабря 1833 г. Мара>

Ты меня печалишь своими дурными вестями. Что твои глаза? Надеюсь, что это письмо застанет тебя зрячим. Мне случалось хвалить уединение, но не то, которое доставляет слепота. Кстати об уединении. Ты возобновляешь вопрос о том, что предпочтительнее: светская жизнь или затворническая? Та и другая необходимы для нашего развития. Нужно получать впечатления, нужно их и резюмировать. Так нужны сон и бдение, пища и пищеварение. Остается определить, в какой доле одно будет к другому. Это зависит от темперамента каждого. Что касается до меня, то я скажу об обществе то, что Фамусов говорит об обедах:

Ешь три часа, и в три дня не сварится.

Ты принадлежишь новому поколению, которое жаждет волнений, я старому, которое молило бога от них избавить. Ты назовешь счастием пламенную деятельность; меня она пугает, и я охотнее вижу счастие в покое. Каждый из нас почерпнул сии мнения в своем веке. Но это не только мнения, это чувства. Органы наши образовались соответственно понятиям, которыми питался наш ум. Ежели бы теоретически каждый из нас принял систему другого, мы всё бы не переменились существенно. Потребности наших душ остались бы те же. Под уединением я не разумею одиночества; я воображаю

Приют, от светских посещений
Надежной дверью запертой,
Но с благодарною душой
Открытый дружеству и девам вдохновений.

Таковой я себе устрою рано или поздно, и надеюсь, что ты меня в нем посетишь. Обнимаю тебя.

Е. Боратынский.

123. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Конец 1833 — начало 1834 (?) г. Мара>

Вот тебе L a p i d a i r e, *которого я все забывал тебе отослать.* Свояченица моя тебе скажет, почему я тебе не писал с нею. Оправдание отменно убедительное, и которым, или в роде которого, я воспользуюсь при родственных переписках. Говоря дельно, я не писал тебе до сих пор не потому, что тебя забыл, не потому, что мне нечего было тебе сказать, а потому, что я предпочитаю разговоры переписке и надеюсь скоро с тобою увидеться. Начал писать мой роман, но дело идет мешкотно. Я отвык от работы, отвык от долгого внимания. В мыслях моих нечто кочевое, отзыв жизни, которую я вел до сего времени. Вздыхаю по жизни более оседлой, по моей московской квартире, из которой ежедневно до 3-х часов не буду выходить ни на шаг и заставлю свой ум снова любить последовательность, постоянство в думах. Прощай, поклонись от меня Одоевскому, который мне очень по сердцу. Обнимаю тебя. Извини мою прежнюю <лень> и не приписывай ничему, кроме ей, редкость моих писем.— *Е. Боратынский.*

124. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Весна 1834 г. Мара>

Виноват, что так давно к тебе не писал, милый Киреевский. Этому причиною, во-первых, головные боли, к которым я склонен, и посетившие меня как нарочно два почтовых дня сряду; потом, я живу среди таких забот и нахожусь под влиянием таких впечатлений (я слегка говорил тебе, в каком бедственном положении здоровье моей матери), что не всегда в силах приняться за перо. Мне ли тебе задавать темы для литературных статей? Я давно выпустил из виду общие вопросы для исключи-

тельного существования. Но не задать ли тебе, например, тот самый предмет, о котором я говорю: жизнь общественная и жизнь индивидуальная. Сколько человек по законам известной совести должен уделить первой и может дать последней? Законны ли одинокие потребности? Какие отношения и перевес (balance) наружной и внутренней жизни в государствах наипаче просвещенных, и что в России? Я бы желал видеть сии вопросы обдуманными и решенными тобою. Мне нужно твое пособие в сношениях моих с Ширяевым. Вот уже два месяца, как я не получаю корректуры. Я предполагаю, что для скорости он решился печатать по моей рукописи, не заботясь о том, что я могу сделать несколько поправок. На всякий случай посылаю тебе давно мною исправленную «Эду» и «Пиры», но теперь только приготовленные к отсылке. Доказательство той моральной лени, которою я одержим с некоторого времени. Посылаю тебе также предисловие в стихах к сему новому изданию и заглавный лист с музыкальным эпиграфом. Я желаю, чтобы Ширяев согласился на гравировку или литографировку этого листа. Он может мне сделать это снисхождение за лишнюю пьесу, которую я ему посылаю. Обнимаю тебя и кланяюсь всем твоим.

Е. Боратынский.

Надеюсь, что маменька и брат теперь здоровы. У нас тоже всю зиму были жестокие поветрия, и все мы один за другим перехворали.

125. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<Середина 30-х гг. Москва>

Отсылаю тебе Contes bruns, кажется, в том виде, в каком получил, и надеюсь, что Чадаев на тебя не будет сердиться. Хотя они не стоят *Scènes privées,* но все видна кисть мастера и взгляд человека, принадлежащего к малому числу своеобразных мыслите-

лей. Надеюсь сдержать слово и скоро с тобой увидеться... Прощай. Я и жена сердечно благодарим тебя за твое братское гостеприимство. Усердно тебя обнимаю.— *Е. Боратынский.*

126. *И. В. КИРЕЕВСКОМУ*

<1830-е годы>

Разговор, оживленный истинным разговорным вдохновением, то есть взаимною доверенностию и совершенною свободою, столь же мало похож на обыкновенную светскую перемолвку, сколько дружеское письмо на поздравительное. Разумеется, что он тем будет полнее, чем разговаривающие более чувствовали, более мыслили и чем более у них сведений всякого рода. Возможно полный разговор требует тех же качеств, как и возможно хорошая книга. Автор берет лист бумаги и старается наполнить его как можно лучше: разговаривающие желают как можно лучше наполнить известный промежуток времени, и тем же самым изделием. Надобно прибавить, что ежели нужно дарование для выражения письменного, оно нужно и для словесного. Дарование это совершенно особенно. Автор углубляется в свою собственную мысль, стараясь удалить от себя все постороннее, разговаривающий ловит чужую и возносится на ее крыльях. Чтó развлекает первого, то второму служит вдохновением. Тот же ум, то же чувство, особенным образом разгоряченные, проявляются в быстром обмене слов, с красотою, с физиономиею, отличною от красоты их и физиономии на бумаге. Все предметы разговора равны, ибо все имеют непременную связь между собою и человека мыслящего ведут к одному общему вопросу. Обозревать его можно различно, и потому, сверх первых обыкновенных условий разговора, я прибавлю искренную религиозную любовь к истине, сколько возможно ослабляющую упрямую и самолюбивую привязчивость к нашим мнениям потому только, что они наши. Еще два слова: разговор, о котором я говорю,— дитя какого-то душевного бра-

ка и требует между разговаривающими сочувствия, взаимного уважения, без которых он не заключится, и следственно, не принесет своего плода — возможно полного разговора.

127. *С. А. СОБОЛЕВСКОМУ*

<Лето 1834 — первая половина 1836 г. Москва>

Хочешь ли завтра ехать к Свербеевым? Пятница их приемный день. Если ты свободен, скажи: да, и я к ним напишу, что мы будем. Каков ты после нашего путешествия? Ты человек аккуратный, прошу об ответе завтра в 10 часов по полуночи.

Четверг.

Боратынский.

128. *С. Л. ЭНГЕЛЬГАРДТ*

<Начало ноября 1834 г. Мара>

Вот тебе, моя душенька, корректура. Похлопочи обо мне. По будущей почте пришлю тебе послание к Вяземскому и эпиграмму. Совсем позабыл о моем обещании за хозяйскими хлопотами. Вот тебе еще поручение. В 4-й главе *Наложницы* я было уничтожил последнюю тираду со стиха: *Елецкой, проводив гостей...* Я ее возобновляю и пишу об этом в типографию, но боюсь, что меня не поймут. Прежде нежели мне пошлют корректуру, взгляни на нее и, ежели мое желание не исполнено, отошли назад и вели им растолковать, в чем дело. Прощай, обнимаю тебя. Скажи, как тебе покажутся мои переправки.

129. *М. П. ПОГОДИНУ*

<Начало мая 1835 г. Москва>

К крайнему моему сожалению, почтенный Михайло Петрович, должен я изменить данному слову и лишиться великого удовольствия быть у вас. Знаю, что я пропускаю случай познакомиться с новым произведением нашего веселого и глубокого Гоголя, и несказанно сетую на встретившееся препятствие. Препровождаю вам ответ Д. В. Давыдова, который не менее меня сожалеет о невозможности сегодня воспользоваться вашим приглашением.

Е. Боратынс<кий>

130. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Весна — лето 1835 г. Москва>

Милая маменька, я к вам пишу из Москвы, где всецело занят своими постройками. Стараюсь, чтобы дело шло как можно быстрее; ибо мне необходимо закончить все в непродолжительном времени. Тогда ничто уже более не потребует хозяйского глаза, и я имею намерение нынешней осенью надолго покинуть дом. Я хочу взглянуть на чужие страны. Думаю объехать Германию, отдохнув в Мюнхене, ставшем теперь Германскими Афинами, ибо город этот — местопребывание Шеллинга, Гейне, Менцеля, да почти всех великих умов нашего времени; затем переехать в Италию, которая будет главной целью моего путешествия. Мне тяжело расставаться с семьей, но это нравственный долг, который я перед самим собою обязан исполнить; ибо может наступить день, когда я не прощу себе, что не сделал этого вовремя. Первого сентября надеюсь уже быть в дилижансе. Я поеду по большой Европейской дороге через Лифляндию и Курляндию; но возвращаться буду через Киев, и, если будет

угодно Богу, приеду повидаться с вами, милая маменька, пройдя через все препятствия, которые могут встретиться путешественнику. Нежно целую вашу руку.

Е. Боратынский.

131. *Н. В. ЧИЧЕРИНУ*

<Вторая половина 1830-х гг. Москва>

Любезный друг Николай Васильевич.
Мой Вяжлинской управитель получил приказ мой уплатить тебе должные мною 2000 р., уже отославши прямо ко мне все находящиеся у него суммы. Сделай одолжение, пришли мою росписку в Москву хоть Иван Михайловичу, хоть Кривцову. Я в деньгах и тотчас выдам мой долг подателю, останется благодарность за одолжение. За тобой моих денег 100 р. с чем-то, выданных мною Кичееву по распоряжению Стриневского. Пусть они заменят нарост облигаций и весовые. Не так ли? Обнимаю тебя крепко, свидетельствуя мое почтение Катерине Борисовне.

Е. Боратынск<ий>

Его высокоблагородию Николаю Васильевичу Чичерину *в Тамбов.*

132. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

5 февраля 1837 г. Москва

Пишу к вам под громовым впечатлением, произведенным во мне, и не во мне одном, ужасною вестию о погибели Пушки-

на. Как русский, как товарищ, как семьянин скорблю и негодую. Мы лишились таланта первостепенного, может быть еще не достигшего своего полного развития, который совершил бы непредвиденное, если б разрешились сети, расставленные ему обстоятельствами, если бы в последней отчаянной его схватке с ними судьба преклонила весы свои в его пользу. Не могу выразить, что я чувствую, знаю только, что я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе? Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной, чужой, несчастного предопределения? В какой внезапной неблагосклонности к возникающему голосу России провидение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) ее великою надеждой? Я навестил отца в ту самую минуту, как его уведомили о страшном происшествии. Он, как безумный, долго не хотел верить. Наконец на общие весьма неубедительные увещания сказал: «Мне остается одно: молить бога не отнять у меня памяти, чтоб я его не забыл». Это было произнесено с раздирающею ласковостию.

Есть люди в Москве, узнавшие об общественном бедствии с отвратительным равнодушием, но участвующее пораженное большинство скоро принудит их к пристойному лицемерию.

Если до сих пор не отвечал на письмо ваше, тому виною обстоятельства, может быть, вам уже известные. Я лишился моего тестя, и смерть его передала мне много забот положительных. Сверх того, хотелось к письму моему приложить что-нибудь для вашего литературного сборника. Ждал минуты досуга и вдохновения, но по сию пору напрасно.

Е. Боратынский.

Февраля 5-го дня 1836.

133. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Март (?) 1837 г. Москва>

Препровождаю вам дань мою «Современнику». Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения. Всякой работает по-своему. Лирическую пьесу я с первого приема всегда набрасываю более чем с небрежностию; стихами иногда без меры, иногда без рифм, думая об одном ее ходе, и потом уже принимаюсь за отделку подробностей. Брошенную на бумагу, но далеко не написанную, я надолго оставил мою Элегию. Многим в ней я теперь недоволен, но решаюсь быть к самому себе снисходительным, тем более что небрежности, мною оставленные, кажется, угодны судьбе. Препоручаю себя вашей дружеской памяти.

Е. Боратынский.

134. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<11 мая 1837 г. Тула>

Милый дружок мой Настя, нечего тебе говорить, как мне тяжело было с тобою расстаться и что грустного и нежного я об тебе передумал. Пишу тебе из Тулы, где сегодня, вторник, я обедал. Завтра часам к 10 утра надеюсь быть в Скуратове. Подъехал, видишь, довольно скоро. Погода прекрасная, в поле прелестно, и если б ты была со мною, мой путь был бы восхитительной прогулкой. Целую тебя, мою милую, будь здорова и жди меня терпеливо. Поцелуй за меня всех наших деток. Слава Богу, я здоров. За юстицию твою еще не принимался. Люди мои все исправны. Скажи Соничке, что Степка не забыл. На самой первой станции, как только я после обеда проснулся, явился ко мне с <*нрзб. одно сл.*>. Как мне ни было грустно, он заставил меня рассмеяться. Обнимаю Соничку. Лошади мои уже гото-

вы, и только что запечатаю это письмо, пущусь далее. Спешу туда, чтобы скорее быть оттуда. Если Бог даст, по моему расчету в воскресенье мне должно быть в Маре.

Е. Боратын<ский>.

135. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<15 мая 1837 г. Тамбов>

Вот я и в Тамбове, душенька моя Настя. На своих подставных доехал в один день до Ефремова, а тут нашел почтовых. Пишу тебе в субботу вечером, пока перепрягают лошадей. Спешу по прохладе переехать пески. Дни стоят нестерпимо жаркие. Послал за Чичериным и, как с ним повидаюсь, так и поеду. Слава Богу, здоров. Обнимаю тебя, детей и Соничку. Завтра, Бог даст, найду от тебя в Маре письмо. Это меня туда тянет. Только и думаю, что о возвратном моем пути.

Е. Боратын<ский>.

Сейчас воротили мне мою записку к Чичерину. Его нет в Тамбове.

Настасье Львовне Боратынской. На Спиридоньевской улице, в собств. доме, в Москве.

136. *Н. И. КРИВЦОВУ*

<10 июля 1837 г.>

У меня не было возможности ответить вам сразу после моего отъезда из Мары, тем более, что сообщенные вами сведения утвердили

меня в моих собственных подозрениях и усилили беспокойство, поначалу довольно смутное. Приехав же сюда, я оказался во власти ужасной тревоги, ибо не нашел и не получил после двух почт кряду никаких известий из Мары. Письмо Софи, наконец, меня успокоило, и я почувствовал в себе достаточно смелости, чтобы писать к вам и от души благодарить вас за столь искреннюю, столь внимательную любовь, которую вы питаете к моему брату. Позвольте мне сказать, что он заслужил ее глубоким уважением, сердечной привязанностью к вам, привязанностью, исполненной такого восторженного энтузиазма, на какой могут быть способны лишь избранные молодые люди, что́ вы, без сомнения, должны были оценить по достоинству. Софи глубоко тронута той заботою, которою вы окружили Сержа. Присутствие Чичерина, приехавшего по вашему приглашению, развлекло его. Вы прилагаете все усилия к тому, чтобы уговорить брата приехать к нам. Надеюсь, что вам это удастся. Именно к вашему мнению он прислушивается более всего. Впрочем, я полагаю, что самое страшное уже позади. Меланхолическая экзальтация не в состоянии долго удерживаться в самых высоких сферах, она неизбежно опускается до уныния, которое не обладает энергией. И все же, обращаясь к самому себе с этими словами утешения, я продолжаю испытывать сильное беспокойство. Находясь рядом с моим братом, имея возможность наблюдать ужасную болезнь, которою он страдает, в мельчайших ее подробностях,— вы не покинете его, вы будете продолжать ухаживать за ним с истинно братским участием. Будьте добры передать мой поклон м-м и м-ль Кривцовым, и примите уверение в искренней моей преданности.

Е. Боратынский.

137. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Февраль 1838>

На место Макарова предлагает себя к нам в управители бывший уже у нас правителем Дьяков. Посылаю тебе письмо тестя, в котором он его благодарит за управление. Сверх того писарь

при мне, человек, управлявший нашим тамошним имением в то время, как Дьяков правил остальною частью, которого я о нем расспрашивал. Он говорит, что Дьяков отменно знает дело, всегда трезв и деятелен, одним словом, лучший из управителей, когда-либо у нас бывших. Я полагаю это обстоятельство очень счастливым, ибо очень трудно найти управителя (не говорю уже честного, ибо таких нет и всякий требует присмотра), но деятельного и знающего. При сих двух последних условиях, если управитель еще знает край и способ имения (?), поступающего под его надзор, по-моему, нечего и думать; почему для имения, находящегося под опекою, и для своего я решаюсь на Дьякова. Если ты поверишь и свое имение ему, я не думаю, чтобы ты сделал ошибки; но как все должно предвидеть, если у тебя есть в виду сколько-нибудь знающий человек, то теперь удобный случай, не обижая никого, отделить управление имением Сонички от общего, что имеет многие выгоды: удобность ближе присматривать, соревнование с соседним управителем, контроль и строжайшая проверка.

Завтра пошлю вам 1000 из скуратовских доходов. На первой неделе поста заплатит Чивалев, и я отправлю вам следуемые вам 6000 и 2000 долгу нашей Соничке. К святой окончательный отчет и расчет вместе с суммами, следующими на вашу долю.

Обнимаю вас, мои милые, будьте здоровы. Пришлите мне куплеты Вяземского, петые на празднике, данном Крылову.

Е. Боратынский.

138. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Август 1838>

Чивалев еще не заплатил; но заплатит скоро. Замедление происходит от того, что, не имея наличных денег, он должен перезаложить дом, а как и нам нельзя рисковать довольно большою суммой, то дело делается установленным порядком через гра-

жданскую палату, которая все не кончает всех справок. Посылая вам в счет чивалевских денег 2000 асс., между тем должен предупредить, что доходы наши нынешний год примерно плохие. Скуратово даст не более 6000, из коих почти 2000 следует в Опекунский совет. С Каймар дай бог, чтобы посчастливилось нам по 2000 т. Жду ответа от Дьякова. Если он примет мои условия, состоящие в 1600 жалованья, из коего на вашу часть придется 400, то на нынешний год мы можем быть совершенно спокойны. Узнав, что ты собираешься в Казань, я думал было с тобою ехать; но не могу: присутствие мое нужно в Москве для конечной отстройки дома. Я надеюсь, что мы будем довольны Дьяковым; если же нет, то в ту пору и примем нужные меры, которые между тем и успеем обдумать. По всем вероятностям, не в первые два года он предается беспечности или собственным расчетам. Обнимаю тебя от всей души.

Е. Боратынский.

139. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Начало 1839>

Вероятно, тебя, как и Соничку, удивило намерение наше ехать в Крым. Это давнишнее наше желание, к тому же морские ванны жене и мне необходимы. Если мы для чего-нибудь едем, то это для здоровья. Наше путешествие делает необходимым разные перемены в общем нашем хозяйстве, и я прошу тебя, любезный друг, принять в свое распоряжение имение, находящееся под опекою. Ты намерен был ехать нынешний год в Казань. Если б в конце апреля или начале мая вы бы собрались, то мы май месяц провели бы вместе в Москве, кроме дней десяти, которые ты бы провел в Казани, и во всем бы условились.

Насчет Скуратова, которое также будет под твоим надзором: Иван нашел на свое место управителя, грамотного

унтер-офицера. Я перевожу его в Мураново, с тем, чтобы он имел право ревизировать им же самим выбранного управляющего и в случае каких-либо дел ездил на место их схлопотывать. Управителю жалованья 300 и весьма умеренное содержание.

Напиши, будешь ли ты в Москве или нет. Очень бы нужно мне было с тобою видеться (говорю теперь в одном деловом смысле). Надо сдать мне тебе все бумаги. На словах все бы пошло легко, а письменно объяснять почти невозможно. Если мы не увидимся, я пришлю тебе доверенность полную от жены и на Каймары и на Скуратово. Бумаги приведу в порядок и пришлю тебе. Самое трудное — отношение с опекой. Думаю ввести в смысл их быта твоего Ивана Васильевича, который в затруднительных случаях может о нас похлопотать. Обнимаю тебя, Соничку и Настю, ожидая с нетерпением твоего ответа.

Е. Боратынский.

Доставь, сделай одолжение, прилагаемое письмо Плетневу.

140. *П. А. ПЛЕТНЕВУ*

<Начало 1839 г. Москва>

Милый мой, всегда по-старому милый Плетнев! Родственница моя Путята пишет мне, что ты на меня сердишься. Спасибо тебе за это. Кто сердится, тот помнит, а может быть, любит. Пьеса, напечатанная в «Отечественных Записках», была у меня вырвана из-под пера братом моим Сергеем, с которым ты, может быть, и познакомился, потому что он теперь в Петербурге,— оттого-то она и несколько слаба слогом. Давно, давно нет между нами никаких сношений; зато давно, давно я не пишу стихов, и мной оставлен тот мир, в котором некогда мы сошлись и сблизились. Можешь ли ты думать, что прошедшее мною забыто? Что бы после этого помнить! Но судьба, в молодости

удалившая меня от людей, от их обычаев, от условий светской жизни, наградившая меня друзьями такими, как ты, неопытного, давно обманутого, бросила потом и в свет, и в мелочи обыкновенной жизни. Мужем мне нужно было учиться тому, чему учатся дети, понимать отношения, приобретать привычки, угадывать то, что другие твердо знают. Эти последние десять лет существования, на первый взгляд не имеющего никакой особенности, были мне тяжеле всех годов моего финляндского заточения. Я утомился, впал в хандру. Не тебя я поставил в уровень с людьми, которых узнал после; но при новых впечатлениях, которых постепенность и связь тебе неизвестна, при этой долгой и сложной повести, которая меня так глубоко изменила, с чего начать? Как передать себя дружбе давних лет, а не хочется посылать холодные и неполные строки. Не по этой ли причине старики молчаливы? Вся эта болтовня значит в крайнем выводе: ты, дружба твоя, память прошедшего мне драгоценны, а если в какую-либо минуту тебе показалось иначе, тебя обманывала наружность.

Посылаю тебе несколько небольших пьес, набросанных мною на прошедшей неделе.

Я теперь в суетах, происходящих от приготовлений к большому путешествию. Я еду с семейством на южный берег Крыма, где проведу около полутора года. Хочется солнца и досуга, ничем не прерываемого уединения и тишины, если возможно, беспредельной. Думаю опять приняться за перо, и, если все, что скопилось у меня в уме и легло на сердце, найдет себе исход и выражение, надеюсь быть добрым слугою «Современника».

Прощай. Нежно тебя обнимаю. Сохрани мне старую твою дружбу.

Е. Боратынский.

141. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Конец 1839>

Посылаю для подписания Сонички опекунские отчеты, которые нынешний год стоили двойного труда от перевода ассигнаций

на серебро. Возвратите мне их как можно скорее. Что ты мне пишешь о расчетах опеки по деньгам, полученным из Монахова? Нам должно на будущий год показать (?) их в приходе, да и только. Нам из них следует $^{2}/_{7}$. Остальное Пьеру. Считай покуда, что я вам должен из скуратовских доходов 200.— 800 ты получил. На будущий год, когда Пьер не будет жить у Саблера, а так сказать, своим домом, с отчетами легко будет ладить.

Бекера я не думал посылать для заведения нового порядка, а только поверить, точно ли почти весь каймарский овес жат в прозелень и не годится ни на пищу, ни в продажу; взглянуть на мельницы и оценить их перестройку. Вообще разведать, что там делается и какой оброк расположены дать крестьяне, но это стороной и без всяких от меня предложений. С тех пор я еще много думал. Не решусь ни на что опрометчиво и не приняв предварительно твоего совета. Дела мудреные. Примерь 10 раз, а отрежь раз. Я писал Дьякову подробно обо всем, чем не доволен. Покуда что надеюсь, что внимание, которое я обращаю на хозяйство, сделает его осторожным.

Соничке надобно подписаться в обеих тетрадях. В той, которая за печатью — в одном месте, в конце, под подписью Насти. В другой — в двух местах: под итогом <нрзб. 1 слово> и итогом хлебным; то же под Настей и точно так же, как она.

142. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Конец 1839>

Посылаю тебе, милый Путята, отчеты в дворянскую опеку, которые должно подписать Соничке. *Под подписью моей жены однаким образом с нею.* Соничка нам говорит, что ты все собираешься к нам писать, и не успевая, совестишься. Полно, брат, заботиться об этом. Самая дружеская переписка есть деловая. Кстати о деле. Поскорей пришли мне обратно бумаги, подписанные Соничкой. Они должны быть поданы не позже 4-го января. В буду-

щем году я буду их заготовлять пораньше. Прощай, обнимаю тебя как друг и брат. Поцелуй за меня Соничку.

Е. Боратынский.

P. S. Прошу полюбоваться моим трудолюбием и заметить, что все отчеты в опеку писаны моей рукою. Соничкины пять подписей, два раза в книге, под рапортом, и в двух местах под кратким счетом.

143. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Конец января 1840 г. Мураново(?)>

Мы получили вместе с обозом тетеньки Софьи Ивановны столько знаков вашей доброты, любезная маменька, что просто даже не знаю, как вас за все и благодарить. Платье для малышки прелесть; мы тут же его примерили, и в таком наряде она впервые прошлась не только по своей комнате, но и по другим. Ваше превосходное варенье украшает стол на частых наших небольших приемах, а сверх того моя жена и Наташа частенько лакомятся им вдвоем. Завтра я уезжаю в Петербург. Мне пришла фантазия воспользоваться тем, что это путешествие так легко совершить в дилижансе,— чтобы провести недельки две в обществе моего брата, сестер и моих старых друзей. Есть также одна более серьезная причина: мне представился благоприятный случай выгодно продать Смирдину — единственному из наших издателей, обладающему капиталами,— право на третье издание моих рифм, присовокупив к ним грех еще одного тома. Деньги, которые я при этом получу, стали бы большим подспорьем для моей поездки в Крым. Вот уже 15 лет как я не бывал в Петербурге и 15 лет как не видался с теми людьми, с которыми некогда был тесно связан. Я застану сильную перемену. Возможно, что это произведет на меня грустное впечатление; возможно, оно будет из тех, что накладывают послед-

нюю печать на зрелый возраст. Надо с этим мириться. Прощайте, любезная и добрая маменька, я и ваши внуки нежно целуем ваши ручки.

Е. Боратынский.

144. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<4 февраля 1840 г. Петербург>

Получил твое письмецо, моя душенька Настя, и очень ему обрадовался. Спасибо тебе, что тотчас вслед за мной написала. Продолжаю мой П-бургский журнал и для порядка начинаю с того, что имеет сношение с Москвою. С Анной Васильевной я имел шутовскую экспликацию. Она в самом деле сердилась и за то, что при Лизе Чирковой я у нас на вечере поддразнивал ее Корсаковым: вы совсем мной пожертвовали, говорила она, и мне было очень неловко. А потом у меня свои были заботы, и я была не в духе. <*Зачеркн. 4 строки*>. Теперь мы с ней в большой дружбе. В субботу поутру ездил с визитами. Был у Плетнева, Жуковского, Вяземского. Никого не застал. Мой добрый, мой милый Плетнев часов в 7 после обеда приехал ко мне. Ни в чем не изменился: ни в дружбе ко мне, ни <в>общем своем святом добродушии. Звал меня во вторник обедать *вдвоем.* Не правда ли, что этот зов целая характеристика? Говорил мне о своей дочери. <*Нрзб. 2 строки*>. Вздыхает по старым товарищам. Теперь после долгих трудов я имею независимость и даже более, все есть, что я желал, да не с кем поделиться этим благосостоянием. Звал меня на житье в П-бург. Вяземский в ответ на мою карточку написал мне несколько милых слов, предлагая ко мне приехать. Было уже поздно, и мы согласились съехаться у Одоевских. <*Зачеркн. 12 строк*> также познакомился там с Мятлевым, которого ты знаешь несколько шутовских стихов: *Таракан как в стакан.* Я думал найти молодого повесу. Что ж, это человек важный, придворный забавник, лет 45. <*Зачеркн. 1 строка*>. Жуковский стал меня расспрашивать *о своих.* Я ему отвечал так и сяк. Познакомился с Лермонтовым,

который прочел прекрасную новую пьесу; человек, без сомнения, с большим талантом, но мне морально не понравился. Что-то нерадушное, московское. Мятлев читал свое путешествие г-жи Курдюковой по чужим краям, в стихах, вперемешку русского с французским. Много веселости, и он мастерски читает. Потом тешил всех разного рода анекдотами; но меня менее других, потому что напоминал мне брата Льва, который решительно его превосходит и особенно вкусом и чувством некоторого приличия даже в этом роде. Мятлев заключил вечер. Пишу тебе в воскресенье утром. Завтра еще что-нибудь прибавлю.

145. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<Начало февраля 1840 г. Петербург>

Сейчас получил твое третье письмо, мой милый друг, и вижу, как ты права, что просила меня писать к тебе всякий день. Твои писульки для меня необходимость, и сегодня утром уже я с тоской поджидал почтальона. Я прочел некоторые места из твоего письма Николаю Васильевичу (Соничка еще не вставала), и он очень смеялся. Здесь о наших сопостатах никто и не поминает, даже Одоевский. Княгиня говорила мне об ужасном воспоминании, которое ей оставило пребывание ее у Елагиных. Она ненавидит Киреевского, а Авдотью Петровну, кажется, еще больше. Но надо тебе рассказывать по порядку. *<Зачеркн. 10 строк>*. Sophie К. чрезвычайно мила; мы с нею тотчас вошли в некоторую короткость; говорят, что и я был очень любезен. *<Зачеркн. 7 строк>*. У Карам<зиных> в полном смысле salon. В продолжение двух часов, которые я там провел, явилось и исчезло человек двадцать. Тут был Вяземский, приехал Блудов. Вяземский напомнил ему о старом его знакомстве со мною. Он очень мило притворился, что не забыл, говоря, что мы вместе слушали в первый раз *Бориса Годунова.* Это неправда, но разумеется, я ему не противуречил. Забыл тебе сказать, что от Ираклия, прежде Карамзиных, мы слушали у Одоевского

повесть Соллогуба *Тарантас,* украшенную виньетами, полными искусства и воображения, одного князя Гагарина. Виньеты прелесть, а повесть посредственна. Ее все критиковали. Я тоже пристал к критикам, но был умереннее других. Спор, завязавшийся у Одоевского, продолжался у Карамзиных и был главный предмет разговора. На другой день (вчера) я был у Жуковского. Провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формою. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиною! Он только что созревал. *Что мы сделали, Россияне, и кого погребли!* — слова Феофана на погребение Петра Великого. У меня несколько раз навертывались слезы художнического энтузиазма и горького сожаления. <*Зачеркн. 6 с половиной строк*>. В тот же день поехали в французский театр в ложу к<нягини> Абамелек. Давали La Lectrice, играла M-me Allan, хороша, но не чрезвычайно. Говорят, она была не в духе и за кулисами ее кто-то обидел. К<нягиня> Одоевская сидела одна в своей ложе; встретясь со мною глазами, она меня поманила к себе, и я у нее просидел весь первый акт. Тут мы говорили об Елагине и Киреевском. Поздний вечер провел со своими. Вот тебе не письмо, а журнал. Не передавай никому моих замечаний <*Зачеркн. 2 слова*>. Обнимаю тебя, мой милый друг, вместе с детьми. Меня уже тянет домой, хотя провожу время очень приятно.

146. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<Февраль 1840 г. Петербург>

Вот, моя душенька Настя, записка к Михею касательно Чичерина. Пошли ее по адресу. Чичерину же я пишу прямо отсюда. Уведомь Софью Михайловну, что дело сделано. Вчерашний день не был ничем замечателен. Утром я был у Вяземского и объезжал Арарат. Меня везде принимали. Познакомился с женою Христофора, которая носит на лице отпечаток своего восточно-

го происхождения, но вовсе не восхитительный, и одевается так, что достоверно можно зреть, хороши ли у ней груди или нет. Обедал у Соболевского, а вечер провел со своими. Соничка велела тебе сказать, что, покуда я здесь и пишу тебе всякий день, она к тебе писать не будет. Оно и дело. Соничка, слава богу, очень поправилась. Она с мужем живут очень мило. Видно, что друг друга очень любят и почти на том же тоне друг с другом, как мы. Путята у себя дома гораздо более оживлен, нежели можно было думать. Я всякий день более его ценю. Настинька выросла не много; но начинает говорить и за ней водятся разные жентильсы <?>. Теперь у нее идут зубы, и она немножко беспокойна. Сегодня мы все обедаем у Ираклия. Прощай, мой милый друг. Обнимаю тебя тысячу раз. Целую детей. Мне здесь очень весело. Вообрази, что еще ни разу не удалось после обеда спать, да я в том и не чувствую нужды.

147. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<Февраль 1840 г. Петербург>

Вчерашнее утро провел у Вяземского. Говорили о Пушкине. В<яземский> входил в подробности светских сношений, принудивших Пушкина к дуэли. Ничего не сказал нового. Предложил мне ехать вместе с ним к его вдове, говоря, что она очень признательна, когда старые друзья ее мужа ее посещают. Я намерен у нее быть. Она живет чрезвычайно уединенно. Бывает только у Карамзиных и то очень изредка. Разговорились не знаю как о здоровьи. «Vous êtes un peu malade imaginaire»* сказал мне Вяземский. Я засмеялся и спросил, почему он это знает? «Говорили это во время холеры. Впрочем, я сам склонен к этому». Тем и кончился разговор, для меня очень любопытный. Я сказал ему однакож, что я вовсе не способен преувели-

* *Вы немного напоминаете мнимого больного (фр.)*

чивать воображением какую-либо немощь, напротив, может быть, слишком незаботлив и не люблю лечиться. Видишь, что наш друг Киреевский еще тогда, в полном жару нашей связи, он или мать его были к обоим нам неприязненны. От Вяземского поехал к Вельгорскому, к Соллогубу, наконец к Вязмитиновой. Она уже через девок своих знала о моем приезде в Петербург. Как будто обрадовалась. Потом стала жаловаться, что ее все оставили *<нрзб.>* Постарела, но не очень. Еще весьма свежа. От нее пошел к *<2,5 строки стерты>*. Удивилась моему явлению в Петербурге. У той и другой вместе я не провел более получаса. Остальное утро провел у Ираклия, который совсем уже оправился. О Наташе ни он, ни она ни полслова. On dirait que c'est un parti pris*. Я нахожу, что это уж и не благопристойно. Обедал у своих, а вечером был в собрании. Видел наследника, в<еликого> к<нязя> Михаила, Лейхтенбергского, который не так хорош, как на портретах, но все-таки очень хорош и кажется еще лучше, когда всмотришься, нежели с первого взгляда. Государя, к сожалению моему, не было. Я поехал в собранье в особенности для того, чтобы видеть царскую фамилию. Встретил московского знакомого Брусилова. Он мне обрадовался. Жалеет о Москве. Встретил *<1 строка стерта>*. Он здесь играет важную роль, разумеется, не по стихам, а по службе и старается это дать заметить благородною неторопливостью манеров. Скажи Павлову, что благодаря бога здесь еще меньше заботятся об отечественной литературе, нежели в Москве. Я отдал его письмо Одоевскому прошлую субботу; но с ним, на его рауте, не успел перемолвить двух слов. Одоевские обедают завтра у нас. Авось мне удастся довести до его слуха голос московской братии. Прощай, моя душенька. Целую тебя нежно. Очень ты мне недостаешь. Обнимаю деток.

* *Похоже, что умышленно (фр.).*

148. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<10 февраля 1840 г. Петербург>

Хотел написать тебе длинное письмо; но не успеваю. У меня сидит Ираклий, и пора на почту. Видел Тальони. Удивительна. Вечер провел у Карамзиных. Обнимаю тебя и детей.

Получил твое письмо, где ты говоришь о Тимирязевой <?>. Я почти всякий день вижу ее мужа. Он скоро выезжает из П-бурга.

Ираклий уехал, и я продолжаю мое письмо. Вчера обедали у наших. Одоевские, муж и жена, и Анюта с мужем. С князем и княгиней я хорошо познакомился. С обоими я в самых дружеских отношениях. В театре были вместе, где она меня познакомила с графинею Лаваль. О Тальони не стану говорить. Все выше всякого чаяния. Смесь страсти и грации, которых нельзя описать; надобно видеть. Неожиданность, прелесть, правда поз; дух захватывает. У Карамзиных видел почти все петербургское высшее общество. Встретил вдову Александра Пушкина. Вяземский меня к ней подвел, и мы возобновили знакомство. Все так же прелестна и много выиграла от привычки к свету. Говорит ни умно ни глупо, но свободно. Общий тон общества истинно удовлетворяет идеалу, который составляешь себе о самом изящном, в молодости по книгам. Полная непринужденность и учтивость, обратившиеся в нравственное чувство. В Москве об этом и понятия не имеют. С Софьей Карамзиной мы в полной дружбе. Вчера Жуковский раздразнил ее до слез. Эта маленькая сцена была очень мила и забавна. В ней истинное оживление и непритворное баловство, грациозно умеренное некоторым уважением приличий. Это ее отличает от Анюты Блохиной, с которой она имеет много сходства. Сейчас получил детские письма и твое, мой милый друг. О гувернантке мне, по-моему, хлопотать будет некогда. Передам поручения Анюте и Соничке. Благодарю деток за их письма. Поцелуй их поочередно за меня. Прощай, спешу печатать и на почту.

149. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<Февраль 1840 г. Петербург>

В субботу был в Академии художеств и видел *Последний день Помпеи* Брюллова. Все прежнее искусство бледнеет перед этим произведением; но одно искусство, а не сущность живописи. Колорит, перспектива, округлость тел, фигуры, выходящие как будто вон из полотна, все это выше всякого описания; но думаю, что изучающий Рафаэля, Михель Анджела, Тициана найдет в них больше мысли, больше красоты. На лицах Брюллова однообразное выражение ужаса, и нет ни одной фигуры идеально прекрасной. Был также в его мастерской. Видел прекрасный портрет Жуковского, Крылова и несколько начатых картин. Самого его не видал, он болен. Обедал у Христофора Лазарева на Арарате, как говорил Ираклий. Было ужасно скучно, хотя я сидел подле Анюты. Христофор меня преследовал литературными вопросами и между прочим добивался, чтоб я ему сказал откровенно, у кого больше таланта — у Николая или у Ксенофонта Полевого. От Лазаревых поехал во французский театр в ложу к нашим. С ними была и княгиня Одоевская. Давали «Le gamin de Paris», пьеса, которая в Москве мне вовсе не нравилась и которую здесь я нашел очень умной и милой. Вечер провел у Одоевских. На этот раз он был похож на вечера Свербеевых. В воскресенье обедал у дяди вместе с братом Ираклием. В 4 часа мы были уже свободны и я поехал к брату, где в первый раз с тех пор как я в Петербурге мне удалось часик заснуть после обеда. В 8 часов был у одного чудака Шишмарева, с которым познакомил меня Вяземский у Дюме. Он очень богатый человек, не знающий никакого языка, кроме русского, умный и сметливый. Прикидывается простяком. Принимает гостей своих (гостей высшего круга) в чекмене, любит попить и погулять. У него пели и плясали цыгане, и сам он пел и плясал вместе с ними. En résumé* было скучно. Вечер провел у Карамзиных очень приятно. Чувствую благорасположение всего здешнего общества, и ты знаешь, как это славно действует. Со всем тем устаю. Жизнь, которую я здесь веду,

* *В общем (фр.).*

мне не в мочь. Прощай, мой милый друг, целую тебя тысячу раз. Обнимаю детей. Скажи им, что писать каждому особо из них мне некогда, а они так мило об этом просят, что иначе я бы не отказался их потешить. Обнимаю Наташу.

150. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<13 февраля 1840 г. Петербург>

Ты два дня ко мне не писала, моя милая Настя, и я начинал уже беспокоиться, когда приехавшая Стремоухова уведомила меня, что она пред отъездом тебя видела и что вы слава богу. Графиня Лаваль дала мне знать через брата Ираклия, что она желает со мною познакомиться короче и будет дома в таком-то часу. Вчера я у нее был. Она очень заботлива <?>, следственно, любезна. <*Зачеркн. 4 строки*>. Обедал у брата Ираклия. Это был день его рождения. Из русских был только я. Армяне несносны. Христофор опять насел на меня с литературными вопросами. Этот раз речь завел о профессоре Давыдове и добивался, отчего курс словесности сего последнего скучнее Вильмена! Вечером все были у нас. Прощай. Пришел Соболевский и мешает. Обнимаю тебя и детей.

151. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<Февраль 1840 г. Петербург>

*Сегодня, моя душенька, некогда много писать. Встал позже обыкно*венного и спешу к Жуковскому, которого можно застать только до 12 часов. Вчера обедали мы все у Ираклия. Вечером я был у Карамзиных. Обнимаю тебя и детей.

152. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<Февраль 1840 г. Петербург>

Вчера я провел день вовсе безалаберно. Утром сделал несколько визитов, никого не заставая дома, потом обедал у Дюме с молодежью, в числе коей был однакож Вяземский. Пели Цыгане. Все мы порядочно подгуляли. Пили мое здоровье. Это меня тронуло. Впрочем, обед был прескверный, а заплатили мы дорого: по 65 с человека. Я издерживаю здесь очень мало. С этими 65 еще не дошло до 1000. Извощики здесь дешевле, чем в Москве. Ездивши с утра до вечера, мне никогда еще не случалось издержать больше трех двугривенников, а еще не торгуюсь. Вяземский за обедом сел возле меня и был очень любезен. Я в нем узнал прежнего Вяземского. Вообще он бодрее, чем в последний раз в Москве. Корил новое поколенье в неумении пить и веселиться. В это время племянник его Карамзин, немного навеселе, бросил на пол рюмку, которая не расшиблась. Видите, сказал Вяземский: мог уронить, а разбить силы не стало. Сегодня бенефис Тальони. Ираклий обещал достать мне билет. Мне начинает быть скучно. Я не привык к этому беспрерывному мытарству, в котором кружусь. Постоянно жить в Петербурге было бы приятно, имея между двумя днями рассеяния хоть один отдыха. Хочется домой, моя душенька, и я был бы готов уехать хоть сегодня. Петербург приятен отсутствием неприятных впечатлений, и я, конечно, с восторгом променял бы на него Москву. Но в нем веселиться потому, что это Петербург *<1 строка зачеркнута>*, слишком молодо. Был у дяди Петра Андреевича, который облил меня слезами. *<1 строка наверху страницы оторвана>*. Вообрази, где я потом его видел? В собрании. Я от него ускользнул. Прощай, моя душенька Настя, обнимаю тебя и детей.

153. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<10 мая 1840 г. Москва>

Ты не можешь себе представить, как мне грустно, что мы на расставанье с тобой повздорили. Особенно мне наедине с самим собою очень тяжко. К тому же отсутствие Мамы и Насти очень чувствительно в доме. Саша и Левушка грустны, и в комнатах пусто. Англичанка к нам приехала. Она кажется очень порядочна. Был на обеде у Гоголя: нашел всю братию, кроме кого бы ты думала? Киреевского и Павлова. С Орловым сошелся опять очень дружески. Вообще не получил ни одного неприятного впечатления. Обнимаю тебя от всего сердца. Спешу отослать эти строки на почту. *<Зачеркн. 3 строки>*. Это взяло у меня время, а письмо все-таки не готово, и я его оставляю до завтра. *<Зачеркн. 4 строки>*. Прощай, Настя. Целую детей.

Ее высокоблагородию Настасье Львовне Боратынской. В С. П.-бург. Против Исакия на углу Почтамтской улицы, в доме Кютнера.

154. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<10 мая 1840 г. Москва>

Милая моя Настя, теперь пишу к тебе на досуге. Чувствую себя очень неправым перед тобою; но неужели ты не поняла, что у меня против тебя не было никакого озлобления, а просто я расшумелся, как будто я с тобой не расстаюсь и есть еще время поменяться несколькими живыми словами! В этом случае я позабыл часы, как ты их иногда забываешь. Дело в том, что мне без тебя было бы грустно и так, а эта размолвка примешивает к этому неимоверно тяжелое чувство. Я сижу один с Демоном болезненного воображения и, может быть, равно болезненной совести. Ты знаешь меня по себе. Жду от тебя несколь-

ких слов, которые могли бы меня успокоить, и моя лучшая вера состоит в том, что ты их точно напишешь; да *<нрзб. 1 слово>* об этом я бы не кончил. *<Зачеркн. 4 строки>*. Я так чувствую отсутствие Маши и Мити, что уже не думаю просить тебя оставить Николиньку и Юлиньку, уезжая в чужие краи. Нет, мы их возьмем с собою. Теперь я сужу о тебе по себе. Я получил деньги из Казани. 19600 не помню сколько рублей. Скажи Соничке, что не рассчитываюсь с ними до их приезда в Москву. В Муранове все по возможности готово; сегодня расчелся с щекотуром и маляром. По возможности отделан дом и тот флигель, где прежде жила Соничка, за 120. Колошина написала очень милую записку Сашиньке, на которую я отвечал вместо ее. Мне показалось, что так ловче. На обеде Гоголя Орлов был пьян и ты не можешь себе представить, как в особенности был дружелюбен со мною. То, что я накомерил Вяземскому, принесло наилучшие плоды. От Гоголя мы уехали вместе. Я ему сказал: Наша жизнь разделяется на две половины: как быть с людьми, которых любишь, как быть с людьми равнодушными? Может быть, я это узнаю в чужих краях. J'ai eu ici bien du fil à retordre*. Он одобрительно промычал. Расстались хорошо. Чаадаев у Гоголя стал тоже со мною экспликоваться и приглашал меня на свои понедельники. Вязем<ский>, сказал он мне, m'a fait un commérage amical; mais un commérage inamical a du le précéder**, et (au milieu de toute la société)*** я ему отвечал: ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de suivre le précepte de M-me Genlis, de s'en tenir aux relations personnelles et ne pas écouter les cancans****. Я не думал быть остроумным и говорил от души, но мне после сказали, что я был очень зол. Видно, ничего нет злее правды. Tu conçois que M-me Genlis citée à Чаадаев

* *Тут было над чем поломать голову (фр.).*
** *сплетничал со мною дружески; но раньше, должно быть, сплетничал недружески (фр.).*
*** *и (при всех) (фр.).*
**** *лучше всего следовать правилу мадам Жанлис — довольствоваться личными отношениями и не слушать сплетен (фр).*

le mettait tout de suite au nombre des vieillards*. Я об этом не думал. Пишу тебе в пятницу вечером. Завтра прибавлю еще несколько слов. Целую тебя заочно, как обыкновенно целую тебя на ночь. Продолжаю в субботу поутру. Все мы, слава Богу, здоровы. Сашинька где-то отыскала письмо, которое Левушка намеревался послать Александре Григорьевне Колошиной. Вот оно:

Сударыня.

Честь имею известить вас, что я более не занимаюсь этими глупыми мыслями <?>. Пишу к вам, чтобы мне не краснеть всякий раз, когда я бываю у вас. Лев Боратынский.

Я переписал его точь-в-точь <*нрзб. 3—4 слова*>. Прощай, мой милый друг. Целую тебя, детей, Соничку с ее Настей. Обнимаю мужа ее.

Е. Борат<ынский>.

155. *А. Л. БОРАТЫНСКОЙ*

<13 мая 1840 г. Москва>

Я получил твое письмо из Клина в воскресенье поутру. Сегодня же посылаю тюфяки. Они не могут тебе быть доставлены раньше как дня четыре после твоего приезда. Но если ты свои дела кончишь прежде, ты сделай как-нибудь так, чтобы тебе их не дожидаться. Я адресую их на Соничкино имя. Я прочел письмо твое Сашиньке и Левушке. Левушка обещает тебя слушаться. Все твои наставления будут соблюдены. Англичанка очень добра и заботлива. За столом смотрит и за Николинькой, разрезает ему кушанья и обтирает рот. Сашинька, которую я об ней расспрашивал, тоже ее хвалит. Сашинька мне сказала: только она такая суета, точно Любовь Андреевна, беспрестанно

* *Ты понимаешь, что цитировать мадам Жанлис Чаадаеву означало тотчас же зачислить его в старики (фр.).*

меня закрывает одеялом <*зачеркн. 3 слова*> и беспрестанно спрашивает, лучше ли мне. Все это, по-моему, недурно. Дмитрий, которого я посылал в контору транспортов с тюфяками, сейчас воротился и говорит, нельзя их будет отправить прежде вторника, следств<енно>, ты получишь их в пятницу. Был я у Михаила Алекс<андровича> Салтыкова, он даст нам 30 т. по 6 процентов. Прощай, милая Настя, обнимаю тебя и детей.

Настасье Львовне Боратынской. В С. П.-бург. На углу Почтамтской улицы против Исакия в доме Кютнера.

156. *П. А. ПЛЕТНЕВУ*

<*5 июня 1840 г.*>

Благодарю тебя, старый друг, за все твои хлопоты о моих детях, за добрые советы жене и проч. и проч. Очень я рад, что ей наконец довелось с тобой познакомиться. Она возвратилась из Петербурга вполне тебе признательная за твою дружбу. К нам приехали наши Путята. Sophie мне сказала, что ты, не убоясь детской беготни, непривычной в твоем уединенном кабинете, пригласил к себе на воскресенье мою Машу. Спасибо тебе; но мое отеческое сердце трепещет за ее проказы. Прощай, будь здоров. Бог даст, скоро увидимся.— *Е. Боратынский.*

157. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<*Осень 1840 (?)*>

Со всех сторон такие дурные вести и наступающий год так грозен бедностью доходов и предлежащими расходами, что мы решились отказаться от Петербурга и провести нынешний год в деревне. Посылаю за детьми надежного человека, бывшего моего

дядьку Михея. Отправьте с ним, любезные друзья, в моей каришневой карете. Надеюсь видеться с вами в Москве. Я не совсем точно расчелся. Сколько помню, мне следует заплатить в О<пекунский> С<овет> за имение Сонички 4.200, да 2.000 послано за вас в Скуратово — итого 6.200. Вы платите 5.600 в Государственный Совет за Пьера, да 500 я вам должен по мурановскому счету — итого 6.100. Теперь надобно справиться у Дмитрия в книге, сколько поступило к нему скуратовского овса. Вам следует половина. По этому расчету я буду у вас в небольшом долгу; но совершенно не помню, по какому соображению. Я полагал в Москве, что, напротив, небольшой долг будет за вами: есть издержки, которые я позабыл. У тебя все записано, брат Николай, справься, пожалуйста. Теперь об лесе. Кажется, что 600 + цена крайняя, равно нельзя соглашаться и более как на три срока. Если же уже дойти до 575, то все-таки лучше иметь дело с Царским, нежели с маломощными купцами. Кичеев предупреждал, и насчет контракта ты можешь говорить свободно. Касательно наших каймарских монахинь я одного с тобою мнения. Обнимаю вас от всей души.

Е. Боратынский.

158. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Начало 1840-х>

Посылаю тебе, любезный друг, новые условия Дьякова о сдаче мельницы, более выгодные, где арендная сумма уже 3.500 и новых построек гораздо меньше. Ты увидишь из письма его, что он требует от меня скорого ответа. Боясь в переписке упустить счастливую спекуляцию, я послал ему согласие. Крестьянам эта возка не будет слишком обременительна. Крестьянам с лошадью все равно, так или иначе работают на господина три дня в неделю. К тому же по числу каймарских тягол те же крестьяне будут поступать на возку только один раз в пять лет. Если же будет ропот, можно дать им некоторые льготы

и успокоить их. Не вини меня в опрометчивости. Я долго колебался, наконец, посоветовавшись с здешними хозяевами, решился.

Вижу по письму твоему, что у тебя куча дела. Авось этому будет добрый исход. Обнимаю тебя, Соничку и малюток.

Е. Боратынский.

159. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Начало 1840-х>

Мне приходится все писать тебе о деле. Саблеру я заплатил 5 т. из денег, приготовленных мною для уплаты процентов, которым срок в октябре. Черткову еще нет, потому что гражданская палата, как бы ей следовало, не прислала копии с данной мне доверенности в Опекунский Совет, почему замедлена выдача денег (надеюсь, только на несколько дней). Объявление на лампу мы получили. За мурановский лес дают по 550 + асс. десятину: это составляет 82 т. 20 т. — вперед, остальные в три срока. Кажется мне, что не должно колебаться — и продать. Цена хорошая и покупщик надежный. Скажи мне свое мнение, дабы я мог приступить к делу. Батюшка твой, которому я описал свойство и положение леса, оценил его в 500, но не помню — асс. или монетой. Прощай, обнимаю тебя и Соничку. Свидетельствую мое почтение Настасье Николаевне.

160. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Осень 1841>

Долго я думал о сбыте нашего мурановского леса, о причинах, по которым он и за среднюю цену не продается, и нашел главных две: 1-е, что купцы так часто у беспорядочных дворян имеют

случай покупать лесные дачи почти задаром, что им весьма мало льстит покупка, представляющая только 20 обыкновенных процентов: 2-е, боязнь ошибиться самим в настоящей ценности леса неровного, неправильно рубленного и проч. Из этого я на первый случай заключил, что должно хотя несколько десятин свести самому хозяину и постараться сбыть бревнами и дровами. Наконец вспомнил, что я в Финляндии видел пильную мельницу. Надобно, во-первых, вам сказать, что, думая сам сводить нашу лесную дачу и не зная, как предупредить злоупотребления и облегчить сбыт, я обратил внимание на нашего Бекера, который имеет очень много хозяйственных сведений и как купеческой сын сохранил в Москве по сию пору разные коммерческие связи. Я предложил ему взять на себя присмотр за сводом леса и продажу материалов за 10 процентов, когда выручка будет превышать 600 + за десятину, и он принял мое предложение. Я стал ему говорить о пильной мельнице. Вышло, что они очень обыкновенны в Курляндии и стоят вовсе недорого. Когда же я вычислил баснословную выгоду, которую нам может принести устроение подобной мельницы, я ухватился за мысль и тотчас принялся за дело.

Вот вкратце расчет. Я вымерил самую среднюю десятину и счел на ней 400 пней.

400 пней дают 800 бревен (и с лишком, потому что лучшие деревья дают 3 бревна).

Каждое бревно дает 4 доски, итого 3200 досок.

В Москве доски самого последнего сорта стоят 200 сотня.

Если положить доску только по одному рублю, то десятина даст 3200.

Сверх того остаются: третье тонкое бревно, которое пилится на тес, и осиновой и березовой лес, равно и горбыли, которые пилятся в дрова, макушки, которые пойдут на домашнее отопление и на кирпичный завод, который я хочу устроить в то же время. Кругом десятина, при самом среднем счастии, должна дать до 5000 +.

Я отыскал механика г-на Прагста, который подобную мельницу строил на Нарвском водопаде. Он приезжал ко мне в Мураново, потому что я сначала думал заменить нашу мукомольную мельницу пильною, но вода оказалась недостаточной. Наша мельница будет приведена в движение 8-ю лошадьми.

Издержки

Машина	7000
Наружное строение	1500
10 пил, запас достаточный лет на 10	2500
16 лошадей	1600
	12600

Мельница будет давать до 500 досок в сутки; в год можно свести до 25 десятин. В пять лет вся операция будет окончена. Если же продажа будет успешна, то я поставлю другую мельницу, которую Прагст обязуется мне устроить за 5500, и тогда сведу лес в $2^1/_2$ года.

Ты видишь, какой ничтожный капитал нужен для самых блестящих результатов! Надеюсь, что ты не поколеблешься взять убытки и барыши предприятия пополам, но за свою мысль и за свои хлопоты я прошу 10 процентов, когда десятина будет приносить свыше 1000.

Контракт с Прагстом уже сделан. К наружному строению приступаю.

Главный ежегодный расход состоит в корме лошадей, но часть вознаградится лучшим удобрением полей. Я надеюсь, что все ежегодные издержки покроются одним доходом с кирпичного завода.

Прощайте, устал смертельно от длинного делового письма.

Главное: трудно сбыть товар, которого цена неопределенна, как лес на корню. Когда он обратится в доски, в дрова, продашь дешево, но продашь как хлеб; а лес после хлеба первая необходимость.

Не удивляйся огромной выгоде, на которую я надеюсь. Купцу распилить 400 пней в доски обыкновенным способом стоит до 3000. Сверх того он платит за свалку и пилку в бревна, что́ у меня будут делать свои. Приложи к этому цену самого леса, и у тебя не останется никакого сомнения.

Кирпичный завод пойдет наймом. Берут 7 + с тысячи... На обжиг пойдет оборыш лесу, который без того пропал бы даром.

В Казань, разумеется, мы уже не едем. Мы нанимаем дом у Пальчиковой, в Артемове. Соничка знает эту деревню: она от нас 3 версты, а от лесу в том же расстоянии, как и Мураново.

Касательно ка́занского хозяйства, я, кажется, нашел верной способ завести там оброчное состояние, избегая обыкновенной его неудобности — неплатежа оброка. Мысль мою сообщу тебе в другой раз.

Надеюсь этим годом все наши хозяйственные дела, в том числе и опеку, устроить таким образом, что они вперед уже мало меня будут заботить и мне можно будет возвратиться к прежним, мне более привычным занятиям.

Все мы, слава богу, здоровы. Я между прочим бодр и весел, как моряк, у которого в виду пристань. Дай бог не ошибиться.

161. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Начало зимы 1841. Артемово>

Мы живем в таком глубочайшем уединении, любезная маменька, что единственные новости, которые я могу сообщить вам, это новости о нашем здоровье,— с ним, слава богу, все обстоит благополучно. Подмосковная зимой является мирным убежищем, абсолютной тишиной в сравнении с деревнями средней России. Надо вам сказать, что здесь уже вполне зимняя погода, земля покрыта снегом и установился санный путь. Мы хотели починить четырехместный возок — он мог бы служить для наездов в Москву, которые мы время от времени совершаем, но отказались от этой мысли, ввиду того, что проселочные дороги в этом лесном крае настолько узки, что в большом экипаже невозможно выехать на шоссейную дорогу. Эти дороги различимы по следам полозьев от крестьянских саней — в тех редких случаях, когда крестьянин наведывается в соседнюю деревню. Все помещичьи дома вокруг пусты. Мы столь мало рассчитываем на чьи бы то ни было посещения, что в нанятом нами большом доме, построенном на старинный лад (следовательно, крайне неудобном расположением комнат), мы оставили только черный ход — и для того, чтобы спастись от сквозняков, и чтобы разместить наших людей, к которым прибавилась

французская гувернантка — она дает также уроки музыки и рисования, и преподаватель латыни, русского языка и математики. В прихожей, дверь которой, выходящая на крыльцо, закрыта наглухо, нашла себе приют француженка. Время наше протекает совершенно единообразно. Часы отличаются один от другого лишь тем, по какому предмету берут уроки наши дети и, в особенности, какие музыкальные пьесы они разучивают — это указывает нам, какое время дня наступило. У Сашеньки, должно быть, большие способности к рисованию. После нескольких уроков, которые ей преподал учитель, она делает удивительные успехи, хотя сам учитель — посредственность. Можно надеяться, что со временем она сможет более серьезно усовершенствоваться.

Что касается меня, то я был все это время занят своей лесопилкой. Наружная постройка закончена, и недели через две я смогу запустить и машину.

Я надеюсь, любезная маменька, что это письмо застанет вас в добром здравии. От всего сердца целую ваши ручки, а также ручки дорогой тетеньки.

Е. Боратынский.

162. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Февраль (?) 1842. Артемово>

Еще пределовое письмо, любезный друг. Посылаю тебе, во-первых, грамоту скуратовского управителя, который давно пристает ко мне о необходимости приобрести участок, состоящий из 30 десятин земли и при нем 4-х дворах г-жи Позняковой. Со всеми другими соседними помещиками мы теперь уже разошлись полюбовно; но с нею физически нельзя. Земля ее с ее дворами лежит в самом центре нашей, как остров, меняться не на что. Одна земля стоит 3000 +, а в числе продаваемых душ два работника 22 лет, остальные тоже не совершенно стары. Она

просит 4000. Цена настоящая, и для спокойного владения в будущем стоит купить этот уголок.

Скуратово заложено на 26 лет, уплачено долгу 10000. За прошлый год проценты не плачены, за нынешний следует внести, всего за два года 5600, да возьмут за годовую просрочку около 200, за сим останется 4200. Дайте мне доверенность перезаложить Скуратово на 36 лет с правом взять уплаченный капитал. Долг останется тот же; вместо 7 процентов мы будем платить 6, что будет нам и полегче. 6000 капитала пойдет на уплату процентов, а на остальные 4000 купим этот участок вместе, или Настя купит одна, а 2000 мы зачтем вам за пильную мельницу.

Посылаю тебе старые платежные квитанции по скуратовскому займу. По ним можно аккуратно написать доверенность.

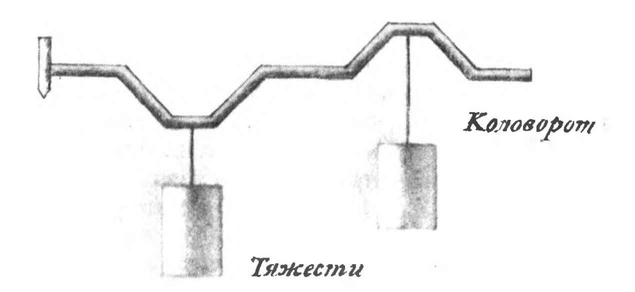
Теперь о мурановской операции. В первой смете моей, как ты, вероятно, ожидал, я значительно ошибся, не так, однакож, чтобы раскаяться в предпринятом. Лес наш до такой степени изведен, что нет десятины похожей одна на другую. Каждая дает новый результат. К тому же, как это открылось на деле, ели наши имеют весьма невыгодное свойство на половине необыкновенно суживаться, так что, судя по толщине пня, там, где я, как другие, думал из дерева иметь два бревна на пилку, выходит одно, где три, там два и т. д. Из этого следует, что дровяного леса больше, а способного к пилке меньше, чем я думал.

У меня сведено теперь 11 десятин. Одна на одну они дают, считая и сучья, по ценам, существующим на месте, только 740 + за всеми издержками.

Сведенные десятины те, в которых преизобилует дровяный лес. Теперь мы дошли до строевого участка. К маслянице сведется 10 десятин. О результате уведомлю.

Машину неделю тому назад пробовали начерно, т. е. на один готовый постав и без пил, чтобы испробовать тяжесть. На 8-ми лошадях, новая, не обтертая, она пошла хорошо и даже слишком. Лошади привели ее в первое движение с большим напряжением, но вдруг, почувствовав облегчение от действия махового колеса, понесли, все затрещало, и мужики наши разбежались в страхе.

При двух поставках огромной силы, нужной для первого движения, уже не требуется. Ты, который знаешь механику, тотчас поймешь это из чертежа.



Чугунная рама, в которой натягиваются пилы второго постава, не была еще привешена. Когда обе на месте, тяжесть опускающейся помогает другой возвышаться.

Машина не будет в убыток. Пилка может производиться только в зимние месяцы. Летом от жару трескаются доски и работа прекращается. Я прежде рассчитывал, что купленные лошади будут работать в машине 7 месяцев, а остальные пять возить доски и дрова в Москву. Складочным местом назначил я задний двор моего дома.

Теперь наши лошади, по недостатку материала, в машине будут работать 3, а возить семь месяцев.

Полагаю держать их до 20-ти. Прокормление их, по самой высшей цене теперешней, в неурожай ярового, стоит, полагая каждой в сутки по 3 гарнца овса и по 20 ф. сена, 2515.

При 20-ти лошадях для работы в машине, когда она в ходу, а потом для возки нужно 5 человек. Содержание их в год стоит 300.

В каждую поездку, взяв среднюю цену, лошадь приносит 5 рублей: легко может сделать в неделю 2 поездки, в месяц 8-мь, итого вырабатывает в 7 месяцев 280.

20-ть лошадей в 7 месяцев принесут 5600.

Остается каждый год за издержками 2815 +, что в 5 лет составит 13925 +. Вся операция вознаградится с избытком; пилка обойдется ни по чем, следственно принесет значительный барыш, ибо руками проход доски стоит от 35 до 25 к.; тесу — от 20 до 15-ти.

Теперь об управлении. Ты знаешь, что я избрал Бекера. Он имел уже понятие об сельском хозяйстве, но курляндском.

Нынешнее лето он следовал за всеми работами и очень вник в дело. Всю зиму находился при своде леса, отводил десятины, ибо знает землемерство. Сам же воспитывался для коммерции. Славно ведет книги, деятелен и подробен...

Я с ним условился за дорогую цену: но он не будет нам стоить дороже Ивана. Иван получал 300 жалованья, рублей на 300 же разной покупной провизии, говядины, свинины, постного масла, пшеничной муки, сальных свеч и проч. Сверх того получал на 11 душ обыкновенное продовольствие наших дворовых. Выдаваемое натурой, положив в цену хоть по 5 + на человека, 660. Итого 1260.

Я дал Бекеру 2000 с тем, чтоб он взял к себе в товарищи и под присмотр Петра Львовича. 1200+, вносимые Саблеру, поступят ему, и Бекер нам будет стоить 266 рублями дешевле Ивана.

Этим я достигаю двух целей: нахожусь в состоянии дать приличное жалованье человеку способному и, вероятно, надежному, да облегчаю себе опекунские отчеты, которые нет возможности долее подавать в их теперешнем виде. Это мне говорят все. Нынешний год сойдет, потому что неурожайный.

10 процентов, как ты знаешь, были выговорены в самом начале, если десятина даст свыше 600+. Русские лесничие, являвшиеся ко мне, тоже просили 10 процентов.

Вспомогательные средства. Я условился со скуратовским управляющим, рассудив, что, с тех пор как мы дозволили крестьянам нашим почтовую гоньбу, весь яровой хлеб наш расходится на месте, и возка хлеба для них уменьшилась вполовину, извлечь себе из этого ту пользу, чтобы скуратовские крестьяне делали ежегодно два обоза с рожью в Москву. Я недавно построил на дворе у себя амбар, и есть куда сыпать. При каждом обозе они обязаны пять раз съездить в Мураново за дровами или досками, смотря что в эту пору будет выгоднее. Он удостоверил меня, что крестьяне исполнят эту повинность безропотно.

Каждый год у меня такой же будет обоз и на тех же условиях из Тамбовской губ. Им я заменю 8 или 10 в<*нрзб.*>; а у себя в деревне буду копить хлеб.

Материал, перевезенный в Москву, до половины продан, и по двойной цене! Из Англии я получил 100 пил, каждая обо-

шлась по 12 р. 50 к. Если машина чуть-чуть искусно сделана, нам некуда девать и 50-ти. 50 можно будет продать по 25. Пилы эти обыкновенные продольные, служащие и для ручной пилки, только вдвое лучше тульских, которые продаются за цену, поставленную мною выше.

Теперь мы толкуем о важном деле, о том, чтобы заменить лошадей волами. Вместо 20 лошадей нужно только 10 волов. Для машины они лучше, потому что идут ровнее, содержание дешевле вчетверо. Цена с лошадьми одна. Я колеблюсь, потому что, по крайней мере в Тамбовской губернии, на них часто бывает падеж; но тамбовский климат особенно злокачествен. Собираю сведения, и если они будут благоприятны, то это совершенно обезопасит нашу операцию.

За одно нынешнее лето я вывезу на этих волах из Глебовского все сено, нужное на их продовольствие в течение пяти лет. Ты знаешь, что волы летом не требуют никакого содержания и довольствуются подножным кормом.

Очень рад, что кончил письмо и дал тебе отчет, который давно хотел тебе дать во всех моих соображениях и действиях. Желаю, чтобы ты был доволен. Ты видишь по крайней мере, что я усердно занялся хозяйством.

Что ваше путешествие в чужие краи? Напишите пообстоятельнее. По первому летнему пути нам бы хотелось перебраться в Петербург. Мы тем бы вас избавили от поездки в Москву и взяли бы у вас детей из рук в руки. Ты знаешь, что мы давно желаем основаться в П-бурге. От этого я не выпущу из виду моей операции и один раз зимой, один раз летом непременно буду ездить в Мураново, что для меня теперь даже будет и приятно. Дилижансы так облегчают сообщение с Москвою. Обнимаю вас обоих и малюток.

Е. Боратынский.

Еще одна подробность: мурановские крестьяне мне пособляют только подвозом бревен к машине, работа, впрочем, самая дорогая, потому что требует вместе и человека и лошадь; но деревья валятся и пилятся в дрова наймом. Десятина до сих пор обходилась около 100 + за свод; далее будет, бог даст, и дороже. На свод 25 десятин каждый год нужно около 3000

оборотного капитала. Надобно это тебе знать и к этому приготовиться. Покуда я дам свои деньги. Вероятно, наступающей осенью и позже зимою я их выручу при продаже досок или дров (летом этому всему должно только сохнуть), но матерьял может и застояться; нам должно общими силами выдержать год неблагоприятный, нельзя без этого в торговых делах. Скуратовские квитанции посланы особо страховым письмом.

163. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<8 марта 1842>

Вчера, 7-го марта, в день моих имянин, я распилил первое бревно на моей пильной мельнице. Доски отличные своей чистотой и правильностию. Пилы ломаться почти не могут, так удовлетворительны предосторожности новейшего изобретения. Машина идет вместо 8-ми лошадей на 4-х.

Сведено 20 десятин лесу. Десятина в сложности, за всеми издержками, даст более 1000 +, кроме сучьев и оставшегося на корню молодого леса, из коего более чем половина, года через два, будет хорошим дровяным, так что по окончании операции с каждой уже сведенной десятины можно будет выручить еще рублей до 300.

На днях пошлю вам 3000 + из скуратовских доходов. Остальное надобно будет получать по частям в течение всего года, ибо яровой свой хлеб мы почти весь продаем своим крестьянам, а деньги за него удерживаем каждые три месяца из суммы, выдаваемой казной за почтовую гоньбу.

Обнимаю вас обоих и малюток.

Е. Боратынский.

Адрес: Его высокородию Николаю Васильевичу Путята в С. П-бург. На углу Почтамтской улицы против Исакия, дом Кютнера.

164. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Март — апрель 1842. Артемово>

Посылаю тебе, любезный друг, форму доверенности на перезалог Скуратова. Нужна тоже другая на управление Мурановом и на свод и продажу леса. Последнее следующего содержания: Правительствующим Сенатом разрешена продажа имеющейся при оном имении рощи, почему и доверяю вам продать оную на сруб всю, или частями, или, если вы найдете полезнее, свести оную хозяйственно и продавать в пользу опекаемого заготовленные дрова, бревна, тес и доски. В обоих случаях можете заключать все условия, контракты, которые заблагорассудите, и везде, где потребуется, за меня рукоприкладствовать, равно и передать права сей доверенности частию или вполне кому найдете нужным, в чем я вам верю и проч. Прощайте. Спешу печатать. Обе доверенности можно написать на том же листе.

Дорога у нас прескверная. Если Соничка решится ехать, то в Братовщине она найдет тарантас, в котором немножко беспокойней, но безопаснее может до нас доехать. Дорога до того времени может поправиться; но на всякий случай, мы берем эту предосторожность.

165. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<19 апреля 1842. Артемово>

Христос воскресе! Желаю вам веселого праздника, который мы, со своей стороны, начали удовлетворительно. В 3 часа утром были у обедни в соседней деревне, разговелись, выспались. Пишу вам в самый день Светлого воскресенья.

После минуты нерешимости, мы положили остаться на месте, имея в случае (который, право, мудрено предвидеть) все-

гда убежище в Москве, а еще ближе в Троице, где между прочим находится и наш стан, следственно наше местное правление, которому, без сомнения, даны нужные пособия в теперешних обстоятельствах. Редакция бесподобна. Нельзя было приступить к делу умнее, осторожнее! Благословен грядый во имя Господне! У меня солнце в сердце, когда я думаю о будущем. Вижу, осязаю возможность исполнения великого дела и скоро и спокойно. Прощайте, обнимаю вас и малюток ваших от всей души.

Е. Боратынский.

166. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Начало мая 1842>

Не успеваю тебе доставить, любезный друг, наш общий годовой счет, потому что еще не все деньги в получении, следует еще получить из Скуратова, также из Каймар. Тысячи три, кажется, еще придется на вашу долю. Я распоряжусь так, чтоб будущие доходы из деревень посылались вам прямо на ваш заграничный адрес. Вы у меня останетесь в долгу за свод леса. Я себе заплачу из продажи. До сих пор употреблено 4.000. За исключением издержек по общей верной плате десятина даст больше 1000. Обнимаю вас обоих от всей души. Малютки ваши здоровы.

Е. Боратынский.

Не забудь до отъезда за границу прислать мне квитанцию заемного банка по имению Петра Львовича.

167. *П. А. ПЛЕТНЕВУ*

<26 мая 1842. Москва>

Посылаю тебе, любезный друг Петр Александрович, экземпляр моих «Сумерек» и при нем более десятка других для доставления разным лицам. Знаю, что даю тебе очень скучное поручение, но ради нашей давней связи позволю себе не слишком совеститься. Тут есть экземпляры, адресованные старым товарищам, которые, может быть, с тобою не в сношении. Отдай их Льву Пушкину: это знакомцы нам общие. Не откажись написать мне в нескольких строках твое мнение о моей книжонке, хотя почти все пьесы были уже напечатаны; собранные вместе, они должны живее выражать общее направление, общий тон поэта. Обнимаю тебя с чувством теперь уже более 20-летней дружбы.

Е. Боратынский.

Адрес мой: в Москве на Спиридоньевской улице в соб. доме. Сообщи мне и свой: ты, говорят, купил дом на В<асильевском> О<строве>.

168. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<Конец мая 1842 г. Москва>

Это небольшое собрание стихотворений предано тиснению почти, если не единственно, для того, чтобы воспользоваться позволением вашим напечатать посвящение. Примите то и другое с обычным вашим благоволением к автору. Прошу вас доставить прилагаемый экземпляр княгине Вере Федоровне. Почту себя счастливым, если мое приношение будет ей хотя мало приятным.— *Е. Боратынский.*

169. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Лето 1842 г. Артемово>

Похвалы, которые вы воздаете моей книге, любезная и добрая маменька, являются для меня самыми сладостными, самыми лестными изо всех когда-либо мною полученных. Зато я и насладился ими со всей наивностью, со всем здравым смыслом удовольствия, на какое я способен. В настоящую минуту я весьма далек от литературного вдохновения, но издали приветствую ту пору, когда моя постройка будет закончена, когда у меня будет меньше действительных забот (не будет, может быть, воображаемого отдыха), и которая привлекает меня мыслью о возобновлении моих былых занятий. Вы, конечно, понимаете, что я оснуюсь в деревне на довольно продолжительное время. Моя усиленная деятельность происходит, в сущности, лишь от большой потребности в отдыхе и душевном покое. Наш дом сейчас очень напоминает маленький университет. У нас пять чужих человек, среди которых судьба доставила нам превосходного учителя рисования. Наша мало расточительная жизнь и доход, который мы надеемся извлечь из лесного хозяйства, позволяют нам много делать для образования детей, пока же они и их учителя оживляют наше одиночество. Этой осенью мне предстоит удовольствие, новое для меня,— сажать деревья. У нас хороший, старый садовник, любящий свое дело, и я рассчитываю на его благие советы. Прощайте, милая маменька. Нежно целую ваши ручки, так же как и ваши внучата.

170. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Конец июля (?) 1842. Москва>

Вот тебе, любезный друг, краткой счет приходов и расходов нынешнего года: получено из Каймар и Скуратова 33.898. Общие расходы:

Процентов за Каймары	5600
За Мураново	1120
За Атамыш	400
Неелову с $\frac{10}{m}$	1000
За совершение закладной	150
Процентов за Скуратово впредь до перезалога	1000
Саблеру	1200
На платье П<етру> Л<ьвовичу>	200
Человеку его	240
Кичееву	333
В О<пекунский совет> и Г<ражданскую> П<алату>	300
Гербовых издержек по мурановскому лесу	225
	11768
Остается 22.131. Половина:	11065
Вами получено	7400
Следует получить	3665

Посылаются с нынешней же почтою Аполлону Григорьевичу для пересылки к вам.

Проценты за Атамышь я поставил наобум, не имея перед собой документа: их немножко меньше; зато не внесены некоторые мелкие издержки, которые предоставляю Настиньке. Одно, вероятно, вполне уравновесит другое.

Пишу вам из Москвы; взял с собою все бумаги, нужные для расчета, кроме квитанции, надеясь на свою память, и ошибся.

Петровские оброки еще не получены. Как пришлются, тотчас отправлю к вам следуемые вам деньги. Дети ваши, слава Богу, здоровы. Катинька приметно хорошеет и днями просто прехорошенькая. Олиньку не хвалю, потому что я с нею в ссоре. Ужасная кокетка, тянется ко мне на руки, а только я подойду, отвернется с презрением.

Со сведенными 22 десятинами мур<ановского> леса я сижу у моря и жду погоды. Настоящие купцы являются по окончании Макарьевской ярмарки, т. е. к 15-му августа. Досок и тесу продал рублей на 500 соседу, по хорошим ценам.

Торф начинает несколько заменять дрова, отчего они несколько дешевеют. Доски и тес, напротив, возвышаются.

Мурановский дом под крышей и снутри ощекотурен глиною, способ, вывезенный мною из Тамбовской губернии, где он в общем употреблении. Под краской нет никакой разницы с настоящей щекотуркой, и прочность совершенно та же. Те-

перь кладут печи, стелют полы и проч. Дело прескучное. Из всех хозяйственных дел нет сложнее и заботливее стройки.

Я был бы очень доволен моей деревенской жизнию, если б не частые поездки в Москву. Дома дни текут незаметно. Старшие дети начинают уже жить заодно с нами. Учителя добрые ребята и более просвещенные, чем большая часть русских помещиков. Каждое утро я езжу один в Мураново, и вечером после чаю мы отправляемся туда пешком с детьми и возвращаемся прямо к ужину. Много мешают нам особенно частые дожди. Зато все обещает, как здесь, так и в других имениях, обильный урожай. Прощайте, обнимаю обоих вас от всей души.

Е. Б.

171. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Лето 1842 (?) Москва>

Посылаю тебе, любезный друг, 10.000 каймарского дохода: из них 5.600 для уплаты процентов в заемный банк, остальные pour vos mêmes plaisirs*. Тысячи с две еще нам придется, в круглом счете. Из Скуратова будет около 16 т. с уплатою процентов, с третью частью прошлогодней просрочки придется нам по 6500. Доход порядочный. Пишу из Москвы. Хлопот у меня много и потому не вхожу в подробности. Будьте все здоровы.

172. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Конец лета 1842. Артемово>

Я бесконечно долго не писал вам, любезная и добрая маменька; дело в том, что все это лето прошло у меня в волнении и беспо-

* *Для ваших удовольствий (фр.).*

койстве и я все откладывал свое письмо до лучших времен, которые никак не наступали. Я взялся за такие хозяйственные дела, которые принесли мне забот более, чем я мог это предвидеть; в особенности, формальности с опекой, о которых и не подозревал и которые повлекли за собой столько хлопот. Слава Богу, все мало-помалу уладилось, и у меня остались только обычные заботы, которые уже не столь сложны. За год, прожитый мною здесь, я построил лесопилку, дощатый склад и свел 25 десятин леса; почти что достроил дом. Новый дом в Муранове уже стоит под крышей и оштукатурен внутри. Остается настелить полы, навесить двери и оконные рамы. Получилось нечто в высшей степени привлекательное: импровизированные маленькие Любичи. Надеюсь в него вселиться в конце августа. У меня было много разочарований: из шести человек, которых я нанял в разных деревнях для обслуживания лесопилки и которые летом должны были помогать на стройке дома *<нрзб. 1 слово>*, — трое были постоянно больны и в настоящее время лежат в больнице. И все же я довольно хорошо справился с хозяйственными делами. Я избавился от проса, которое мне доставили из Вяжли, продав его дороже 50 р. за четверть, а зерно, привезенное из Скуратова,— по 28. Все это время у меня постоянно было до пятидесяти рабочих, которых я кормил; а в настоящее время их осталось тридцать. Капитал, который представляет собой 25 десятин леса по нынешним ценам, доказывает, что я не ошибся в расчетах. Я ожидаю сентября месяца, когда появляются покупатели на такого рода товар; и если мне улыбнется счастье, то я смогу поздравить себя с успешным хозяйствованием. Позвольте вам представиться: я Бальзак чистой воды, поскольку думаю этой зимой попробовать свои силы и написать роман в его духе. Нежно целую ваши ручки и обещаю вам впредь не предпринимать ничего такого, что могло бы меня отучить от писем.

Е. Боратынский.

173. *П. А. ПЛЕТНЕВУ*

<10 августа 1842. Москва>

Поздно отвечаю тебе, старый и добрый друг, но не упрекай меня в неблагодарности. Письмо твое застало меня средь материальных забот, тем более поглощавших все мое время и мысли, что по привычке моей к жизни отвлеченной и мечтательной, я менее способен к трудам, требуемым действительностью. Чтоб в самом деле вести тихую жизнь мудреца, нужно глубокое и покорное внутреннее согласие на некоторые суеты житейские. Этого у меня нет, но надеюсь, что будет. Как мы мало с тобой виделись в Петербурге! Как бы мне хотелось уже не повстречаться с тобой на минуту, а пожить вместе, поделиться, как прежде, поэтическими мечтами, разнообразными открытиями зрелой жизни! Между нами 16 лет расстояния, пройденного порознь; но краткое наше свидание доказало, что мы прошли его односмысленно. Физиогномия наших душ не изменилась, а если мысли приняли строгую краску строгих лет, сердце сохранило почти всю свою молодую веселость, сокровище, сбереженное верностью к первым привязанностям и постоянною чистотою стремлений. Обстоятельства удерживают меня теперь в небольшой деревне, где я строю, сажу деревья, сею, не без удовольствия, не без любви к этим мирным занятиям и к прекрасной окружающей меня природе; но лучшая, хотя отдаленная, моя надежда: Петербург, где я найду тебя и наши общие воспоминания. Теперешняя моя деятельность имеет целью приобрести способы для постоянного пребывания в Петербурге, и я почти не сомневаюсь ее достигнуть. С нынешней осени у меня будет много досуга, и если Бог даст, я снова примусь за рифмы. У меня много готовых мыслей и форм, и хотя полное равнодушие к моим трудам г. г. журналистов и не поощряет к литературной деятельности, но я, Божиею милостию, еще более равнодушен к ним, чем они ко мне. Прощай, нежно тебя обнимаю. Дружеский поклон мой Гроту.

P. S. Рассылка в разные места моих «Сумерек» была соединена с некоторыми издержками. Позволь, сделай одолжение, с тобой рассчитаться. Распечатай пакет ко Льву Пушкину: там есть экз. для Натальи Николаевны. Я полагал его непременно в П-бурге и хотел уменьшить твои хлопоты, препоручив ему экз. для его родства и круга знакомых.

174. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Конец августа 1842. Москва>

Вам бы следовало получить сегодня письмо от Настиньки. Я должен был его сам отдать в Москве, где теперь нахожусь по некоторым хлопотам, но новонаемный мой камердинер забыл взять с собою мою шкатулку, в которой уложены были все мои бумаги, и я пишу вам несколько строк, чтоб не оставить вас без вестей о Муранове. Дети ваши, слава Богу, здоровы. Олиньку обметала золотуха; но, кажется, это неважно и может даже послужить ей в пользу. Собираемся отымать Катиньку от груди. Кстати, у ней на днях вышло два зуба, и другие пойдут не так скоро. Этим промежутком хорошо воспользоваться. Лесной матерьял начинает сходить с рук. Дом отстраивается. Недели через три мы перейдем в верхний этаж. Я получил очень милое письмо от Карамзиной в ответ на мои стихи. Нежно обнимаю вас и Настиньку.

Е. Боратынский.

175. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Осень 1842 г. Москва>

Милая маменька, я сильно промедлил с ответом на одно из самых нежных ваших писем. Приезд Натали и Софи доставил мне приятные развлечения и, в согласии с вечной несправедливостью, правящей миром, это отозвалось на Кирсановской почте. Письмо мое должно на несколько дней опередить Софи, которая привезет вам несколько новых книг. В нынешнем году их немного. «Консуэло» и «Занони» — самые из них замечательные. Европейский дух обращается к мистицизму. Материалистическая революция закончилась. Дай бог, чтобы эта минута утомления была лишь сном, предшествующим пробуждению

поэзии к новой деятельности, ибо только присутствие поэзии изобличает счастье народов и их истинную жизнь. Аннет приезжала сюда в деревню повидаться с нами, а сейчас мы принимаем гостей из Ярославля, доставивших нам известия о ней и об Ираклии. Нам рассказывают, что их очень полюбили в Ярославле. Говорят о мягкой снисходительности моего брата, об атмосфере дружелюбия, установившейся в городе благодаря общительному нраву Аннет. О Полторацких там не жалеют. Я сказал, что состояние моего брата не может ему позволить делать все то, что делал для увеселения общества его предшественник. Мне ответили, что благодаря тому образу жизни, какой ведут Ираклий и жена его, тамошнее общество только теперь и начинает по-настоящему жить. Во всем, что эти господа мне рассказывали, чувствовался искренний энтузиазм. Я тороплюсь сообщить вам эти подробности, потому что знаю, сколько удовольствия они вам доставят. Целую вам руки, милая маменька, и возвращаюсь к своим гостям.

Е. Боратынский.

176. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Осень 1842. Москва>

Как я благодарен вам, любезная маменька, за ваше письмо, исполненное доброты. Оно меня так приятно взволновало и переполнило сердце такой признательностью, какую я не сумею выразить. Почему вы извиняетесь за то, что редко пишете письма? Можно ли допустить, что вы способны забыть нас, и не должен ли я всегда надеяться, что ваше молчание не означает, что вы меня обходите своей сердечной заботливостью. Похоже, Наташе нравится в Москве, и я весьма счастлив, что могу доставлять ей приятные развлечения. Она разыскала тут старых знакомых и завязала несколько новых знакомств. Ее присутствие оживляет наше постоянное общество, и если ей случается

<*нрзб. 1 слово*> развеселиться, то этим она больше обязана самой себе, нежели нам. Недавно у нас состоялся литературный вечер. Павлов прочел нам новеллу, которую недавно закончил; она свидетельствует о замечательном таланте. Вечер закончился оживленным спором.

Я все еще пребываю в строительных заботах. Они меня крайне утомили. Я сделал несколько ошибок, но, по счастью, не очень важных и сумел их исправить. Целую вам ручки, любезная маменька, и прошу вашего благословения себе и вашим внукам.

Е. Боратынский.

177. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<*Начало зимы 1842 г. Мураново*>

Если и есть у меня оправдание в том, что я так долго не писал к вам, милая моя маменька, то заключается оно в крайней моей усталости и расстройстве нервов, причиною чему был переезд из деревни, собственно говоря, до сих пор не законченный. Каждый день приходится что-то доделывать, и стук молотка по-прежнему слышен в доме. Дом красив, удобен, но я еще не привык к нему и весьма далек от того, чтобы насладиться счастьем обладания, этой наградой за труд, этой радостью творца, завершившего свое творение, о которой мне приходилось слышать. Все это хорошо, когда работаешь шесть дней; но шесть месяцев — дело другое, и пока доберешься до цели, чувства несколько притупляются. Образ жизни мы ведем прежний, уроки детей исправно следуют один за другим, определяя отчасти и наш собственный распорядок дня. Старшие дети радуют нас своими успехами. Младшие еще не достигли возраста, когда учение может доставлять удовольствие; но и они продвигаются мало-помалу вперед. Торговля моя лесом идет неплохо. Дело это для меня совершенно новое и потому до некоторой степе-

ни увлекательное. По сведениям, которые я имею, мы получили в целом превосходный урожай; но я предвижу, что цены (кроме цен на рожь) будут довольно низкими. Жизнь в деревне и немного успеха в хозяйственных делах позволят мне воздержаться от продажи зерна, которое слишком дешево будет стоить, и запастись им впрок, что я давно уже хотел сделать. Бог даст, это принесет мне большие выгоды в будущем, постоянный и удовлетворительный доход. Скоро Рождество. Поздравляю с праздником вас, милая маменька, тетушку и моих сестер и братьев. Бог да хранит вас всех в добром здоровье. От всего сердца целую вам руки.

Е. Боратынский.

178. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Декабрь 1842>

Благодарю тебя, любезный друг, за твои подробные и занимательные письма. Рад, что вы так полно наслаждаетесь Италией и что вообращение, предупрежденное столькими описаниями, нашло на ее древней пошве впечатления новые и свежие. Все можно передать довольно точно, кроме местной физиономии и вообще природы, и слава богу. Не все уловляет печать, и что-нибудь еще возможно чувствовать по-своему. Теперь вести из отечества: дети ваши здоровы. Олинька всякой день милее. Катинька эти последние дни чрезвычайно похорошела. Начинает стоять на ногах, но еще не ходит. Все мы также живем подобру-поздорову. Наше уединение очень полезно детским урокам. Саша сделала большие успехи в рисованьи и обещает настоящий талант. Музыка тоже идет успешно. Оба старшие замечательно усовершенствовались. Несмотря на довольно невыгодную репутацию, мы взяли m-me Fild. Она будет жить во флигеле и давать только что уроки. Что-то бог даст, а делать нечего: в Москве нет ни одного порядочного учителя, который

бы согласился ехать в деревню за доступную цену. Доходы нынешний год будут средние, хотя урожай хорош. Цены очень низки. Ваши вознесенские мужики плохо платят оброк. Прошлого году петровского оброку получил я только 4300, которые и внес по залогу ваших имений в опекунский совет. Правда, что прошлый год был тяжелее для крестьян, хотя от высоких цен мы получили хороший доход. Из январского оброку я получил 3300+, внесенные атамышенскими вашими крестьянами. Вознесенские еще не внесли. Дьяков обещает собрать к маслянице. Ваши 3300 положены мною в ломбард, равно как и часть денег, которая, вероятно, вам достанется из каймарских доходов (около 5/т.).

Прощайте, мои милые и добрые друзья. Поздравляю вас с новым годом, желаю всякого счастия, в особенности продолжения отпуска, чтоб вы могли вместе долечиться в Мариенбаде. Крепко вас обнимаю.

Е. Боратынский.

179. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Начало января 1843. Мураново>

Поздравляю вас, любезные друзья мои, с наступившим новым годом. Долго не писал за хлопотами всякого рода, сверх того хотелось дождаться положительных результатов от свода рощи и постройки дома. Слава богу, дом хорош, очень тепел. Были и большие морозы и сильные ветры: мы не чувствовали ни тех, ни других, и что в особенности редко в деревенских домах — никогда не знали, с которой стороны непогода. Продажа леса идет успешно: более $^{2}/_{3}$ заготовленного материала уже сбыто по хорошим ценам. Десятина за издержками даст, как я писал вам и прежде, до 1000+. На следующий год есть надежда на повышение цен, а сбыт несомнителен. Наша роща остается единственной в околодке. Купцы, имевшие в запасе доски

и дрова, сбыли все, что имели, и лесной торг остается совершенно в наших руках. Как нарочно, в соседстве у нас строится несколько господских домов и огромная фабрика. Машина оказалась неудобной и убыточной. Приходится ее совсем оставить. Она приносит потери тысяч на 5-ть, но она в общем счете может вознаградиться распространением кирпичного завода, на который будут употреблены и призванные мною люди и купленные волы. Строящаяся фабрика в 8-ми верстах от нас представляет верный сбыт, а требование огромно: до миллиона в год. У нас пропасть гнилова лесу, не имеющего никакой цены в продаже: он пойдет на обжиг кирпича. До сих пор сведено 22 десятины. Нынешнюю зиму сведется еще 28. Выручкою должен вознаградиться убыток, понесенный машиной, постройка дома, кирпичных сараев, покупка волов, словом, все издержки, и 20 тысяч должно быть внесено в уплату Пьерова долга. Дело, как всякое новое дело, не обошлось прошлого года без ошибок. Теперь свод леса будет стоить дешевле, от лучшей кладки и пилки дрова и доски в лучшей цене. Не забудьте тоже, что молодой лес остается на корню. Думаю, можно быть довольными общим итогом. Дом отделан вполне: в два полных этажа, стены общекатурены, полы выкрашены, крыт железом. В числе издержек полагается еще 8 тысяч постоянного оборотного капитала, нужного на ежегодный свод 25 десятин леса. Нас посетила в Муранове Анна Васильевна; вероятно, она вам об нас кое-что писала. Наш быт против артемовского изменился тем, что мы пореже ездим в Москву. Прошлого года столько было дел, что из 52 недель мы, верно, 25 провели в городе. Теперь, слава богу, мы постояннее бываем дома. Малютки ваши здоровы. Олинька обещает быть красавицей, но и Катя днями очень хороша. Она в поре невыгодной для наружности детей. Когда вы думаете возвратиться на родину? И есть ли у вас какие-либо планы для будущего? Каково житье за границей в отношении денежном?

Обнимаю вас обоих и Настиньку.

Дом стоил дороже, нежели я предполагал, потому что весь матерьял куплен. Мне не хотелось употреблять полусухого леса в постройке, которая окупается единственно своею прочностью. К тому же, что́ бы я употребил из собственного лесу на постройку дома, то было бы исключено из продажи, а мы, бла-

годаря возвысившимся ценам, продаем свой матерьял дороже, чем купили посторонний: я покупал доски по 1.20 к., а продаю по 1.40, по 1.50 к.

180. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Апрель 1843. Мураново>

Вот мы и дожили до большого праздника, дорогая маменька. Примите мои поздравления и всяческие пожелания, которые я вам посылаю. Также поздравляю милую тетеньку, моих сестер, братьев и всю розовощекую детвору нового поколения. Близится день вашего ангела, желаю, чтобы он был солнечным, оживляющим деревья и цветы вашего сада и дающим возможность всласть порезвиться вашим внукам. Погода у нас сносная, голубое небо, но все еще холодно. По-прежнему довольно много снегу и морозные ночи. Днем от трех до четырех дети развлекаются верховой ездой. Совершать пешие прогулки еще невозможно. С весной у меня появятся развлечения в виде различных работ. Мне предстоит закончить несколько построек и осуществить немало земляных работ. За этим последуют полевые работы, в которых я тоже принимаю участие — так как, стóит мне выйти из дому, как я вижу пахарей за их работой: весь наш маленький участок земли можно окинуть одним взглядом. Я иногда развлекаюсь тем, что делаю неправильные распоряжения старосте, чтобы доставить ему удовольствие обнаружить это и тем самым меня поучать. Знаете ли вы, что это единственный способ добиться от этих людей того, что они знают?

Весь доход, который мы можем здесь получить, настолько мал, что, и ошибаясь, теряешь немного. Что касается продажи леса, то рубка этого года принесла еще более удовлетворительные результаты, чем предыдущая. Я теперь почти уверен в моей удаче. Мне остается только бояться падения цен, что маловероятно. Занятия детей проходят чудесно. Они хорошо

усвоили систематические уроки, которые они получают, живя в деревне. Уроки музыки в настоящее время у нас дает госпожа Фильд — сама она играет не так хорошо, как ее муж, но знает его методу, а маленькие артистические тонкости, переданные ей супругом, часто являются ее главными средствами. Нежно целую ваши ручки, любезная маменька, и прошу вашего благословения для всех нас.

Е. Боратынский.

181. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Июнь 1843 г.>

Наша неподвижная и, благодарение богу, лишенная событий жизнь была до последнего времени причиною того, что я редко писал к вам, милая маменька; но с некоторых пор все переменилось. Вот уже месяц, как я в постоянных разъездах. Я ездил в Тульскую губернию по межевым делам и во Владимирскую — с той же целью. Мне удалось столковаться с соседями, обойдясь без больших жертв. К несчастью, мне пришлось колесить по стране как раз тогда, когда Варинька и Натали были в Москве, так что я смог уделить им весьма мало времени. Я слушал Листа и остался менее им доволен, чем ожидал. Беглость его игры превосходит всякое воображение и вместе с тем превышает возможности фортепиано. Звуки сменяют друг друга с такой быстротой, что сливаются в какой-то невнятный гул, не доставляющий удовольствия слуху. Такая беглость сбивает инструменту дыхание. Кроме того, я не нахожу, что он верно чувствует музыку. Он портит самые прекрасные мелодии бесцельными и бессмысленными украшениями. Его форте, его пиано пианиссимо, сами по себе превосходные, не производят должного впечатления, потому что никогда не служат выражению серьезной музыкальной идеи. Он берется импровизировать, а играет вместо этого гаммы. Все время кажется, что он просто

пробует инструмент перед тем, как его купить. Я ставлю Тальберга гораздо выше него. Ему здесь устроили овации, которые были смешны сразу по двум причинам: во-первых, это был энтузиазм подражательный, только, чтобы не отстать от Берлина; а во-вторых, если бы и не так, то этот энтузиазм переходил всякие границы: более восторженного приема не встретил бы и спаситель отечества. Было отчего почувствовать отвращение к славе. Прощайте, милая и добрая маменька. Внуки ваши здоровы и нежно целуют вам руки.

Е. Боратынский.

182. *П. А. ВЯЗЕМСКОМУ*

<10 сентября 1843. Петербург>

Очень мне совестно, что я не догадался вам оставить адреса новой квартиры Путята, чем и лишил себя удовольствия видеть вас сегодня. Завтра я целое утро в хлопотах и потому прибегаю к вам вместе с моими хозяевами с покорнейшею просьбою: не откажите у нас обедать. Вы увидите, между прочим, Одоевских. Сбираются в 5 часов. Во всяком случае я не оставлю Петербурга, с вами еще раз не повидавшись и не получив вашего благословения на мое европейское пилигримство.

Е. Боратынский.

183. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Октябрь 1843 г. Дрезден>

Вот уже около восемнадцати дней, как мы в дороге, любезная маменька; шестиместный дилижанс, о котором мы уговори-

лись в Петербурге, доставил нас до границы, или, точнее, до первого прусского почтового дома.— С тех пор мы путешествуем, нанимая купе, в которых наше семейство помещается особо, хотя еще остается четыре места в дилижансе, почти всегда занятые. Этого рода путешествие очень оживлено: видишься на станциях, и в часы обедов и ужинов обмениваешь несколько слов.— Дороги великолепны, и почтовая часть в удивительном порядке. Мы провели два дня в Кенигсберге и одиннадцать дней в Берлине. Со мною было рекомендательное письмо к секретарю нашего посольства, которым я воспользовался. Я представлялся нашему посланнику барону Мейндорфу, человеку весьма вежливому и весьма любезному. Я обедал у него с графом Блудовым, с которым уже прежде был знаком. Он путешествует с дочерью и возвращается теперь в Петербург. Я провел у них один вечер. Мы в первый раз испытали впечатление железной дороги, съездивши в Потсдам; видели там дом, где жил Вольтер, и небольшие покои Великого Фридриха, без сомнения великого, если принять в соображение, что он, почти один, создал Пруссию и положил первые основания ее теперешней администрации.— Берлин — прекрасный город; он не так хорош, как Петербург, но лучше в отношении размеров.

Жизнь в нем отличается крайней правильностью. Всевозможные отношения здесь предвидены и установлены навсегда; торговые — давностью, общественные — обычаями, никогда не нарушаемыми. Здесь гражданин, сам того не подозревая, подчиняется такой же дисциплине, как солдат. В несколько дней применяешься к заведенному порядку и наслаждаешься чувством чрезвычайного спокойствия, доставляемым этим совершенным отсутствием всего непредвиденного. Теперь мы в Дрездене.— Само собою разумеется, что мы видели знаменитую галерею. Мадонна Рафаэля — это торжество идеи христианства; восторг, ею возбуждаемый, никогда не истощится. Лучше не говорить о ней, и пусть поколение за поколением преклоняется перед этим божественным произведением. Не могу не упомянуть о произведении менее знаменитом, но, может быть, столь же великом по выражению возвышенной скорби — это Христос с динарием Тициана. Мы ездили осматривать одну из прелестнейших местностей в окрестностях Дрездена — Тарентскую долину. Несмотря на позднее время года, там

еще восхитительно. Я очень наслаждаюсь и собственными путевыми впечатлениями, и не менее впечатлениями детей, которые, принимая их со всею живостью и свежестью, свойственными их возрасту, дополняют и украшают наши. Отсюда мы возвращаемся в Лейпциг, там возьмем дилижанс до Франкфурта, из Франкфурта отправимся в Майнц, спустимся по Рейну до Кельна, потом по железной дороге в Брюссель, а оттуда в Париж. Я говорил вам до сих пор об одном приятном заграничного путешествия,— сообщу вам ужасное впечатление. Это туннель между Лейпцигом и Дрезденом. Представьте себе подземелье, которым едешь более трех минут, где совершенный мрак заставляет как-то опасаться, что не достанет воздуха. Я так беспокоился о жене, которая склонна к удушьям, что был совершенно бледен, когда мы возвратились к свету. Жена моя целует ваши ручки, а внуки ваши просят у вас благословения на понимание проявлений искусства, со всех сторон их окружающего, и тех остатков природы, которые новейшая цивилизация тщательно отстаивает, надеясь сберечь их, как Египтяне свои мумии: но она не в силах сохранить их.

184. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Октябрь 1843 г. Лейпциг>

Настинька писала вам в Дрездене, и я приписываю в Лейпциге, куда мы по вашему совету воротились. Переночевали, а теперь едем в Франкфурт, на немецких длинных, т. е. с лонкучером. Будем останавливаться на ночь и в пятый день должны быть на месте. Я очень наслаждаюсь путешествием и быстрой сменою впечатлений. Железные дороги чудная вещь. Это апофеоза рассеяния. Когда они обогнут всю землю, на свете не будет меланхолии. Обнимаю тебя, Соничку и детей ваших и наших. Когда буду на месте, может, передам вам несколько впечатлений и замечаний, доставленных мне путешествием. Прощайте, до Франкфурта.

185. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Ноябрь 1843 г. Париж>

Друзья, сестрицы, я в Париже! и благодаря Соболевскому, которому я вскоре буду писать особо, благодаря его за полезную его дружбу, вижу в нем не одни здания и бульвары, хотя первый матерьяльный взгляд на Париж вознаграждает с избытком труды дальнаго путешествия. Я уже заглянул в faubourg St.-Germain и видел некоторых литераторов, но, по-моему, всего замечательнее во Франции сам народ, приветливый, умный, веселый и полный покорности закону, которого он понимает всю важность, всю общественную пользу. Я удивлялся в Берлине городскому порядку, точности и бесспорности отношений. Как же я изумился найти то же самое, но в высшей степени, в многолюдном Париже, в его тесных улицах, в его бесчисленных сделках. В Германии чувствителен еще некоторый ропот на законы общественного устройства, которым повинуются: здесь ими гордятся люди, принадлежащие последней черни. Несколько ясных мыслей общежития сделались достоянием каждого и составляют такую массу здравого смысла, что мудрено подумать, чтобы можно было совратить народ с пути истинного его благосостояния. Между тем партии волнуются. Я много слушаю и много читаю. Люди, вышедшие из рядов и наполняющие газеты и салоны, не тверды в своих мнениях. Здесь переметчики менее подлы, чем кажется с первого взгляда, и многие из них принимают мнение, противоположное прежде выраженному, с совершенно искреннею ветреностью. Теперь всех занимает вопрос воспитания: кто должен им заведывать, духовенство или университет? Вопрос отменно важный, слитый с видами легитимизма... Ламартин напечатал вздорную диатрибу, которую я принужден хвалить в обществе, с которым начал знакомство. Ответы противоположной партии, почтительные к таланту поэта, очень забавны. Профессоры начали свои курсы, и о чем бы ни говорили, об анатомии или химии, умеют коснуться всех занимающего вопроса. Мы живем в самом центре города. Вот наш адрес: Rue Duphot, près le boulevard de la Madeleine, № 8. Сегодня я буду у m-me Aguesseau,

завтра у Nodier, послезавтра у Thierry. Всеми этими знакомствами я обязан Сиркурам. Прощайте, обнимаю вас и детей. Кланяюсь очень Соболевскому, Плетневу. Я вижу почти всякий день А. И. Тургенева, который теперь несколько нездоров. Он пеняет Вяземскому за то, что он к нему не пишет. Напомните ему обо мне. Вижусь с Балабиным, человеком очень умным, очень сведущим, с которым всякая встреча меня более и более сближает.

186. *А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ*

<Ноябрь 1843 г. Париж>

Милая маменька, я писал к вам тотчас по приезде моем в Париж, но письмо из Петербурга, в котором говорят мне о письме, от вас отправленном ко мне и мною не полученном, заставляет меня предполагать, что и мое письмо до вас не дошло. В нем заключались одни первые впечатления «великого города», повторения, может быть, того, что́ испытали другие путешественники; но от которых невозможно воздержаться, как от восклицаний при виде поразительного предмета, несмотря на то, что они общие. Мы теперь совершенно устроились, и я начинаю с того, что посылаю вам наш адрес: Paris, Rue Duphot, près le boulevard de la Madeleine, № 8. Мы сперва привели наш дом в порядок, нашли нужных детям учителей,— а там, я пустил в ход мои рекомендательные письма. Я теперь в сношениях с некоторыми литераторами, в особенности с Сен-Жерменским предместьем. Меня адресовали к лицам различных партий, так что я, мало-помалу, завожу знакомства в местностях Парижа самых разнородных. Сен-Жерменское предместье вообще бедно материальными средствами, но оно стоит чрезвычайно высоко в мнении счастливцев мира сего, и всякий стучится у дверей его, которые редко отворяются настежь, как ворота. Жители предместья уже не имеют собственных отелей,— все живут в маленьких комнатах, подобных, может быть, тем, в которых г-жа

Скаррон принимала некогда все лучшее общество. У герцогини Р... лакей без ливреи, в помочах, отворил наполовину дверь и доложил обо мне посреди аристократов старинного века. Весь этот мир, щепетильный до крайности, превозносит предания и вежливость прежнего времени, как бы обряды некоего священнослужения, коего тайны ему одному доступны. За неимением первенства в политике, он бросился в пуританизм не нравов, а форм. Он не стеснителен для русского, живущего в Петербурге или Москве, почти при тех же общественных условиях, но он раздражает и возбуждает против себя ненависть француза нового времени. Дамы Сен-Жерменского предместья не читают ни Гюго, ни Сю, ни Бальзака, но они заодно с аббатами, подвизаются на пользу ультрамонтанизма. Эта слабая партия вступила в союз с последними усилиями папского Рима. Великий «вопрос дня» состоит в том, чтобы добиться для духовенства исключительного права воспитания юношества, в ущерб университету. Предместье содействует духовенству, почитая принцип легитимизма нераздельным с принципом владычества церкви, и все в большом движении. Я вижу здесь графиню Т., маркизу А., внучку известного Президента, находящуюся в свойстве с родом Мортемар, который с нею пересекается; герцогиню Р..., которую я вам уже называл, графиню Ф..., дочь Академика, графиню Б., жену наполеоновского посланника в Швеции, а потом в Испании. Последняя принимает у себя дворянство времен Империи, и я имел удовольствие видеть у ней маршала Сульта. Наконец, бываю у одной русской: г-жи Свечиной, о которой говорят здесь, что ее салон первый в Европе, потому что он первый в Париже. Правда, что нет личности, сколько-нибудь замечательной, которой бы нельзя было встретить у нее, даже теперь, когда, сделавшись чересчур набожной, она подвергает гостей своих слишком строгому выбору.— Затем следуют литераторы: Альфред де Виньи, Мериме, двое Тьерри, Мишель Шевалье, Ламартин, Шарль Нодье, которого я только что успел застать в живых, так как он теперь находится при последнем издыхании; мне, однако, удалось уловить несколько минут приятной беседы с ним накануне того самого дня, когда он так опасно занемог. Я посещаю здесь также некоторых русских.— Но что вынести из всего этого, что сказать вам о Париже и о его жителях? Начнем с самого горо-

да, с Парижа. Не хочу повторять уже сказанного мною о впечатлении на первый взгляд, об уличном движении, тем более, что вы, может быть, получили мое письмо; но я обозначу замеченные мною неточности в рассказах большей части путешественников. Во-первых, движение на улицах — преимущественно дело пешеходов, не причиняющих ни малейшей тесноты, и, приноровившись, заметно менее толпятся здесь, чем даже на наших бульварах в день какого-нибудь гулянья. Кареты, весьма немногочисленные, едут самой маленькой рысью и состоят большей частью из экипажей извощиков и омнибусов. Изредка увидишь экипаж богатого человека, заложенный парой чалого цвета лошадей, с кучером в ярко-пунцовых штанах, и все, что едет, очень почтительно к пешему обладателю улиц,— а он, этот властелин, как бы новый Протей, топчет тротуары в тысяче разнообразных видов: в блузе, сюртуке и т. п. Вы не въезжаете в ворота домов и не выезжаете из них в карете; остановившись у ворот, вы звоните и входите в отменно чистый двор, через который отправляетесь пешком куда вам нужно. Этого обычая не всегда придерживаются в Сен-Жерменском предместьи; но предместье довольно безлюдная часть города, и потому такого рода мера, принимаемая для предупреждения несчастных случаев, там не так настоятельно требуется.— Весь Париж — лавка: все первые этажи домов в магазинах. Где бы вы ни поселились, у вас везде почти все под рукою, не только необходимое, но даже предметы роскоши; но все довольно посредственного качества.— Париж, в целом, великолепен, в частностях — это изукрашенные безделушки. Рассматривая его с этой точки зрения, я припоминал эти два стиха Вольтера:

И благо общее, в хаосе роковом,
Из бедствий каждого составите вы в нем.

Впрочем, для того, чтобы почувствовать неточность применения, надо знать, что более ровное распределение земных благ в значительной мере содействовало благополучию Франции, наделив ее большим числом людей умеренно-счастливых и умеренно-довольных. Общая физиономия народа, как она представляется свежему взгляду путешественника, не обманчива. Во всех французах есть что-то довольное своей судьбой, че-

го я не замечал в народонаселениях других стран. Учтивость, благорасположение, приветливость даже в низших слоях народа, доказывающие, что в ежедневном расположении духа он чужд той ожесточенной раздражительности, которую я встречал везде, кроме Франции,— в этом явный признак лучших учреждений в стране. Возвращаюсь к материальному; вы найдете все, что угодно, в Пале-Ройяле — это Парижский Гостиный двор; но он гораздо великолепнее Петербургского и даже Московского; он освещен всякий вечер газом и освещен так, как наши города были освещены только раз, в тот день, когда праздновали вшествие наших войск в тот город, из которого я пишу к вам; со всем тем, владелец каждой лавки не имеет и двадцати тысяч франков капитала; предметы истинной роскоши рассыпаны там и сям; богатый принужден отыскивать, что хочет купить, в двадцати различных местах. Жизнь в Париже подчинена такому порядку, что можно бы предположить здесь строгую нравственность; ее еще нет, но ей решительно уже положены первые основания. Вы должны предуведомить привратника, когда намерены возвратиться домой после полуночи, и вообще, в этот час никого не встретишь на улицах Парижа, и там водворяется тишина, как бы в деревне.

187. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Конец ноября — начало декабря 1843 г. Париж>

Хорошо, что я проведу в Париже одну только зиму, а то из человека с некоторым смыслом я бы сделался совершенным зевакой, а что хуже — светским человеком. Не я один, все парижане с одиннадцати часов утра до 12 вечера на ногах и проводят часы в визитах. Для настоящих парижан, имеющих свои виды, то деловые, то политические, посещающих каждое лицо с известною целию, эта жизнь не совсем убийственна; но для заезжего,

несмотря на любопытство, она утомительна до крайности. Несмотря на приветливость лиц, на новость явлений, чувствуешь недостаток прямых отношений, и, если бы я был в Париже без семейства, не знаю, вынес ли бы я подобное существование. Первые мои знакомства вовлекли меня в faubourg St.-Germain, к m-me de T..., к m-me d'Aguesseau, к T.<*нрзб. две зачеркн. строки*>. Тут собираются академики и католические прозели<ти>сты обоих полов. Все это работает вертограду господню в смысле аббатов. По довольно уединенным улицам славного предместья бегают с озабоченным видом латынские попы в таком множестве, что если б по русскому обычаю от всех отплевываться, можно получить чахотку. Circourt познакомил меня с Виньи, двумя Тьерри, Нодье, St.-Beuve, Соболевский с Mérimée, и m-me Ancelot, случай — с прежним издателем одного из крайних республиканских журналов, через которого я надеюсь добраться до Ж. Занд. Познакомился или возобновил знакомство с некоторыми земляками. Русские ищут русских в Париже и вообще в чужих краях. Самые ветреные из них догадываются, что у нас есть на сердце, и готовы на сантиментальность. Общества с точки зрения политической представляют самый печальный факт. Легитимисты, умные без надежды, безрассудные по неисправимой привычке, преследуют идею своей партии и отслужили ей в Лондоне вместе меткую (?) и трогательную панихиду. Республиканцы теряются в теориях без единого практического понятия. Партия сохранительная почти ненавидит ее настоящего представителя, избранного ею короля. Всюду элементы раздоров. Движение попов, воскресших для надежд бедственных, ибо под личиною мистицизма они преследуют мысль возврата прежнего своего владычества. Вот Франция! А в парижских салонах конституция французской учтивости мирно собирает умных, сильных, страстных представителей всех этих разнородных стремлений. Обнимаю вас обоих и всех ваших и наших ребятишек. В следующем письме сообщу вам подробности о всех названных мною лицах.

188. *Н. М. САТИНУ или Н. П. ОГАРЕВУ*

<Конец 1843 — начало 1844 г. Париж>

К крайнему моему сожалению, я не могу располагать сегодняшним днем. Увижу Вас в самом скором времени, тем более, что на будущей неделе еду суток на двое в Версаль. Примите уверения в искреннем дружеском чувстве

преданного Вам *Е. Боратынского.*

189. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Конец декабря 1843 г. Париж>

Поздравляю вас, любезные друзья, с новым годом, обнимаю вас, ваших и наших ребятишек; желаю вам его лучше парижского, который не что иное, как привидение прошлого, в морщинах и праздничном платье. Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который ничем не заменят здешние науки; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодра и блистательна и красноречием мороза зовет нас к движению лучше здешних ораторов; поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе 12-ю днями других народов и посему переживем их, может быть, 12-ю столетьями. Каждую из этих фраз я могу доказать ученым образом; но теперь не время, оставим это до дня свидания, ибо из русских писателей нет ни одного, который менее бы любил писать того, который вас так нежно любит. Поклон мой Соболевскому и Плетневу, которым собираюсь писать, не знаю о чем от многосложности предметов; но постараюсь что-нибудь выразить со всею правдой, которая от меня зависит.

Е. Боратынский.

190. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Начало 1844 г. Париж>

Последнее письмо Сонички принесло нам весть о вашей общей великой потере. Ты не можешь сомневаться в полноте участия, которое мы в ней принимаем. Память твоего почтенного отца принадлежит не одной твоей сыновней скорби, но всем, которые его знали и ценили; она принадлежит истории в гражданской истории 12-го года. Ты проводишь тяжелую зиму: столько сердечных потрясений и столько забот положительных. Моя здешняя жизнь тоже не восхитительна. Буду доволен Парижем, когда его оставлю. Для чужеземца, не принимающего ни в чем страстного участия, холодного наблюдателя, светские обязанности, дающие пищу одному любопытству, часто обманутому в своих ожиданиях, отменно тяжелы. Бываю везде, где требуется, как ученик в своих классах. Масса сведений и впечатлений, конечно, вознаградит меня за труд, но все-таки это труд, а редко-редко наслаждение. В одном из писем Вяземского к Тургеневу помещено несколько строк, для меня особенно благоволительных. Скажи ему при случае, что я был ими очень тронут и что они сохраняются в том чувстве, которое так хорошо назвали сердечною памятью. Бедный Тургенев болен почти с моего приезда в Париж: это сиятика в руке и рюматизмы в боках. По словам его, этими недугами он обязан тому, что где-то в Германии, отыскивая Жуковского, упал в ручей, продрог и с тех пор не может оправиться. Он не оставляет кресел, а для человека такого деятельного, как он, это хуже самой болезни. Мы разъезжаем по вечерам f<au> b<ourg> St.-Germain, верные покуда что православной греко-российской церкви. Католический прозелитизм здесь несносен. Меня заставили прочесть кучу скучных книг, и теперь у меня лежит на столе: Institut des Jésuites отца Равиньяна. Как ты думаешь, что это такое? Изложение статутов ордена, писанное с простотою младенца или невинностью старика, потерявшего память, человеком лет сорока, замечательным своею ученостью и дарованиями. Вот мое определение этого произведения: livre niais, écrit

pour les niais, par un homme qui n'est pas niais*. Вижу здесь почти всех авторов. Завтра буду у Ламартина. Тьерри обещал представить меня Гизоту. С тех пор как он министр, доступ к нему довольно труден. У меня начаты письма к Плетневу и Соболевскому и не окончены за парижской суматохой. Кланяюсь им обоим. Вчера с Настинькой были мы на бале de l'ancienne liste civile** и видели в полном блеске всю французскую аристократию. Будьте здоровы, обнимаю вас и детей.

191. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Начало весны 1844 г. Париж>

Благодарю тебя за желание моего портрета. Жаль, что получил твое письмо перед самым нашим отъездом в Италию, однакож постараюсь удовлетворить твоей дружеской прихоти в Париже, где, по твоему совету, можно литографировать несколько экземпляров. Если не успею (ибо время нудит), то оставлю это до Рима. Мы едем из Парижа с впечатлениями самыми приятными. Наши здешние знакомые нам показали столько благоволительности, столько дружбы, что залечили старые раны. Здесь нам дали рекомендательные письма в Неаполь, Рим и Флоренцию. Там, как здесь, мы можем, если захотим, познакомиться с обществом; но, кажется, мы на это не найдем досуга. Есть лица в Париже, которые мы покидаем даже с грустию. Путешественник должен быть путешественником: ему не следует нигде заживаться, если хочет в самом деле пользоваться своим мизантропическим счастием. Мы едем на Марсель; оттуда, морем, прямо в Неаполь, а потом сухим путем в Рим и проч. и воротимся в Россию через Вену. Я с вами увижусь, богатый вспоми-

* *Глупая книга, написанная для глупых человеком, который не глуп (фр.).*
** *Старинной знати (фр.).*

ниями всякого рода. Я уставал от парижской жизни, но теперь, прощаясь с нею, доволен прошедшим. Перестал к вам писать собственно о Париже, потому что всякий день мнение мое изменялось. К тому ж надобно родиться в Париже, чтоб посреди его требований и рассеяний находить досуг для мысли и для письменного выражения. Русский видит и не верит, что эту самую жизнь ведут здешние ученые, беспрестанно усовершенствуясь в науке и каждый год печатая какую-нибудь книгу. Обнимаю вас, мои милые, равно ваших и наших детей. Хотя хорошо за границей, я жажду возвращения на родину. Хочется вас видеть и по-русски поболтать о чужеземцах. Балабин вам кланяется. Умный, добрый, просвещенный и любезный.

192. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Вторая половина апреля или средина мая 1844 г. Неаполь>

Пятнадцать дней, как мы в Неаполе, а кажется, живем там давно от полноты однообразных и вечно новых впечатлений. В три дня, как на крыльях, перенеслись мы из сложной общественной жизни Европы в роскошно-вегетативную жизнь Италии,— Италии, которую за все ее заслуги должно бы на карте означить особой частью света, ибо она в самом деле ни Африка, ни Азия, ни Европа. Наше трехдневное мореплавание останется мне одним из моих приятнейших воспоминаний. Морская болезнь меня миновала. В досуге здоровья я не сходил с палубы, глядел днем и ночью на волны. Не было бури, но как это называли наши французские матросы: très gros temps*, следственно, живость без опасности. В нашем отделении было нестраждущих один очень любезный англичанин, двое или трое незначущих лиц, неаполитанский maestro** музыки, Николенька и я. Мы коротали время с непринужденностью военно-

* *Бурная погода (фр.).*
** *Учитель (ит.).*

го товарищества. На море страх чего-то грозного, хотя не вседневного, взаимные страдания или их присутствие на минуту связывают людей, как будто бы не было не только московского, парижского света. На корабле, ночью, я написал несколько стихов, которые, немного переправив, вам пришлю, а вас попрошу передать Плетневу для его журнала.

Вот Неаполь! Я встаю рано. Спешу открыть окно и упиваюсь живительным воздухом. Мы поселились в Villa Reale, над заливом, между двух садов. Вы знаете, что Италия не богата деревьями; но где они есть, там они чудно прекрасны. Как наши северные леса, в своей романтической красоте, в своих задумчивых зыбях выражают все оттенки меланхолии, так ярко-зеленый, резко отделяющийся лист здешних деревьев живописует все степени счастья. Вот проснулся город: на осле, в свежей зелени итальянского сена, испещренного малиновыми цветами, шажком едет неаполитанец полуголый, но в красной шапке; это не всадник, а блаженный. Лицо его весело и гордо. Он верует в свое солнце, которое никогда его не оставит без призрения.

Каждый день, два раза, утром и поздно вечером, мы ходим на чудный залив, глядим и не наглядимся. На бульваре Chiaja, которого подражание мы видим в нашем московском, несколько статуй, которые освещает для нас то итальянская луна, то итальянское солнце. Понимаю художников, которым нужна Италия. Это освещение, которое без резкости лампы выдает все оттенки, весь рисунок человеческого образа во всей точности и мягкости, мечтаемой артистом, находится только здесь, под этим дивным небом. Здесь, только здесь, может образоваться и рисовальщик и живописец.

Мы осмотрели некоторые из здешних окрестностей. Видели, что можно видеть, в Геркулануме; были в Пуцоле, видели храм Серапийский; но что здесь упоительно, это то внутреннее существование, которое дарует небо и воздух. Если небо, под которым Филемон и Бавкида превратились в деревья, не уступает здешнему, Юпитер был щедро благ, а они присноблаженны.

Мы остаемся здесь на два или три месяца. В продолжение нашего морского путешествия у Настиньки воротились ее нервические рюматизмы с постоянною болью в желудке. Один из лучших здешних докторов, которого нам рекомендовала княгиня Волконская, настоятельно ей предписал морские ванны и здешнюю железную воду. Все это у нас через улицу и нипочем. С Хлюстиным, которого внезапная болезнь удержала в Кенигсберге, я полагал получить от тебя хозяйственное письмо. Повтори свои подробности, дабы я мог распорядиться моими делами. В моем кредитиве нет Неаполя. Пришли мне, сделай одолжение, еще кредитив тысяч в пять на Неаполь и другие города, которые нам придется проезжать, предполагая, что мы в Россию воротимся через Вену. Нежно вас обнимаю, равно как всех ваших и наших ребятишек.

Е. Боратынский.

193. *Н. В. ПУТЯТЕ*

<Июнь 1844. Неаполь>

...С нетерпением ждем от вас письма еще более успокоительного насчет Насти и вас самих. Несмотря на то, что горькое время для вас миновалось, мы не могли прочесть последнего вашего письма без содрогания, думая о том, что вы претерпели. Отдыхаем вместе с вами, полагаясь на милость Божию, уже так явную. Мы живем в Неаполе как в деревне: дни наши монотонны, но небо, но воздух, но море, но юг вообще не дают времени ни скучать, ни задумываться. Каждый день наслаждаюсь одним и тем же и всегда с новым упоением. Жары не несносны, в России иногда бывает удушнее. Веселый нрав неаполитанцев, их необыкновенная живость, беспрестанные катанья, процессии, приходские праздники с феерверками, все это так ярмарочно, так безусловно весело, что нельзя не увлечься, не

отдаться детски преглупому и пресчастливому рассеянию. Мне эта жизнь отменно по сердцу: гуляем, купаемся, потеем и ни о чем не думаем, по крайней мере не останавливаемся долго на одной мысли. Это не в здешнем климате. Обнимаю вас, милую Настю и остальных ваших и наших ребятишек. В другой раз буду писать подробнее, а теперь спешу, чтобы не упустить почты. Бог вас береги всех!

194. *Н. В. ПУТЯТЕ*

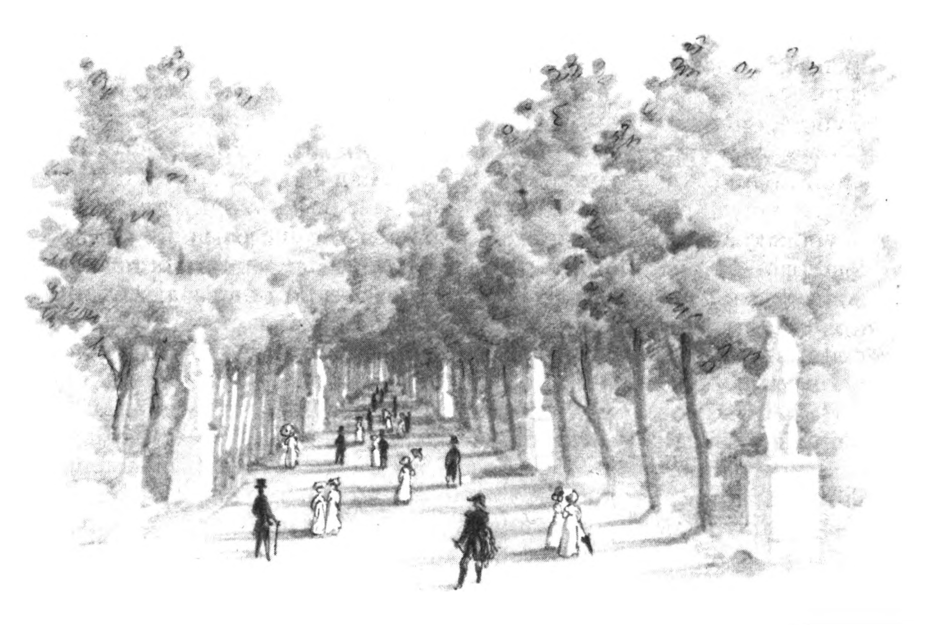
<2-я половина июня 1844 г. Неаполь>

Мы получили разом несколько ваших писем, потому что догадались написать в Рим и Флоренцию, чтобы нам их переслали в Неаполь. Обстоятельства принуждают нас пробыть здесь гораздо долее, чем мы предполагали, и вместо конца августа насилу к концу ноября мы можем возвратиться в Россию. Прошу за меня похозяйничать. Сроки платежей в опекунский совет по моему тамбовскому имению в июне и в июле, сколько мне помнится, и две прошлогодние квитанции я оставил тебе, друг Путята. Надобно внести по ним половину. Квитанции по имению Насти находятся у Дмитрия: всем им срок в октябре; по ним надобно внести треть, что, по моему счету, он может сделать из доходов дома; но я не знаю, как идут наймы, почему нужно тебе взять на себя хлопоты распоряжения. Последнее и главное. Отъезжая за границу, я занял у одной московской барыни, которой даже имени не помню, но ее и ее собственный дом знает Бекер, 32 т. по 9 процентов, которые она взяла вперед. Мне необходимо уплатить этот частный долг, на что и надо употребить все наши доходы нынешнего года, за исключением того, что мы вам должны, и пяти тысяч, которые я просил тебя переслать нам в Неаполь. Недостающую сумму взять из лесной кассы: она пойдет в уплату долга вашего мне за мурановский дом и лесную операцию. Если, как вероятно, это все вместе еще не составит 32 т., то уплатить ей, что возможно,

для этого надо употребить Бекера. Посылаю вам два стихотворения. Отдайте их Плетневу для его журнала. На днях я вам адресую письма к нему, Соболевскому и Вяземскому. Пожалуйста, перешлите. Мы ведем в Неаполе самую сладкую жизнь. Мы уже видели все здешние чудесные окрестности: Пуцоли, Баию, Кастеламаре, Соренту, Амальфи, Салерну, Пестум, Геркуланум, Помпею. Теперь неделя наша проходит для детей в уроках, а каждое воскресенье мы делаем une partie de plaisir*, осматривая здешние церкви, дворцы и замки, или просто едем за город в какую-нибудь деревушку. Нежно обнимаю вас обоих, ваших и наших детей.

Е. Боратынский.

* *Увеселительная прогулка (фр.).*



Воспоминания современников

П. М. ДАРАГАН

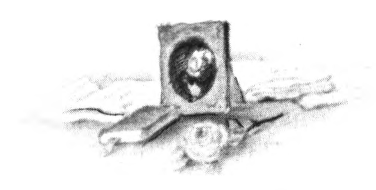
Из «Воспоминаний первого камер-пажа великой княгини Александры Феодоровны. 1817—1819».

В первое время моего пребывания случилась известная печальная история о пропаже табакерки, в которой были замешаны пажи Баратынский, впоследствии поэт, Ханыков и Преклонский. Пока шло официальное разбирательство этого дела, окончившееся для них солдатской шинелью, они оставались в Пажеском корпусе, но все пажи отшатнулись от них как преданных остракизму нравственным судом товарищей. К Баратынскому приставали мало, от того ли, что считали его менее виновным, или от того, что мало его знали, так как он был малообщителен, скромен и тихого нрава. Но много досталось от пажей Ханыкову, которого прежде любили за его вечные шутки, и Преклонскому, который был известен шалостями и приставанием к другим.

В. А. ЭРТЕЛЬ

Выписка из бумаг дяди Александра
(Фрагменты)

<...> В это время сборища наши получили новую прелесть от принятого в них участия милым двоюродным братом моим, Е. Б<аратынским>, приехавшим из Финляндии посетить нас. Как ближайший родственник покойной моей матери, он еще ребенком бывал почти ежедневно в нашем доме, почему весьма естественно, что его приняли с живейшею радостию, и он без околичностей остановился у меня. Воспитанный в Пажеском корпусе, он впоследствии попал в армейский полк, расположенный в Финляндии. Достойный полковник Л<утковский> старался усладить его разлуку с родными, взял его к себе в дом и служил ему вторым отцом. Я не видал Евгения



с нашего детства, и признаюсь, что его наружность чрезвычайно меня удивила. Его бледное, задумчивое лицо, оттененное черными волосами, как бы сквозь туман горящий пламенем взор придавали ему нечто привлекательное и мечтательное, но легкая черта насмешливости приятно украшала уста его. Он имел отличный дар к поэзии, но, несмотря на наружность, муза его была вечно игривое дитя, которое, убравшись розами и лилеями, шутя связывало друзей цветочными цепями и резвилось в кругу радостей. Неизъяснимая прелесть, которою проникнуто было все существо его, отражалась и в его произведениях. Наша детская дружба возобновилась и стала крепче, чем когда-либо. Я ввел его в круг моих приятелей, в котором он был принят с общею любовью.

В одно воскресенье Евгений рано утром вышел из дома. Я уже намерен был один пойти на гулянье, как вошел с другим молодым человеком, по-видимому, одинаковых с ним лет, довольно плотным, в коричневом сюртуке. Большие, густыми темными бровями осененные глаза блистали из-за черепаховых очков; на полном, но бледном лице его была написана мрачная важность и необыкновенное в его летах равнодушие. Как удивился я, когда Евгений назвал пришедшего б<ароном> А<нтоном> А<нтоновичем> Д<ельвигом>. Имя его было мне известно и драгоценно по его стихотворениям. Зная также, что он был задушевным приятелем двоюродного брата моего, я с ним никогда до тех пор не встречался. Я не знал, как согласить глубокое чувство, игривый характер и истинно русскую оригинальность, которые отражаются в его стихотворениях, с этою холодною наружностию и немецким именем. Ах! когда я короче познакомился с ним, какое неистощимое сокровище благородных чувствований, добродушия, чистой любви к людям и неизменной веселости открыл я в сем превосходном человеке.

Едва мы пробыли вместе с четверть часа, как всякая принужденность исчезла из нашей беседы, и мне казалось, что мы

уже давно-давно знакомы. Разговор обратился к новейшим произведениям русской литературы и, наконец, коснулся театра.

«Непонятно,— сказал Д<ельвиг>,— что мы до сего времени почти ничего не имеем собственного в драматической поэзии, хотя русская история так богата происшествиями, которые можно было бы обработать для трагедии, и притом вокруг нас столько предметов для комедии».

«Вы забываете Озерова», сказал я.

«Правда, что Озеров имеет большое достоинство,— отвечал Д<ельвиг>,— но хотя он обработал отечественное происшествие, однакож в поэзии его нет народности. Трагедия его принадлежит к французской школе, и тяжелые александрийские стихи ее вовсе не свойственны языку нашему».

Евгений назвал «Недоросля» Фон-Визина, и мы рассыпались в похвалах сей истинно русской комедии. Когда я спросил б<арона>, почему он сам не займется этим родом, он откровенно признался, что непреодолимая лень не позволяет ему ни рыться в исторических материалах для избрания предмета, ни принудить себя старательно обдумать план. Он прибавил, что уже несколько раз говорил о том с приятелем своим А<лександром> С<ергеевичем> П<ушкиным>, но что сей последний занят сочинением эпической поэмы и вообще слишком еще принадлежит свету.

«Поверьте мне,— продолжал Д<ельвиг>,— настанет время, когда он освободится от сих суетных уз, когда обратит обширный дар свой к высшей поэзии, и тогда создаст новую эпоху, а русский театр получит совершенно новую форму».

Я уже давно желал узнать сего молодого человека, который так много заставлял говорить о себе. Д<ельвиг> обещал на днях зайти за мною и отвести к П<ушкину>, который в это время по болезни не мог выходить из комнаты.

Мы провели вместе целый день. Между тем пришел и Павел Николаевич, которому знакомство с любезным Д<ельвигом> также чрезвычайно было приятно. Мы обедали у Фёльета; веселость и шутливое остроумие приправляли обед наш. Потом отправились мы на Крестовский остров, а вечер провели в обыкновенном приятельском кругу своем, в котором Д<ельвиг> был принят с всеобщею радостию и отличием. С сего времени мы почти ежедневно виделись и сделались короткими друзьями. С восхищением вспоминаю я теперь о сих прекрасных днях. Ах, с того времени многое, многое переменилось! — Когда Д<ельвиг> приходил к нам вечером, то

обыкновенно оставался ночевать; ибо род физической лени и истинно поэтическая беспечность были главными чертами его характера. В те дни, когда он должен был в очередь дежурить в Императорской библиотеке, мы обыкновенно приходили после обеда к нему и пили с ним чай в дежурной комнате. Это напоминает мне один из самых странных обедов в моей жизни. Однажды мы получили две красивые визитные карточки с именем: б<арон> А. А. Д<ельвиг>; на обороте были написаны имена, на одной Евгения, на другой мое; к ним была приложена тщательно сложенная записка, в которой самым важным тоном, в отборных выражениях торжественно приглашали нас к обеду, поручая нам вызвать б<арона> в 3 часа из библиотеки.

Как тон записки, так и присылка визитных карточек были для нас загадкою; ибо это вовсе не соответствовало обыкновенному обращению Д<ельвига>; да и приглашение к обеду показалось нам не менее странным, потому что, расставаясь с нами накануне, он ни словом не упоминал об этом. С возбужденным любопытством пришли мы в назначенное время в библиотеку, где Д<ельвиг> встретил нас с особенным, ему одному свойственным, чудным смехом. Мы приступили к нему с вопросами: как ему пришло в голову прислать к нам визитные карточки и написать такую странную записку?

«Это весьма просто,— отвечал он.— Сегодня между бумагами нашел я эти старые карточки и, не зная, что делать с ними, послал их к вам, а при случае вздумал пригласить вас к обеду».

«Но записка — записка! К чему же такая странная записка?»

«Ах, и этого вы не понимаете! Слог ее должен был соответствовать торжественной присылке карт. Пойдемте же».

«Мы идем к тебе?»

«Вовсе нет. Никита (слугу его звали так же, как и моего) уже три дня пьян: так я не смею его беспокоить».

«Так не ведешь ли ты нас к Талону или к Фёльету?»

«Нет, братцы! В этих гостиницах видишь только так называемое хорошее общество; а оно везде одинаково, и между нами сказать, довольно скучно. Я поведу вас сегодня в другое общество, которое хотя в строгом смысле и не может быть названо хорошим, но тем занимательнее».

С любопытством следовали мы за проводником нашим; он пошел по Садовой и поворотил налево в переулок, выходивший позади бывшего малого театра.

«По обычаю предков наших перед обедом должно выпить рюмку водки»,— сказал он, остановясь пред питейным домом.

Я с ужасом отступил назад, да и Б<аратынский>, казалось, не имел охоты войти туда; но Д<ельвиг> весьма важно продолжал: «не дураки ли вы? Разве не видите двуглавого императорского орла над дверьми, и можно ли считать непристойным войти в казенный дом? Впрочем, можете быть покойны: вас никто не увидит; во всем переулке нет ни души».

Наконец, хотя и с сопротивлением, мы последовали странному приглашению. День был праздничный, и потому собрание было довольно многочисленное; но прибытие новых почетных гостей никого не обеспокоило. Большая часть посетителей стояли, потому что стульев не было. С левой стороны занимал всю длину комнаты широкий стол, за которым стояли целовальники и в оловянных кружках различной величины подавали желающим любимый напиток, но не иначе как получив наперед деньги; одни старые знакомцы могли льститься надеждою, что для них сделано будет исключение из общего правила. Кроме стола, вся утварь комнаты состояла из другого, ветхого, стоявшего в правом углу под закопченным образом, и двух лавок, прислоненных к стенам. Все убранство заключалось в картине, приклеенной на стенке с правой стороны и представлявшей генерала, украшенного множеством лент и орденов, на коне, который, казалось, хотел перескочить через всю французскую армию, с подписью: *храбрый Генерал Кульнев.* По бокам висели изодранные изображения Кутузова и Барклая. Посреди комнаты два здоровых мужика, один молодой, другой, судя по бороде с проседью, довольно пожилой, сбросив кафтаны, плясали вприсядку. Близ них молодой парень, в коротком кафтане, с кудрявою бородою и пеньковою ермолкою на голове, играл на балалайке, подпевая и отшибая такт ногою. Иногда он вскрикивал, приседая, или, приплясывая, обходил вкруг комнаты. Прочие зрители толпились около них, удивлялись и делали свои замечания. «Вишь,— говорил дюжий мужик, смеясь во все горло,— как старик-то наш выплясывает. Седина в бороду, а бес в ребро». «Нет, смотри-ка на Гришку,— говорил другой,— как он ногами выкидывает да прискакивает. Дай и я подтяну ему!» — и, приложив руку к уху, затянул песню. На лавке, с правой стороны, два мужика, подперши голову одною рукою и обняв своего соседа другою, с полузакрытыми глазами, во все горло орали протяжную песню; а возле них ободранный мужичишка, приехавший в город с возом сена, угощал свою дражайшую половину штофом браги. На противуположной лавке занимал место господский кучер, в зеленом кафтане, с желтым персидским кушаком,

с гладко причесанною черною бородою, и пил за здоровье приехавшего из деревни кума, который, разиня рот, слушал речи своего барского знакомца. Посреди шума раздавался смелый голос маленького человека в изодранном сюртуке; он смелым голосом кричал: «Эй, Тимошка! поднеси-ка еще на 20 копеек».— Нет, брат,— отвечал целовальник,— ты уж и так забрал две мерки. «Экой жид! — говорил первый,— ведь я каждый день захожу к тебе».— Оно так, Бог с тобою; да заплати прежде, а потом и выпьешь. «На, ешь, жид! — вскричал с гневом посетитель, бросив на стол требуемое число грошей,— теперь подавай!» Целовальник преспокойно собрал деньги, налил крикуну мерку и пошел услуживать другим гостям. Тогда наш приятель подошел к столу и потребовал настойки.— Тотчас — отвечал целовальник и, окинув нас испытующим взглядом, достал из-под стола грязную рюмку, чисто вытер ее внутри пальцем и наполнил темно-коришневою жидкостию. Но как мы не могли решиться прикоснуться губами к этой *вычищенной* рюмке, то Д<ельвиг> отдал ее собрату по Аполлону, веселому балалаешнику, который тотчас опорожнил ее, приговаривая: *во здравие ваших благородий!*

Тогда мы оставили веселый дом сей, и во мне возникли различные опасения на счет обеда, к которому вели столь странные приготовления. Но предшествовавшие сцены расположили нас к веселости и послужили обильным источником к смеху и разговорам. В том же переулке Д<ельвиг> привел нас к старому, почти развалившемуся домишку. По лестнице в пять ступеней, из коих недоставало только трех, мы спустились в подземелье, которое, несмотря на дневной свет, надобно было осветить лампою. Висевшая над дверьми доска с превосходно намалеванною ветчиною, жареными цыплятами и паштетами заставила нас догадаться, что здесь, вероятно, место нашего пиршества; иначе мы бы этого не узнали, не видя в комнате никаких к тому принадлежностей. Только посредине стоял большой стол, а вокруг оного полуразрушенные или близкие к разрушению стулья. Рассмотрев поближе, заметили мы ножи и жестяные ложки, прикрепленные к столу, в известном расстоянии между собою, железными цепями; впрочем, мы не видели ни вилок, ни скатерти, ни салфеток. В комнате никого не было — ибо для сословия, вероятно, посещавшего сей дом, время обеда давно уже прошло. В ожидании, что будет дальше, мы сели. Наш барон кликнул хозяина, долгого мужика, который, нимало не заботясь о нашем приходе, лежал,

растянувшись на лавке, в красной рубашке и в переднике, некогда белом.

«Дай нам пообедать»,— сказал Д<ельвиг>.

«Какой теперь обед! — отвечал он сурово.— Добрые люди давно уж отобедали».

«Неужели у тебя ничего нет? Мы непременно хотим здесь обедать».

«Сказано вам, что обеда взять негде. Разве не дать ли вам поужинать?»

«Ну, что же у тебя есть к ужину?»

«Что? Да то же самое, что было в обеде».

«Какая же разница между обедом и ужином?»

«Как не разница! Когда народ поест, так мы подливаем воду в щи да привариваем; вот и ужин».

«Так он, вероятно, и дешевле?»

«Вестимо дешевле! За обедом порция щей стоит 15 копеек, а с мясом 25 копеек, за ужином только 8 копеек, а с мясом 16».

«Ну, так дай нам поужинать!»

«С мясом или без мяса?»

«Разумеется, с мясом».

«Пожалуйте деньги».

Тут мы все трое покатились со смеху. Хозяин сначала, казалось, несколько смешался, но взял брошенную на стол монету и, повернув ее раза два, положил на стол сдачи медными деньгами. После этого он, достав довольно большую деревянную миску с длинным половником, подошел к огромному железному котлу, стоявшему на огне, и наполнил миску до края. Поставив ее посреди стола, он принес каждому из нас деревянный кружок с куском мяса и щепоткою соли.

«Не нужно ли и хлеба?» — спросил хозяин.

«Кажется, что так».

«Сколько прикажете?»

«Давай сколько хочешь».

«Фунтов с десяток?»

«Пожалуй, хоть двадцать»,— отвечал я, смеясь. Он взял безмен, отвесил полпуда и выложил его на стол.

«Скажи, пожалуй,— спросили мы,— зачем у тебя ложки и ножи, как собаки, на цепях привязаны?»

«Да,— отвечал он,— здесь ведь всякого народу бывает. Глазом везде не усмотришь, так, пожалуй, иной и стянет».

«Почему же нет вилок?»

«Да черный народ не умеет есть с вилками».

«Как же они едят?»

«Ну как? держат мясо пальцами, да и отрежут ножом кусок».

«Однако ж, пора обедать»,— сказал барон, опустив в миску гремящую на цепи ложку.— Смеясь, последовали мы его примеру, и так как мы нисколько не завтракали, боясь испортить званый обед, а молодому желудку недолго проголодаться, то ели с большим аппетитом. Сначала шло довольно нескоро, потому что каждая ложка сопровождалась смехом. В этот день, верно, во всем Петербурге никто так весело не обедал. После щей хозяин наш поставил такую же миску каши, которую мы также опорожнили. Уходя, мы сунули хозяину в руку полтинник, и эта щедрость показалась ему столь необычайною, что он сначала не верил глазам своим и вовсе не знал, что сказать. Мы вышли, а он, с низкими поклонами, кричал нам вслед: «милости просим и вперед жаловать!»

Тогда проводник наш объявил, что обед еще не кончен и что нас ожидают новые лакомства. Он повел нас в Гостиный двор, где мы взошли наверх и остановились у больших ворот, против Невского проспекта, подле мальчика, кричавшего громким голосом: *пироги горячие!* Пироги были с мясною начинкою и весьма жирны. Мы взяли по одному и съели, прогуливаясь вдоль по галерее; бутылка кислых щей, также взятая у носящего, заключила обед.— Но пиршество тем не кончилось; ибо барон повел нас еще на Щукин двор, где накормил нас виноградом, персиками и разного рода плодами. Весьма довольные нашим днем, мы в самом веселом расположении духа отправились к Павлу, где нашли пирующее общество и увенчали общую веселость рассказом о наших похождениях. Тогда пенящееся шампанское заменило кислые щи.

При моей короткой связи с бароном Д<ельвигом> я весьма естественно должен был познакомиться с прежними его товарищами по учению, воспитанниками Царскосельского лицея. Между ними были отличные молодые люди, коих способности при благотворном влиянии сего заведения развились в высокой степени. Особенно полюбил я одного из них, который по живости, остроумию, всегдашней веселости и вообще по всем качествам, требуемым в обществе, соединял в себе все хорошие свойства отлично образованного француза. Это был князь Дмитрий Е<ристов>. Не знаю, где он теперь <...>

А<лександр> С<ергеевич> также был товарищем по учению и другом барона. В одно утро сей последний зашел ко мне, чтобы по условию идти вместе к П<ушкину>. Евгений,

который еще прежде был знаком с П<ушкиным>, пошел с нами. Хотя было довольно далеко до квартиры П<ушкина>, ибо он жил тогда на Фонтанке, близ Калинкина моста; но дорога показалась нам весьма короткою <...> Мы взошли на лестницу, слуга отворил двери, и мы вступили в комнату П<ушкина>. <...>

Хозяин наш оканчивал тогда романтическую свою поэму. Я знал уже из нее некоторые отрывки, которые совершенно пленили меня и исполнили нетерпением узнать целое. Я высказал это желание; товарищи мои присоединились ко мне, и П<ушкин> принужден был уступить нашим усильным просьбам и прочесть свое сочинение. Оно было истинно превосходно <...>

Н. М. КОНШИН

Для немногих (Фрагменты)

Тут небо послало мне товарища, доброго Баратынского.— Первый раз в жизни я встретился еще с человеком, который характером и сердцем столько походил на меня. Я не хочу говорить много о его несчастии — потомство рассудило Овидия и Августа, но не римляне; скажу только, что я не видал человека менее убитого своим положением; оно сделало его опытным, много выше его лет, а благородная свобода, примета души возвышенной и гения — сама собою поставила его далеко выше толпы, его окружающей. Он был всеми любим, но, казалось, и не замечал этого, равно как и своего несчастия.— Глаза его, кажется, говорили судьбе слова бессмертного безумца — Gettate mi ove volete voi... che m'importa! *

Мы не столько любили один другого, сколько были нужны друг для друга. Мы проводили вместе дни, недели, месяцы; и, наконец, целые четыре года. <...>

Между тем забавное было приключение в Роченсальме. Куплеты, однажды за чаем составленные нами, были сообщены публике здешней, с колкими на счет ее прибавлениями, и нас с Баратынским убегали все. Это я узнал, желая обнаружить, узнать, что такое за стихи, но никаких не мог найти, и не мог разуверить однако же в своей невинности.

* *Бросьте меня куда угодно, — мне безразлично! (ит.)*

Посвящаю этот рассказ Николаю Михайловичу Языкову,
любившему Боратынского

Н. КОНШИН
11 января 1845 г

Воспоминания о Боратынском или четыре года моей финляндской службы с 1819 по 1823.

Пробьют урочные часы,
И низойдет к брегам Аида
Певец веселья и красы.
Элег. посл. Боратынский

Мир тебе, поэт! Урочные часы твои пробили, но не в лета легкомысленной юности оставил ты нас, когда резвая Муза напевала нам эту веселую — предсмертную песню твою, а в лета мужественного разума, созревший для неба, которым билось твое благородное сердце.

Все мы умрем, но когда открывается могила для одного из нас, то сердце благоговейно смущается, как бы приветствуя торжественную минуту отходящего брата.

Так, пробираясь впотьмах через опасное место, когда слышим звук падения одного из товарищей, останавливаемся и открываем глаза во весь объем.

Мир тебе, душа чистая, любящая, страдавшая! Жаль нам довременного отхода твоего! Я, связанный с тобою моими лучшими воспоминаниями, сопутник твоей блестящей юности, четырех тяжелых, но славных лет жизни твоей, все это время топтавший вместе с тобой камни и снега Финляндии, откуда пропел ты своей России свои сладкие песни, я хочу побеседовать о тебе с самим собою и с немногими из друзей наших, еще уцелевшими; я хочу говорить вслух; сограждане знают песни твои, но тебя, как человека, едва ли кто знал ближе, чем я.

Я пишу не литературную статью, не критику стихотворений великого таланта: не берусь не за свое; на это есть люди призванные. Уже я прочитал в *Северной пчеле,* № 183, в статье под названием *«Журнальная всякая всячина»,* известие о смерти Боратынского: и в № 184, *уже без* всякой всячины, опять повторение того же: дело пойдет на лад!

Я пишу просто запросто, мои воспоминания об нем, как о друге и сослуживце.

Хочу начать с того, что объясню, какой судьбой мы столкнулись с Боратынским в Финляндии.

Начну с собственного моего формуляра.

В 1811 году я служил прапорщиком в конной артиллерии. Пока продолжалась последняя великая лихорадка Европы с XII до XV года включительно, естественно, продолжались и блистательные надежды всех прапорщиков. Однако же мир Европы застал меня в этом же чине, но уже больным и сердитым. В 1818 году я вышел в отставку поручиком и целый год придумывал, что делать с своей персоной. Жар головы простыл, я решился вступить в гражданскую службу; но как неучам чин коллежского асессора не давался, то предварительно решился, поправ всякую гордыню, идти в армейскую пехоту, стоящую в Финляндии (где от скуки множество шло в отставку и потому производство было скорое) и дослужиться во фронте до этого заповедного чина. По этому-то плану, сделав в 1819 году первый шаг, я сошелся с Боратынским в *Нейшлотском пехотинском полку,* куда он поступил унтер-офицером из гвардии, вслед за мной.

Скучный формуляр мой больше не потревожит читателя. Осенью командир нашего полка, полковник *Лутковский,* получил извещение от родных об определении к нам Боратынского.

Я узнал, что он сын известного благородной добросовестностью генерала Абрама Андреевича Боратынского, человека взысканного особенною милостию императора Павла*, что он был сначала в Пажеском корпусе, но отсюда, в числе других напроказивших детей, исключен; кончил образование дома и принят был рядовым в лейб-егерский полк.

Я услышал, что в Петербурге первыми литературными трудами он обратил на себя внимание просвещенного круга; что он интересный юноша; имеет воспитание, называемое в свете блестящим, милую наружность и доброе сердце.

Я с нетерпением ждал его.

Мы стояли в *Фридрихсгаме.*

Однажды, пришед к полковнику, нахожу у него за обедом

* *На днях меня посетил один старичок полковник из так называемых гатчинских, к слову о генерале Боратынском — «говорят, что у него сердце было доброе», — сказал я. — «Не доброе, сударь, — отвечал мне браво ветеран, — а ангельское!»*

новое лицо, брюнета, в черном фраке, бледного, почти бронзового, молчаливого и очень серьезного.

В Финляндии, краю военных, странно встретить русского во фраке, и поэтому я при первой возможности спросил: *что это за чиновник?* Это был Боратынский*.

Легко представить себе положение молодого человека, принадлежащего по рождению и связям к так называемой везде высшей аристократии, человека, получившего личную известность и вдруг из круга блестящей столичной молодежи брошенного в пехотный армейский полк, как на дикий остров. В первом столкновении с отысканными на этом острове людьми едва ли не был бы кто столь же молчалив и серьезен, как Боратынский.

Лутковский нас свел; мы разговорились сначала про Петербург, про театр, про лицей и Пушкина и наконец про литературу. Лицо Боратынского оживлялось поминутно, он обрадовался, что и здесь можно разделить себя, помечтать и поболтать. Часа через два, переговоря и то и другое, мы дружно обнялись. Боратынский преобразился: он сделался мил, блестящ, прекрасен, а я из армейского франтика стал, по словам его, кладом, который <он> для себя нашел.

Верстах в 15 от Фридрихсгама в пустынной каменистой дичи раскинуты казармы Ликоловские, где стояла рота мне данная. Боратынский стал часто навещать меня и наконец разделял часто пополам свое время между трудами литературными и поездками сюда. Скоро образовалась между нами литературная дружба; его муза говорила со мной; он привез мне свой *Добрый совет,* эпикурейскую шутку, оконченную так:

Будь дружен с Музою моею,
Оставим мудрость мудрецам;
На что чиниться с жизнью нам,
Когда шутить мы можем с нею.

Связь наша скреплялась с каждым новым свиданием. Скоро Фридрихсгам ему наскучил; я выпросил его к себе в роту, мы поселились вместе и с этих пор в продолжение четырех лет, то есть всей нашей финляндской службы, почти не расставались. Время текло. Милого поэта скоро все узнали и оценили. Вне родины, в безлюдной стороне, общество полков спло-

* *Я пишу Боратынский, а не Баратынский; поэт всегда употреблял* о *и горячо всегда отстаивал честь этого* о.

чено теснее. Мы имели множество прекрасных товарищей, детей финляндского дворянства, жили дружно, скучали дружно, а по зимам танцевали и играли в бостон: и вдруг в этом кругу явился Боратынский, предшествоваемый прекрасною молвою, сопровождаемый гармоническою Музою, юноша с обольстительной грациозностью, которой не изменял никогда, с незлобием ребенка, с душой благовоспитанной, девственной, и, по положению своему, с правом на участие и покровительство. Наши старшины полюбили его как сына, круг просвещенный, и потому господствовавший, назвал его братом, а толпа, в должном расстоянии, окружила его уважением. Чувство к нему походило на любовь, со всей ее заботливостью, приязнь к поэту перешла даже в ряды полка: усатые служивые с почтительным радушием ему кланялись, не зная ни рода его, ни чина, зная лишь одно, что он нечто, принадлежащее к полковому штабу, и что он *Евгений Абрамович.*

Не умолчу и о себе: мне было в это время лет 25, Боратынскому, как думаю, 21 год. С его приездом в нашу пустыню мне показалось, что ангел слетел с неба, усладить для меня скуку и освежить меня. Сближение с поэтом и его ко мне привязанность украсили для меня Финляндию чем-то поэтическим, казалось, что мертвое это тело получило душу. К счастью, служба от этого пострадать не могла: есть теперь один благородный финляндец, генерал, командующий которой-то из гвардейских бригад; он был в это время моим поручиком, и потому рота наша была одна из первых, несмотря на то, что я глядел на нее сквозь какую-то волшебную призму. Как свежо в сердечной памяти это время. В Финляндии, в этой пустыне, где есть небо, но нет земли, а вместо ее какие-то развалины, утесы и водопады, был уголок, блиставший раем, уголок Европейской образованности и поэзии!

Представьте себе зимнюю ночь 1819 года: вы едете из Фридрихсгама в глубь Финляндии, на дороге горы, пропасть и какие-то странные каменные громады, мимо которых ночью проезжаешь как через деревни, когда-то оставленные и окаменелые. Дорога пустая, ни встречи, ни жизни по сторонам, и вдруг вы усматриваете направо и налево одноэтажные длинные, длинные постройки: это *Миколовские казармы.*

Одна их них ярко освещена: милости просим остановиться, войти и полюбоваться тому, как у нас весело... Вот командир нашего полка *Лутковский,* впоследствии один из храбрых генералов, отличавшихся на штурме Варшавы, в ней и умерший: тип великана, богатыря, готового на приступ как

на бал; беззаботного ребенка душой. Между тысячами странностей, он бреет густоволосую голову и носит турецкую феску, послушайте похождения его молодецкой жизни, романтических рассказов о Молдавии, о Польше, о немцах... Вот полковник *Хлуденев,* бывший позднее командиром Белозерского полка, взлетевший на воздух с одного из редутов Варшавских. Это отпечаток старого русского характера: барин, хлебосол, правдолюб и товарищ; обстрелянный в битвах, строгий по службе, но привлекательный в обращении с молодежью...

Вот блестящий, остроумный *Комнено,* русский потомок греческих императоров, умерший лейб-гренадерским капитаном, моривший со смеху даже нашего ветерана, графа Штейнгейля, начальника Финляндии... Вот барон *Клеркер,* аристократ края, в то время благовоспитанное дитя, внук шведского генерала Аншеера, отстаивавшего от русских Финляндию...

Здесь огненный швед *Эссен,* служивший потом в Л.-Г. Финляндском полку, постоянно рассеянный и углубленный в науку военного искусства,— это три пажа, старые товарищи Боратынского. К этому кругу с гордостью принадлежали все финляндцы, носившие нейшлотские мундиры, *Аммонт,* теперь бригадный генерал, *Рамсай,* нынешний губернатор в Финляндии, *Левстрем,* потом полковник, подле которого убит Хлуденев, *Брун* и многие другие. Кроме их, вы иногда могли встретить здесь и нашего храброго бригадного начальника генерала *Радингера,* старинного гвардейца, память которого будет нам до смерти любезною. Среди всего этого видите ли юношу, грациозного как камергер, высокого, стройного, с открытым большим лбом, через который небрежно перекинуты длинные черные волосы; он один только во фраке посреди мундиров, право на этот запрещенный фрак дало ему несчастье: это Боратынский. Заезжий путешественник удивился бы разнообразию и жизни этого круга друзей, в далекой на севере деревянной казарме, полузанесенной снегами финскими. В этом-то кругу Боратынский читал свою первую финляндскую поэзию.

Я помню один зимний вечер, на дворе была буря; внимающее молчание окружало нашего Скальда, когда он, восторженный, читал нам на торжественный распев, по манере, изученной у Гнедича, взятой от греков, принятой и Пушкиным и всеми знаменитостями того времени,— когда он пропел нам свой *гимн к Финляндии:*

В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
Земли ледяного венца
Богатыри сторожевые.

Он с лирой между вас. Поклон его! Поклон
Громадам миру современным!
Подобно им да будет он
Во все годины неизменным и пр.

Этот час памятен. Один из нас тогда заметил, что тени Одена и богатырей его слетели слушать эту песнь и стучали к нам в окна метелью, приветствуя поэта. Скоро за этим мы услышали здесь же послание к Дельвигу, любимцу души его, привязанность к которому питал, как страсть. Прочитанные в уголку снежной Финляндии, громко отразились эхом в П. Бурге четыре последние стиха этого послания и нашли сочувствие к милому юноше во всем, что чувствовало:

И я, певец утех, пою утрату их,
И вкруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы!

Петербург ему откликнулся и участием и уважением: в ответ на эти первые произведения *Санкт-Петербургское Вольное Общество Любителей Российской Словесности* прислало поэту диплом на звание *члена* своего.

Настала весна. Засыпанный снегами скелет Финляндии встал в каменной торжественности и поразил поэта своим диким великолепием. Снега, обратясь в воду, сбежали быстро в трещины скал; в месяц все было уже сухо, и смолистый лес благоухал на ярком солнце. Мы выступили в лагерь в Вильманстранд, город, полный воспоминаний: тут дрались русские при Петре; недалеко от гласиса стоит верста, исстрелянная пулями старого времени и как драгоценность охраняемая; самое имя города звучит от какой-то давней были: Will-man Strand, значит дикого человека берег. Боратынскому понравились и оставленные валы крепости, и ее воспоминания, и новизна походной жизни, и картина лагеря — *полотняного города,* выросшего на пустынных берегах Сайма. Он сознавался, что в жизни еще не имел такого поэтического лета, что чувствует себя как бы перенесенным в мир баснословной старины с его колоссальными размерами и силы и страсти.

В Финляндии есть чудо: это водопад *Иматра,* река Вокса, суженная гранитными берегами, с оторванным дном, летит в бездну. После лагеря мы поехали посмотреть этого водопада. Долго стоял поэт над оглушающей пропастью, скрестя руки на груди. Кто не прочитал с наслаждением стихов, выразивших чувство, владевшее им на скалах Иматры:

...Зачем с безумным ожиданьем,
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?..
Как — скованный стою
Над дымной бездною твоею
И мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою!

Боратынскому оставалось увидеть открытое море, и потому осенью поехали мы в *Роченсальм.* Погода была ветреная, и когда мы взобрались на прибрежные скалы, море играло во всей красоте своей. *Прекрасно,* воскликнул поэт и умолк. Я оставил его, удалясь в сторону. Он сел при подошве огромной башни маяка и долго любовался на торжественное явление.

Если вы будете в пустынном Роченсальме, подойдите к маяку, поклонитесь месту, где творческая природа, играя необъятной бездной, создавала бурю в груди поэта, стихотворение, полное думы и чувства:

...Кто, возмутив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной разлил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил
Все силы данные творенью!
...Когда придет желанное мгновенье,
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?
Но знай, красой далеких стран
Не очаровано мое воображенье;
Под небом лучшим обрести
Я лучшей доли не сумею;
Вновь не смогу душой моею
В краю цветущем расцвести!

Так прошел год со времени приезда к нам поэта. Осеннее ненастье опять усадило нас к домашнему камельку в казармах. Боратынский с нетерпением ожидал зимы и по первому снегу поехал в отпуск. Я не знавал человека более привязанного к месту своего рождения: он, как швейцарец, просто одержим был этой, почти неизвестной у нас болезнью, которую французы называют mal du pays*. Питая надежду на скорое производство в офицеры, он обнаруживал смело перед нами желание тотчас же оставить службу и поселиться дома.

* *Ностальгия, тоска по родине (фр.).*

Стихотворение, написанное им во время осенних дождей и дорожных сборов, посвящено Родине, оно дышит стремлением к жизни уединенной, дельной, человеческой.

«В кругу семьи своей, — говорит он, — *я буду издали глядеть на бури света».*

Там дружба некогда сокроет пепел мой
И вместо мрамора положит на гробницу
И мирный заступ мой, и мирную цевницу.

Надобно сказать, что и Боратынский и все мы надеялись, что он не прослужит до офицерства долее года. Участие, какое в нем приняли все власти, с нижних до высших, его благородная чистая жизнь и высокое личное достоинство поддерживали нас в этой вере. Почти убежденный в том, что не воротится в Финляндию, он обратил к ней прощальную песнь свою, грустную, как осеннее небо, над ним тяготевшее:

Прощай, отчизна непогоды,
Печальная страна,
Где мрачен вид нагой природы,
Безжизненна весна...
...Где, отлученный от отчизны
Враждебною судьбой,
Изнемогал без укоризны
Изгнанник молодой... и пр.

Простясь с Финляндией, окончив песнь к Родине, поэт дождался снега и помчался к своим *домашним иконам,* с тем чтобы не воротиться. Но судьба решила иначе, отвергнув и упования, и вероятия. Роковой год минул, но Боратынский воротился опять в Финляндию. Отказ о производстве ожесточил его, сколько добрая, младенческая душа его умела роптать, он роптал и досадовал; в стихотворениях того времени отразилось это чувство; так, например:

С тоской на радость я гляжу,
Не для меня ее сиянье,
И я напрасно упованье
В больной душе моей бужу;
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполне,
Все мнится, счастлив я ошибкой
И не к лицу веселье мне!

Иль это:

...Вино и Вакха мы хвалили;
Но я безрадостно с друзьями радость пил;
Восторги их мне чужды были!

Того не приобресть, что сердцем не дано,
Всесильным собственною силой;
Одну печаль свою, уныние одно,
Способен чувствовать унылой!

Наступил 1821 год. По-прежнему провели мы зиму и весело и грустно, но не скажу бесполезно. Уединенье, столь глубокое, как в Финляндии, испытывали мы, отчужденные и по языку и по характеру от жителей страны, оно поучительно; жизнь в самом себе есть жизнь умная.

Между тем и не мечтали, что судьба готовила нам праздник. С одной почтой, ничего не обещавшей, неожиданно получает наша бригада повеленье: выступить в Санкт-Петербург для занятия караулов. Боратынский обрадовался этой новости, как дитя, обнимал всех нас с восторгом: нельзя 16-летней провинциалке живей обрадоваться неожиданному приглашению на бал. Память петербургской жизни не переставала волновать его огненную голову: он там оставил первую поэзию своей души, первых друзей, первую литературную известность, общество, кипящее деятельностью на стези ученого труда, все, что греет и движет.

Действительно, годы, мной описываемые, были, можно сказать, первыми годами порыва общего к поэзии. Петербург кипел. Это был прекрасный период умственного пробуждения, предшествованный великими драмами 1812—1814 годов.— Говорят, что народ, как дитя, прежде поет и играет, потом учится и, наконец, мыслит мыслью, проистекшей из опыта: пусть он теперь мыслит, да поможет ему бог, тогда он дурачился, пел и играл, как милый ребенок.

Император Александр создал лицей. Лицей развил Пушкина; Пушкин новою звездой вспыхнул на горизонте русском. Исполин, он прорубил классический лес по всем направлениям, своенравно, через болота и пажити, через палаты и хижины, проложил смелые просеки и открыл прелести и богатства, с классической дороги невиданные.

В 1818 году Боратынский, приехав в Петербург, за год до финляндской службы, случайно поступил в круг лицейских товарищей и друзей Пушкина. Барон Дельвиг, ближайший к Пушкину, судьбой сведен был с будущим певцом Финляндии и первый оценил прекрасную душу и поэтический талант его. Вот что говорил Боратынский о начальном знакомстве с своим Дельвигом:

...Ты помнишь ли, в какой печальный срок
Впервые ты узнал мой уголок?

Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Я погибал: ты дух мой оживил
Надеждою возвышенной и новой;
Ты ввел меня в семейство добрых Муз!..

Когда мы вступили в Петербург, Пушкина уже не было здесь: но здесь курился, так сказать, новый фимиам его благоуханной поэзии, *Богатыри, Девы, Вещий Фин,* окруженные обаятельным светом, чаровали воображение. Поэт поднял волшебный светоч и озарил колыбель старины, терема Владимира, неодолимую и любовь и доблесть наших забытых предков.— Сердце еще дрожало наслаждением, и вдруг на горизонте нашем поднялись стремнины *Кавказа,* закурились аулы, на скалах явилась *Дева гор,* тип нетронутой природы, идеал любви Востока, подле нее загнатый судьбой *Пленник* Европеец, плод, источенный червем... Виды сменялись, прекрасны и разнообразны; сердце разрывалось и плакало. Петербургский мир был в каком-то духовном брожении. Все, что ни было блистательного, образованного, мыслящего, сходилось в круги; составлялись *Общества Любителей Словесности,* они поступили под августейший покров монарха, которого вся прекрасная жизнь была народной поэзией. Литературное и аристократическое братство это, окружившее колыбель родного языка, так прекрасно заговорившего, приняло с любовью к себе на грудь юного певца Финляндии.— Лучшее из обществ того времени, по благодетельной цели своей, было общество издателей журнала «Соревнователь просвещения и благотворения». Сюда сносилось на алтарь языка все изящное, рождавшееся из-под пера русского. Здесь трудолюбивый *Гнедич* читал песни Иллиады; творчественный *Крылов* присылал сюда своих прекрасных дочерей, благородный юноша *Панаев* сладко говорил про золотой век любви и добродетели в своих идиллиях. Председателем этого общества постоянно избираем был *Ф. Н. Глинка,* идеал поэта-христианина, здесь видели ученого *Сенковского,* лишь только возвратившегося с Востока и тогда много обещавшего, здесь заседал Плетнев, которого пламенная душа любила родное слово, как любят отечество, *Никитин,* первый из движителей на дороге ученого труда и работы; здесь блистали и офицеры Главного штаба, и офицеры гвардии, и юноши первого Лицейского выпуска: вдохновенный младенец душой, поэтический *Дельвиг* и другие аристократические знаменитости.

В это общество Боратынский поступил заочно членом-корреспондентом: 1820, января 26, а в 1821, марта 28, избран общим голосом в *действительные члены.*

Перемена обстановки, расширенный круг действия, внимание просвещенного класса столицы, заинтересованного судьбой финляндского изгнанника, наконец, юность, легко заносящая, легко обольщаемая, все это смягчило болезнь душевных ран поэта: ропот его умолк, он предался увлечению, и его Петербургские Элегии и Антологические стихотворения суть цветы, которые, кружась по паркету, сеял он по следам своим. Это повесть сердечных похождений юноши, размолвок и любезностей, выходки, мщения, шалости, шутки и пр. Тон этих пьес Боратынского был благородный, легкий, доступный к сердцу: этим направлением особенно отличаются все стихотворения петербургского периода. Боратынский первый у нас, и именно первый, заговорил по-русски с каждой благовоспитанной дамой, и обо всякой любезной мелочи паркетного круга. Небрежно, как бы резвясь, он вязал свои букеты, но эта небрежность была дитя художества, *обдуманная необдуманность* кокетки, всегда торжествующая. Под строгим к себе и отчетливым пером его улегались мягко, блистали и нежили слух русские звуки, и аристократически завладели первенством в гостиных и будуарах: бледная французская поэзия скромно пряталась в этих *альбомах* in quarto *наших блистательных дам,* про которые восклицал Пушкин:

...Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной,
Иль Боратынского пером!.. и пр.

Припомним некоторые из его стихотворений этого времени.

Вот, например, что создала в душе его Воейкова, женщина прекрасная и замечательная:

Очарованье красоты
В тебе не страшно нам,
Не будишь нас, как солнце, ты
К мятежным суетам;
От дольней жизни, как луна,
Манишь за край земной,
И при тебе душа полна
Священной тишиной.

Вот шутка, посвященная одной милой беззаботной девочке того времени, теперь уже она почтенная мать семейства:

Перелетай к веселью от веселья,
Как от цветка бежит к цветку дитя,
Не успевай, за суетой безделья,
Задуматься, подумать и шутя;

Пускай тебя к Кориннам не причислят —
Играй, мой друг, играй и верь мне в том,
Что многие о милой Лизе мыслят,
Когда она не мыслит ни о чем.

Вот нечто давно пережившее прекрасное, несчастное существо, имевшее на это право:

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать умела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты,
В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как покаянье плачешь ты,
И как безумье ты хохочешь!

Вот шутка, поднесенная поэтом одному женскому литературному кружку:

Не трогайте Парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам немного в нем добра,
И им Амур другие дал игрушки.
Любовь ли им оставить в забытьи
Для жалких рифм?.. Над рифмами смеются,
Уносят их Летийские струи:
На пальчиках чернила остаются.

Вот его ссора:

...Я захожу в ваш милый дом,
Как вольнодумец в храм заходит,
Душою праздный с давних пор,
Еще твержу любезный вздор,
Еще беру прельщенья меры,—
Как по привычке старых дней,
Он ароматы жжет без веры
Богам, чужим душе своей.

Кто не помнит этих прекрасных стихов, посвященных им товарищу, в виде совета:

... Себе звезду избрал ли ты,
В безмолвии ночном?
Их много блещет и горит
На небе голубом...
Не первой вставшей сердце вверь
И, суетный в любви,
Не лучезарнейшую всех
Своею назови:
Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит
И взору шлет ответный взор
И нежностью горит.

* * *

Наконец волшебный пир петербургской стоянки кончился. Случайные гости, мы должны были убираться восвояси, пропировав здесь около полутора года. С сердцем разбитым и тоской и чувствами, но не пресыщенным и свежим помаршировал поэт обратно, под знаменами Нейшлотского полка — в глубь Финляндии. Новые квартиры назначены были нам в Роченсальме. В гористых улицах этого города поселились мы на зиму.

Сначала скука его была нестерпима; за ней последовало усилие рассеять себя чем бы то ни было, то есть посещением того и другого, и друга и недруга, пока неотвязная спутница наконец отстанет, после всего уже этого настала жизнь дельная.

Из круга литераторов, из области науки, Боратынский вынес мысль, что надобно посвятить себя *труду художественному.* Доселе мелкие стихотворения были не что другое, как вздохи сердца, вспышки ума или мысли, словом — излиянием внутренней жизни поэта: даже поэма *Пиры* была слепком с виденного; отныне он предпринял быть художником и наступившую зиму посвятил *Эде.*

Он не искал предмета для своей поэмы в гостиных большого света, или под пышным небом Востока, где все поэзия, все любовь; он сказал пословицу: on broutte là où l'on est attaché — и списал с натуры то, что под рукой, что не к чести наших нравов существует все чаще, исчезает всего незамеченнее, и что никем не было представлено до него в таком ужасающем свете. Кого не тронула эта *Эда,*

> Отца простого дочь простая,

когда она говорит постояльцу гусару, избравшему ее в жертвы:

> Всей душой тоскуя,
> Какое слово дать могу я?
> ...Сжалься надо мной!
> Владею ль я сама собой?
> И что я знаю?..

Краски этой поэмы: природа Финляндии, евангелически развиваемый характер ее простых дев, доверчивых как невинность, и тип Гусара. Прежде чем приступить к созданию *Эды,* Боратынский, по убеждению Гнедича, решился, напитав перо желчью, писать *сатиры* и написал несколько, наполняя их мелкими литературными личностями того времени. За это он и сам на себя негодовал после. Любящая Муза его не создана

была для ссор и укоров и скорее хотела бы обнять каждого, как брата, нежели свистать, по желчному совету Гнедича.

Между тем, со времени возвращения из Петербурга, Боратынский сделался более нетерпеливым и наконец снова начал невыносимо скучать своим положением. Ни участие властей, начиная от главнокомандовавшего краем до последнего прапорщика в полку, ни литературная известность, дотоле ласкавшая его сердцу, ни дружество всего имеющего душу, ни даже уважение всех просвещенных финляндцев,— ничто не могло возвратить его к прежней беспечности и веселью. Однако же не столько желание свободы, как стремление к жизни тихой, семейной отражается в последних финляндских его произведениях. Кто не знает этих стихов Пушкина:

...Как мой задумчивый проказник,
Как Боратынский я твержу:
Нельзя ль найти любви надежной,
Нельзя ль найти подруги нежной?
И ничего не нахожу!

Эти два стиха, шутя приведенные Пушкиным, выдернуты им из послания Боратынского ко мне, которое выпишу далее:

...Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души;
В чье неизменное участье
Беспечно веровал бы я,
Случится ль ведро иль ненастье
На перепутьи бытия!
Где ж обреченная судьбою?.. и пр.

Как это стихотворение, так равно и другие того времени, обличают разочарование в суете, глубоко проникнувшее в душу поэта. Этому разочарованию остался он верен по смерть.

Однообразная жизнь финляндская не представляет богатства картин к описанию. Роченсальмскую зиму провели мы в особом домике, упертом окнами в каменную гору, но все же имели несколько домов, где не скучали. Летом вовсе неожиданно Боратынский обрадован был приездом сюда доброго Дельвига с Павлищевым и ученым Эртелем; несколько дней прожито было поэтически в кругу полкового общества, постоянно неравнодушного к удовольствию своего поэта.

Старые моряки, доживавшие в Роченсальме земной срок, разнообразили также много скучную стоянку в этой крепости; их живые рассказы о морских событиях чрезвычайно были занимательны. Кроме этого, флотская молодежь, случайно посе-

щавшая здешние воды, возила нас по кораблям и давала в честь поэта пиры, и на якоре и под парусами. Двойное поклонение воздавалось Боратынскому на флоте: старики адмиралы ласкали его, как сына, быв или друзьями или сослуживцами его отцу и дядям: те же из офицеров, кои принадлежали более по образу мыслей и по просвещению к поколению новому, чтили в нем отчественного поэта, имя которого было уже одной из знаменитостей того времени. Воспоминание об этих братских пирушках навело мне на память следующую быль. Однажды Боратынский, быв в гостях, подошел к игорному столу и соблазнился от скуки поставить карту, увлекшись неудачей, ставил он карту за картой и наконец проиграл сот восемь рублей. Когда об этом дошло до сведения полковых его товарищей, то это их так взволновало, что едва не побранились на другой день с хозяевами этого вечера.

Как можно играть с нашим Евгением в серьезную игру, говорили добродушные нейшлотцы, *когда он прост в жизни своей, как младенец!* Боратынского очень тронуло это участие, он от души смеялся, объяснял, что тут не было никакого обмана, что играл по собственной воле, но, при всем этом, не иначе, однако же, успокоил своих ратных друзей, как дав им слово не браться вперед за карты. Я не умолчал об этом потому, что здесь ярко просвечивает и благородство полкового общества, и характер того чувства, которое питали к Боратынскому его сослуживцы.

Вот еще картинка из того времени.

Раз на утреннем ученье один из молодых капитанов, соперник Боратынского в паркетных финляндских победах, в слепом порыве ревности, принес мне на него жалобу за *бальную* перед собой неучтивость. Как я ни удивился этой новизне, но не возразил ни слова и обещал дать удовлетворение. Дитя моего сердца не думал, не гадал услышать подобную странность. Он весело встретил меня с чаем и начал было рассказывать свои любезности на вчерашнем бале.— Как громом пораженный остановился он от моих слов! «*Вот ты говоришь не роптать!.. Вот мое положение!.. Что я ему сделал!*» — говорил он с жаром. Успокоив его, показав вещь просто и прямо, я сказал: если он поступил с тобой как капитан с унтер-офицером, то и ты поступи с ним как унтер-офицер с капитаном: надень солдатскую шинель и поди просить прощения. Он одобрил мой план и развеселился. Ангелом кротости, покорным к своему положению, он, наш любимец, окруженный и славой, и любовью, и дружеством, окруженный участием целого края, побрел в солдатской шинели к Нейшлотскому г. капитану просить

прощения. Долго я смотрел на него из окон нашей хижины и помирал со смеху, как неуклюже перебирался он через каменья в своем странном наряде, которым взбудоражил целую казарму! Я предвидел сцену, какая произойдет из этого: обиженный так растерялся, что не находил долго слов, он сам стал просить прощения у Евгения Абрамовича со слезами на глазах; но за всем этим, будучи благородным в душе человеком, долго совестился своей выходки и бегал от нас.

Таким образом, тихо и бурно, скучно и радостно, провели мы, вместе с Боратынским, свои четыре армейских года. В конце 1823 года я дослужился до коллежского асессора, а вслед за мной произведен был и Боратынский в прапорщики по представительству графа А. А. Закревского, нового главнокомандующего краем. Получив через это свободу располагать собой, он тотчас же испросил увольнения вовсе от службы и оставил Финляндию, где и поныне живет об нем воспоминание истинно поэтическое, где его любят и, наверное, с горестью соболезнуют теперь утрате общей. Оставляя навсегда Финляндию, с гордостью шел он написать на последнем ее камне эти прекрасные стихи одной оды своей:

Меня тягчил печалей груз;
Но не упал я перед роком:
Нашел отраду в песнях Муз
И в равнодушии высоком,
И светом презренный удел
Облагородить я умел!

* * *

Вот мои финляндские воспоминания, они оканчиваются нашей разлукой, бывшей 20 лет тому назад, но я прибавлю к ним несколько позднейших.

В 1826 году Боратынский уведомил меня о своей женитьбе: вот несколько слов из его письма,— оно лежит передо мной:

...Ты знаешь, что сердце мое всегда рвалось к тихой и нравственной жизни. Прежнее мое существование, беспорядочное и своенравное, всегда противоречило и свойствам моим, и мнениям. Наконец я дышу воздухом, мне потребным!..

Эти строки, адресованные к сердцу товарища, я могу уже теперь прочитать каждому, они принадлежат России, как неопровержимое доказательство о высоком духовном благородстве ее поэта.

Кто смеет сказать своему бивачному сослуживцу приведенные выше слова, тому смело можем мы, по достоинству, воздать поклонение. Первое свидание мое с Боратынским после 14-летней разлуки было в Москве, 1837 года, а последнее в декабре 1839-го. Я нашел его уже отцом семейства, нашел, что он страшно поседел, но душа его сохранила прежнее созвучье ко всему прекрасному.

В разговоре коснулась как-то речь до чинов.

«Ты знаешь ли, что я теперь? — спросил меня поэт, своим милым голосом, полным по-прежнему незлобия и шутки: — *Мы с моим чином составляем славный Александрийский стих: Губернский секретарь Евгений Боратынский*».

После военной отставки его урезонили служить и дали ему чин, но когда пошел присягать и первый раз увидел своих сослуживцев лицом к лицу, то ему стало, говорит, перед ними совестно, и вышел опять в отставку.

В декабре 1839 я приезжал в Москву, по службе, дни на три. Увидясь со мной, он пригласил меня обедать. — Нельзя, — отвечал я, — дал слово обедать в Английском клубе. — «Ах, так и я обедаю с тобой, — сказал поэт, — ведь я член Английского клуба; это общество сделало некогда честь Пушкину и мне, избрав нас вместе в свои члены, *в один день*».

Приехав в клуб поранее, мы убрались в уединенную комнатку и прожили до самого обеда прекраснейших два часа. Вслед за этим я провел у него вечер. Это был вечер, на котором мы простились до свидания там, где позволено надеяться свидания христианину. Мы сидели в кругу его милого семейства, все около стола, и вдруг, совсем неожиданно, лампа, перед нами стоявшая, погасла и оставила нас в темной комнате. Люди суеверные не разделят ли со мной чувства, что эта догоревшая неожиданно лампа была для меня голосом неба.

10 октября 1844.
Тверь.

Н. В. ПУТЯТА

<Примечания к письмам Е. А. Баратынского к Н. В. Путяте>

Весною 1824-го года Финляндский генерал-губернатор А. А. Закревский делал инспекторский смотр некоторым войскам, расположенным в Финляндии, и в том числе Нейшлот-

скому пехотному полку, в котором Е. А. Баратынский служил в это время Унтер-офицером. Смотр происходил близ г. Вильманстранда, на берегах пустынного озера. Я шел вдоль строя за генералом Закревским (у коего был адъютантом), когда мне указали Баратынского. Он стоял в знаменных рядах. Баратынский родился с веком, следовательно ему было тогда 24 года. Он был худощав, бледен, и черты его выражали глубокое уныние. В продолжение смотра я с ним познакомился и разговаривал о его петербургских приятелях. После он заходил ко мне, но не застал меня дома и оставил прилагаемую записку.

Нейшлотский полк, по окончании смотра и учений, возвратился в укрепление Кюмень и окрестности, где имел постоянное квартирование. Баратынский жил тут вместе с своим полковым командиром Лутковским, который очень его любил <...> Осенью 1824 года я уведомил Баратынского, что генерал Закревский позволяет ему приехать в Гельзингфорс и находиться при корпусном штабе; вместе с тем я приглашал его остановиться у меня. Следующее письмо его есть ответ на мое приглашение.

Скоро потом Баратынский к нам приехал, прожил со мною в Гельзингфорсе несколько месяцев, и мы тесно подружились. Он написал в это время «Бурю», «Череп» (напечатан в первый раз под названием «Могила»), «Авроре Ш...» (Авроре Карловне Шернваль, бывшей замужем за П. Н. Демидовым и потом за А. Н. Карамзиным) и некоторые другие пьесы. Начал тогда же писать «Эду».

В начале февраля 1825 года я уехал в Петербург, а оттуда в Москву, где и получил два следующих письма от Баратынского, возвратившегося в это время в Кюмень. Он послал со мною письмо к В. К. Кюхельбекеру и несколько стихотворений для напечатания.

Весной 1825 года я возвратился в Гельзингфорс и по пути посетил Баратынского в Кюмени; привез ему приказ о производстве его в офицеры, что очень его обрадовало и оживило. Между тем Нейшлотский полк должен был готовиться идти на лето в Петербург, для содержания там караулов.

По возвращении с полком из Петербурга в Кюмень Баратынский посетил Гельзингфорс и оттуда поехал в отпуск в Москву.

Оставаясь в Москве, Баратынский по просьбе был уволен от службы. В июне 1826 года он женился на дочери генерал-майора Льва Николаевича Энгельгардта, Настасье Львовне. Во время коронации я виделся с ним, в его семейном кругу. Вскоре после коронации я возвратился в Петербург, где получил следующее письмо осенью 1826-го года.

Баратынский определился в Москве на службу в Межевую канцелярию (откуда вышел опять в отставку 1831 года). Следующее письмо написано в 1827 году, в котором появилось в свет первое издание его стихотворений.

Письмо, за сим следующее, написано во время первой холеры в России. Баратынский был в это время в Казани с семейством его жены и прожил там более года; около этого времени в 1831 году появилась «Наложница» с замечательным предисловием о нравственности литературных произведений <…>

В 1842 и 43-м г. Е. А. Баратынский жил постоянно в подмосковной, занимался хозяйством, сводом рощи, постройкою дома в сельце Муранове. Он любил архитектуру, имел в ней вкус, делал сам планы строениям и приводил их в исполнение под своим надзором. Окончательные слова в первом письме 1842 года относятся к вышедшему тогда манифесту об обязанных крестьянах. Они свидетельствуют о сочувствии, которое он питал к освобождению крестьян и о надеждах его на это. Уничтожение крепостного права постоянно занимало его мысли. В разговорах со мною об этом предмете он выражал мнение, что освобождение не должно совершиться иначе, как с наделом земли в собственность крестьян, при вознаграждении помещиков финансовою операциею, но какою — прибавлял он — этого я не берусь указывать: финансы не мое дело.

Отправляясь за границу, мы оставили младших детей наших у Баратынских. Некоторые части имений у нас были общие, и Баратынский ими управлял. При отъезде за границу я поручил ему и собственные имения моей жены.

Осенью 1843 года Баратынский приступил к исполнению давнишнего желания своего — собрался за границу. Он приехал с семейством в Петербург, оставил нам младших детей своих, а с женою и старшими детьми отправился сухим путем в Берлин, оттуда в Дрезден и чрез Франкфурт-на-Майне в Париж. Вот письма его из-за границы.

Два стихотворения, присланные с этим письмом, были: «Пироскаф» и «Дядьке-Итальянцу». Они тогда же напечатаны П. А. Плетневым в его «Современнике». Письмо это, в котором Баратынский говорит: «мы ведем в Неаполе самую сладкую жизнь», писано им за несколько дней до его кончины, последовавшей 29 июня (11 июля) 1844 года. Жена его была больна, и накануне доктор настаивал на необходимости пустить ей кровь. Это так встревожило Баратынского, что к ночи он сам занемог, а на другой день рано утром его не стало. Летом 1845 года тело поэта, в кипарисовом гробе, привезено морем из Неаполя в С. Петербург. Оно предано земле на новом кладбище Александро-Невского монастыря, близ гробницы Гнедича, в присутствии семейства покойного и нескольких его приятелей: кн. П. А. Вяземского, П. А. Плетнева, кн. В. Ф. Одоевского и др. На памятнике, воздвигнутом его вдовою, изображены в медальоне черты его с следующею надписью из его стихотворения «Отрывок»:

В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.

Из записной книжки Н. В. Путяты

<...>Дня через два Е. Баратынский, другой поэт-изгнанник, недавно оставивший печальные граниты Финляндии, повез меня к Пушкину, в гостиницу Hotel du Nord, на Тверской. Пушкин был со мною очень приветлив <...>

Зимою, в конце 1837 или в 1838 г., приезжал в Петербург на несколько дней Е. Баратынский и останавливался у меня. В. А. Жуковский, коему государь поручил разобрать бумаги Пушкина, дал Баратынскому одну из его рукописных тетрадей in folio в переплете. В ней находился напечатанный потом отрывок Пушкина о Баратынском. Тетрадь эта оставалась у последнего самое короткое время; он был в отъезде и просил меня тотчас возвратить ее Жуковскому, что я и исполнил.

Из тетради выписок, заметок, воспоминаний и пр. Н. В. Путяты

Е. Баратынский и Дельвиг, прогуливаясь однажды по Невскому проспекту, с пустыми карманами, рассуждали о том, где они будут обедать. Навстречу им попался Ф. Туманский, столь же беспечный, как и они. На вопрос, где он обедает сегодня, Туманский, указывая на небо, протяжно отвечал: Chez le grand Restaurateur*.

ИЗ СТАТЬИ В. П. ГАЕВСКОГО «ДЕЛЬВИГ»

<...>В первый же год после выпуска из Лицея, т. е. в 1817 или 1818 году, Дельвиг сблизился с Баратынским, который, по советам и под влиянием Дельвига, тогда только что начинал свое поэтическое поприще.

Сходство характеров и занятий, почти одинаковые лета, бедность и беззаботность в самое короткое время сблизили обоих поэтов. Дельвиг первый возбудил Баратынского к поэзии и был первым руководителем его музы. В сонете, посвященном Н. Языкову, Дельвиг говорит:

Певца *Пиров* я с музой подружил
И славой их горжусь в вознагражденье <...>

Одинаковые характеры, наклонности и возраст обоих поэтов (Дельвиг был только двумя годами старше Баратынского), даже отчасти сходное в начале направление их музы, были причиною их скорого сближения, которое не ослабело даже с отъездом Баратынского в Финляндию. Они переписывались друг с другом, насколько позволяла их леность, и Баратынский постоянно посылал свои стихотворения на суждение Дельвигу. Переписки их, которая, впрочем, не могла быть велика, нам не удалось найти; но отношения обоих поэтов друг к другу достаточно объясняются их взаимными посланиями <...>

В начале 1821 года бригада, в которой находился Баратынский, получила приказание выступить в Петербург, для занятия караулов <...>

* *У великого Ресторатора (фр.).*

Дельвиг, нетерпеливый видеть своего друга, отправился, вместе с Эртелем, встречать его на Выборгскую дорогу, в Парголово, и в течение нескольких дней сряду многочисленные приятели поэта праздновали его неожиданное возвращение <...>

Скоро по приезде в Петербург Баратынский, вероятно, по предложению Дельвига, самого усердного поклонника его музы и распространителя его литературной известности, был избран в действительные члены Вольного Общества Любителей Российской Словесности, к которому принадлежал до тех пор в звании члена сотрудника.

Баратынский поселился на одной квартире с Дельвигом, в Семеновском полку. Оба поэта жили самым оригинальным, самым беззаботным и потому беспорядочным образом, почти не имея мебели в своей квартире и не нуждаясь в подобной роскоши, почти постоянно без денег, но зато с неистощимым запасом самой добродушной, самой беззаботной веселости.

Хозяйственные распоряжения в домашнем быту обоих поэтов предоставлены были на произвол находившегося у Дельвига в услужении человека Никиты, который в лености и беспечности мог поспорить разве только с своим барином. Вероятно, уважая в нем собственные качества, Дельвиг не отпускал Никиту, несмотря даже на то, что Никита был постоянно пьян, распоряжался карманом барина (когда в нем водились деньги) как своим собственным и не всегда считал нужным доставлять его письма по адресу. Пушкин, проживая, в 1825 году, в селе Михайловском и долго не получая от Дельвига известий, спрашивал его, в одном из своих неизданных писем (от 8 июня), не принял ли он опять в услужение покойного Никиту. Вообще порядок, чистота и опрятность были качествами, неизвестными в домашнем быту обоих поэтов. Эта беспорядочная обстановка жизни, считавшаяся тогда поэтическою, доходила до цинизма, и Дельвиг, во всем старавшийся быть эпикурейцем, был в то же время и циником в значительной степени, хотя, быть может, и бессознательно <...>

Недалеко от наших поэтов, в Семеновском же полку, поселился командир роты, в которой находился Баратынский, Н. М. Коншин, писавший тогда, в подражание Баратынскому, мелкие стихотворения, впоследствии издавший вместе с бароном Е. А. Розеном «Царское Село», альманах на 1830 год, теперь же занимающий должность директора Демидовского Лицея и училищ Ярославской губернии. Н. М. Коншин, чрез посредство Баратынского, немедленно сблизился с Дельвигом

и некоторыми из его приятелей. Новые знакомые, пользуясь случаем, видались часто и весело. В неизданном стихотворении Н. М. Коншина «К нашим», представляющем и по содержанию, и по форме близкое подражание стихотворению Пушкина «Пирующие друзья» <...>, находим очерк одной из подобных сходок, с характеристикою присутствовавших на них, к числу которых принадлежали и оба поэта <...>

Осенью 1821 года петербургская стоянка кончилась, и Баратынский, погостив в Петербурге около полугода, должен был возвратиться в Финляндию. Новая квартира полка была назначена в Роченсальме. Летом следующего (1822) года Дельвиг приехал к Баратынскому в Роченсальм вместе с Эртелем и Н. Павлищевым — шурином Пушкина, и нежданные гости провели несколько веселых дней в кругу полковых товарищей Баратынского. В один из таких дней Дельвиг перевел вместе с Баратынским известную застольную песню Коцебу: «Es kann ja nicht immer so bleiben» и посвятил ее Баратынскому и Коншину <...>

Баратынский редко печатал свои стихотворения без предварительного обсуждения Дельвига и сохранил к нему дружбу до конца его жизни. В 1824 году Баратынский, произведенный в прапорщики, вышел в отставку и приехал в Петербург, а с 1825 года переселился в Москву. Он постоянно переписывался с Дельвигом и, имея обыкновение весьма много поправлять свои стихотворения, не переставал присылать их на предварительный просмотр Дельвигу <...>

Дельвиг очень часто виделся с Плетневым. У последнего собирался по субботам небольшой литературный кружок, и Дельвиг был постоянным субботним гостем. Кроме Дельвига на этих вечерах бывали Пушкин, Баратынский и многие другие молодые писатели <...>

<...> Учредительницею и председательницею одного из таких литературных кружков в Петербурге была Софья Дмитриевна Пономарева, одна из любезнейших и образованнейших женщин своего времени <...> В гостиной Софьи Дмитриевны собирались литераторы всех партий, всех убеждений, потому что своенравный ум ее, жажда перемен и разнообразия впечатлений не довольствовались одним и тем же кружком: сегодня собирались у нее Измайлов, Панаев, Сомов, многие из второстепенных сотрудников «Благонамеренного», члены Общества Любителей Словесности, Наук и Художеств, собиравшегося под председательством Измайлова, и вообще его партия;

в другой день туда являлись Дельвиг, Гнедич, Баратынский, Илличевский и вообще последователи новой школы. Случалось даже, что обе партии встречались и даже, как будто заключив перемирие, встречались без неприязненного чувства, читали свои и чужие произведения, беседовали, бесконечно спорили, сочиняли эпиграммы друг на друга и расходились уже за полночь, довольные собой и очарованные любезностью хозяйки <...>

Незадолго до смерти С. Д. Пономаревой учредились такие же литературные собрания у А. Ф. Воейкова <...> Характер этих собраний был почти исключительно литературный <...> Центром и душою этого общества была очаровательная (и также давно покойная) А. А. Воейкова, постоянно окруженная лучшими представителями русской поэзии. Постоянным и желанным ее гостем бывал В. А. Жуковский <...> Тут же бывал друг Жуковского И. И. Козлов <...> Баратынский, Плетнев, Дельвиг, издатели «Полярной Звезды» и проч. В этом же талантливом обществе нашел первое поощрение один из самых даровитых русских поэтов, Языков <...>

А. В. НИКИТЕНКО

Из «Моей повести о самом себе»

Рылеев в то время управлял канцелярией нашей американской торговой компании и жил в компанейском доме, у Синего моста. Квартира Кондратия Федоровича помещалась в нижнем этаже. Окна ее, со стороны улицы, были защищены выпуклою решеткою. Теперь дом этот перестроен, но он долго был для меня предметом скорбных воспоминаний, и я не мог пройти мимо без сердечного волнения. Было одно окно особенно: оно выходило из кабинета, где я, познакомясь ближе с хозяином, слушал, как он декламировал свою, только что оконченную поэму «Войнаровский». Со мною вместе слушал и восхищался офицер в простом армейском мундире — Е. А. Баратынский.

В. И. ПАНАЕВ

Из «Воспоминаний»

<...>Литературное партизанство еще усилилось с появлением лицеистов, к которым примкнули другие молодые люди, сверстники их по летам. Они были (оставляя в стороне гениального Пушкина) по большей части люди с дарованиями, но и с непомерным самолюбием. Им хотелось поскорее войти в круг писателей, поравняться с ними. Поэтому, ухватясь за Пушкина, который тотчас стал наряду со своими предшественниками, окружили они некоторых литературных корифеев, льстили им, а те, с своей стороны, за это ласкали их, баловали. Напрасно некоторые из них: Дельвиг, Кюхельбекер, Баратынский старались войти со мною в короткие отношения: моя разборчивость не допускала сближения с такими молодыми людьми; я старался уклониться от их короткости, даже не заплатил им визитов. Они на меня прогневались и очень ко мне не благоволили. Впоследствии они прогневались на меня еще более, вместе с Пушкиным, за то, что я не советовал одной молодой опрометчивой женщине — с ними знакомиться. Это была та самая, со множеством странностей и проказ, но очаровательная Софья Дмитриевна Пономарева, которую воспевал Александр Ефимович Измайлов, влюбленный в нее по уши. Да и не мудрено: всякий, кто только знал ее, был к ней неравнодушен более или менее. В ней, с добротою сердца и веселым характером, соединялась бездна самого милого, природного кокетства, перемешанного с каким-то ей только свойственным детским проказничеством. Она не любила женского общества, даже не умела в нем держать себя и предпочитала мужское, особенно общество молодых блестящих людей и литераторов; последних более из тщеславия. <...> Но вдруг втерся в дом их, чрез Александра же Ефимовича, тоже литератор, Яковлев, очень удачно писавший в «Благонамеренном» сатирические статьи. Говорю: втерся, потому что приглашенный однажды за темнотою ночи остаться ночевать на даче, что бывало со мною и с другими, остался совсем жить у радушных хозяев. При всем своем безобразии, бросавшемся в глаза, он был очень занимателен: играл на фортепьяно, пел, хорошо рисовал карикатуры. Тем и другим забавлял он ребенка-хозяйку, а с хозяином пил на сон грядущий мадеру. Конечно, приехавши в Петербург, за несколько перед тем месяцев, он не имел собственной

квартиры и жил у какого-то знакомого, но все-таки такая назойливость была наглою. Этого мало. Подружившись с Дельвигом, Кюхельбекером, Баратынским (тогда еще унтер-офицером, после разжалования из пажей в солдаты за воровство), он вздумал ввести их в гостеприимный дом Пономаревых, где могли бы они, хоть каждый день, хорошо с ним пообедать, выпить лишнюю рюмку хорошего вина, и стал просить о том Софью Дмитриевну. Она потребовала моего мнения. Я отвечал, что не советую, что эти господа не поймут ее, не оценят; что они могут употребить во зло, не без вреда для ее имени, ее излишнюю откровенность, ее неудержимую шаловливость. Пока дружеский этот совет, которого она, по-видимому, послушалась, оставался между нами, он ни для кого не был оскорбителен, но коль скоро, по легкомыслию своему, она не могла скрыть того от Яковлева — естественно, что приятели его сильно на меня вознегодовали. Случилось, что в это самое время, пользуясь летнею порою, отлучился я на месяц в одно из загородных дворцовых мест. Приезжаю назад — и что ж узнаю? Приятели Яковлева введены им в дом; на счет водворения его пошли невыгодные для бедной Софьи Дмитриевны толки; отец, сестра перестали к ней ездить. Глубоко всем этим огорченный, я выразил ей мое негодование, указал на справедливость моих предсказаний и прекратил мои посещения. Чего не употребляла она, чтобы возвратить меня? и ее увлекательные записки, и убеждения Измайлова — все было напрасно — я был непоколебим. Но чего мне стоило оторваться от этой милой женщины? На другой же день я насчитал у себя несколько первых седых волос.

Д. Н. СВЕРБЕЕВ

Из «Записок»

Литературное петербургское общество Пономаревых не возбудило во мне симпатии. Кроме двух замечательных личностей, Крылова и Гнедича, которые являлись к ним редко, привлекательны были особенно Баратынский и Дельвиг. Физиономия последнего носила характер его заунывных русских песен, Баратынский же был и тогда уже истинным поэтом, увлекательно говорил и отличался благородным тоном и изящными манерами. Теперь в этом напоминает мне его И. С. Тургенев.

А. П. КЕРН

Из «Воспоминаний о Пушкине, Дельвиге и Глинке»

<...> Этой особенностью Дельвига восхищался Пушкин <...> Он восхищался притом другими пьесами Дельвига, равно как и поэзиею Баратынского. Эти три поэта были связаны глубокой симпатией <...>

Пополудни, часу в 4-м или в 5-м, мы услышали гул и шум Иматры <...> Мы то опускались, то подымались, то прыгали на утесы, орошаемые освежительной пылью, и долго восхищались чудным падением алмазной горы, сверкающей от солнечных лучей разнообразными переливами света. На некоторых береговых камнях написаны были разные имена, и одно из них было милое и нам всем знакомое Евгения Абрамовича Баратынского.

Дельвиг и Пушкин

(Фрагмент)

Он всегда с нежностью говорил о произведениях Дельвига и Баратынского. Дельвиг тоже нежно любил и Баратынского, и его произведения. Тут кстати заметить, что Баратынский не ставил никаких знаков препинания, кроме запятых, в своих произведениях, и до того был недалек в грамматике, что однажды спросил у Дельвига в серьезном разговоре: «Что ты называешь родительным падежом?» Баратынский присылал Дельвигу свои стихи для напечатания, а тот всегда поручал жене своей их переписывать; а когда она спрашивала, много ли ей писать, то он говорил: «Пиши только до точки». А точки нигде не было и даже в конце пьесы стояла запятая!

Я вспомнила еще стихи, сообщенные мне женою барона Дельвига, сложенные когда-то вместе с Баратынским.

Там, где Семеновский полк,
В пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский
С Дельвигом, тоже поэтом.

Тихо жили они,
За квартиру платили немного,
В лавочку были должны,
Дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком
В панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карманы (перчаток они не имели),
Шли и твердили шутя:
Какое в Россиянах чувство!

А. И. ДЕЛЬВИГ

Из «Моих воспоминаний»

При необыкновенной лени, как физической, так и умственной, у Дельвига было много поэтического такта, так что друзья его, Пушкин и Боратынский, многие из своих стихов до напечатания читали ему или посылали к нему для оценки и большею частью принимали во внимание сделанные им замечания. <...>

Дельвиг, конечно, имел большое влияние только на начальные опыты Пушкина в поэзии, но мы еще обязаны ему тем, что он направил к поэзии Боратынского и был его первым руководителем. Боратынский также написал несколько посланий к Дельвигу. <...>

Дельвиг жил несколько времени с известным поэтом Евгением Абрамовичем Боратынским в Семеновском полку, где они и вместе и порознь писали много стихов, не попавших в печать. <...>

Г. Гаевский в своей монографии: «Дельвиг», говорит: «по смерти Дельвига в 1831 г. оба поэта (Пушкин, Боратынский), разбирая бумаги покойного и не желая, чтобы переписка их перешла в недостойные руки, уничтожили (говорят) свои письма, и таким образом русская литература лишилась, может быть, образцовых и во всяком случае весьма замечательных произведений». К этому Гаевский присовокупляет: «это сведение, весьма впрочем сомнительное, сообщено чрез посредство барона А. И. Дельвига (т. е. меня) вдовою поэта».

Не знаю, почему Гаевский усомнился в уничтожении означенных писем, которое производилось в моем присутствии. Он только неправильно указал на то, что будто бы письма Дельвига были уничтожены Пушкиным и Боратынским, чего я ему никогда не мог сообщить. Они были уничтожены Яковлевым*, Щастным и некоторыми другими лицами в моем присутствии, чем они занимались беспрерывно в продолжение нескольких вечеров, и это делано было без согласия Пушкина и Боратынского, бывших в это время в Москве. <...>

По возвращении в Колодезское, я ездил к моей воспитательнице, С. М. Боратынской, жившей в имении своего мужа в Кирсановском уезде Тамбовской губернии <...> В деревне Боратынских жили, кроме С. М. Боратынской и ее мужа, мать последнего, больная старушка, которой я, во все мое у них пребывание, не наблюдал, и братья его: поэт Е. А. Боратынский с женою, урожденною Энгельгардт, и детьми и Лев Абрамович Боратынский, который был женат на своей крепостной, не показывавшейся в семействе Боратынских. <...>

Жизнь в деревне у Боратынских была устроена на английский манер, вероятно, в подражание их соседу Кривцову, большому англоману, человеку очень умному.

Т. П. ПАССЕК

Из книги «Из дальних лет»

Мы страстно желали видеть Пушкина, поэмами которого так упивались, и увидали его спустя года полтора, в Благородном собрании. Мы были на хорах, внизу многочисленное общество. Вдруг среди него сделалось особого рода движение. В залу вошли два молодые человека, один — высокий блондин, другой — среднего роста брюнет, с черными курчавыми волосами и резко выразительным лицом. Смотрите, сказали нам, блондин — Баратынский, брюнет — Пушкин. Они шли рядом, им уступали дорогу. В конце залы Баратынский с кем-то заговорил

* *М. Л.*

и остановился. Пушкин прошел к мраморной колонне, на которой стоял бюст государя, стал подле нее и облокотился о колонну. Мы не спускали с него глаз, чтобы навсегда запечатлеть в душе образ любимого поэта.

М. П. ПОГОДИН

Из «Воспоминаний о Степане Петровиче Шевыреве»

<...> Толки о журнале, начатые еще в 1823 или 1824 году в обществе Раича, усилились. Множество деятелей молодых, ретивых было, так сказать, налицо, и они сообщили Пушкину общее желание. Он выразил полную готовность принять самое живое участие. После многих переговоров редактором был назначен я. Главным помощником моим был Шевырев. Много толков было о заглавии. Решено: «Московский вестник». Рождение его положено отпраздновать общим обедом всех сотрудников. Мы собрались в доме, бывшем Хомякова (где нынче кондитерская Люке): Пушкин, Мицкевич, Баратынский, два брата Веневитиновы, два брата Хомяковы, два брата Киреевские, Шевырев, Титов, Мальцов, Рожалин, Раич, Рихтер, В. Оболенский, Соболевский <...>

В Москве наступило самое жаркое литературное время. Всякий день слышалось о чем-нибудь новом. Языков присылал из Дерпта свои вдохновенные стихи, славившие любовь, поэзию, молодость, вино; Денис Давыдов — с Кавказа; Баратынский издавал свои поэмы; «Горе от ума» Грибоедова только что начало распространяться <...> Вечера, живые и веселые, следовали одни за другим, у Елагиных и Киреевских за Красными воротами, у Веневитиновых, у меня, у Соболевского в доме на Дмитровке, у княгини Волконской на Тверской. В Мицкевиче открылся дар импровизации. Приехал М. И. Глинка, связанный более других с Мельгуновым и Соболевским, и присоединилась музыка.

Горько мне сознаться, что я пропустил несколько из этих драгоценных вечеров «страха ради иудейска». Я знал о подозрении на меня за «Нищего», помещенного в «Урании»; новый председатель цензурного комитета, князь Мещерский — сын того Мещерского, который преподал Щепкину первые уроки драматического искусства и поставил его на настоящую дорогу

(он давно уже умер),— послал на меня донос, выставляя «Московский вестник» отголоском 14 декабря. Мицкевич и другие филареты находились под надзором полиции, да и сам Пушкин с Баратынским были не совсем еще обелены. Я, в качестве редактора журнала, боялся слишком часто показываться в обществе людей, подозрительных для правительства, и действительно, мне пришлось бы плохо, если бы в цензурном комитете не занял наконец места С. Т. Аксаков; он принял к себе на цензуру «Московский вестник», и мы с Шевыревым успокоились.

К. А. ПОЛЕВОЙ

Из «Записок»

Почти в это же время поселился в Москве и сблизился с нами Евгений Абрамович Баратынский. Еще незадолго, жизнь его была очень печальна. Он принадлежал к одной из значительнейших дворянских фамилий и воспитывался в одном из военно-учебных заведений, в С.-Петербурге. До выпуска из заведения, где он воспитывался, и когда он был уже известен как поэт с необыкновенным дарованием, шалость, почти ребяческая с его стороны, но окруженная самыми несчастными обстоятельствами, была причиной, что его разжаловали в рядовые и послали на службу в финляндские линейные батальоны. Мы никогда не говаривали с ним об этом несчастном случае его жизни. Он пробыл в Финляндии несколько лет... вдохновлялся дикою природою страны, куда был заброшен судьбою, и написал там многие прекрасные стихотворения, отличающиеся силою впечатлений... Наконец, он был произведен в офицеры и после этого, при первой возможности, вышел в отставку. Здоровье его было расстроено и требовало продолжительного отдыха после тяжких душевных страданий. Он не говорил о них; но его бледное, страдальческое лицо ясно показывало, что этот человек выстрадал многое. Тем больше делает ему чести удивительная ясность духа, которую вынес он из своего несчастья. Нисколько не казался он разочарованным и не показывал себя страдальцем. С любезностью самого светского человека соединял он живость ощущений, и все достойное внимания мыслящего человека возбуждало его внимание. Воспитание

его, как видно, было больше блестящее, нежели основательное. В совершенстве зная только французский язык и французскую литературу, он уже в зрелых летах должен был знакомиться с современным просвещением и успел в этом, чему способствовал ум его, чрезвычайно ясный, отчетливый, не останавливавшийся на поверхности предметов. Потому-то в нашем обществе, где философские воззрения были тогда в величайшем ходу, он любил затрагивать самые трудные вопросы и восхищал наших молодых философов ясностью своего ума. Притом он был большой мастер говорить, и беседа с ним была всегда приятна. Поселившись в Москве, он вскоре женился и долго был постоянным, часто ежедневным, нашим собеседником. Его привлекал, прежде всего, конечно, сам хозяин, Николай Алексеевич, поистине очаровательный в искренних сношениях, потому что тут можно было видеть не только возвышенный его ум, но и чистоту, благородство всех его стремлений. Кроме того, как можно видеть из моего рассказа, наше тогдашнее общество составляли люди, вообще необыкновенные, так что редко можно встретить подобное избранное соединение людей в светских гостиных, где гости собираются, как на службу, для исполнения определенных обязанностей, с известными правами и условиями. Неудивительно, что Мицкевич, Баратынский и несколько других лиц, не столь громко известных, но вполне достойных быть их собеседниками, собирались в небогатом домике, где жил Николай Алексеевич, и проводили у него вечера, а иногда и целые дни. Причисляю эти дни к приятнейшим в моей жизни, потому именно, что только счастливое стечение обстоятельств могло соединить столько избранных людей. Чего не было тут переговорено! Какие вопросы не были предметом суждений! Сколько оригинального, умного, высокого было сказано!

Баратынский пользуется славою поэта, и справедливо. У него были и поэтические ощущения, и необыкновенное искусство в выражении. Но, знавши его очень хорошо, могу сказать, что он еще больше был умный человек, нежели поэт. Отчасти, он обязан поэтическою славою своею Пушкину, который всегда и постоянно говорил и писал, что Баратынский чудесный поэт, которого не умеют ценить. Почти то же говорил он о Дельвиге и готов был иногда поставить их обоих выше себя. Трудно понять, что заставляло Пушкина доходить до таких преувеличений. Правда, что он называл Баратынского одним из лучших своих друзей; но дружба не могла ослепить необыкновенной его проницательности. Говорили, что он превозносил

Дельвига и Баратынского, чтобы тем больше возвысить свой гений, потому что если они были необыкновенные поэты, то что же сказать о Пушкине? Может ли быть какое-нибудь сравнение между ними и им? Но я не предполагаю такой мелкой хитрости в нашем великом поэте. Он превозносил и Катенина, и даже написал о нем:

...Катенин воскресил
Корнеля гений величавый!

Но это были странности, какие-то прихоти умного человека, может быть, первоначально порожденные уважением или дружеским чувством его к людям, близким к нему по обстоятельствам жизни. Как бы то ни было, но авторитет Пушкина, конечно, способствовал повторявшемуся безотчетно мнению, что Баратынский поэт, по достоинствам своим близкий к самому Пушкину. Теперь кажется, излишне было бы опровергать такое мнение. Баратынский поэт, иногда очень приятный, везде показывающий верный вкус, но писавший не по вдохновению, а вследствие выводов ума. Он *трудился* над своими сочинениями, отделывал их изящно, находил иногда верные картины и живые чувствования; бывал остроумен, игрив, но все это, как умный человек, а не как поэт. В нем не было ни поэтического огня, ни оригинальности, ни национальности. Оттого-то лучшие его произведения те, где он философствует, как, например, в стихотворении на смерть Гете. Я уверен, что если бы он не почитал себя поэтом и занялся теорией и критикой литературы, он написал бы в этом роде много умного, прекрасного, пояснил бы много идей для своих современников. Его ясный ум, строгий вкус, сильная и глубокая душа давали ему все средства быть отличным критиком. Это показывали суждения его о многих тогдашних литературных явлениях, суждения, которые развивал он в нашем кругу. Когда приехал в Москву Пушкин и начали появляться одно за другим сочинения его (*Цыганы*, 2-я глава *Онегина* и много лирических стихотворений), поговорить было о чем, и Баратынский судил об этих явлениях с удивительною верностью, с любовью, но строго и основательно. В поэмах слепца Козлова не находил он никаких достоинств и почти сердился, когда хвалили их, хотя отдавал справедливость некоторым его стихотворным переводам. Кажется, и потомство подтверждает эти суждения. Он не был фанатиком ничьим, ни даже самого Пушкина, несмотря на дружбу свою с ним и на похвалы, какими тот всегда осыпал его.

Чтобы дополнить характеристику Баратынского, я должен сказать, что в нем нисколько не было чванства ни своим дарованием, ни своим положением в свете, хотя как поэт, всюду прославляемый, как человек светский и богатый (после своей женитьбы), он имел бы поводы к тому, если бы душа его была меньше возвышенна. Он всегда оставался одинаков с тем, в ком видел достоинства ума и души. Я не приписываю этого испытанным им несчастьям, которые могли показать ему суетность общественного положения, когда оно не соединено с личным достоинством человека. Нет, Баратынский по убеждению ума и духа своего был таков, каким мы видели его. И не почитайте этой черты мелочною: люди, самые необыкновенные во многих отношениях, не всегда бывают свободны от чванства в каком-нибудь виде. Вскоре мы увидим здесь же достопамятный пример в этом роде.

<...> Пушкин и его сотрудники бывали у Н. А. Полевого и при встрече казались добрыми приятелями. Весною 1827 года, не помню по какому случаю, у брата был литературный вечер, где собрались все пишущие друзья и недруги; ужинали, пировали всю ночь и разъехались уже утром. Пушкин казался председателем этого сборища и, попивая шампанское с сельтерской водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои *непозволенные* стихи, хохотал от резких сарказмов И. М. Снегирева, вспоминал шутливые стихи Дельвига, Баратынского и заставил последнего припомнить написанные им с Дельвигом когда-то рассказы о житье-бытье в Петербурге. Его особенно смешило то место, где в пышных гексаметрах изображалось столько же вольное, сколько невольное убожество обоих поэтов, которые «в лавочку были должны, руки держали в карманах (перчаток они не имели!)»...

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

<Посвящение к переводу романа Б. Констана «Адольф»>

Александру Сергеевичу Пушкину.

Прими мой перевод любимого нашего романа. Смиренный литограф, приношу великому живописцу бледный снимок с картины великого художника. Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего, что, принявшись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему;

в борьбе иногда довольно трудной мысленно вопрошал я тебя, как другую совесть, призывал в ареопаг свой и Баратынского, подвергал вам свои сомнения и запросы и руководствовался угадыванием вашего решения. Не страшитесь однако же ни ты, ни он: не налагаю на вас ответственности за худое толкование молчания вашего. Иначе моя доверенность к вам была бы для вас слишком опасна, связывая вас взаимным обязательством в случайностях предприятия моего. Что бы ни было, дар, мною тебе подносимый, будет свидетельством приязни нашей и уважения моего к дарованию, коим радуется дружба и гордится отечество.

<Баратынский>

Карамзин говорил, что в молодости любил он иногда из многолюдного и блестящего собрания, с бала, из театра прямо ехать за город, в лес, в уединенное место. После смутных и тревожных ощущений светских находил он в окрестной тишине, в величавой обстановке природы, в свежести и умиротворительности впечатлений особенную и глубоко объемлющую душу прелесть. Подобного рода наслаждение испытал я, исключительно предавшись на днях чтению Баратынского, которого Полное собрание сочинений появилось на днях в печати. Я тоже, так сказать, бежал из наплыва волн *текущей словесности,* и я готов был сказать с Дмитриевым:

> Примите, древние дубравы,
> Под тень свою питомца муз!

И в самом деле, в наши дни для многих поэзия Баратынского есть также *древняя дубрава,* но только немногим придет охота углубиться в ее тень; даже не пройдут они и по опушке ее, чтобы не свернуть с столбовой дороги. Как непонятна и смешна в наше время была бы сентиментальная проза Карамзина, так равно покажется странным и совершенно отсталым движением обращение мое к поэту, ныне едва ли не забытому поколением ему современным и, вероятно, совершенно незнакомому поколению новейшему.

Баратынский и при жизни и в самую пору поэтической своей деятельности не вполне пользовался сочувствием и уважением, которых был он достоин. Его заслонял собою и, так сказать, давил Пушкин, хотя они и были приятелями и последний высоко ценил дарование его. Впрочем, отчасти везде, а особенно у нас всеобщее мнение такую узкую тропинку пробивает успеху, что рядом двум, не только трем или более, ни-

как пройти нельзя. Мы прочищаем дорогу кумиру своему, несем его на плечах, а других и знать не хотим, если и знаем, то разве для того, чтобы сбивать их с ног справа и слева и давать кумиру идти, попирая их ногами. И в литературе, и в гражданской государственной среде приемлем мы за правило эту исключительность, это безусловное верховное одиночество. Глядя на этих поклонников единицы, можно бы заключить, что природа напрасно так богато, так роскошно разнообразила дары свои.

Кумиры у нас недолговечны. Позолота их скоро линяет. Набожность поклонников остывает. Уже строится новое капище для водворения нового кумира.

Из «Старой записной книжки»

Впрочем, нельзя не упомянуть здесь еще об одном светлом имени. Баратынский никогда не бывал пропагандистом слова. Он, может быть, был слишком ленив для подобной деятельности, а во всяком случае слишком скромен и сосредоточен в себе. Едва ли можно было встретить человека умнее его, но ум его не выбивался наружу с шумом и обилием. Нужно было допрашивать, так сказать, буровить этот подспудный родник, чтобы добыть из него чистую и светлую струю. Но за то попытка и труд бывали богато вознаграждаемы. Ум его был преимущественно способен к разбору и анализу. Он не любил возбуждать вопросы и выкликать прения и словесные состязания; но зато, когда случалось, никто лучше его не умел верным и метким словом порешать суждения и выражать окончательный приговор и по вопросам, которые более или менее казались ему чужды, как, например, вопросы внешней политики или новой немецкой философии, бывшей тогда русским коньком некоторых из московских коноводов. Во всяком случае, как был он сочувственный, мыслящий поэт, так равно был он мыслящий и приятный собеседник. Аттическая вежливость с некоторыми приемами французской остроты и любезности, отличавших прежнее французское общество, пленительная мягкость в обращении и в сношениях, некоторая застенчивость при уме самобытном, твердо и резко определенном, все эти качества, все эти прелести придавали его личности особенную физиономию и утверждали за ним особенное место среди блестящих современников и совместников его.

Лев, или, как слыл он до смерти, Левушка, питал к Александру некоторое восторженное поклонение<...> Приятели Александра, Дельвиг, Баратынский, Плетнев, Соболевский, скоро сделались приятелями Льва <...>

Когда-то Баратынский и Лев Пушкин жили в Петербурге на одной квартире. Молодости было много, а денег мало. Они везде задолжали, в гостиницах, лавочках, в булочной; нигде ничего в долг им больше не отпускали. Один только лавочник, торговавший вареньями, доверчиво отпускал им свой товар; да где-то промыслили они три-четыре бутылки малаги. На этом сладком пропитании продовольствовали они себя несколько дней.

Баратынский как-то не ценил ума и любезности Дмитриева. Он говаривал, что, уходя, после вечера у него проведенного, ему всегда кажется, что он был у всенощной. Трудно разгадать эту странность. Между тем он высоко ставил дарование поэта. Пушкин, обратно, нередко бывал строг и несправедлив к поэту, но всегда увлекался остроумною и любезною речью его.

Из статьи «Мицкевич о Пушкине»

В прибавлениях к посмертному собранию сочинений Мицкевича, писанных на французском языке, находим мы известие, что московские литераторы дали ему пред выездом из Москвы прощальный обед с поднесением кубка и стихов. На кубке вырезаны имена Баратынского, братьев Петра и Ивана Киреевских, Елагина, Рожалина, Полевого, Шевырева, Соболевского <...>

При воспоминаниях о пребывании польского поэта в Москве приходит на ум довольно странное сближение. Замечательно, что упрек его Пушкину, что он слишком подчинял себя Байрону, был гораздо прежде обращен к нему самому. Еще в 1828 году умный и, к сожалению и к стыду нынешнего поэтического чувства, мало оцененный Баратынский говорит в прекрасных стихах:

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик...
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!

Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

Из «Автобиографического введения»

Баратынский говаривал о мне, что в моих полемических стычках напоминаю я ему старых наших бар, например Алексея Орлова, который любил выходить с чернью на кулачный бой.

Из статьи «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина»

<...> Аристократические салоны не помешали Карамзину написать 12 томов «Истории», Пушкину написать в короткое время несколько превосходных произведений. Напротив, может быть, — о ужас! — эти салоны способствовали развитию, разнообразию и окреплению их дарования. Исключительный дух товарищества, что-то вроде замкнутого заведения, суживает понятия: тут не себя переносишь в среду жизни, а жизнь переносишь в свой заколдованный круг, окорочиваешь и заключаешь ее в тесных границах. Я был в сношениях со многими, едва ли не со всеми современными литераторами нашими. Из впечатлений и следов, оставшихся на мне от разговоров с ними, глубже и плодоноснее врезалось слышанное мною от Карамзина, Дмитриева, Пушкина, Баратынского.

ИЗ «РАССКАЗОВ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫХ СО СЛОВ ЕГО ДРУЗЕЙ П. И. БАРТЕНЕВЫМ»

<Из рассказов П. В. и В. А. Нащокиных>

Боратынский не был с ним искренен, завидовал ему, радовался клевете на него, думал ставить себя выше его глубокомыслием, чего Пушкин в простоте и высоте своей не замечал.

<*Примечание С. А. Соболевского:*> Это сущая клевета.

<Из рассказов разных лиц>

Баратынский сказывал Елагиным (Н. А.), что стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума» напечатано без конца. Было еще две строфы, где выражалась несвязность мыслей сумасшедшего. Издатели, не поняв этого, искали смысла в этих стихах и, как бессмысленные, откинули.

Накануне свадьбы Пушкин позвал своих приятелей на мальчишник, приглашал особыми записочками. Собралось обедать человек 10, в том числе были Нащокин, Языков, Баратынский, Варламов, кажется, Елагин (Алексей Андреевич) и пасынок его Иван Васильевич Киреевский. По свидетельству последнего, Пушкин был необыкновенно грустен, так что гостям даже было неловко. Он читал свои стихи прощание с молодостью, которых после Киреевский не видал в печати.

Б. Н. ЧИЧЕРИН

Из моих воспоминаний

По поводу дневника Н. И. Кривцова. (Фрагменты)

<...> Но этим не ограничивалось соседство. Верстах в 15-ти от Умета и Любичей находился другой центр, не менее замечательный. Вниз по течению Вяжли лежит большое село, в несколько тысяч душ, носящее также название Вяжли. Это село было подарено императором Павлом братьям Баратынским, которые служили при нем еще в Гатчине и пользовались его милостью. Из них Абрам Андреевич был женат на любимой фрейлине императрицы Марьи Федоровны, рожденной Черепановой, женщине отменно умной и образованной. Марья Федоровна сама устроила эту свадьбу и одарила невесту приданым. Абрам Андреевич поселился в той части Вяжли, которая носит название Мары, и здесь зажил на широкую барскую ногу. Недалеко от дома лежит овраг, покрытый лесом, с бьющим на дне его ключом. Здесь были устроены пруды, каскады, каменный грот, с ведущим к нему из дому потаенным ходом, беседки, мостики, искусно проведенные дорожки. Поэт Баратынский, в своем стихотворении *Запустение,* в трогательных чертах описывает эту местность, где протекли первые дни его детства,

но которая была более или менее заброшена после смерти его отца, случившейся в 1810 году. Вдова не думала уже о поддержании красоты усадьбы, о старых барских затеях; она вся предалась воспитанию детей, и надобно сказать, что эта цель была достигнута ею вполне. С. А. Соболевский, который на своем веку видел образованнейшее общество России и Европы, говорил мне, что он не встречал более милых, приятных и симпатичных людей, как семья Баратынских. Это суждение могли бы подтвердить все те, кто их знал.

Старший брат, Евгений, был известный поэт. Человек высокого ума и образования, и еще более возвышенных нравственных свойств, всегдашний судья всех семейных недоразумений, он был вместе с тем очаровательный собеседник. Его ум, и тонкий, и глубокий, всегда согретый теплым чувством и украшенный поэзией, делал его удивительно привлекательным. В дружеской беседе, особенно за бокалом вина, он любил изливать всю свою душу. И он и жена его, Настасья Львовна, рожденная Энгельгардт, умная и образованная женщина, часто и подолгу гостили в Маре.

Нередко приезжал сюда и второй брат, Ираклий, который служил в Петербурге и был флигель-адъютантом, что в то время было редкостью. Это был приятный светский человек, с тонким умом, с изящными формами. Его жена, женщина большого света, с литературным образованием, была известною в то время красавицею. Барон Гакстгаузен, который посетил Россию, когда Баратынский был губернатором в Ярославле, рассказывает то впечатление, которое произвела на него эта чета.

Третий брат, Лев, также начал с военной службы; он был адъютантом князя Репнина. Сердечная история понудила его выйти в отставку и поселиться в деревне, в нескольких верстах от Мары. Холостяку, живущему в деревне, не трудно опуститься; но в то время, о котором идет речь, Лев Абрамович был молод, приятной наружности, весел, остер, при этом литературно образован, хороший музыкант. У него был неистощимый запас анекдотов, которые он рассказывал отлично. Его называли царем смеха, le roi du rire. Раз, наслышавшись известного петербургского остряка Мятлева, автора г-жи Курдюковой, Евгений Абрамович писал жене: «Он тешил всех, но меня менее других, потому что напоминал мне брата Льва, который решительно его превосходит». Соболевский ставил даже Льва Абрамовича, как собеседника, выше всех других братьев, может быть, вследствие сходства умов.

Едва ли однако не самым даровитым членом семьи был младший брат Сергей. Это была совершенно гениальная нату-

ра, живая, страстная, одаренная самыми разнообразными способностями. Он был медик по призванию, учился в Московской Академии, затем поселился в деревне и бесплатно лечил весь край. К нему стекались отовсюду; доверие к нему было безграничное. Его приглашали даже из дальних местностей, и он не задумывался ехать по самым трудным дорогам. Из писем Катерины Федоровны видно, что он в осеннюю пору, в октябре месяце, ездил в Орловскую губернию лечить ее брата, с которым едва был знаком. Вместе с тем он был искусный механик; он собственноручно делал все возможное: устраивал фейерверки, гравировал на меди, делал сложные музыкальные инструменты, и все это с величайшею точностью и отчетливостью. Изобретательность его была удивительная; в домашнем быту он сочинял всевозможные приспособления. Отец мой часто говаривал, что Сергей Абрамович сделался бы великим человеком, если бы не родился русским барином. Рядом с этим у него были артистические наклонности; он был архитектор и музыкант. Сделавшись по смерти матери владельцем Мары, он восстановил в новом виде описанное поэтом запустелое место. Над гротом в овраге, где он любил проводить целые дни, укрываясь от летнего зноя, Сергей Абрамович построил прелестное летнее жилище, куда он переселялся со всем семейством на несколько недель или даже месяцев. Внизу, возле источника, возвышалась изящной архитектуры купальня, в виде готической башни, к которой вел красивый мост. Вообще эта жизнь в лесу представляла что-то волшебное. В семейные праздники по лесу развешивались разноцветные фонари и зажигались бенгальские огни, что придавало всей местности фантастический вид. Здесь устроивались хоры из классических опер; а зимою Сергей Абрамович ставил даже целые оперы, которые разыгрывались семейством. Он мог это делать, ибо вся семья, и жена и дети, были прирожденные музыканты. Своей женитьбою, так же как и через брата, Сергей Абрамович находился в самой тесной связи со всем литературным миром. Он был женат на вдове Дельвига, поныне еще живущей, почтенной Софье Михайловне, единственной оставшейся в живых хранительнице преданий великой литературной эпохи, la veuve de la grande armée*, как называл ее поэт Баратынский**.

* *Вдова великой армии (фр.).*

** *Ныне и С. М. Баратынской нет уже на свете: она скончалась 4 марта 1888 года. Здравствует только достойнейшая В. А Рачинская. П. Б<артенев>*

И ко всем этим разнообразным талантам Сергей Абрамович присоединял еще то, что он, так же как и его братья, был прелестный собеседник. Я знавал людей с блестящим остроумием: достаточно назвать Герцена; но никого остроумнее Сергея Абрамовича я не встречал. У него не было ничего одностороннего, придуманного, изысканного; не было ни собрания анекдотов, ни повторений. Когда он был в духе, остроумие било у него полным ключом, во все стороны, с яркими брызгами. Это были, одна за другою, самые необыкновенные выходки, самые неожиданные сопоставления. Я поныне не могу без смеха читать его писем, писанных иногда по самому пустому поводу, напр., с поручением купить ему пива. И свое остроумие, так же как и свое сочувствие, он дарил и старым, и молодым. Он одинаково сходился со всеми поколениями, лишь бы лицо подходило под его строй. За то все его любили, и все к нему льнули. Когда, бывало, приедет Сергей Абрамович, это был всеобщий праздник; хохот не умолкал в доме по целым дням. И когда он, наконец, соберется уехать, запрягают лошадей, он садится за завтрак, подают непременную бутылку шампанского, и тут-то начинаются разговоры! Непрерывным потоком льются шутки, остроты, самые уморительные выходки, и так продолжается до обеда. О лошадях забывают, наконец приказывают их отпрячь: Сергей Абрамович, к общей радости, остается до следующего дня. А на следующий день опять начинается та же история: опять запрягают лошадей, Сергей Абрамович садится за завтрак, является бутылка расхоложенного шампанского, льются потоки остроумия, и дело снова кончается тем, что лошадей ставят в конюшню до следующего дня. Так иногда продолжалось по три, по четыре дня сряду.

Зато, как нередко бывает у артистических натур, эти порывы неудержимой веселости сменялись мрачным настроением. В молодости эти припадки хандры бывали даже так сильны, что они озабочивали родных. Сохранилось письмо Евгения Абрамовича, в котором он просит отца моего съездить в Мару, потому что Сергей Абрамович впал в мрачную меланхолию. Отец мой, смолоду и до конца жизни, был одним из самых близких друзей Сергея Абрамовича.

Для дополнения характеристики этой замечательной и оригинальной личности можно привести сохранившийся отрывок из послания к нему Н. Ф. Павлова, гостившего в 1832 году в деревне у моего отца. Это послание было писано по поводу излечения Сергеем Абрамовичем старого камердинера Павлова, Ивана. Оно начинается так:

Там, где толпилися Татары,
Где веки замели их след,
Где буйный вихорь их побед
Едва нам слышен в звуках Мары,
Там мирный степи гражданин,
Науки сумрачный поклонник,
Аптекарь, доктор, дворянин,
Какой-то странный беззаконник,
Какой-то на Руси пришлец,
Какой-то сумасбродный Чацкий,
И не военный, и не статский,
Не фабрикант и не делец,
Кого не встретишь за обедней,
Кто в жизни новый тон сыскал,
Не стаивал ни в чьей передней,
Зато в газетах не стоял;
Кто смерти не дает потачки,
Не возит красненьких домой,
Склонился чуткой головой
К одру нервической горячки...

Можно себе представить, какой живой и разнообразный семейный круг слагался из подобных элементов. И когда к блестящим дарованиям мужчин присоединялось общество изящных, умных и образованных женщин, упомянутых выше жен братьев Баратынских и сестер их, постоянно жившей с матерью пылкой, восторженной Натальи Абрамовны и наезжавшей иногда Варвары Абрамовны Рачинской, то понятно, какой привлекательный центр умственной жизни составляла в то время затерянная в степной глуши, никому неведомая Мара. <...>

Между Любичами, Уметом и Марою был почти ежедневный обмен если не посещений, то записок и посылок. Из столиц получались все новости дня. Пушкин присылал Кривцову свои вновь появляющиеся сочинения. Стихи Баратынского, разумеется, прежде всего были известны в Маре. Из Москвы Павлов и Зубков извещали моего отца обо всем, что появлялось в литературе русской и иностранной, пересылали ему выходящие книги. Последний роман Бальзака, недавно вышедшие лекции Гизо, сочинения Байрона пересылались из Умета в Любичи и из Любичей в Мару. И все это, при свидании, становилось предметом оживленных бесед. <...>

Да, милая была старина! Русская литература односторонне и несправедливо отнеслась к старому помещичьему быту. <...>

Нынешним людям, живущим среди общего разлада, среди не сложившихся еще отношений, не знающим, куда увлечет их завтра волна, полная и гармоническая жизнь отцов представля-

ется, как нечто чуждое, хотя и близкое, как отдаленные звуки какой-то забытой мелодии. Родились новые потребности и интересы; но никто не станет утверждать, что водворилась бóльшая гармония в жизни, и едва ли справедливо будет сказать, что мы наслаждаемся бóльшим довольством и просвещением, нежели наши отцы. В настоящее время можно проехать всю Русскую землю, от Колы до Тавриды, и не найти ничего похожего на тот мирный и просвещенный уголок, который описан на предыдущих страницах.

Многие, без сомнения, скажут, что старикам свойственно восхвалять прошедшее и хулить настоящее. Это — черта общая всем векам и народам. Везде из старческих уст раздаются те же сетования и похвалы, на которые не стоит обращать внимания.

В настоящем случае ответ налицо. Стоит только сослаться на факты. Описанный здесь быт есть быт того поколения, которое произвело из себя Пушкина, Жуковского, Батюшкова, Грибоедова, Крылова, Баратынского, князя Вяземского, Лермонтова, Гоголя, наконец блестящую плеяду людей сороковых годов, славянофилов и западников. Не с неба же они свалились. Великие литературные движения не возникают из деятельности маленького кружка, они порождаются веянием всенародного духа. Настоящее время может ли указать что-нибудь подобное? Предоставляю ответ беспристрастному читателю.

П. Г. КИЧЕЕВ

Воспоминания об Е. А. Баратынском

Обычай прав, усопших важный сон
Нам почитать издревле повелевший.
Баратынский.

С грустным чувством прочли мы в сентябрьской книжке прошлого 1867 года «Вестника Европы», в воспоминаниях покойного В. И. Панаева, то, что касается до поэта нашего Евгения Абрамовича Баратынского.

Обстоятельства, бывшие причиной исключения Баратынского из пажеского корпуса, теперь хорошо известны из документов, напечатанных в «Русском Архиве». В письме к Жуковскому Баратынский объясняет, как он постепенно вовлечен

был к участию в проступке, представлявшемся ему тогда в другом свете. Это временное омрачение ребяческого воображения было тягостно искуплено им, не столько еще понесенным им наказанием, сколько чувством глубокой скорби, которым он был проникнут всю жизнь, вследствие этого происшествия. Я хочу передать некоторые подробности о знакомстве моем с поэтом.

Мы с ним познакомились в Москве летом 1835 г. через приятеля его, тамбовского помещика Николая Федоровича Стриневского (умершего в 1839 году).

При первом же свидании Евгений Абрамович произвел на меня невыразимое впечатление. Его счастливая и симпатичная наружность, его скромный вид, тихая, умная речь сейчас же поселили во мне беспредельное к нему благоговение.

Как, думал я: это творец *Эды, Бала, Наложницы,* — и такой скромный, даже, можно сказать, застенчивый! И я читал мысленно следующий о нем отзыв П. А. Плетнева, напечатанный в *Северных Цветах* 1825 года: «Между тем, как мы воображали, что язык чувств уже не может у нас сделать новых опытов в своем искусстве, явился такой поэт, который разрушил нашу уверенность. Я говорю о Баратынском. В элегическом роде он идет новою, своею дорогою. Соединяя в стихах своих истину чувств с удивительною точностью мыслей, он показал опыты прямо классической поэзии. Состав его стихотворений, правильность и прелесть языка, ход мыслей и сила движений сердца выше всякой критики. Он ясен, жив и глубок. Во всем отчет составляет отличительность его стихов. Нет слова, нет оборота, нет картины, где бы вы не чувствовали ума и вдохновения. Разбирайте строго каждый его стих, следуйте за ним внимательно до конца стихотворения: и вы признаетесь, что он извлек все лучшее из своего предмета, отбросил все излишнее и не забыл ничего необходимого. Но сколько разнообразия во всех его самых легких произведениях! Игривое и важное, глубокое и легкое, истинное и воображаемое: все он постигнул и выразил».

На другой день приезжает ко мне Стриневский и говорит:

— Ну, брат, ты вчера сконфузил Баратынского.

— Чем? — спрашиваю.

— Тем, что при нем, хотя и про себя, читал его стихотворения, лежавшие у меня на столе!

Вскоре приглашен был я Баратынским к нему обедать, в дом его, что на Спиридоновке.

Тут я имел честь познакомиться с достойною его супругою, Настасьей Львовной, и батюшкой ее, Л. Н. Энгельгардтом.

В половине августа того же 1835 года Евгений Абрамович просил меня написать апелляционную жалобу его супруге в 4-й д<епартамен>т правительствующего сената, на решение Казанской гражданской палаты, по делу о спорных у нее с разными помещиками землях, Казанского уезда, по деревне Князь-Камаевой, Иски-Казань тож.

Жалоба была написана и отправлена в сенат 5 сентября 1835 г.

Баратынский нашел жалобу хорошо написанной, он одобрял ее в отношении слога и спрашивал меня, чрез Стриневского, сколько мне следует за труды? Получив в ответ, что от денег я отказываюсь, а желаю иметь в подарок его стихотворения, Баратынский прислал мне с Стриневским же свои стихотворения в отличном переплете. На этой книжке рукою автора написано: «Петру Григорьевичу Кичееву. Е. Баратынский».

Позже, когда мы с Баратынским сблизились, он подарил мне свои стихотворения под названием: «Сумерки», уже с более лестною для меня надписью: «Одному из лучших друзей моих, Петру Григорьевичу Кичееву. Евгений Баратынский».

Конечно, в продолжение девятилетнего нашего с ним знакомства, в поездки в наши имения, за Троицу, обеды, вечера, и т. п., — было довольно времени кое о чем поговорить, потолковать. Разумеется, я более слушал, благодаря судьбу, что она послала мне такого знакомого, которого давно жаждала душа моя. Ум его казался мне всеобъемлющим. Не помню, чего бы он не разрешил для меня совершенно удовлетворительно, не исключая вопросов самых возвышенных. Согласно с почтеннейшим Н. В. Путятой*, могу удостоверить, что самой задушевной идеей Баратынского было — освобождение помещичьих крестьян. Он привлек мое внимание к этому предмету и заставил разделять его мысли.

Признаюсь, сначала я не мог себе представить, как все это может осуществиться на деле? Я, человек семейный и не богатый, обладавший небольшим имением, заложенным в опекунском совете, спрашивал: как же поступят с долгом нашим кредитным установлениям? Баратынский, нисколько не затрудня-

* *См. переписку Е. А. Баратынского с Н. В. Путятой: Русс. Арх. 1867 г. № 2, стр. 281.*

ясь, отвечал: примут на счет государства*. Тогда, успокоенный, и я прилепился к идее Баратынского, и насколько понимал этот предмет, выразил в своих «Мыслях по крестьянскому делу» в № 8 *Журнала Землевладельцев* на 1858 г., и повторенных в моих Воспоминаниях о пребывании неприятеля в Москве, в 1812 г.

Таким образом, переходя от предмета к предмету, разговор наш коснулся однажды самого чувствительного в жизни Евгения Абрамовича, исключения его из Пажеского корпуса, при чем он мне сказал: «видите ли, любезный Петр Григорьевич, куда повело наказание меня — можно сказать ребенка: я теперь только губернский секретарь (при этом он слегка улыбнулся), а если бы окончил курс учения в Пажеском корпусе, то, полагаю, я принес бы более пользы своему отечеству»...

Так окончил грустный свой рассказ Евгений Абрамович. На вопрос мой, что же он делал по исключении из корпуса? — он продолжал: «Поехал в Бельское имение к дяде. К счастию, нашел там хорошую библиотеку: всю ее перечитал. Потом от бездействия напала на меня страшная тоска. Стал добиваться позволения вступить в военную службу и наконец добился звания честного солдата. Но офицерский чин не скоро мне дался, несмотря на некоторые протекции. Так, один раз меня поставили на часы во дворце, во время пребывания в нем покойного государя императора Александра Павловича. Видно, ему доложили, кто стоит на часах: он подошел ко мне, спросил фамилию, потрепал по плечу и изволил ласково сказать: послужи! В другой раз, когда у одного вельможи (Баратынский называл фамилию, но я ее не помню) умер единственный сын, и государь соблаговолил навестить огорченного отца, то последний стал просить государя — возвратить ему сына прощением меня, государь опять милостиво изволил отозваться: «рано, пусть еще немного послужит».

Не скрыл от меня Евгений Абрамович и одной, хотя безвредной, но удивительной проказы в бытность его в Пажеском корпусе**.

* *Нам говорили, что Баратынский предполагал, в случае принятия опекунского долга на государственный счет, что этот долг мог бы быть уплачен в казну крестьянами, с рассрочкою платежей.*

** *Хотя это происшествие рассказано Кенигом, в его Литературных Очерках, но здесь мы передаем его со слов самого Евгения Абрамовича.*

Рядом с Пажеским корпусом, по главному фасу, чрез полукруг здания помещалась католическая церковь*. Не имея об этом никакого понятия, Баратынский с одним из товарищей, после нескольких попыток, успел, через карниз того полукруга, под крышей, проникнуть на чердак церкви и взойти в нее по лестнице, которая не была заперта. Сначала они только удивились своему открытию; но при вторичном посещении им пришло на мысль — осветить церковь так, как она освещается по торжественным дням. Все свечи и лампады были зажжены. Время было около полуночи. Стоявший против церкви на часах будочник вдруг поражается этим несвоевременным и ярким освещением, а двери видит запертыми. Будочник посылает товарища за квартальным, тот приглашает частного пристава; наконец, приехал и полицеймейстер. Позвали ксендза и ктитора; вошли в церковь со всеми предосторожностями; но виновников освещения не сыскали. Так происшествие это и осталось в свое время неразъясненным и неразгаданным.

Не стану описывать дел, поручаемых мне Баратынским и Л. Н. Энгельгардтом. Они имеют особый интерес только для меня. Но расскажу последнее мое свидание с Евгением Абрамовичем, происходившее 21 августа 1843 года.

Надо сказать, что перед этим временем мы по два раза обменялись визитами и не заставали друг друга, а между тем обоим нам настояла надобность видеться. Узнаю, что Евгений Абрамович уехал с семейством в с. Мураново, Дмитровского уезда. Нечего было делать; и я отправился с женою в свое переславское имение, сельцо Деревково, намереваясь на обратном пути заехать в Мураново. По дороге мы посетили Хотьков монастырь. При входе в храм слышим, поют: «со святыми упокой», и в эту же минуту нас окружают Евгений Абрамович, его супруга и семейство его. Пошли взаимные приветствия и рекомендации, так как со мной была второбрачная жена, еще незнакомая с Баратынскими. Наконец, они просили нас заехать к ним, на обратном пути в Мураново, и объявили, что в первых числах сентября они отправляются за границу.

Неожиданный приезд ко мне в имение тестя моего, покойного П. М. Рудина с семейством, несколько замедлил наше пребывание в Деревкове, так что мы уже не надеялись застать

* *В этой церкви похоронен последний польский король Станислав Август Понятовский*

Баратынских в Муранове и спешили прямо в Москву. На другой же день, по возвращении, отправляюсь к ним; но, к моему прискорбию, узнаю, что они только накануне уехали за границу.

1844 г., 15 августа, неожиданно был я поражен известием о кончине Евгения Абрамовича, прочитав об этом в С.-Петербургских газетах.

В июне месяце 1850 г., в бытность мою в С.-Петербурге, я посетил Александро-Невскую лавру и стал отыскивать могилу незабвенного нашего поэта: я нашел ее на новом кладбище. Прах Баратынского покоится под мраморным памятником (на манер рисунка на обертке стихотворений его «Сумерки»); в медальоне помещен рельефный портрет поэта, чрезвычайно схожий, с следующею надписью из его стихотворения «Отрывок»:

В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.

Пожалел я, что надпись не заключает в себе следующего четверостишия из того же «Отрывка».

Там, за могильным рубежом,
Сияет день незаходимый,
И оправдается Незримый
Пред нашим сердцем и умом!..

При взгляде на памятник Баратынского сейчас колена мои невольно подогнулись, и я усердно помолился о упокоении прекрасной души его в тех небесных селениях, которые она еще здесь провидела и где, надеемся, по милосердию божию, должна находиться.

Не оставляла меня своим лестным доверием до самой своей кончины и вдова Евгения Абрамовича, Настасья Львовна, женщина замечательного ума и высоких христианских добродетелей. Она пережила супруга своего без малого 16-ю годами. Покойный Н. Ф. Стриневский сказывал, что Евгений Абрамович не выпускал в свет ни одной пиесы без ее одобрения.

Да почиет и ее прах в мире, а чистая душа ее да сольется в божестве с подобною душою земного ее мужа!

Л. Е. БОРАТЫНСКИЙ.
Из «Материалов для биографии Е. А. Баратынского»

<...> Хотя новое литературное поприще, на которое вступал Баратынский, улыбалось ему, однако он испытал тягостное впечатление, как говорил впоследствии, когда увидел свои стихотворения и имя свое в первый раз напечатанными.— В это же время, в Петербурге, Евгений Абрамович познакомился с некоторыми из декабристов, с Кюхельбекером ближе, чем с прочими; но ни он, ни Дельвиг не были посвящены в тайны существовавшего уже тогда политического общества, хотя Баратынский, в молодых годах, не разделяя их цели, со всем увлечением своих лет сочувствовал тому, что заключается великодушного, в обширном, неопределенном и гибком значении слова: *«свобода»*.

Вот несколько стихов, дошедших до нас по воспоминанию, на эту тему, внушенных ему на одном из ужинов этой молодежи:

С неба чистая, золотистая,
К нам слетела ты,
Все прекрасное, все опасное
Нам пропела ты.

<...> Однажды спрашивали у Баратынского: что есть поэзия? — он отвечал: «поэзия есть полное ощущение известной минуты». Некоторые упрекали его в частой переделке стихов, уже напечатанных и имевших успех; замечено, однако, что многие стихотворения, им переделанные, являлись в печати с новым оттенком мысли и получали чрез это характер совершенно свежих произведений. Поэт был чрезвычайно строг к самому себе: успех не удовлетворял его, ежели он чувствовал возможность чего-либо усовершенствованного.

<...> Перед отъездом из Парижа Баратынский был болен простудой. Парижский доктор не советовал ему ехать в Неаполь, опасаясь для него вредного влияния знойного Неаполитанского климата. Эти опасения, по-видимому, не были без основания. Евгений Абрамович был склонен к сильным головным болям. Беспокойство об исходе болезни жены, заболевшей незадолго до его кончины, вероятно, также способствовало к усилению оказавшейся у него при этом случае головной боли. На другой день после появления ее, рано утром, он почувствовал стеснение в дыхании и, до прибытия доктора, скончался скоропостижно 29 июня/11 июля, в день Апостолов Пе-

тра и Павла, 44 лет от роду. Тело покойного перевезено в Петербург. Поэт погребен 30 августа 1845 г. в Александро-Невском монастыре, на так называемом Лазаревом кладбище, близ гробниц Гнедича и Крылова.

Из статьи Е. А. Боброва «Памяти Л. Е. Боратынского»

Недавно скончался Лев Евгеньевич Боратынский, старший сын одного из величайших русских поэтов. Я был знаком со Львом Евгеньевичем, хотя и недолгое время, но довольно близко и сообщаю несколько сведений о нем и кое-что из его рассказов мне, главным образом, о своем славном отце.

Я познакомился со Львом Евгеньевичем осенью 1902 г., в Казани, где я тогда служил. Исполнившееся столетие со дня рождения поэта пробудило интерес к нему, и я начал тогда специальные занятия жизнью и поэзиею Е. А. Боратынского. Кстати сказать, по случаю этого юбилея в Казани было устроено публичное торжество в память поэта, на котором, как я слышал, присутствовали сын, внук и правнук поэта. Констатируя большую скудость биографических сведений о поэте Боратынском, зная при том, что его потомки живут здесь же, в Казани, я и решился обратиться с просьбою о пополнении моих материалов непосредственно к сыну поэта, Льву Евгеньевичу.

К сожалению, Л. Е., как оказалось, жил не в самом городе, а в имении своей сестры, г-жи Геркен, Юматове, Свияжского уезда. В Казани Л. Е. бывал только наездами. На мое письмо к нему он немедленно отозвался, а потом и лично навестил меня. После этого мы видались с ним в каждый его приезд в Казань и подолгу беседовали о старине, преимущественно об его отце. Беседы эти происходили и у меня и у него: останавливался он не у своего племянника, владеющего собственным домом на Театральной площади, а в гостинице «Новый Пассаж» на Воскресенской улице.

Лев Евгеньевич был старший сын поэта, Евгения Абрамовича Боратынского, от брака, заключенного им в 1826 году в Москве с Настасьей Львовною Энгельгардт; названный Львом в честь своего деда по матери, он родился 18 июля 1829 г., получил прекрасное и разностороннее воспитание, отчасти под личным руководством отца, и сопровождал вместе со своим

младшим братом Николаем, тоже ныне покойным, обоих родителей в 1844 г. за границу, откуда его отцу уже не суждено было возвратиться живым. По окончании курса в Петербургском университете со званием действительного студента Л. Е. служил сначала в Министерстве иностранных дел, был потом мировым посредником в Тамбовской губернии. Чем он занимался после того, я не знаю. Во время нашего с ним знакомства ему было уже за 70 лет, и он, старый холостяк, жил на покое у своей сестры. <...>

Л. Е. Боратынский немало видал на своем долгом веку, и рассказы его были разнообразны и интересны. Он знал многих выдающихся людей, не только среди чужих, но и между своими родственниками; достаточно назвать имена Рачинских, Путят, Павлищевых, Энгельгардтов, Тютчевых, которые состояли в родстве с Боратынскими. <...>

Что касается моих вопросов, то сначала Л. Е. не был особенно щедр на объяснения. Печальное событие в юности поэта, исключение из Пажеского корпуса за воровство, и враждебные толки, не смолкавшие до самой его смерти, приучили и самого поэта, и его семейных не распространяться об его биографии. Взгляды Льва Евгеньевича на этот счет хорошо обрисовываются в одном его письме ко мне, из которого я приведу маленькую выписку.

«Едва ли найдется кто-либо», писал Л. Е., «память которого в разных заметках и энциклопедических лексиконах так была заброшена грязью, как память моего отца*, налегая на несчастный эпизод — исключение из Пажеского корпуса, извращением смысла его стихотворений, что, впрочем, происходит от того, что не всякий усваивает смысл и чувства, в них содержащиеся. Хотя я *просил Вас не упоминать о письме моего отца к Жуковскому***, но теперь ввиду разных статей, в которых кратко излагается об исключении из корпуса с некоторыми оттенками, которые производят весьма неблагоприятное впечатление,— мне кажется, что необходимо приложить к предполагаемой Вами биографии это письмо, с сокращением, исключив из него касающееся личностей, напр. Криштофовича...»

Впоследствии, когда мы познакомились поближе, Лев Евгеньевич стал гораздо откровеннее. Он сам принял участие

* *Конечно, преувеличение! Сколько помнится, Л. Е. разумел здесь статью С. А. Венгерова в «Словаре» его.*

** *Где сам поэт рассказывает о своем проступке.*

в моей работе, собирая материалы, делал выписки из старых журналов и книг. Бумаг своего отца он, по его словам, уже не в состоянии был предоставить мне на просмотр,— по той причине, что покойный брат его *замуровал* их в стене своего казанского дома. Надо думать, не скоро еще доберутся до них исследователи, если они еще до того не сгорят вместе с домом в каком-нибудь грандиозном пожаре! Впрочем, кое-что Л. Е. дал мне в копии. <...>

Лев Евгеньевич не раз говорил о своих предках, как Дмитрий Божидар, коронный подскарбий, в XIV в. построил замок *Боратын,* т. е. Богом ратуемый, «Божья оборона», который до начала XIX в. находился во владении Стадницких и от которого образовалась фамилия Боратынских (по-латыни de Boratyn). Смоленская земля переходила от поляков к русским и обратно. Боратынские обладали на свои земли и королевскими привилегиями, и царскими грамотами. У дяди Льва Евгеньевича, Андрея Ильича, долго хранилась грамота Ивана Грозного. Была грамота еще от царя и великого князя (не императора еще) Петра Алексеевича. Иван Петрович Боратынский, бельский шляхтич, принял православие и стал родоначальником русских Боратынских, сохранивших за собою польский герб *Корчак* (ковш). Жалованное Ивану Петровичу имение Голощапово было потом во владении Льва Евгеньевича. Когда вышел соответствующий том «Русского биографического словаря», где были помещены биографии Боратынских, Лев Евгеньевич писал мне: «Родословная Боратынских здесь неполная. По документам, представленным в Казанское депутатское собрание и там хранящимся, у Ивана Боратынского было два сына, старший — Павел, и младший — Василий. У Павла был сын Богдан, а у Василия сын Андрей, у Андрея,— владельца имения Подвойское (которое тоже принадлежало Льву Евгеньевичу), были сыновья, Абрам, Богдан, Петр, Илья, Яков. А у Абрама были сыновья Евгений (поэт), Ираклий, Лев и Сергей. Биография Богдана Андреевича тоже неполная в «Словаре»: так, не сказано, что он участвовал в морском сражении соединенных флотов при Наварине и что ему были поручаемы военно-дипломатические дела в Индии, как говорится в «Архиве Воронцовых», в письме Воронцова к Павлу I».

Лев Евгеньевич хорошо помнил свое детство и своего деда по матери, Льва Николаевича Энгельгардта, который был вспыльчивого характера. Л. Е. очень забавно рассказывал, как робел его деда сосед по Муранову (имению), Антон Антонович

Антонский-Прокопович («Три Антона» по прозванию студентов), бывший в начале XIX в. ректором Московского университета и Благородного при нем пансиона; особенно боялся он Энгельгардта, играя с ним в карты.

Мне было очень интересно выяснить, каким был поэт Е. А. Боратынский среди домашней обстановки, в своей семье. На этот вопрос старец благодушно улыбнулся и произнес:

Блистательных туманов царь! *

И в своей семье поэт оставался глубоко погруженным в думы и мечты.

Семья поэта была многочисленная: трое мальчиков, Лев, Дмитрий, Николай, четыре девочки, Александра (первый ребенок), Екатерина, Мария, София. Детей, по рассказу Льва Евгеньевича, держали очень мягко, почти слабо. Телесных наказаний не было и в помине, детей даже не ставили в угол; наказания для провинившихся состояли в лишении за столом сладкого или еще одного блюда. Отец на детей никогда почти не сердился, прикрикивал на них очень редко и вообще относился к ним нежно; разговаривал он с ними серьезно, а со старшими детьми своими поэт старался держать себя как с друзьями, почти на товарищеской ноге.

На воспитание детей не щадили издержек. Для английского языка держали гувернантку-англичанку, а для немецкого языка и для преподавания элементарных предметов — онемеченного латыша Беккера, который отличался прирожденными большими математическими способностями и напр., не изучав алгебры, решал алгебраические задачи арифметическим путем. По-французски говорили в семье родители между собою и с детьми; впрочем, сам поэт обращался к детям чаще по-русски.

Русскою грамматикою и словесностью со старшим сыном, Львом Евгеньевичем, занимался одно время сам отец. Он проходил с сыном реторику по Кошанскому и очень хвалил выбор приведенных там образцов. К эпохе этих занятий относится и «первая стихотворная этюда» Льва Евгеньевича, вызвавшая у отца ласковое и добродушно-шутливое приветствие — великолепное по форме:

Здравствуй, отрок сладкогласный!
Твой рассвет зарей прекрасной
Озаряет Аполлон.

* *Стих самого поэта Боратынского о себе в стихотворении «Осень», строфа 8-я.*

Честь возникшему пииту!
Малолетнюю Хариту
Ранней лирой тронул он.
С утра дней счастлив и славен,—
Кто тебе, мой мальчик, равен?
Только жавронок живой,
Чуткой грудию своею
С первым солнцем полный всею
Наступающей весной.

Поэтом Л. Е. не сделался, но к брату его, Николаю Евгеньевичу, в некоторой степени перешел стихотворный дар отца. Он вполне свободно владел стихом, как это видно из книжки его стихотворений, напечатанной им на правах рукописи «Друзьям на память», Н. Е. Б. Казань, 1882, в типографии университета — 120 страниц (очень много опечаток).

Поэт Е. А. Боратынский не готовил своих детей ни к какой определенной карьере; он хотел, по-видимому, дать им лишь общее воспитание, ничего не предопределяя для них в будущем. Эту дорогу свою дети должны были выбирать и проходить собственными силами.

На пятнадцатом году Л. Е. вместе с братом Николаем сопровождал родителей в фатальное путешествие за границу. Перед этой поездкою, по его словам, отец стал чрезвычайно быстро седеть и стареть. Вот почему Огарев в своем стихотворении на смерть поэта Е. А. Боратынского говорит об его «хладной седине» и называет его «старцем» в 44 года. Но признаков болезни не было заметно, по крайней мере для домашних. Однако Иванчин-Писарев, видевший поэта перед путешествием, писал Погодину, что здоровье поэта показалось ему расстроенным.

Поездкою своею поэт был очень доволен, находился все время в бодром, веселом и жизнерадостном настроении,— и ничто вообще не предвещало близкого конца. Из пребывания в Париже Льву Евгеньевичу особенно врезался в память обед, данный его отцом эмигрантам, о чем он не упомянул в биографии. Разговоры за обедом были посвящены одной, общей теме — *уничтожению крепостного права.* Присутствовали, между прочим, Сазонов и Иван Головин, произнесший на тему об эмансипации крестьян чрезвычайно эффектную и красноречивую речь.

В Неаполе тоже вначале жилось очень хорошо, и отец был в восторге от чудной природы. На день Петра и Павла, утром рано, припадок отца разбудил всю семью. У него стеснило дыхание, и начали холодеть ноги. Л. Е. бросился расти-

рать их — все было напрасно. Доктор не застал поэта уже в живых. Рассказывая о внезапной смерти отца, Л. Е. через шестьдесят (!) лет после события расплакался. Так он любил отца...

Герметически закупоренный гроб с останками поэта хотели до перевозки в Россию на корабле поставить в церковь греко-униатов, имеющуюся в Неаполе. Но попы этой церкви заявили, что, хотя они тоже «греки» (т. е. греческого обряда), но положить к себе останки православного не могут. Пришлось просить лютеранского пастора, — и в лютеранской церкви гроб простоял почти целый год...

Таковы были рассказы благодушного старца, который теперь и сам спит в сырой земле. Sit tibi terra levis!*

П. А. ПЛЕТНЕВ

Евгений Абрамович Баратынский

(Фрагменты)

I

Первые из стихотворений Баратынского начали показываться в печати около 1818 года — в одно время с стихотворениями барона Дельвига и Пушкина. Молодые поэты тогда же привлекли к себе все внимание и дружеское участие Жуковского, для которого появление нового таланта до сих пор составляет праздник души. Впрочем, наши лучшие писатели всегда обнаруживали это чувство: таковы были отношения Ломоносова к Поповскому, Державина к Дмитриеву, Карамзина к Жуковскому, Пушкина к Гоголю.

В эпоху, о которой здесь говорится, представители русской литературы жили уже в С.-Петербурге. Карамзин готовил к печатанию первое издание бессмертного своего труда, уделяя только вечера свои обществу собиравшихся у него государственных людей и тех литераторов, которые искусство любили по призванию. Подобное собрание являлось каждую субботу у Жуковского. Крылов, Гнедич, Батюшков и несколько других писателей, тогда сделавшихся известными по своим даровани-

* *Пусть земля тебе будет легка! (лат.)*

ям и вкусу, дружески беседовали о том, что могло служить к совершенствованию занимавшего их искусства, сознавая в его достоинстве и успехах славу и пользу общественную. В это время понятие о литераторе представляло соединение благороднейших качеств образованности, бескорыстно посвящаемых отечеству,— и таким образом писатель наравне с государственным человеком исполнял высокий долг гражданина <...>

II

Как о поэте, о Баратынском теперь можно говорить, не подвергаясь подозрению в пристрастии: наша литература и его утратила, лишившись столь многих из его сверстников. Он скончался в Неаполе 29 июня (10 июля) нынешнего года, быв только 43-х лет от роду. Легко вообразить трогательное чувство уныния в сердце Жуковского, который год от году находит себя все более одиноким, мысленно провожая друзей своих за пределы здешнего мира. Он первый почувствовал в Баратынском истинное, оригинальное элегическое настроение, талант в полном значении слова; он первый принял его в святилище поэзии. После элегий самого Жуковского, Батюшкова и тогда напечатанных Пушкина — элегий, уже, по-видимому, выразивших все стороны меланхолии, тихих ощущений, нежной теплоты сердца и блестящих картин воображения,— после этих образцов, казалось, новый элегический поэт должен быть только подражатель. Но так неисчерпаема глубина души человеческой и так беспредельна область искусства, что новому поэту всегда останется довольно и мыслей и чувств и красок жизни для его независимой деятельности. Так сама природа до бесконечности разнообразит физиономии наши, хотя и ограничивается определенными навсегда частями и формами.

Одарен будучи умом точным, аналитическим и деятельным, Баратынский внес в поэзию отчетливость идей, верные оттенки понятий и определительность их выражений. Каждый стих его врезывается в памяти читателя, как оконченный образ мысли <...>

VII

Стихотворения Баратынского, судя по их роду и совершенствам, столь утонченно-художническим, естественно должны были являться в публику, по точному и оригинальному выражению Жуковского, *для немногих.* Таков удел каждого произведе-

ния изящных искусств, когда в нем любопытство массы не встречает привычной своей пищи: намеков на современные сплетни (политические или семейные — все равно), оппозиционных выходок, запутанных повествований, хотя бы в них и тени не было натуры и истины, сцен карикатурных, возгласов дюжинных и тому подобного. Дорожа вдохновенными трудами своими как честию и не понимая так называемого ремесла литературного, Баратынский не мог принадлежать ни к одной из писательских партий: он был друг одних литераторов чистой сферы, которым нет никакой надобности в мелочных подпорах. С журналистами и подобными им *художниками* Баратынский изредка сносился только своими эпиграммами, которые можно назвать и элегиями, потому что многие от них смеялись действительно до слез. Около 1825 года он совсем переселился отсюда в Москву. Семейное счастие еще более привязало его к занятиям тихим и усладительным. Он и прежде мало находил удовольствия в рассеянности общества; а теперь оно для него почти не существовало. Но как душа его полна была этих святых, неиссякаемых радостей, которыми окружают нас умственные труды и присутствие людей, нами любимых и нас любящих! <...>

Но и в эту эпоху, мало заботясь о том, что делалось в нашей литературе, особенно когда тон ее и цель так резко изменились, Баратынский постоянно сохранял свои сношения с Жуковским, Пушкиным и бароном Дельвигом. В С.-Петербурге тогда находился и князь П. А. Вяземский, по службе живший прежде в Варшаве. Он вполне ценил талант Баратынского и любил его замечательный, тонкий ум. Их неоднократные свидания в Москве утвердили дружбу, основанную на взаимном душевном уважении. Два таланта, столь известные у нас остроумием, вкусом, образованностию, лучшим тоном, игривостию и силою слога, чуждые мелочного соперничества, с удовольствием сообщали друг другу мнения свои о предметах, занимавших их любознательность. Все еще помнят прекрасное Посвящение князю Вяземскому, которое Баратынский напечатал, издавая свои *Сумерки* <...>.

VIII

Самый чувствительный удар приготовила судьба Баратынскому в 1831 году: умер барон Дельвиг, еще полный сил, поэзии и жизни. В ранней молодости соединила их любовь к общему назначению: почти вместе начали они писать; вместе несколько

лет жили — и свято хранили обязанности дружбы, взаимно совершенствуя один в другом счастливые свои способности. Кто перечитывал собрания их стихотворений, тот давно знает, с какою верою и любовию они передавали друг другу свои впечатления, думы и надежды. Кончина барона Дельвига еще глубже погрузила Баратынского в его отчуждение от появлявшихся тогда новых литераторов: между ними и другом своим барон Дельвиг составлял как бы звено. Наконец в 1837 году и с Пушкиным совершилось предсказанное им самим, когда на последнем для него лицейском празднике так неожиданно излились из его уст следующие стихи:

Шесть мест упраздненных стоят;
Шести друзей не узрим боле;
Они, разбросанные, спят,
Кто здесь, кто там, на ратном поле,
Кто дома, кто в земле чужой;
Кого недуг, кого печали
Свели во мрак земли сырой —
И всех мы братски поминали.

И, мнится, очередь за мной...
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных,
Навек от нас ушедший гений.

Пушкин, наравне с Жуковским и другими законными судьями в литературе, достойно сознавал талант Баратынского. В своих сочинениях (т. XI, стр. 236—242*) он посвятил особую статью разбору его стихотворений. Эта критика может служить образцом, как надобно рассматривать поэта. Сколько в ней знания высокого искусства! сколько сочувствия с нежными, для других неуловимыми красотами! сколько вкуса и того удивительного ума, которым так блистал Пушкин!

Между тем увеличившееся семейство Баратынского требовало самых прозаических забот о приведении в порядок всех дел его по имению. И здесь обнаружил он деятельность зрелого ума своего. В течение нескольких лет он все довел до желаемого окончания — и мог, как в юности, беззаботно предаваться одному благотворному и неизменно-сладостному труду ума

* *В издании Анненкова, VI, 99.*

и воображения. Москва уже не удовлетворяла душевным его требованиям и лучшим помышлениям. Он готовился жить в С.-Петербурге, там, где оставалось еще несколько верных ему друзей, где некогда явилась ему муза, бросившая столько прекрасных цветов на тернистый путь жизни, и где он мог по своему плану заняться воспитанием детей своих. Во время последних своих поездок в С.-Петербург он увеличил число знакомств, достойных его по литературе, нашедши в авторе *Истории России в рассказах для детей* и в переводчике *Фритиофа* такие лица, которые сочувствовали с ним и которых литературные труды и мнения совершенно согласны были с его благородным образом мыслей.

Но прежде окончательного сюда переезда, который бы ввел его в прекрасный и уже постоянный круг деятельности как поэта и как главы семейства, он желал, пользуясь счастливыми своими способами, запастися на остаток тихих дней приятнейшими впечатлениями и воспоминаниями роскошного юга Европы и всего, чем пленяют душу поэта вдохновенные искусства и успехи просвещения. Он предположил прожить несколько времени в чужих краях. С этою целию, прошлого 1843 года осенью, он прибыл с семейством своим в С.-Петербург, откуда с женою и старшими детьми пустился сухим путем за границу. Пользуясь совершенным здоровьем, он провел зиму в Париже, где у многих из лучших литераторов встретил прием самый радушный.

IX

Наступила весна нынешнего 1844 года. Баратынскому живо представилась вся прелесть Неаполя и его окрестностей в эту пору года. Он решился отправиться туда из Марселя на пароходе. Парижский его доктор не советовал ему предпринимать этого путешествия, полагая, что знойный климат Неаполя может быть вреден для его здоровья. Но какое-то неодолимое желание насладиться скорее раем Италии не позволило поэту принять его совета. Он весело пустился по лазури Средиземного моря и в память тогдашнего переезда написал прелестное стихотворение свое: *Пироскаф,* которое прислал вскоре сюда для напечатания в *Современнике* (т. XXXV, стр. 215). В Неаполе он нанял загородный домик, переехал туда и жил в совершенном уединении, деля время между купаньем в море, прогулками и поэзиею. Там он вспомнил давно умершего дядьку своего

итальянца и написал к нему послание в роде его прежних (например: к Богдановичу, к Гнедичу), которые исполнены зрелости мыслей и игры воображения. Это стихотворение он также прислал в *Современник* (т. XXXV, стр. 217*). Оно было его последним сочинением — лебединою песниию нашего незабвенного поэта. Нас поражает в этом послании его одно особенно место, где, изобразив всю прелесть Неаполя, он с каким-то умилением выражается, как бы счастливо было там навсегда

...незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладостной с последним, вечным сном.

И поэтическое желание его, к несчастию нашему, исполнилось. Накануне русского праздника святых апостолов Петра и Павла занемогла жена Баратынского. Доктор советовал, чтобы ей открыть кровь, — и когда муж удивился, что надобно употребить эту сильную меру в припадке по-видимому обыкновенном, то доктор объявил, что иначе может последовать воспаление в мозгу. Слова его так встревожили Баратынского, что он сам почувствовал лихорадочный припадок, который ночью усилился. На другое утро, прежде нежели доктор успел явиться к своим больным, Баратынский скончался скоропостижно. Вероятно, перемена климата уже приготовила ему столь неожиданную и страшную судьбу.

Он довольно написал, чтобы имя его и сочинения всегда оставались украшением русской литературы. Но в эти лета, когда все идеи достигают полноты и зрелости; в этих обстоятельствах, когда кончены прозаические заботы жизни, можно было сделать еще более. И кто близко и хорошо знал Баратынского, тот без сомнения не без грусти задумается о надеждах, навеки нами утраченных.

23 августа
1844 г.

* *Названные здесь два стихотворения см. в Сочинениях Баратынского, М., 1869, стр. 171 и 173, второе под заглавием: Дядьке-Итальянцу.*

И. В. КИРЕЕВСКИЙ

<Из вступительной заметки к библиографическому отделу журнала «Москвитянин»>

<...> Более, чем немногими прекрасными явлениями, прошедший год памятен будет в литературе нашей своими незаменяемыми утратами. Баратынский, певец любви, печали, сердечных дум и сердечных сомнений, своеобразный поэт, высокий, глубоко чувствующий художник, искренний в каждом звуке, отчетливо изящный в каждой мечте, похищенный преждевременною смертию, оставил в словесности нашей несколько прекрасных созданий, не оцененных по своему достоинству, но почти ничтожных в сравнении с тем, что он мог бы сделать, если бы возможность деятельности измерялась одною силою дарований. В последнее время писал он особенно мало и еще менее был понят и оценен монополистами литературных мнений, самодовольными журнальными судьями, которые часто полурусским языком произносили приговор свой над его образцовыми, глубоко прочувствованными стихами; часто, по указанию ученических тетрадей, разбирали, щупали, ломали его нежные, художнические создания и, может быть, из доброго намерения давали ему свои назидательные советы и наставления. Не знаем, огорчало ли это Баратынского; думаем, что он мог бы утешиться приговором иных, не менее известных литераторов, как, например, Жуковского, Пушкина, Вяземского, Языкова, Хомякова, Дельвига, Дениса Давыдова, Шевырева, и многих других. Но кто разочтет по законам благоразумия меру чувствительности избранного таланта? По крайней мере, кажется, в последнее время, обманутый журнальными отзывами, он уже мало верил сочувствию публики. А может быть, в самом деле, он не ошибался. Может быть, большинство публики в своих сочувствиях не шутя руководствуется журнальными рецензиями, такими, разумеется, которые по сердцу, и по уму, и по вкусам этого большинства.

Место, принадлежавшее Баратынскому в нашей словесности, навсегда останется незанятым, и, может быть, еще долго неоцененным. Ибо даже после известия о его кончине журналы наши произнесли ему такой приговор, из которого ясно видно, что еще не пришло время отдать полную справедливость его поэзии. Один «Современник» был в этом случае, как и во многих других, благородным исключением из общего на-

строя умов. Прекрасная, умная, исполненная глубоким сочувствием и вместе справедливая, дружески-теплая и вместе просвещенно-беспристрастная статья, помещенная в нем о Баратынском, доказывает по крайней мере, что тот избранный кружок, для которого существует этот журнал, ценил его и его поэзию.

Мы не распространяемся здесь о поэзии Баратынского. Мы надеемся в одном из ближайших №№ «Москвитянина» доставить себе наслаждение высказать вполне наше мнение и о его созданиях. Теперь же упомянули мы о нем только потому, что говорили о наших утратах. <...>

Е. А. Баратынский

Баратынский родился в 1800 году*, то есть в один год с Пушкиным; оба были ровесники веку. От природы получил он необыкновенные способности: сердце глубоко чувствительное, душу, исполненную незасыпающей любви к прекрасному, ум светлый, обширный и вместе тонкий, так сказать, до микроскопической проницательности и особенно внимательный к предметам возвышенным и поэтическим, к вопросам глубокомысленным, к движениям внутренней жизни, к тем мыслям, которые согревают сердце, проясняя разум, к тем музыкальным мыслям, в которых голос сердца и голос разума сливаются созвучно в одно задумчивое размышление. В первом детстве получил он самое тщательное воспитание; оно много помогло впоследствии развитию его необыкновенно утонченного вкуса. Но молодость его была несчастлива. В далекой Финляндии, посреди дикой и мрачной природы, в разлуке с родными и близкими ему людьми, с неодолимою тоскою по родине, вдали от тех, кто мог бы понять его и утешить сочувствием, печально и одиноко провел он лучшие годы своей юности. Это обстоятельство, вероятно, содействовало к тому, что его самые светлые мысли и даже в самое счастливое время его жизни остались навсегда проникнуты тихою, но неотразимою грустию. Впрочем, может быть, он и от природы уже был склонен к этому направлению мысли, которое очень часто замечается в людях, соединяющих глубокий ум с глубокою чувствительно-

* *В селе Мара Тамбовской губернии Кирсановского уезда, 29 июня.*

стию. Оно происходит, вероятно, оттого, что такие люди смотрят на жизнь не шутя, разумеют ее высокую тайну, понимают важность своего назначения и вместе неотступно чувствуют бедность земного бытия. Оттого они даже в кругу забав и шумных удовольствий часто кажутся печальными; оттого самое чувство радости для них бывает соединено с непреодолимою задумчивостию и скорее похоже на грусть, чем на веселость обыкновенных людей.

Но между тем из Финляндии Баратынский мог иногда приезжать в Петербург, где в то время только явился первый выпуск учеников Царскосельского лицея — юношей, почти детей, связанных узами благородной дружбы, основанной на одинаковом воспитании, на общей, им внушенной любви к великому, к прекрасному, к просвещению, к наукам, к искусству, дружбы, особенно крепкой внутренним согласием их нравственных понятий. В числе их был молодой Пушкин, Дельвиг и весьма многие юноши, богатые талантами, или замечательные умом, или сильные характером, различные способностями, но все проникнутые нетерпеливою жаждою деятельности, живым стремлением к значительным целям жизни. Впоследствии не все развились одина́ково; различные обстоятельства развели их в различные стороны; некоторые могли остановиться в своем развитии; иные, может быть, могли уклониться от первого направления, впасть на некоторое время в крайность или заблуждение; другие счастливо совершили поприще свое; но в то время их общее дружеское сочувствие пробудило в каждом из них все лучшие способности души, так что из их значительного круга или от живого соприкосновения с ними вышли почти все замечательные люди того времени. С ними сошелся и Баратынский, и в их живительном обществе загорелась в душе его первая искра его поэтического таланта, уже приготовленного его прежнею жизнию. Так в хорошем, равно как и в дурном, сочувствие окружающих нас людей вызывает из сердца те стремления, которые без того, может быть, никогда не родились бы на свет. Общее мнение скоро соединило имя Баратынского с именами Пушкина и Дельвига, в то же время как внутреннее сродство сердечных пристрастий связало их самою искреннею дружбою, цело сохранившеюся до конца жизни всех трех.

Баратынский скончался в прошедшем году в Италии, которую он особенно любил в своих далеких мечтаниях, — в кругу своего семейства, где он нашел то душевное счастие, которое было главнейшею потребностию его любящего сердца. «Слад-

ко проходит здесь жизнь наша»,— писал он в последнем письме из Неаполя к своему брату.

Стихи Баратынского отличаются теми же качествами, какие составляли особенность его поэтической личности: утонченность наружной отделки всегда скрывает в них сердечную мысль, глубоко и заботливо обдуманную. Но между тем сколько ни замечательно их поэтическое достоинство, однако они еще не вполне высказывают тот мир изящного, который он носил в глубине души своей. Рожденный для искреннего круга семьи и друзей, необыкновенно чувствительный к сочувствию людей ему близких, Баратынский охотно и глубоко высказывался в таких дружеских беседах и тем заглушал в себе иногда потребность выражаться для публики. Излив свою душевную мысль в дружеском разговоре, живом, разнообразном, невыразимо-увлекательном, исполненном счастливых слов и многозначительных мыслей, согретом теплотою чувства, проникнутом изяществом вкуса, умною, всегда уместною шуткою, дальновидностью тонких замечаний, поразительной оригинальностью мыслей и особенно поэзией внутренней жизни, Баратынский часто довольствовался живым сочувствием своего близкого круга, менее заботясь о возможных далеких читателях. Оттого для тех, кто имел счастие его знать, прекрасные звуки его стихов являются еще многозначительнее, как отголоски его внутренней жизни. Но для других, чтобы понять всю красоту его созданий, надобно прежде вдуматься в совокупный смысл его отдельных стихотворений, вслушаться в общую гармонию его задумчивой поэзии.

БАРАТЫНСКИЙ В ПЕРЕПИСКЕ И ДНЕВНИКАХ СОВРЕМЕННИКОВ

А. Ф. БОРАТЫНСКАЯ — Б. А. БОРАТЫНСКОМУ. 1 марта 1817 г. Мара.

<...> Не знаю, велит ли Бог весною выбраться отсюда, но я сего очень, очень желаю, ибо оно весьма нужно детям моим, да и, может быть, узнаю что-нибудь верного о судьбе моего Евгения, которого печальное положение тем более тяготит мою

душу, что отменным своим поведением заставляет, если можно, еще более желать, чтоб он был порядочно пристроен в службе. Скажу вам, любезнейший братец, что я им чрезмерно довольна во всех отношениях и что с трудом понимаю, как мог он себя так потерять в Петербурге: мне это кажется ужасным сном <...>

А. С. ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 2 января 1822 г. Кишинев.

<...> Но каков Баратынской? Признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал до сих пор — ведь 23 года — счастливцу! Оставим все ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет <...>

А. С. ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 1 сентября 1822 г. Кишинев.

<...> Мне жаль, что ты не вполне ценишь прелестный талант Баратынского. Он более чем подражатель подражателей, он полон истинной элегической поэзии <...>

А. С. ПУШКИН — Н. И. ГНЕДИЧУ. 13 мая 1823 г. Кишинев.

<...> От брата давно не получал известия, о Дельвиге и Баратынском также — но я люблю их и ленивых. <...>

А. А. БЕСТУЖЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 5 сентября 1823 г. Петербург.

<...> P. S. Здесь был Баратынский, у которого мы купили его сочинения за 1000 рублей.

А. С. ПУШКИН — А. А. ДЕЛЬВИГУ. 16 ноября 1823 г. Одесса.

<...> Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю любовь к непорочной Музе Баратынского <...> Сатира к Гнед<ичу> мне не нравится, даром что стихи прекрасные; в них мало перца; *Сомов безмундирный* непростительно. Просвещенному ли человеку, русскому сатирику пристало смеяться над независимостию писателя? Это шутка, достойная кол<лежского> совет<ника> Измайлова. <...>

В. А. ЖУКОВСКИЙ — А. Н. ГОЛИЦЫНУ. 2 января 1824 г.

Милостивый государь князь Александр Николаевич!

Я недавно получил письмо, тронувшее меня до глубины сердца: молодой человек, с пылким и благородным сердцем, одаренный талантами, но готовый, при начале деятельной жизни, погибнуть нравственно от следствий проступка первой молодости, изъясняет в этом письме, просто и искренно, те обстоятельства, которые довели его до этого проступка. Несчастие его не унизило и еще не убило, но это последнее неминуемо, если вовремя спасительная помощь к нему не подоспеет.

Получив его письмо, написанное им по моему требованию (ибо мне были неизвестны подробности случившегося с ним несчастия), я долго был в нерешимости, что делать и где искать этой спасительной помощи. Наконец естественная мысль моя остановилась на вас. Препровождаю письмо его в оригинале к вашему сиятельству. Не оправдываю свободного моего поступка: он есть не иное как выражение доверенности моей к вашему сердцу, всегда готовому на добро; не иное что, как выражение моей личной, душевной к вам благодарности за то добро, которое вы мне самому сделали.

Письмо Баратынского есть только история его проступка; но он не говорит в нем ни о том, что он *есть теперь,* ни о том, чем бы *мог быть после.* Это *моя* обязанность. Я знаю его лично и свидетельствуюсь всеми, которые его вместе со мною знают, что он имеет полное право на уважение, как по своему благородству, так и по скромному поведению. Если заслуженное несчастие не унизило его души, то это неоспоримо доказывает, что душа его не рождена быть низкою, что ее заблуждение проистекло не из нее самой, а произведено силою обстоятельств и есть нечто ей совершенно чуждое. Кто в летах неопытности, оставленный на произвол собственной пылкости и обольщений внешних, знает, куда они влекут его, и способен угадать последствия, часто решительные на всю жизнь! И чем более живости в душе, то есть именно, чем более в ней такого, что могло бы при обстоятельствах благоприятных способствовать к ее усовершенствованию, тем более для нее опасности, когда нападут на нее обольщения, и никакая чужая, хранительная опытность ее не поддержит. Таково мне кажется прошедшее Баратынского: он споткнулся на той неровной дороге, на которую забежал потому, что не было хранителя, который бы с любовию остановил его и указал ему другую; но он *не упал!*

Убедительным тому доказательством служит еще и то, что именно в такое время, когда он был угнетаем и тягостною участию, и еще более тягостным чувством, что заслужил ее, в нем пробудилось дарование поэзии. Он — поэт! И его талант не есть одно богатство беспокойного воображения, но вместе и чистый огонь души благородной: прекрасными, гармоническими стихами выражает он чувства прекрасные, и простота его слога доказывает, что чувства сии *неподдельные,* а искренно выходящие из сердца. Одним словом, я смело думаю, что в этом несчастном, страдающем от вины, в которую впал он тогда, когда еще не был знаком ни с собою, ни с достоинством жизни, ни с условиями света, скрывается человек, уже совершенно понимающий достоинство жизни и способный занять не последнее место в свете. Но он исключен из этого света. Испытав горесть вины, охраняемый высокостию поэзии, он никогда уже не будет *порочным* и *низким* (к тому не готовила его и природа); но что защитит его от безнадежности, расслабляющей и мертвящей душу? Возвратись он в свет, он возвратится в него *очищенный;* можно даже подумать, что он будет надежнее многих чистых: временная, насильственная разлука с добродетелью, в продолжение которой он мог узнать и всю ее прелесть, и всю горечь ее утраты, привяжет его к ней, может быть, сильнее самых тех, кои никогда не испытали, что значит потерять ее.

Я смею думать, что письмо мое не покажется вашему сиятельству слишком длинным: я говорил с вами тем языком, который вы лучше других понимать умеете; и мне было легко с вами говорить им, ибо душевно вас уважаю и твердо надеюсь на ваше сердце. Оно научит вас, как поступить в настоящем случае. Представьте государю императору письмо Баратынского; прочитав его, вы убедитесь, что оно писано не с тем, чтобы быть показанным. Но тем лучше! Государь узнает истину без украшения. Государь в судьбе Баратынского был явным орудием промысла: своею спасительною строгостию он пробудил чувство добра в душе, созданной для добра. Теперь настала минута примирения — и государь же будет этим животворящим примирителем: он довершит начатое, и наказание *исправляющее* не будет наказанием губящим. Заключу, повторив здесь те святые слова, которые приводит в письме своем Баратынский: «Еще ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть, и тек нападе на выю его, и облобыза его!» Сей отец есть государь: последствия найдете в Святом писании.

С истинным почтением и сердечною привязанностию честь имею быть, милостивый государь, вашего сиятельства покорнейшим слугою — *В. Жуковский.*

В. А. ЖУКОВСКИЙ — Н. И. ГНЕДИЧУ. Начало 1824 г. Петербург.

Николаю Ивановичу Гнедичу *очень нужное.* Милый, прошу тебя непременно, нынче же узнать где хочешь и как хочешь, у Дельвига ли, у Вельзевула: когда именно вступил Баратынский в службу и отошли это к Тургеневу с надписью *нужное.* Нельзя ли нынче же? Есть ли записка моя не застанет тебя дома, то исполни это тотчас, возвратясь домой.— *Жуковский.*

А. С. ПУШКИН — А. А. БЕСТУЖЕВУ. 12 января 1824 г. Одесса.

<...> Баратынский — прелесть и чудо, *Признание* — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий, хотя бы наборщик клялся мне евангелием поступать со мною милостивее <...>

А. С. ПУШКИН — А. А. БЕСТУЖЕВУ. 8 февраля 1824 г. Одесса.

<...> Плетнева Родина хороша, Баратынской — чудо — мои пиэсы плохи: вот тебе и все о Полярной <...>

В. А. ЖУКОВСКИЙ — А. Н. ГОЛИЦЫНУ. 10 февраля 1824 г.

Я желал исполнить приказание вашего сиятельства, старался сделать краткое извлечение из письма Баратынского; но признаюсь вам, что не умел его сделать. В сем кратком извлечении были бы представлены одни главные происшествия, уже известные государю императору. Но важнейшее, то есть изъяснение причин, было бы опущено. Баратынский в письме своем ничего не утаивает, ничего не украшает: это письмо есть искренняя исповедь. Чтобы получить об нем самом настоящее понятие, чтобы, не извиняя вины, принять участие в виновном и увидеть возможность его нравственного исправления, необходимо нужно слышать его самого. Смею думать, что государь, знающий человеческое сердце, легко распознает язык истины, если удостоит своего милостивого внимания строки Баратынского, которого вся будущая жизнь, можно сказать, зависит теперь от тех немногих минут, которые его величество употре-

бит на прочтение прилагаемого здесь письма его. Прибавлю: от этих минут зависит, может быть, и жизнь матери. Нынче поутру еще услышал я от дяди Баратынского, что мать его от горести, произведенной в ней судьбою ее сына, лежит на одре болезни; а она имеет еще шестерых детей, из которых наш несчастный старший. И так государева милость, возвращая нравственное достоинство раскаявшемуся преступнику, может быть в то же время спасением и его матери, и так уже довольно пострадавшей.

Исполняя однако волю вашего сиятельства, присовокупляю здесь краткое сведение о Баратынском.

Баратынский выписан из пажеского корпуса в 1815 году с тем, чтобы его никуда иначе не определять, как в солдаты. Он вступил солдатом в лейб-егерский полк в марте 1818 года. Через восемь месяцев произведен в унтер-офицеры и с того времени служит в Нейшлотском полку.

Начальство неоднократно представляло его к чину.

В. Жуковский.

Д. В. ДАВЫДОВ — А. А. ЗАКРЕВСКОМУ. 6 марта 1824 г. Москва.

<...> Сделай милость, постарайся за Баратынского, разжалованного в солдаты; он у тебя в корпусе. Гнет этот он несет около восьми лет или более, неужели не умилосердятся? Сделай милость, друг любезный, этот молодой человек с большим дарованием и верно будет полезен. Я приму старание твое, а еще более успех в сем деле за собственное мне благодеяние <...>

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 24 марта 1824 г. Петербург.

<...> Спешу пересказать о Боратынском. Закревский говорил и просил: обещано, или почти обещано, но еще ничего не сделано, а велено доложить чрез Дибича. На этого третьего дня напустил я князя Голицына; потом принялся сам объяснять ему дело и человека. Большой надежды он мне не подал, но обещал доложить в течение дней всеобщего искупления. Между тем, узнав от него, что он думает, что Боратынский отдан, а не охотой пошел в солдаты, я клялся ему в противном, просил справиться и, занемогши сам в тот же день, вчера призывал Муханова, просил его упросить Закревского объяснить Дибичу это обстоятельство: оно важно и должно более других обратить гнев на милость. Страшусь отказа за Боратынского, ибо он

устал страдать и терять надежду; но, авось! Или, лучше, я почти уверен, что простят; но дело в том — когда? Отсрочка трудная и тяжелая для страдальческой души Боратынского: c' est bien là le cas de dire:

... on désespère
Alors qu' on espère toujours.

Повторяю просьбу: не объявлять нигде его имени под стихами.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. И. ТУРГЕНЕВУ. 22 июня 1824 г. Остафьево.

<...> Пришлите мне послание Боратынского. Что его дело? Денис писал о нем несколько раз к Закревскому. Долго ли будут у нас поступать с ребятами, как с взрослыми, а с взрослыми, как с ребятами? Как вечно наказывать того, который не достиг еще до законного возраста? Какое затмение, чтобы не сказать: какое варварство! <...>

Д. В. ДАВЫДОВ — А. А. ЗАКРЕВСКОМУ. 23 июня 1824 г. Москва.

Повторяю о Баратынском, повторяю опять просьбу взять его к себе. Если он на замечании, то верно по какой-нибудь клевете; впрочем, молодой человек с пылкостию может врать — это и я делал, но ручаюсь, что нет в России приверженнее меня к царю и отечеству; если бы я этого и не доказал, то поручатся за меня в том все те, кои меня знают; таков и Боратынский. Пожалуйста, прими его к себе.

А. А. ДЕЛЬВИГ — В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ. Июнь 1824 г. Петербург.

<...> Плетнев и Баратынский целуют тебя и уверяют, что они все те же, что и были: любят своего милого Вильгельма и тихонько пописывают элегии <...>

Н. В. ПУТЯТА — С. Д. ПОЛТОРАЦКОМУ. 6 августа 1824 г. Гельсингфорс.

<...> Немного, но и здесь я имел минуты приятные, в числе коих навсегда останется для меня памятным знакомство мое и несколько часов, проведенных мною с знаменитым поэтом нашим Баратынским, также отшельником финляндским, но который, к сожалению, не живет со мною в одном городе <...>

А. А. ДЕЛЬВИГ — А. С. ПУШКИНУ. 10 сентября 1824 г. Петербург.

<...>Послание к Богдановичу исполнено красотами; но ты угадал: оно в несчастном роде дидактическом. Холод и суеверие французское пробиваются кой-где. Что делать? Это пройдет! Баратынский недавно познакомился с романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком. Но уж он начинает отставать от них. На днях пишет, что у него готово полторы песни какой-то романтической поэмы. С первой почтой обещает мне прислать, а я тебе доставлю с нею и прочие пьесы его, которые теперь в цензуре <...>

А. А. БЕСТУЖЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 20 сентября 1824 г. Петербург.

<...>чтобы подорвать нас, употребляет он все средства. Мутят нас через Льва с Пушкиным; перепечатывают стихи, назначенные в *Звезду* им и Козловым, научили Баратынского увезти тетрадь, проданную давно нам, будто нечаянно <...>

А. С. ПУШКИН — Л. С. ПУШКИНУ. 20-е числа ноября 1824 г. Михайловское.

<...> Торопи Дельвига, присылай мне чухонку Баратынского, не то прокляну тебя <...>

А. С. ПУШКИН — Л. С. ПУШКИНУ. 4 декабря 1824 г. Михайловское.

<...>Пришли же мне Эду Баратынскую. Ах он чухонец! да если она милее моей Черкешенки, так я повешусь у двух сосен и с ним никогда знаться не буду <...>

А. С. ПУШКИН — А. Г. РОДЗЯНКЕ. 8 декабря 1824 г. Михайловское.

<...>Кстати: Баратынский написал поэму (не прогневайся — про *Чухонку*), и эта чухонка, говорят, чудо как мила.— А я про *Цыганку;* каков? подавай же нам скорей свою *Чупку* — ай да Парнасс! ай да героини! ай да честная компания! Воображаю, Аполлон, смотря на них, закричит: зачем ведете мне не ту? <...>

П. А. ПЛЕТНЕВ — А. С. ПУШКИНУ. 22 января 1825 г. Петербург.

<...> Прочитай во 2-м № Сына Отечества брань на мое Письмо о русских поэтах. Бранятся за Баратынского, как будто он в своей раме не совершенство, какого только можно желать <...>

П. А. ПЛЕТНЕВ — А. С. ПУШКИНУ. 7 февраля 1825 г. Петербург.

<...> *Об языке чувств* неясно выразился. Мне хотелось сказать, что до Баратынского Батюшков и Жуковский, особенно ты, показали едва ли не все лучшие элегические формы, так что каждый новый поэт должен бы непременно в этом роде сделаться чьим-нибудь подражателем, а Баратынский выплыл из этой опасной реки — и вот что особенно меня удивляет в нем <...>

А. С. ПУШКИН — Л. С. ПУШКИНУ. Конец янв. — первая половина февр. 1825 г. Михайловское.

<...> Плетнев неосторожным усердием повредил Баратынскому; но *Эда* все поправит. Что Баратынский?.. И скоро ль, долго ль?.. как узнать? Где вестник искупленья? Бедный Баратынский, как об нем подумаешь, так поневоле постыдишься унывать <...>

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 20 февр. 1825 г. Петербург.

<...> О Боратынском несет он сам записку и будет усиленнейшим и убедительнейшим образом просить за него. Нельзя более быть расположенным в его пользу. В этом я какую-то имею теперь надежду на успех. Пишу к Боратынскому сегодня и прошу стихов для *Телеграфа* <...>

А. А. БЕСТУЖЕВ — А. С. ПУШКИНУ. 9 марта 1825 г. Петербург.

<...> Что же касается до Баратынского — я перестал веровать в его талант. Он исфранцузился вовсе. Его *Эдда* есть отпечаток ничтожности и по предмету и по исполнению, да и в самом Черепе я не вижу целого — одна мысль, хорошо выраженная и только. Конец — мишура. Бейрон не захотел после Гамлета пробовать этого сюжета и написал забавную надпись — о которой так важно толкует Плетнев <...>

Н. М. ЯЗЫКОВ — А. М. ЯЗЫКОВУ. 11 марта 1825 г. Дерпт.

<...> Воейкова здесь: это некоторым образом оправдывает то, что мои письма стали редеть; я ее видел раза три — все по-прежнему, впрочем, стихов на этот случай еще не сочинено. Она чрезвычайно любит Баратынского и Льва Пушкина; это мне непонятно и не нравится: я их обоих знаю лично. Правда, что Воейкова не *монархическая*, но я не хочу также верить, что она *res-publica*: вот тебе латинский каламбур <...>

А. С. ПУШКИН — Л. С. ПУШКИНУ. 14 марта 1825 г. Михайловское.

<...> Уведомь о Баратынском — свечку поставлю за Закревского, если он его выручит <...>

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 15 марта 1825 г. Петербург.

<...> Пожалуйста, уйми *Телеграф* и запрети печатать имя или буквы из имени Боратынского. Как им не совестно губить его из одного любостяжания! Я уже писал об этом. Ни в скобках, ни над пиесой, ни под титлами, ни in-extenso* имени его подписывать не должно. Скоро может решиться его участь <...>

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 21 марта 1825 г. Петербург.

<...> Муханов, адъютант Закревского, у меня. Дело Боратынского еще не совсем удалось. Очень тяжело и грустно, но впрочем авось! <...>

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 28 апреля 1825 г. Петербург.

<...> О Боратынском Дибич взял доклад в Варшаву <...>

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 2 мая 1825 г. Петербург.

Вот что пишет о тебе Боратынский в письме к ...:
«Всего досаднее Вяземский. Он образовался в беспокойные

* *Полностью, целиком (лат.).*

времена междоусобий Карамзина с Шишковым, и военный дух не покидает его и ныне.

Войной журнальною бесчестит без причины
Он дарования свои.
Не так ли славный вождь и друг Екатерины —
Орлов еще любил кулачные бои?

Это — impromptu*.

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 4 мая 1825 г. Петербург.

<...> Боратынский — офицер: вчера получил варшавский приказ от 21-го апреля. Давно так счастлив не был <...>

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 13 мая 1825 г. Петербург.

<...> Я получил письмо от Боратынского, и до слез прошибла меня его радость и выражение этой радости <...>

Н. В. ПУТЯТА — А. А. МУХАНОВУ. 15 мая 1825 г. Петербург.

Спешу, любезный Муханов, дать тебе отчет в приезде моем в Гельзингфорс. Простившись с вами, я был грустен, но в Кюмене меня ждала истинная радость. Не могу пересказать тебе восхищения Баратынского, когда я объявил ему о его производстве; блаженство его в эту минуту, искреннее участие, которое все окружающие его принимали в перемене его судьбы и которое доказало мне, как он был ими любим, откровенные разговоры о прошедшем и будущем, все это доставило мне несколько приятнейших часов в моей жизни. С радостью также заметил я, что верная спутница его в несчастии, Поэзия, не будет им забыта в благополучии. Хотя он не помнил сам себя, бегал и прыгал, как ребенок, но не мог удержаться, чтоб не прочесть мне несколько страниц из сочиняемой им поэмы, в которой он рассеял много хорошего и много воспоминаний о нашей гельзингфорской жизни. Доселе Поэзия была необходимостию души, убитой горестью и жаждущей излить свои чувства, теперь она сделается целию его жизни. Время докажет, выиграет или потеряет его талант при сей перемене обстоятельств <...>

* *Экспромт (фр.).*

А. С. ПУШКИН — Л. С. ПУШКИНУ. Первая половина мая 1825 г. Михайловское.

<...> Надеюсь, что Дельвиг и Баратынский привезут мне и Анахарзиса Клоца, который верно сердится на меня за то, что мне не по нутру *Резвоскачущая кровь Грибоедова.* <...>

А. С. ПУШКИН — А. А. БЕСТУЖЕВУ. Конец мая — начало июня 1825 г. Михайловское.

<...> *Ободрения у нас нет — и слава богу!* отчего же нет? Державин, Дмитриев были в *ободрение* сделаны министрами. Век Екатерины — век ободрений; от этого он еще не ниже другого. Карамзин кажется ободрен; Жуковский не может жаловаться, Крылов также. Гнедич в тишине кабинета совершает свой подвиг; посмотрим, когда появится его Гомер. Из неободренных вижу только себя да Баратынского — и не говорю: Слава богу! <...>

С. М. САЛТЫКОВА — А. Н. КАРЕЛИНОЙ. 5 июля 1825 г. Петербург.

<...> Баратынский здесь, Антон Антонович с ним очень дружен и привез его к нам; это очаровательный молодой человек, мы очень скоро познакомились, он был три раза у нас и можно было бы сказать, что я его знаю уже годы. Он и Жуковский будут шаферами у моего Антоши <...>

В. А. ЖУКОВСКИЙ — Н. И. ГНЕДИЧУ. Лето 1825 г. Петербург.

Чтение завтра. Являйся в 7 часов. Прочие все в это время будут. Уведомь Дельвига и Баратынского.

Н. В. ПУТЯТА — А. А. МУХАНОВУ. 25 августа 1825 г. Гельсингфорс.

<...> М<агдалина> в прошедшем месяце была в Петербурге. Получаю в это время длинное письмо от Баратынского, наполненное подробностями о ней, и наконец узнаю признание, что он попал в ее волшебные сети. Вот между прочим что пишет он ко мне: *хотя я знаю, что опасно и глядеть на нее и ее ощущать, я ищу и жажду этого мучительного удовольствия.* Под конец утешает себя следующими словами: *но первые часы уединения возвратят мне рассудок; напишу несколько элегий и засну спокойно.* Полк его возвращается теперь в Финляндию, и я надеюсь увидеться с ним во время поездки в Выборг, которую генерал предпола-

гает начать 28-го сего месяца и продолжить ее весьма короткое время. Баратынский обещает мне в сентябре побывать у нас; я твердо уверен, что он исполнит это обещание, но огорчаюсь тем, что приедет разделить время и чувства не со мною <...>

К. Ф. РЫЛЕЕВ — А. А. ДЕЛЬВИГУ. 5 октября 1825 г.

Потомку тевтонов, сладостно поющему на русский лад и мило на лад древних греков, не поэт, а гражданин желает здоровия, благоденствия и силы духа, лень побороющей! Вместе с сим уведомляет он о получении 500 рублей, этой прозаической потребности, которая и поэта и гражданина мучит только тогда, когда нечего есть. *Сего* со мною не было, и потому гражданин Рылеев не помнил о долге поэта Баратынского.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. С. ПУШКИНУ. 16 и 18 октября 1825 г. Москва.

<...> Здесь Баратынский на четыре месяца. Я очень ему рад. Ты, кажется, меня почитаешь каким-то противуположником ему, и не знаю с чего. Вполне уважаю его дарование. Только не соглашался с твоим *смирением,* когда ты мне говорил, что после него уже не будешь писать элегий <...>

ИЗ ДНЕВНИКА М. П. ПОГОДИНА. 19 октября 1825 г. Москва.

Там <у И. И. Дмитриева> был Баратынский и Пинской. Говорили о театральном искусстве, о сенате, о журналах, о Пушкине...

ИЗ ДНЕВНИКА А. А. МУХАНОВА. 25 ноября 1825 г. Успенское.

В субботу 21-го утром приехал ко мне Баратынский, которого, несмотря на круговращение Меркурия в жилах его, уговорил я, хорошенько окутавшись, ехать со мною в Астафьево (я накануне видел княгиню Веру в Москве, у которой испросил позволения к ней приехать <...>). С десятой версты от метели и худой дороги полузамерзшие возвратились домой, где наверху у нас пообедали. Вечером приехал к Ивану; Мальцов ко мне; Егор Толстой и Петр Муханов; сперва общество болтало, потом все разъехались, кроме Баратынского, с которым мы перевспоминали все о Финляндии, кстати, он написал несколько стишков на тамошние бани, в коих парят мущин женщины — пресмешные!*

* Их со мной нет, оттого здесь их и не вписываю.

Д. В. ДАВЫДОВ — А. А. ЗАКРЕВСКОМУ. 10 декабря 1825 г. Москва.

Мой *протеже* Баратынский здесь, часто бывает у меня, когда не болен, ибо здоровье его незавидное. Он жалок относительно обстоятельств его домашних, ты их знаешь — мать полоумная и следовательно дела идут плохо. Ему надо непременно идти в отставку, что я ему советовал и он совет мой принял. Сделай же милость, одолжи меня, позволь ему выдти в отставку, и когда просьба придет, то реши скорее — за что я в ножки поклонюсь тебе, ты меня этим навек обяжешь.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. И. ТУРГЕНЕВУ. 13 декабря 1825 г. Остафьево.

<...> Баратынский в Москве и, по словам Дениса, vise au sublime*, то есть принимает du sublime**! Он, кажется, собирается в отставку <...>

Д. В. ДАВЫДОВ — А. А. ЗАКРЕВСКОМУ. 16 февраля 1826 г. Москва.

<...> Благодарю тебя от души за отставку Баратынского, он весел как медный грош и считает это благодеяние твое не менее первого <...>

А. А. ДЕЛЬВИГ — А. С. ПУШКИНУ. 7 апреля 1826 г. Петербург.

<...> К будущему году надеюсь на тебя, как на каменную стену, надеюсь лично от тебя получить лучшие цветы для моего парника или теплицы. От Баратынского тоже. Деньги твои я взял как хороший министр финансов, т. е. назначил Плетневу источник уплаты: я купил у Баратынского Эду и его сочинения, и Эда, продаваясь, в скором времени погасит совершенно мой долг <...>

П. А. ПЛЕТНЕВ — А. С. ПУШКИНУ. 14 апреля 1826 г. Петербург.

<...>К Баратынскому ты слишком пристрастен. Он любит еще играть словами; в слоге есть кокетство; во многом француз, хоть и люблю его до смерти <...>

* *стремится к высокому (фр.).*
** *высокое, возвышенное (фр.).*

С. М. ДЕЛЬВИГ — А. Н. КАРЕЛИНОЙ. 4 мая 1826 г. Петербург.

<...> Баратынский пишет нам, что он женится; его невеста — барышня 23 лет, дурная собою и сентиментальная, но в общем очень добрая особа, до безумия влюбленная в Евгения, которому нет ничего легче, как вскружить голову, что друзья девицы Энгельгардт и не преминули сделать, чтобы ускорить этот брак. <...>

Л. С. ПУШКИН — С. А. СОБОЛЕВСКОМУ. Май 1826 г.

<...> К тому же все это время я проклинал тебя, Москву, московских, судьбу и Баратынского. Нужно было вам, олухам и сводникам, женить его! Чем вы обрадовались? Для того чтобы заняться сватовством, весьма похвальным препровождением времени, вы ни за грош погубили порядочного человека. Баратынский в течение трех лет был тридцать раз на шаг от женитьбы; тридцать раз она ему не удавалась; en était-il plus malheureux?* Он ни минуты, никогда не жил без любви и, отлюбивши женщину, она ему становилась противна. Я все это говорю в доказательство непостоянного характера Баратынского, которого молодость не должна бы быть обречена семейственной жизни. Ты скажешь, что он счастлив. Верю, mais attendons la fin**, говорит басня, а тяжело заплатить целым веком скуки и отвращения много, много за год благополучия. Баратынского вечно преследовала мысль, что жениться ему необходимо; но кто же из порядочных верил ему? Не говоря об характере Баратынского, спрашиваю тебя, обстоятельства его допускали ли его до этой глупости. Какую он выбрал себе дорогу? Как он хочет себя устроить? Я не разумею под этим денежных его обстоятельств: он может быть Шереметевым, но должен на чем-нибудь утвердиться. Для поэзии он умер; его род, т. е. эротический, не к лицу *мужу;* а теперь из издаваемого собрания своих сочинений он выкидывает лучшие пьесы по этой самой причине, а исключить Баратынского из области поэзии это шутка Эрострата, и тебе подобает слава сия — радуйся! Что ж ему остается? Быть помещиком, и в этом случае нужно было очень подождать вступать в брак. Да черт возьми, дело или безделье (но не безделка) сделано, и говорить нечего. Довольно трех страниц, которыми морю тебя. Я этим заставил тебя искупить грех твоего сводничества.

* *Разве он был оттого более несчастлив? (фр.)*
** *Подождем, чем кончится (фр.).*

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. С. ПУШКИНУ. 10 мая 1826 г. Москва.

<...> Что ты давно ничего не печатаешь? А Цыгане? А продолжение Евгения? Ты знаешь, что *твой Евгений* захотел продолжиться и женится на соседке моей Энгельгардт, девушке любезной, умной и доброй, но не элегиаческой по наружности. Я сердечно полюбил и уважил Баратынского. Чем более растираешь его, тем он лучше и сильнее пахнет. В нем, кроме дарования, и основа плотная и прекрасная <...>

А. С. ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. Вторая половина мая 1826 г. Михайловское.

<...> Правда ли, что Баратынский женится? боюсь за его ум. Законная ..... род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Ты м. б. — исключение. Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет еще 10 был холостой. Брак холостит душу <...>

А. А. ДЕЛЬВИГ — А. С. ПУШКИНУ. Вторая половина июня 1826 г. Петербург.

<...> Баратынский другим образом плох, женился и замолчал, вообрази, даже не уведомляет о своей свадьбе <...>

ИЗ ДНЕВНИКА М. П. ПОГОДИНА. 24 октября 1826 г. Москва.

Общий обед — очень приятно было взглянуть на всех вместе. Неловко представился Баратынскому. Обед чудный, но жаль, что общего разговора не было. С удовольствием пили за здоровье Мицкевича, потом Пушкина. Подпили. Представление Оболенского Пушкину и проч. Веневитиновы, Ф. Хомяков, Титов, Шевырев, Погодин, Киреевск<ие?>, Мальцов, Рихтер, Розберг, Пушкин, Баратынский, Мицкевич, Соболевский, Оболенский, Раич.

П. А. ПЛЕТНЕВ — А. С. ПУШКИНУ. 2 января 1827 г. Петербург.

<...> Правду сказать, что я в любви самый несчастный человек. Кого ни выберу для страсти, всякой меня бросит. Баратынский, которого я, право, больше любил всегда, нежели теперь кто-нибудь любит его, уехавши в Москву, не хотел мне ни строчкой плюнуть. Сам Дельвиг скоро променяет меня на гранпасьянс <...>

А. А. ДЕЛЬВИГ — В ГЛАВНЫЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ. ПРОШЕНИЕ. 16 янв. 1827.

По поручению отставного прапорщика Евгения Абрамовича Баратынского, предполагая издать в свет при сем прилагаемую рукопись под заглавием «Стихотворения Е. Баратынского», имею честь представить оную на основании §§ 50 и 51-го высочайше утвержденного 10-го июня прошлого 1826 года устава о цензуре, прося покорнейше дать мне дозволение к напечатанию оной.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. И. ТУРГЕНЕВУ. 25 февраля — 12 марта 1827 г. Москва. .

<...> И, конечно, досадно, что мы не соединены с Пушкиным и Боратынским <...>

ИЗ ЖУРНАЛА И. М. СНЕГИРЕВА. 15 мая 1827 г. Москва.

Виделся с кн. Мещерским, который рад мне был, зашел к нему; от него к Погодину на завтрак, где я нашел Пушкина, кн. Вяземского <...> За столом Пушкин с Баратынским написали на Шаликова следующее по случаю рассказанного анекдота:

Князь Шаликов, газетчик наш печальный,
Елегию семье своей читал,
А козачок огарок свечки сальной
В руках со трепетом держал.
Вдруг мальчик наш заплакал, запищал.—
Вот, вот с кого пример берите, дуры!
Он дочерям в восторге закричал.—
Откройся мне, о милый сын натуры,
Ах! что слезой твой осребрило взор?
А тот ему в ответ: *Мне хочется на двор.*

А. С. ПУШКИН — М. П. ПОГОДИНУ. 19 февраля 1828 г. Петербург.

<...>Шевыреву пишу особо. Грех ему не чувствовать Баратынского — но бог ему судья.

Ф. П. ФОНТОН — П. И. КРИВЦОВУ. Март 1828 г. Петербург.

Ходил я вчера прощаться с Дельвигом и кого ты думаешь я там застал? Александра Пушкина и Боратынского. Каков терцет? Три поэта, три друга, три вдохновения, ищущие в поэзии решение вечной задачи, борьбы внутреннего со внешним, а меж-

ду тем три натуры во всем различные. Боратынский плавная река, бегущая в стройном русле. Пушкин быстрый, сильный, иногда свирепствующий поток, шумно падающий из высоких скал в крутое ущелье. Дельвиг ручеек, журчащий тихо через цветущие луга и под сенью тихих ив.

Боратынского все читали, Пушкина все наизусть знают, и обоих можно знать по их сочинениям. Но Дельвига надобно лично знать, чтобы понять его поэзию <...>

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. С. ПУШКИНУ. 18 и 25 сентября 1828 г. Остафьево.

<...> Мы на днях занимались текущею словесностью у Полевого с Дельвигом и Баратынским. Тут был цензор Глинка, который уморителен и стоит Снегирева <...>

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. И. ТУРГЕНЕВУ. Первая половина октября 1828 г.

<...>Чем более вижусь с Боратынским, тем более люблю его за чувства, за ум, удивительно тонкий и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплох, как хочешь: везде и всегда найдешь его с новою своею мыслью, с собственным воззрением на предмет. Сегодня разговорились мы с ним о Филарете, к которому возит его тесть Энгельгардт. Он говорит, что ему Филарет и вообще наши монахи сановные напоминают всегда что-то женское: ряса как юпка и в обращении какое-то кокетство, игра затверженной роли, и прочее. Мне кажется это замечание удивительно верно <...>

А. А. ДЕЛЬВИГ — А. С. ПУШКИНУ. 3 декабря 1828 г. Петербург.

<...> Я ничего не думаю, а желаю тебя поскорее увидеть и вместе с Баратынским, который, если согласится ехать в Петербург, найдет меня в оном <...>

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ. 19 декабря 1828 г. Москва.

<...> Твоя критика на Боратынского слишком христианская, а в его стихах нет философии христианской: он на смерть смотрит совсем не христианскими глазами. И потому примеры, приведенные им, не должны казаться неуместными. Фивские братья и Федра тут представители двух идей, двух страстей: ненависти и любви исступленной, примеры эти всем знакомы и,

следовательно, более кстати, чем другие. Впрочем, чтобы потешить тебя, скажу, что Пушкин с тобою согласен. Я вчера говорил ему и Боратынскому о твоем замечании, мы были одного мнения, а он твоего. Какое же хочешь слово другое, а не *пестрота,* когда говорится о *краске жизни беспокойной,* c'est le mot propre*, и тем слово и разительно, а с прилагательным *невоздержной* оно полно поэзии <...>

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. И. ТУРГЕНЕВУ. 1 января 1829 г. Москва.

<...> Нужды нет, что я уже не участвую в журнале, давай мне материалов; тем более, что мы хотим с Боратынским издать род Литературных современных записок, или трудов наших, не в виде журнала, не в виде альманаха, а так, как бог приведет. Что напишется у нас в три, четыре месяца, соберем и тиснем <...>

Боратынский послал тебе свои сочинения и письмо с княгинею Зенеидою. Чем более знаю Боратынского, тем более ценю его ум и сердце. Жаль его оторвать от поэзии, но жаль и прозу нашу лишить его. Он, без сомнения, одна из самых открытых голов у нас: солнце так и ударяет в нее прямо.

И. В. КИРЕЕВСКИЙ — С. А. СОБОЛЕВСКОМУ. 29 января 1829 г. Москва.

<...> С Баратынским мы сошлись до *ты.* Чем больше его знаешь, тем больше он выигрывает. Он издал свой «Бал» вместе с «Нулиным» Пушкина, который написал еще поэму «Мазепа», но еще не печатает <...>

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. С. ПУШКИНУ. 23 февраля 1829 г. Мещерское.

<...> А мы, то есть я и Баратынский, танцовали в Москве с Олениною и, кажется, у них были элегические выходки <...>

Мы хотели также с Баратынским издать к маю нечто альманашное, периодическое. Ведь и ты пойдешь с нами. Обнимаю.

* *Это подходящее слово (фр.).*

Н. М. РОЖАЛИН — А. П. ЕЛАГИНОЙ. 14 марта 1829 г. Дрезден.

<...> Как мне жаль узнать, что Погодин к вам совсем не ездит, и вы не пишете, почему; как жаль, что столькие из нашей братии принуждены оставить Москву — вас! Зато у вас теперь Пушкин, Баратынский и Вяземский. Я рад, что они теснее стали знакомы с Иваном Васильевичем и уверен, что они будут любить его. Вы пишете, что они все любят и меня, особенно Баратынский. Позвольте вам отвечать на это одно, что я очень знаю, как они меня любят, особенно Баратынский. Знаю, что ежели он иногда поминает обо мне, то из лести вам, и потому не оскорбитесь, ежели я прошу вас никогда не поминать обо мне при нем; я имею на это причины и, будучи совершенно доволен одною вашею дружбою, не хочу, чтобы она отзывалась в людях, как Баратынский, которых мне не за что уважать и которым не за что любить меня. Вообще, как вы обещались держать мои письма в каком-то скрытом и недоступном уголке, так, если любите меня, держите и меня самого в вашем сердце: выходить из него перед Баратынским мне совсем не лестно <...>

ИЗ ДНЕВНИКА М. П. ПОГОДИНА. 3 апреля 1829 г. Москва.

Был Баратынский, с которым я затрудняюсь говорить.

М. П. ПОГОДИН — С. П. ШЕВЫРЕВУ. 29 мая 1829 г. Москва.

<...> Всеми силами буду стараться, чтобы «Московский Вестник» продолжался, хотя я уже решительно не буду издателем. Думаю передать Баратынскому, Киреевским и Языкову; а мы остальные будем сотрудниками. Стыдно, грешно оставить дело, начатое в одну из лучших минут жизни <...>

Н. М. РОЖАЛИН — А. П. ЕЛАГИНОЙ. 12 ноября 1829 г. Дрезден.

<...> Вы полюбили Баратынского? Это значит, что он стоит любви и что я худо знал его. Часто я сужу о людях слишком поспешно; особенно бываю опрометчив в своих антипатиях. Так случилось и на счет Баратынского.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. С. ПУШКИНУ. 2 января 1830 г. Москва.

Сделай милость, откажись от постыдного членства Общества Любителей Русского Слова. Мне и то было досадно, то есть не мне, потому что я на заседание не поехал, но жене моей, менее меня благопристойной и ездившей на святошные игрища литературы, что тебя и Баратынского выбрали вместе с Верстовским, а вчерашние Московские Ведомости довершили мою досаду: тут увидишь: *Предложение об избрании в члены общества Корифеев Словесности нашей: А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, Ф. В. Булгарина и отечественного Композитора Музыки А. Н. Верстовского* <...>

М. П. ПОГОДИН — С. П. ШЕВЫРЕВУ. 27 января 1830 г.

<...> «Литературная Газета» издается с целию убить Булгарина и Полевого; а этот говорит: постойте, я (Полевой) втопчу их в грязь (Пушкина, Баратынского и пр.); ведь я их поднял, мною они дышали, и начинает ругать их наповал <...>

А. П. ЕЛАГИНА — С. А. СОБОЛЕВСКОМУ. 1 февраля 1830 г. Москва.

<...> Недавно Полевой сказал при многих, что Пушкин, Вяземский и Баратынский одним *им* стали так известны и что он втопчет их опять в ту грязь, из которой вынул <...>

И. В. КИРЕЕВСКИЙ — А. П. ЕЛАГИНОЙ. 14/26 марта 1830 г. Берлин.

<...> Напомните всем, кого увидите, обо мне, особенно моему милому Баратынскому. Я нехотя виноват перед ним: я причиной глупой булгаринской выходки. Надеюсь, однако, что он умеет платить презреньем за покупную брань и корыстную хвалу <...>

А. С. ПУШКИН — П. А. ПЛЕТНЕВУ. 29 сентября 1830 г. Болдино.

<...> Баратынский говорит, что в женихах счастлив только дурак; а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим <...>

М. П. ПОГОДИН — С. П. ШЕВЫРЕВУ. 20 ноября 1830 г. Москва.

<...> Баратынский написал повесть в 8 песнях «Цыганку». Нет, это не поэзия, и далеко кулику до Петрова дня <...>

М. П. ПОГОДИН — С. П. ШЕВЫРЕВУ. 8 декабря 1830 г. Москва.

<...> Киреевские здесь оба и ругают немцев без памяти. У меня начались с ними схватки за поэзию Баратынского и древность Дельвига, но хочу их прекратить, а признаюсь, с удовольствием посмеялся над пустотою литературной синицы<...>

А. С. ПУШКИН — П. А. ПЛЕТНЕВУ. 9 декабря 1830 г. Москва.

<...> Хорошо? Еще не все (весьма секретное). Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется — и которые напечатаем также Anonyme. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает <...>

А. С. ПУШКИН — П. А. ПЛЕТНЕВУ. 7 января 1831 г. Москва.

<...> Прости, мой ангел. Поклон тебе, поклон — и всем вам. Кстати: поэма Баратынского чудо. Addio.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. С. ПУШКИНУ. 14 января 1831 г. Остафьево.

<...> Что-нибудь, а придумать надобно, чтобы вырвать литературу нашу из рук Булгарина и Полевого.— Что за разбор Дельвига твоему Борису? Начинает последним монологом его. Нужно будет нам с тобою и Баратынским написать инструкцию Дельвигу, если он хочет, чтобы мы участвовали в его газете<...>

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. С. ПУШКИНУ. 17 января 1831 г. Остафьево.

Сделай милость, прочитай и перечитай с бдительным и строжайшим вниманием посылаемое тебе и укажи мне на все сомнительные места. Мне хочется, по крайней мере в предисловии, не поддать боков критике. Покажи после и Баратынскому, да возврати поскорее, отослав ко мне в дом Демиду. Нужно отослать в Петербург к Плетневу, которому я уже писал о начатии печатания Адольфа<...>

А. С. ПУШКИН — П. А. ПЛЕТНЕВУ. 21 января 1831 г. Москва.

<...>никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду — около него собира-

лась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все <...>

Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров — и постараемся быть живы.

Н. М. ЯЗЫКОВ — А. М. и П. М. ЯЗЫКОВЫМ. 28 января 1831 г. Москва.

<...> Вчера совершилась тризна по Дельвиге. Вяземский, Баратынский, Пушкин и я многогрешный обедали вместе у Яра <...>

А. С. ПУШКИН — П. А. ПЛЕТНЕВУ. 31 января 1831 г. Москва.

<...> Баратынский собирается написать жизнь Дельвига. Мы все поможем ему нашими воспоминаниями. Не правда ли? Я знал его в Лицее — был свидетелем первого, незамеченного развития его поэтической души — и таланта, которому еще не отдали мы должной справедливости. С ним читал я Державина и Жуковского — с ним толковал обо всем, *что душу волнует, что сердце томит.* Я хорошо знаю, одним словом, его первую молодость; но ты и Баратынский знаете лучше его раннюю зрелость. Вы были свидетелями возмужалости его души. Напишем же втроем жизнь нашего друга, жизнь, богатую не романическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым чистым разумом и надеждами <...>

А. С. ПУШКИН — П. А. ПЛЕТНЕВУ. Около 16 февраля 1831 г. Москва.

<...> Что же ты мне не отвечал про жизнь Дельвига? Баратынский не на шутку думает об этом <...>

ИЗ ДНЕВНИКА М. П. ПОГОДИНА. 17 февраля 1831 г. Москва.

У Пушкина, верно, ныне холостой <*нрзб*> обед, а он не позвал меня. Досадно.— Заезжал и пожелал добра.— Там Баратынский и Вяземский толкуют о нравственной пользе.

П. А. ПЛЕТНЕВ — А. С. ПУШКИНУ. 22 февраля 1831 г. Петербург.

<...> Написать историю и характеристику поэзии Дельвига — дело столь же прекрасное, сколь и полезное. Если бы Баратынский не вызвался на это, я бы тебя стал просить о том же, или даже сам на то посягнул бы <...>

А. С. ПУШКИН — П. А. ПЛЕТНЕВУ. Около 11 июля 1831 г. Царское Село.

<...> Что же твой план *Северных Цветов* в пользу братьев Дельвига? Я даю в них *Моцарта* и несколько мелочей. Жуковский дает свою гекзаметрическую сказку. Пиши Баратынскому; он пришлет нам сокровища; он в своей деревне <...>

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. С. ПУШКИНУ. 14 июля 1831 г. Остафьево.

<...> Пожалуй, давай готовить альманах <...> Между тем ты собирай стихи свои и других. Напишем к Баратынскому, который удрал в Казань с Энгельгардтовским семейством <...>

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. С. ПУШКИНУ. 24 августа 1831 г. Остафьево.

<...> Сделай одолжение, занимайся приготовлениями журнала, корми эту мысль, но прежде всего напиши план и представь его куда следует. Я недавно получил письмо от Баратынского из Казани, куда они все поехали, то есть Энгельгардовы, как он пишет, по делам, а как мне сказывали, от холеры. «Пишу, говорит он, но не для потомства, как вы предполагаете слишком дружески, но для нижнего земского суда» <...>

И. В. КИРЕЕВСКИЙ — В. А. ЖУКОВСКОМУ. Около 6 октября 1831 г.

<...> Если ж мой план состоится, то есть если Вы скажете мне: *издавай* (потому что от этого слова теперь зависит все), тогда я надеюсь, что будущий год моей жизни будет не бесполезен для нашей литературы, даже и потому, что мой журнал заставит больше писать Баратынского и Языкова, которые обещали мне деятельное участие <...>

И. В. КИРЕЕВСКИЙ — С. П. ШЕВЫРЕВУ. 26 октября 1831 г. Москва.

<...>Имя моего журнала: *Европеец...* Помогать мне, кроме моего семейства, обещают Баратынский и Языков. Вяземский также обещает печатать у меня все, что напишется. *Может быть,* Пушкин и, вероятно, Жуковский <...>

Н. А. МЕЛЬГУНОВ — С. П. ШЕВЫРЕВУ. 12 ноября 1831 г. Москва.

<...> Хомяков только что приехал из деревни <...> Чудной малой; жаль, что софист такой, что мочи нет. Но это софизмы

не философа, а поэта, и я ему прощаю. Однако желал бы видеть его вместе с Баратынским. Они никогда друг с другом не говорили: я уверен, что если они свидятся и поспорят, то хоть сколько-нибудь вылечатся от страсти оригинальничать наперекор истине и убеждению. Ничто так не исправляет, как собственный недостаток в чужо́м: это славное зеркало <...>

А. С. ПУШКИН — Н. М. ЯЗЫКОВУ. 18 ноября 1831 г. Петербург.

<...>Торопите Вяземского, пусть он пришлет мне своей прозы и стихов; стыдно ему; да и Баратынскому стыдно. Мы правим тризну по Дельвиге. А вот как наших поминают! и кто же? друзья его! ей-богу, стыдно!<...>

А. С. ПУШКИН — И. В. КИРЕЕВСКОМУ. 4 февраля 1832 г. Петербург.

<...> Статья Баратынского хороша, но слишком тонка и растянута (я говорю о его антикритике). Ваше сравнение Баратынского с Миерисом удивительно ярко и точно. Его элегии и поэмы точно ряд прелестных миниатюров; но эта прелесть отделки, отчетливость в мелочах, тонкость и верность оттенков, все это может ли быть порукой за будущие успехи его в комедии, требующей, как и сценическая живопись, кисти резкой и широкой? Надеюсь, что Европеец разбудит его бездействие.

И. В. КИРЕЕВСКИЙ — А. С. ПУШКИНУ. Март — апрель 1832 г. Москва.

<...> Благодарю Вас за Ваши советы о журнале: они совершенно справедливы, и я бы непременно ими воспользовался, если бы журнал мой не прекратился. В одном только позвольте мне не согласиться с Вами: в мнении о Баратынском. Я сравнил его с Мьерисом не потому, чтобы находил сходство в их взгляде на вещи, или в их таланте, или вообще *в поэзии их искусства;* но только потому, что они похожи *в наружной отделке* и во внешней форме. Эта форма слишком тесна для Баратынского и сущность его поэзии требует рамы просторнее; мне кажется, я это доказал; но Мьерис в своих миньятюрах выражается весь и влагает в них еще более, чем что было в уме, т. е. труд и навык. Вот почему Мьерис сделал все, что мог, а Баратынский сделает больше, чем что сделал. Говоря, что Баратынский должен создать нам нового рода комедию, я основывался не только на проницательности его взгляда, на его тонкой

оценке людей и их отношений, жизни и ее случайностей, но больше всего на той глубокой, возвышенно-нравственной, чуть не сказал гениальной деликатности ума и сердца, которая всем движениям его души и пера дает особенный поэтический характер и которая всего более на месте при изображениях общества. Впрочем, Вы лучше других знаете Баратынского и лучше других можете судить об нем, потому я уверен, что по крайней мере в главном мы с Вами не розним. Но во всяком случае я Вам отменно благодарен за то, что Вы обратили внимание на мое мнение о Баратынском. После основных законов нравственности понятие о людях, которых я уважаю, есть вещь, которою я более всего дорожу в моих мнениях. И в этом случае мне бы особенно приятно было сойтись с Вами.

А. С. ПУШКИН — Н. Н. ПУШКИНОЙ. Около 30 сентября 1832 г. Москва.

<...> Кто тебе говорит, что я у Баратынского не бываю? Я и сегодня провожу у него вечер, и вчера был у него. Мы всякой день видимся. А до жен нам и дела нет. Грех тебе меня подозревать в неверности к тебе и в разборчивости к женам друзей моих. Я только завидую тем из них, у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадоны etc. etc. <...>

А. С. ПУШКИН — П. В. НАЩОКИНУ. 2 декабря 1832 г. Петербург.

<...> Скажи Баратынскому, что Смирдин в Москве и что я говорил с ним о издании *полных Стихотворений Евгения Баратынского.* Я говорил о 8 и о 10 тыс., а Смирдин боялся, что Баратынский не согласится; следственно, Баратынский может с ним сделаться. Пускай он попробует <...>

Н. А. МЕЛЬГУНОВ — А. В. ВЕНЕВИТИНОВУ. 17 января 1833 г. Москва.

<...> Пишу к тебе с двоякою целию: 1) возобновить с тобою переписку <...>; 2) предложить тебе быть вкладчиком в общий наш альманах, который имеет быть издан к будущей Святой неделе и где участниками все наши. Подробнее узнаешь от Одоевского <...> Свербеев, Баратынский, Киреевский, Кошелев, Хомяков, Шевырев, я, мы все участвуем <...>

Мы все здесь переболели гриппом; Киреевский был запевалой перхотного хора: он занемог едва ли не первый в городе;

теперь моя очередь, и я пишу к тебе под аккомпанемент кашля. Впрочем, это не мешает нам собираться по пятницам у Свербеевых, по воскресеньям у Киреевских, иногда по четвергам у Кошелевых и время от времени у Баратынского. Два, три раза в неделю мы все в сборе; дамы непременные участницы наших бесед, и мы проводим время как нельзя веселее: Хомяков спорит, Киреевский поучает, Кошелев рассказывает, Баратынский поэтизирует, Чаадаев проповедует или возводит очи к небу, Герке дурачится, Мещерский молчит, мы остальные слушаем; подчас наша беседа оживляется хором цыган, танцами, беганьем взапуски, где особенно отличается Христиан Иваныч. Спроси его, он тебе скажет <...>

А. А. ФУКС — К. Ф. ФУКСУ. 20 января 1833 г. Москва.

Сегодняшний день я причислю к приятнейшим дням моей жизни: я целый день была в восхищении! Я поутру оделась, чтобы ехать к Энгельгардтам и к Баратынским, но они, не дождавшись моего визита, приехали ко мне сами, даже Лев Николаевич Энгельгардт, несмотря на слабое свое здоровье, был у меня. Я очень дорого ценю их ко мне внимание и дружбу. Признаюсь, я до слез была растрогана. Ты знаешь, как много я их всегда любила; но мне кажется, что они стали еще ближе к моему сердцу <...> Вечер я провела у Баратынских, где познакомилась с Киреевским <...>

А. А. ФУКС — К. Ф. ФУКСУ. Январь 1833 г. Москва.

<...> Вечер я провела у Баратынских очень приятно, потому что сей вечер был литературный. Г. Хомяков читал свою трагедию: «Димитрий Самозванец»; она написана прекрасно; совсем другие сцены, нежели какие мы читали прежде. После чтения Баратынский познакомил меня с Хомяковым. Этот Поэт много уже написал хорошего. Ученых было на вечере немного, а из дам только я и Софья Львовна <...>

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. А. ЖУКОВСКОМУ. 29 января 1833 г. Петербург.

<...> Мой Баратынский, который всегда выражается эпиграфами, отвечает мне на вопрос мой, что ничего не пишет, потому что *время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело.* Я непременно возьму это в эпиграф к своим стихотворениям, если Бог велит мне издать их <...>

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. И. ТУРГЕНЕВУ. 6 февраля 1833 г. Петербург.

<...> Сейчас получаю письмо из Москвы от Боратынского, который объявляет мне от своего имени и имени московской литературной братии о предполагаемом ими альманахе к Светлому Воскресению <...>

С. Л. ПУШКИН — О. С. ПУШКИНОЙ. 16 марта 1833 г. Москва.

<...>Видим Баратынских в Москве очень часто; не зная бессонных ночей на балах и раутах, Баратынские ведут жизнь самую простую: встают в семь часов утра во всякое время года, обедают в полдень, отходят ко сну в 9 часов вечера и никогда не выступают из этой рамки, что не мешает им быть всем довольными, спокойными,— следовательно, счастливыми <...>

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. И. ТУРГЕНЕВУ. 26 марта 1833 г. Петербург.

<...> Альманах Боратынского упал в воду <...>

Н. В. ГОГОЛЬ — М. П. ПОГОДИНУ. 8 мая 1833 г. Петербург.

<...> Что делают наши москвичи? <...> А Киреевский, неужели он до сих пор на ложе лени. Не делает ли чего Баратынский? <...>

И. В. КИРЕЕВСКИЙ — В. Ф. ОДОЕВСКОМУ. 17 мая 1833 г. Москва.

<...> Скажи ему <А. И. Кошелеву> также, что он может быть доволен мною, потому что я работаю много и не езжу никуда. Впрочем, ездить и некуда: Москва чиста, как картинная галерея с пустыми рамами. Последнее воскресенье провели мы с Баратынским вдвоем, и в пустом доме нашем нам обоим стало так *<1 нрзб>*, что мы опорожнили *несколько* бутылок, и все не наладились. Он едет сегодня <...>

А. С. ПУШКИН — Н. Н. ПУШКИНОЙ. 8 сентября 1833 г. Казань.

<...> Я в Казани с 5 и до сих пор не имел время тебе написать слова <...> Здесь Баратынский. Вот он ко мне входит <...>

А. С. ПУШКИН — Н. Н. ПУШКИНОЙ. 12 сентября 1833 г. Языково, под Симбирском.

<...> Из Казани написал я тебе несколько строчек — некогда было. Я таскался по окрестностям, по полям, по кабакам и попал на вечер к одной blue stockings* сорокалетней, несносной бабе с вощеными зубами и с ногтями в грязи. Она развернула тетрадь и прочла мне стихов с двести, как ни в чем не бывало. Баратынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхвалил ее красоту и гений. Я так и ждал, что принужден буду ей написать в альбом — но Бог помиловал <...>

И. А. ВТОРОВ — Н. И. ВТОРОВУ. Сентябрь 1833 г.

<...> В Симбирске у губернатора я видел Пушкина Александра Сергеевича. Он сказывал мне, что был в Казани у Фукса и стоял вместе с Баратынским <...>

С. М. БОРАТЫНСКАЯ — А. Н. КАРЕЛИНОЙ. Осень 1833 г. Мара.

<...> Но то, что способствует украшению нашего уединения, это — присутствие моего шурина Евгения (поэта), который этим летом приехал, чтобы поселиться здесь со своими женою и детьми. Он счастливее нас, так как построил себе отдельный дом, сбоку от большого дома. Что это за человек, мой друг! Это поистине поэтическая душа! Какой возвышенный ум, какая нравственная чистота, какая высота чувств! У него много сходства в нравственном мире с моим покойным мужем. Ты знаешь, что они были связаны с ним как братья. Мы часто говорим о нем, это так сладко для меня. Его жена — особа, достойная его, они очень счастливы. Итак, чтобы дать тебе представление об этом семействе, скажу тебе, что эти столь благородные существа в нем не любимы... Им завидуют за их достоинства, за их превосходство. Как настоящие гарпии, они хотели бы пустить яду даже в их домашнее счастие. И только мой муж, у которого благородная душа, способен ценить достоинства Евгения, восторгаться им и понимать его. Поэтому они очень тесно связаны, и это наполняет мое сердце радостью <...>

* *синий чулок (англ.).*

С. М. БОРАТЫНСКАЯ — А. Н. КАРЕЛИНОЙ. Весна 1834 г. Мара.

<...> Я и мои трое детей чувствуют себя хорошо, но мне грустно по случаю отъезда моего шурина Евгения и его семейства: они уехали надолго в Москву, оставив у нас большую пустоту <...>

Д. В. ДАВЫДОВ — А. М. и Н. М. ЯЗЫКОВЫМ. 16 июня 1834 г.

<...> Баратынский купил себе маленькую подмосковную, где совсем основался, и будет приезжать на зиму в Москву налегке с одною женою <...>

Н. А. МЕЛЬГУНОВ — В. Ф. ОДОЕВСКОМУ. 25 октября 1834 г. Москва.

<...> В Москве с 1835 года будет издаваться журнал, которого программу сообщим Вам немедленно. Не говоря о цели, назову Вам *непосредственных* и *постоянных* сотрудников, которых имена стоят в программе, представленной министру: Андросов, Баратынский, Гоголь, М. Дмитриев, Иван и Петр Киреевские, Мельгунов, Н. Павлов, Погодин, Хомяков, Шевырев, Языков. Ваше имя поставлено также <...>

Н. В. ГОГОЛЬ — М. П. ПОГОДИНУ. 20 февраля 1835 г. Петербург.

<...> Признаюсь, я вовсе не верю существованию вашего журнала более одного года. Я сомневаюсь, бывало ли когда-нибудь в Москве единодушие и самоотвержение, и начинаю верить, уж не прав ли Полевой, сказавши, что война 1812 есть событие вовсе не национальное и что Москва невинна в нем. Боже мой! столько умов и все оригинальных: ты, Шевырев, Киреевский. Черт возьми, и жалуются на бедность. Баратынский, Языков — ай, ай, ай! <...>

Д. В. ДАВЫДОВ — А. С. ПУШКИНУ. 2 марта 1836 г. Москва.

<...> Жаль, что не дождусь тебя в Москве. Я сегодня еду отсюда в мои степи. Баратынский хочет пристать к нам, это не худо; Языков верно будет нашим; надо бы Хомякова завербовать, тогда стихотворная фаланга была бы в комплекте <...>

А. С. ПУШКИН — Н. Н. ПУШКИНОЙ. 14 и 16 мая 1836 г. Москва.

<...> С литературой московской кокетничаю как умею, но Наблюдатели меня не жалуют. Любит меня один Нащокин <...>Слушая толки здешних литераторов, дивлюсь, как они могут быть так порядочны в печати и так глупы в разговоре. Признайся: так ли и со мною? право, боюсь. Баратынский однакож очень мил. Но мы как-то холодны друг ко другу <...>

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. И. ТУРГЕНЕВУ. 23 октября 1836 г. Петербург.

<...> Проси для меня стихов от Языкова, Баратынского, Хомякова. Буду сам писать к ним с нижайшею просьбою, но ты предвари <...>

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 24 октября 1836 г. Москва.

<...> Ввечеру Свербеев, Орлов, Чаадаев спорили у меня так, что голова моя, и без того опустевшая, сильнее разболелась. Что же ты ни слова о статье Чаадаева? Баратынский пишет опровержение <...>

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 7 ноября 1836 г. Москва.

<...> Еду на похороны генерала Энгельгардта, тестя Баратынского. Отпевают его на Козихе, а вместе с ним и *понедельники* Баратынского, коими я еще ни одного раза не воспользовался <...>

Сейчас получил, то есть на похоронах, в церкви Спиридония на Козихе, прочел письмо твое от 2-го ноября. Тут были и Дмитриев, который ожидает меня к себе с письмом твоим, и Баратынский, который плакал по бопере, и прочие, и прочие, и, следовательно, я не мог передать ему твои поручения, а передам после; он еще вполне ничего не написал, а пишет <...>

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 11 ноября 1836 г. Москва.

Вот что пишет ко мне Баратынский, коему напоминал твое поручение: «Возражение мое далеко не приведено в порядок, а теперь, посреди разных положительных забот, вы можете себе представить, как мне трудно за него приняться. При первом

досуге приложу к нему последнюю руку и попрошу вас доставить его князю Вяземскому».

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 12 ноября 1836 г. Москва.

<...> Возражение, которое хотели напечатать в «Наблюдателе», я надеюсь прислать тебе, но оно слабо<...>

ИЗ ДНЕВНИКА М. П. ПОГОДИНА. 4 февраля 1837 г. Москва.

К <Ф.>Толстому и Баратынскому. Все говорили о Пушкине и плакали.

Е. М. ЯЗЫКОВА (ХОМЯКОВА) — Н. М. ЯЗЫКОВУ. 9 февраля 1837 г. Москва.

<...> Кстати, Баратынский написал, говорят, стихи «Осень» чудесные, он читал их на обеде у Павлова<...>

В. А. ЖУКОВСКИЙ — С. Л. ПУШКИНУ. 13 марта 1837 г. Петербург.

<...> Пользуясь отъездом г-на Бартенева, посылаю тебе ящик с тремя масками, одну для тебя, другую для Нащокина, третью для Баратынского, которого за меня обними<...>

В. А. ЖУКОВСКИЙ — С. Л. ПУШКИНУ. 11 апреля 1837 г. Петербург.

Бартенев сказал мне, что он едет в Москву, и я ему поручил письмо мое к тебе, мой любезный Сергей Львович; с этим письмом я вверил ему также и письма Баратынского и Нащокина к покойному А. С. Он кому-то передал эти пакеты; а сам еще здесь. Получил ли ты их? Я от тебя не имею ответа. Я отдал и *Маску* для тебя, Баратынского и Нащокина. Ее хотел Бартенев сам отвезти; но теперь узнаю от него, что они кому-то им переданы для доставления тебе. Получил ли ты это все.

НЕИЗВЕСТНЫЙ — НЕИЗВЕСТНОМУ НИКОЛАЮ. 6 мая 1837 г. Москва.

Третьего дни я был у Баратынского, он мне показывал маску Пушкина, снятую с него в день его смерти, она страшно похожа. Витали, который сделал очень похожий бюст Карла Брюллова, делает и бюст Пушкина. Говорят, это не так удачно. Баратынский говорил целый час о смерти Пушкина и о нем самом.

Его стоило записывать. Он рассказывал все подробности этой истории, которые были ему сообщены Жуковским, Вяземским и, наконец, доктором Далем, людьми достоверными. Баратынский говорит, что он умер как христианин и во всем оправдывает Пушкина, а обвиняет его жену. Я верю всему, потому что было заметно, что он и жены его не хотел обвинять из уважения к нему.

М. П. ПОГОДИН — М. А. ДМИТРИЕВУ. 19 октября 1837 г. Москва.

<...> В грустном расположении стоял я у гроба. Дмитриев отжил свой век, он прошел с честию свое поприще, исполнил свое назначение; но тяжело было видеть его во гробе <...> Отпевание совершал митрополит Филарет <...> Проповедь сказал приходский священник. В церкви были из нашего звания: Шевырев, Баратынский, Макаров, Андросов, Шаликов, Павлов, Давыдов, и только <...>

Н. А. МЕЛЬГУНОВ — А. А. КРАЕВСКОМУ. 14 апреля 1838 г.

<...> Книги Кенига и до сих пор еще не видал <...> Один мой знакомый видел мельком книгу, и из его слов я заметил, что Кениг не все передал так, как я говорил ему, а иное и от себя прибавил. Так, например, Баратынского он, говорят, называет Бальзаком в поэзии. Это не совсем то, что я сказал о нем. Говоря о его лирических стихотворениях, я заметил, что Баратынский по преимуществу поэт элегический, но в своем втором периоде возвел *личную* грусть до *общего,* философского значения, сделался элегическим поэтом современного человечества. «Последний поэт», «Осень» и пр. это очевидно доказывают.

С. Т. АКСАКОВ — К. С. АКСАКОВУ. 12 июля 1838 г.

<...> Кажется, я писал тебе о намерении нашем с Великопольским (первая мысль его) помочь расстроенному положению финансов нашего Гоголя: исполнение не отвечало моему ожиданию. Иван Ермолаевич Великопольский дал 1 тысячу, я — 500 р., Погодин тоже, Баратынский 250 р., Николай Филиппович Павлов обещал столько же, а Хомяков и Мельгунов отказались под предлогом, что *«это может быть неправда»* <...>

Т. Н. ГРАНОВСКИЙ — Н. В. СТАНКЕВИЧУ. 20 февраля 1840 г. Москва.

<...> Забавен следующий случай: Баратынский приезжает к Жуковскому и застает его поправляющим стихи Пушкина. Говорит, что в конце нет смысла. Баратынский прочел, и что же — это пьеса сумасшедшего, и бессмыслица окончания была в плане поэта <...>

Н. В. ПУТЯТА — С. Д. ПОЛТОРАЦКОМУ. Август 1840 г. Мураново.

<...> Баратынский поручил тебе сказать, что в то самое время, как ты его хвалишь за ум, обстоятельства заставили его поглупеть. Вместо Парижа он поехал в Тамбов, но зиму проведет в Петербурге. Там ближе к Европе и оттуда путь удобнее за границу. Теперь же не время помышлять о путешествии, которое стоит много денег <...>

Ф. Н. ГЛИНКА — П. А. ПЛЕТНЕВУ. 24 апреля 1841 г. Москва.

<...> Куда укатилось *былое?* Век холодный, век расчетливый, век хрустально-ледяной настал и стоит как генварская стужа. Баратынский уехал в Тамбов; уехал — и все его забыли! а пока был на глазах — кадили, чествовали!! <...>

ИЗ ЖУРНАЛА П. А. ПЛЕТНЕВА. 8 сентября 1843 г. Петербург.

Прежде, нежели я отправился утром на дачу, ко мне явился мой старый друг Баратынский с 14-летним сыном Львом. Меня очень обрадовало это неожиданное свидание. Поэт через неделю отправляется с своею семьею на год за границу, после чего утвердит свое пребывание в С.-Петербурге. Деревня и Москва ему ужасно надоели. У Баратынского очень много натурального ума — и в его взгляде на нашу литературу есть что-то независимое и отчетливое. Между прочим, я помню его отзыв о Жуковском и Лермонтове. Они, сказал Баратынский, в некотором роде равны И. И. Дмитриеву. Как последний усвоил нашей литературе легкость и грацию французской поэзии, не создав ничего ни народного, ни самобытного, так Жуковский привил нашей литературе формы, краски и настроения немецкой поэзии, а Лермонтов (о стихах его говорить нечего, потому что он только воспринимал лучшее у Пушкина и других современ-

ников) в повести своей показал лучший образец нынешней французской прозы, так что, читая его, думаешь, не взято ли это из Евгения Сю или Бальзака.

ИЗ ЖУРНАЛА П. А. ПЛЕТНЕВА. 11 сентября 1843 г. Петербург.

На обеде у Путяты были: Одоевские, Соболевский, брат Путяты с женою, Россет и семейство Баратынских (7 человек его детей) <...> Баратынский же требует, чтобы я не прекращал журнала до его прибытия. Он намерен тогда соединиться со мною и работать деятельно.

Н. М. САТИН — Н. Х. КЕТЧЕРУ. 4 марта (н. ст.) 1844 г. Париж.

<...> Вне нашего маленького кружка из русских мы довольно сблизились здесь с Ев. Баратынским и нашли в нем теплую, живую душу <...>

А. Л. БОРАТЫНСКАЯ — Н. В. и С. Л. ПУТЯТАМ. 11 июля (н. ст.) 1844 г. Неаполь.

<...> Сейчас я чувствую себя хорошо, хотя только что оправилась от болезни; врач хотел пустить мне кровь и, так как это внушало нам отвращение, он сказал, что боится воспаления мозга; это так напугало Евгения, что даже после того как он успокоился, с ним случилось нечто вроде нервного приступа; после этого ночью у него была жестокая головная боль и началось разлитие желчи; слабительное, принятое им, не подействовало, вместо этого его вырвало желчью, но, как нарочно, я особенно не тревожилась; мы ждали врача, который должен был придти ко мне в семь часов утра, а в шесть с четвертью все было кончено, несмотря на кровопускание, потому что кровь уже не лилась <...>

11 июля, в самый день.

А. А. ИВАНОВ — А. И. ИВАНОВУ. Июль 1844 г. Неаполь.

<...> Но сии последние дни более всего меня занимала скоропостижная смерть нашего славного поэта Баратынского. Вдова с семью детьми, не имея никого знакомых, заставила меня отдаться всею душой этому делу. Посмотрев на усопшую красивую голову нашего поэта, я узнал у рыдающих, что нет в России хорошего портрета, и тотчас велел сформовать маску, что-

бы заказать бюст в Риме. Или я дам форму, с советом адресоваться в Академию художеств для слепков с нее. Хорошо, если бы вы постарались направить ее к самому мастеру и к какому-нибудь из работников <...>

В. И. ШТЕРНБЕРГ — Н. Л. БЕНУА. 19 июля 1844 г. Неаполь.

<...> Иванов очень занят. Недалеко от нас умер Баратынский, известный поэт, и оставил жену и троих детей, дочь 18 и двоих сыновей, один 14, другой 8 лет; люди добрые, никого не имеют знакомых. Иванов случайно с ними познакомился и теперь утешает сирот и вдову; но она уже стара и больно некрасива, так худого тут ничего нет. Они переехали в наш дом, и два сына их так надоедают Иванову, особенно старший, что он, т. е. Александр Андреевич, теперь сидит в своей комнате и боится дух переводить. Старший Баратынский имеет такие отвратительные манеры, что Иванов его преудачно уподобил тому несчастному, что в «Преображении» Рафаэля. Впрочем, жаль очень этих добрых людей, особенно мать: совершенно убита горем. Он умер скоропостижно.

ИЗ ЖУРНАЛА П. А. ПЛЕТНЕВА. 28, 29 и 30 июля 1844 г. Петербург.

Путята утром пришел ко мне с горестным известием: поэт Баратынский скоропостижно умер в Неаполе. За несколько дней до смерти он еще послал ко мне два свои стихотворения, которые я успел уже напечатать в № 8 Современника, и ты прочтешь их, верно, 5 августа. Какая для меня незаменимая потеря! Это последний из тех литераторов, с которыми я вырос и связан был совершенным сочувствием и единодушием. Осталась жена с семью детьми <...>

Я каждый день у Путяты: жена Путяты родная сестра жены Баратынского. Она ужасно плачет. Мы читаем его стихи или рассматриваем его портрет — и все плачем. Путята дружен был с ним 20 лет, с самой Финляндии. Баратынский ужасно страдал всю жизнь от судьбы и от людей. Литераторы московские на него клеветали, не ценили его таланта. Он только что устроил дела свои по имению, чтобы переехать жить в С.-Петербург, и вдруг судьба поразила его. Здесь четверо из его детей у Путят, а трое с матерью в Неаполе. Я не мог без рыдания слышать всхлипываний сестры и брата, когда они привезены были из пансионов и услышали вместе о своей ужасной потере.

А. А. ИВАНОВ — А. И. ИВАНОВУ. Август 1844 г.

<...> Я потерял адрес Баратынской, но помню, что живет она в Коломне у сестры своей, которой муж называется Путята, в доме Плеске. Мне бы нужно сказать ей, что лучшие скульпторы за бюст берут обыкновенно 300 скуд, или полторы тысячи франков. Тенерани нет в Риме, и я думаю бюст отдать самому лучшему скульптору по этой части — Паверсу. Обо всем этом я ее сам извещу подробно, но не знаю ее адреса. Прошу вас в свободную минуту поискать ее жительство и написать мне ее адрес <...>

Н. М. САТИН — А. И. ГЕРЦЕНУ. 22 августа (н. ст.) 1844 г. Берлин.

<...>Посылаю вам стихи на смерть Евгения Баратынского. Он умер в Неаполе в первых числах июля, и смерть его была нам чувствительна. В Париже мы сблизились с ним и полюбили его всей душой; он имел много планов и умер, завещая нам привести их в исполнение <...>

Памяти Е. Баратынского

В его груди любила и томилась
Прекрасная душа
И ко всему прекрасному стремилась,
Поэзией дыша;
Святой огонь под хладной сединою
Он гордо уберег,
Не оскудел, хоть и страдал душою
Средь жизненных тревог;
На жизнь смотрел хоть грустно он, но смело
И все вперед спешил;
Он жаждал дел, он нас сзывал на дело
И верил в Бога сил!
О, сколько раз с горячим рукожатьем,
С слезою на глазах,
Он нам твердил: вперед, младые братья,
Пред истиной все прах!
О, сколько раз он, старец вечно юный,
Наш круг одушевлял,
Дрожали в нас души живые струны,
Согласный хор звучал,
И дружно мы, напеня наши чаши,
Их осушали вновь
За все, что есть святого в жизни нашей,
За правду, за любовь!
Он избрал нас, и старец, умирая,
Друзья, нам завещал,
Чтобы по нем, как тризну совершая,
В борьбе наш дух мужал.

Берлин, 28 (16) июля.

П. В. НАЩОКИН — Н. М. КОНШИНУ. 21 августа 1844 г.

Истинно добрый и почтенный Николай Михайлович, прежде чем Тебя благодарить за Твое ко мне участие и дружеское внимание, погорюем о Боратынском — и его не стало. Когда известие о смерти барона Дельвига пришло в Москву, тогда мы были вместе с Пушкиным, и он, обратясь ко мне, сказал: «Ну, Воиныч, держись: в наши ряды постреливать стали». Многих из товарищей твоих и общих наших уже нет на свете, о которых не говорят и говорить не будут; *слава* же, *известность* и *Некрология* не умолкнут повторять имен Пушкина, Дельвига и Боратынского в дальнейшее время потомства; но много ли людей осталось, которые бы могли помянуть их как товарищей и друзей по сердцу и по душе: все трое были нам близки; но Ты был ближе всех к Боратынскому, и, можно сказать, в единственную интереснейшую эпоху его жизни. Итак, любезный друг Коншин, оставим журналистам, газетчикам и лексиконистам славить, или поминать их лихом, если им угодно, а мы с тобою помянем их, во-первых, как христиане: дай им Бог прощения и оставления грехов, и место в Царствии Твоем небесном, о Боже милостивый; а во-вторых, помянем их, как друзей и товарищей нашей беспечной и добросовестной молодости: спасибо им, что пожили с нами и любили нас <...>

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 30 августа/10 сентября 1844 г. Франкфурт-на-Майне.

<...> Ты поразил нас вестию о Боратынском. Мы не навеки расставались весною в Париже, и не он должен был тогда страшиться смерти. Из газеты узнал, что он исчез под небом Тасса <...>

А. И. ТУРГЕНЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 8/20 сентября 1844 г.

<...> От графа Протасова узнал я подробности о болезни и смерти Боратынского. Можно было спасти кровопусканием. Доктор не настоял; другого призвали уже после смерти к жене <...>

Н. М. КОНШИН — П. А. ПЛЕТНЕВУ. 28 сентября 1844 г. Тверь.

Многоуважаемый Петр Александрович!
Смерть Боратынского напоминает его друзьям, что круг их редеет; что угрожает им минута, когда и вспомнить о былом не с кем будет! Смерть его пробудила во мне, ярко и свежо, все воспоминания нашей общей с ним финляндской службы и жизни; напомнила и общество соревнователей, и субботы, в которые мы собирались к Вам, на чисто-поэтическую человеческую беседу. Жизнь и опыт многое изменили в нас, и изменили разно, зависимо от воздуха, какой кому по жребию достался подышать; но в памяти живо прошлое, святое и блестящее, к которому равнодушен стал разве тот, кто имел несчастие попасть в воздух, окаменяющий душу.

Смерть моего незабвенного Ангела — Евгения осветила ярко мою старину, и у меня вылилась статья под названием: *Воспоминание о Боратынском или 4 года моей финляндской службы,* с его же эпиграфом:

Пробьют урочные часы,
И низойдет к брегам Аида
Певец веселья и красы.

Я знаю, что Вы любили Б., знаю, как горячо он любил Вас, а потому желал бы, чтобы эта статья была напечатана у Вас, в Современнике. Потрудитесь отозваться, желаете ли Вы поместить ее, и если да, то когда ее перепишут, я к Вам и отправлю, с тем, что Вы и помараете ее, и почистите, где почтете нужным <...>

П. А. ПЛЕТНЕВ — Я. К. ГРОТУ. 30 сентября 1844 г. Петербург.

<...> В Москвитянине не сказали ни слова о Баратынском: такова злость литературных партий. Его не любили московские литераторы, как не разделявшего их Гегелевских мнений <...>

П. А. ПЛЕТНЕВ — Н. М. КОНШИНУ. 3 октября 1844 г. Петербург.

<...> Баратынский умер в такой момент, когда только почувствовал, что ему можно начать жить. Перед отъездом за границу много он толковал со мною о будущем. Он непременно хо-

тел соединиться со мною для работ по Современнику, почувствовав, что только журналом можно противодействовать возрастанию бесстыдного самохвальства невежд. Богу не угодно было возвратить его нам из Неаполя.

Злобные завистники поэта не пощадили и святыни его праха. Читали ль Вы все вздоры, которые в разных местах о нем тиснуты были? Я не мог вытерпеть — и написал свою статью (Современник, 1844, № 9), в которой, не упоминая, впрочем, о ничтожных клеветах, как глупости, недостойной опровержения, высказал мнение мое о поэтических достоинствах Баратынского. Я очень буду рад и еще напечатать о нем статью. Сделайте милость, скорее пришлите ее ко мне. Она поспеет в декабрьскую книжку, так как ноябрьская уже почти отпечатана <...> Прошу только Вас внимательнее сверить Ваши отзывы и рассказы о Баратынском с моими, чтобы таким образом нам образовать нечто ровное и однозвучное: это может противостать клеветам недоброжелателей наших <...>

П. А. ПЛЕТНЕВ — Н. М. КОНШИНУ. Октябрь—ноябрь 1844 г. Петербург.

<...> Итак, получил и, прочитав ее с тем наслаждением, которое испытывает душа к давно-минувшей жизни, я отправился к моим цензорам <...> Каково же было удивление мое, когда они оба решительно восстали против печатания статьи! По их мнению, невозможно пропустить в печать столько подробностей о молодости таких лиц, из которых большая часть в живых, занимает значительные посты <...> Другое обстоятельство еще больше остановило их — это известная судьба нескольких членов Общества. По их понятию, говорить об этом Обществе есть что-то не похожее на деликатность и цензорскую осторожность. В третьих: самое лицо, Баратынский, теперь менее всего должно быть трактуемо с этой высоты и пристрастия, когда, в недавнем времени, один из русских в Париже в Journal des Débats напечатал о нем (конечно, как лжец, мнимый только приятель покойника и явный враг Отечества своего) такие россказни, что здесь залепили самый article* газеты...

* *Статью (фр.).*

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. А. ЖУКОВСКОМУ. 4 ноября 1844 г. Петербург.

<...> Смерть Баратынского — безмолвною и невидимою тенью проскользнула в этом обществе высших патриотов <...>

П. А. ПЛЕТНЕВ — Я. К. ГРОТУ. 25 ноября 1844 г. Петербург.

<...>К Баратынской, которая все жаловалась на московских литераторов, как они огорчали ее мужа <...>

Н. Д. ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ — М. П. ПОГОДИНУ. Начало 1845 г.

<...> Жаль Баратынского! Но напрасно думают, что он замолк от журналов; его талант пересилил бы их. Он, разбогатев, занялся позитивным; в последнее свидание его со мною он говорил целый час об агрономии, политической экономии и после целый час об отвлеченной философии. Но здоровье его казалось уже расстроенным <...>

Н. М. САТИН — Н. П. ОГАРЕВУ. 2 апреля 1845 г. Париж.

<...> А, Огарев! ведь в нашем-то понимании есть что-то действительное, живое. Все люди, в которых есть жизнь, идут к нам и отказываются от своих современников... В прошедшем Баратынский, ныне Мельгунов <...>

Н. В. ПУТЯТА — С. Л. ПУТЯТА. Лето 1845 г.

<...>В Муранове мы провели около двух суток <...> Тут все живо напоминает покойного Евгения. Все носит свежие следы его работ, его дум, его предположений на будущее. В каждом углу, кажется, слышим и видим его. Я не мог удалить из памяти его стих:

Тут не хладел бы я и в старости глубокой!

<...>Дом в Муранове прелесть, особенно внутреннее расположение. Оригинально и со вкусом. <...>

Н. В. ПУТЯТА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 29 августа 1845 г. Петербург.

Настасья Львовна Боратынская поручила мне уведомить Вас, что похороны нашего покойного Евгения будут в пятницу, в Александро-Невском монастыре. Обедня начнется в 11-ть часов.

П. А. ПЛЕТНЕВ — Я. К. ГРОТУ. 1 сентября 1845 г.

В пятницу (31-го августа) я был на похоронах поэта Баратынского, умершего ровно за год и два месяца перед сим. Его похоронили в Невском монастыре, близ Крылова, Гнедича и Карамзина. Кроме семейства, родственников (Путят с женами) и домочадцев, были следующие литераторы: князь Вяземский, князь Одоевский (с женой), граф Владимир Соллогуб — и только.

П. А. ПЛЕТНЕВ — Я. К. ГРОТУ. 27 октября 1845 г. Петербург.

<...> О *Нале* и Баратынском я писал с упоением страсти: тут нет слова, которое бы не прошло через мое сердце. Иначе и писать я не могу о том, что понял сердцем. Так мог бы я пересказать о всех литераторах, которых я любил <...>

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание избранных сочинений Е. А. Баратынского имеет свою особенность: центральную часть его составляют письма поэта, впервые собранные в одной книге в таком количестве. В разделе стихов более полно представлена зрелая и поздняя лирика Б.; в ранних стихах (до 1827 г., явившегося рубежом на пути Б.-поэта) производился отбор. Письма Б. и воспоминания о нем современников, составившие третий раздел настоящей книги, изобилуют конкретным материалом, требующим историко-литературных и биографических пояснений; поэтому при ограниченном объеме издания комментаторы были вынуждены отказаться от примечаний к стихам, подробно откомментированным в ряде изданий последнего времени (напр.: Баратынский Е. Стихотворения.— М., Сов. Россия, 1976, примечания С. Г. Бочарова; Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы.— М., Наука, «Лит. памятники», 1982, примечания Л. Г. Фризмана).

В примечаниях и вступительной статье приняты следующие сокращения:

Ак.— Полное собрание сочинений Е. А. Баратынского (Академическая библиотека русских писателей). Под редакцией и с примечаниями М. Л. Гофмана. Т. 1—2.— СПб., 1914—1915.

Б.— Белинский В. Г. Собрание сочинений в 3-х т.— М., 1948.

Вац.— Вацуро В. Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина.— М., 1978.

ВЛ — «Вопросы литературы».

Вол.— Волович Н. М. Пушкинские места Москвы и Подмосковья.— М., 1979.

Вяз.— Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984.

ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Д.— Дельвиг А. А. Сочинения.— Л., 1986.

Е — «Европеец».

Зап. кн.— Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848).— М., 1963.

Изд. 1869 — Сочинения Евгения Абрамовича Баратынского. С портретом автора, снимком его почерка, его письмами и биографическими о нем сведениями.— М., 1869.

Изд. 1936— Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений.

Т. 1—2. Редакция, комментарии и биографические статьи Е. Купреяновой и И. Медведевой. Вступительная статья Д. Мирского.— М.—Л., 1936.

Изд. 1951 — Боратынский Е. А. Стихотворения, поэмы, проза, письма. Подготовка текста и примечания О. Муратовой и К. Пигарева. Вступительная статья К. Пигарева.— М., 1951.

Изд. 1983 — Баратынский Е. А. Стихотворения. Проза. Письма. Составление и примечания В. А. Расстригина, А. Е. Тархова. Вступительная статья С. Г. Бочарова.— М., 1983.

К.— Киреевский И. В. Критика и эстетика.— М., 1979.

ЛГ — «Литературная газета».

ЛН — Литературное наследство.

ЛП — Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Подготовка издания Л. Г. Фризмана (серия «Литературные памятники»).

М — Е. А. Боратынский. Материалы к его биографии. Из Татевского архива Рачинских. С введением и примечаниями Ю. Верховского.— Пг., 1916.

МВ — «Московский вестник».

Мн — «Мнемозина».

МТ — «Московский Телеграф».

ОА — Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1—5.— Спб., 1899—1909.

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

П.— Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, Т. 1—17.— М.— Л., 1937—1959.

П. в восп.— А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т.— М., 1974.

ПЗ — «Полярная звезда».

РА — «Русский архив».

PC — «Русская старина».

С — «Современник».

СЦ — «Северные цветы».

Т.— Переписка А. И. Тургенева с князем П. А. Вяземским. Т. 1.— Пг., 1921.

ТС — Татевский сборник С. А. Рачинского.— Спб., 1899.

Ф.— Филиппович П. П. Жизнь и творчество Е. А. Боратынского.— Киев, 1917.

Х.— Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество.— Осло — Берген — Тромсё, 1973.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

Ш.— Шубин В. Ф. Поэты пушкинского Петербурга.— Л., 1985.

Яз. арх.— Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829). Пб., 1913.

ПИСЬМА

Основные издания, в которых было собрано эпистолярное наследие Б.: Изд. 1869 (59 писем), ТС (52 письма И. В. Киреевскому), М (49 писем к родным), Изд. 1951 (68 писем), Х (70 писем), Изд. 1983 (106 писем). Обзор переписки Б. и данные о ее публикации см.: Х., с. 702—710. В предлагаемое издание включены 194 письма 34-м адресатам, что составляет около двух третей от

общего количества сохранившихся писем поэта. Составитель и комментатор стремились возможно более полно представить диапазон эпистолярного общения Б., спектр его адресатов. Большая часть писем печатается по указанным изданиям, объединившим крупные массивы переписки поэта. Тексты писем И. В. Киреевскому и П. А. Вяземскому сверены и исправлены по автографам, хранящимся в ЦГАЛИ (ф. 236, оп. 2, ед. хр. 8 и ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1399). По автографам ЦГАЛИ впервые публикуются письма 94 (ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1399) и 127 (ф. 450, оп. 1, ед. хр. 5). Также, по автографам, публикуется полный текст ряда писем, ранее известных не полностью или в отрывках: 45, 118 (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1399), 46(ГБЛ, Пог/II, к. 47 ед. хр. 50), 147, 149, 152 (ПД,21736/С 612). Письма 1, 2, 3, 15, 26, 56, 130, 136, 143, 161, 169, 172, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 186 написаны по-французски и печатаются в переводах; из них письма 1, 130, 136, 175, 181 впервые появляются в русском переводе, выполненном С. Ю. Касьяном (ему же принадлежит новый перевод письма 177). Уточняются принятые в предшествующих публикациях или предлагаются новые датировки следующих писем: 7, 11, 29, 39, 42, 49, 50, 55, 56, 57, 63, 66, 67, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 95, 101, 106, 117, 120, 122, 133, 168, 182.

1 (с. 128). Александра Федоровна Боратынская, урожденная Черепанова (1776—1852), мать поэта. Сохранилось около 70 его писем к ней, в основном на французском языке. *Занимаюсь на досуге переводами* — эта работа была продолжена Б. в 20-е гг.; его прозаические переводы — новеллы К. де Местра «Прокаженный города Аосты» и нескольких глав из «Гения христианства» Ф. Р. Шатобриана — печатались в журналах в 1822—1830 гг. (X, с. 270—273). *сочинением небольших пьесок.* — Известен французский мадригал двенадцатилетнего Б., посвященный матери (ТС, с. 59—60). Остальные детские сочинения Б. не сохранились; по воспоминаниям, «он говорил, что первые свои произведения должно посвящать богам, предавая их всесожжению» (Изд. 1869, с. 397).

2 (с. 129). *у дяди* — Петра Андреевича Боратынского (1770—1845), генерал-майора. В 1817 г. Б. писал ему: «...Я никогда не позабуду, что вы столько времени были мне отцом, наставником и учителем...» (Изд. 1869, с. 409). *«Эстелла»* — повесть французского писателя Ж. П. Флориана (1755—1794). *в Москве* — в 1808—1810 гг.

3 (с. 131). *Софья* — София Абрамовна Боратынская (1801—1844), старшая из трех сестер поэта.

4 (с. 133). X, с. 582. Сергей Семенович Уваров (1786—1855) — с 1811 г. был попечителем санкт-петербургского учебного округа, с 1818 г. — президентом Академии наук; позднее — министр народного просвещения (1833—1849), сенатор, член Государственного совета. Обращение Б. к Уварову было безрезультатным. *Анна Николаевна* — жена Георгия Алексеевича Лутковского (ум. в 1831 г.), командира полка, в котором служил Б.; он был соседом по имению Б. А. Боратынского, старинным другом их семьи (Изд. 1869, с. 395), видимо, был с ними и в родстве (М, с. IV).

5 (с. 133). Андрей Афанасьевич Никитин (1790—1859) — литератор, один из основателей Вольного общества любителей российской словесности. Б. был принят в него «членом-корреспондентом» 26 января 1820 г., а 28 марта 1821 г. произведен в действительные члены. В качестве секретаря Общества Никитин уведомил об этом Б.

6 (с. 134). Письмо написано по просьбе Жуковского, предполагавшего довести его до сведения Александра I (см. с. 402). Несмотря на мелкие неточно-

сти, оно, по-видимому, дает верную картину случившегося в Пажеском корпусе. *Глориозо, Ринальдо Ринальдини* — романы из жизни разбойников К. А. Вульпиуса (1762—1827) «Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann» (Bd. 1—3, 1797—1800) и «Glorioso, der grosse Feufel» (1800), переведенные на русский язык и получившие широкую известность в России в начале XIX в. *Мы слишком удачно исполнили наше намерение.* — В рапорте главноуправляющего корпусом Ф. М. Клингера на имя Александра I от 22 февраля 1816 г. сообщалось, что пажи Ханыков и Б. «вместо того, чтобы идти к родственникам с присланными за ними людьми, с коими из корпуса отпущены были, пошли к камергеру Приклонскому, по знакомству их с сыном его, пажем Приклонским, и вынули у него из бюро черепаховую в золотой оправе табакерку и пятьсот рублей ассигнациями». Когда дело раскрылось, они «признались, что взяли упомянутые деньги и табакерку, которую, изломав, оставили себе только золотую оправу, а на деньги накупили разных вещей на 270, прокатали и пролакомили 180, да найдено у них 50 рублей, кои, вместе с отобранными у них купленными ими вещами, возвращены г. камергеру Приклонскому» (Изд. 1936, т. 1, с. XLII). *около года мотался по разным петербургским пансионам.* — Б. был уволен из корпуса 15 апреля 1816 г., а в мае уже покинул Петербург и был увезен в Подвойское, имение в Смоленской губернии, принадлежавшее его дяде, вице-адмиралу Богдану Андреевичу Боратынскому (1769—1820) (Изд. 1936, т. 1, с. XLII—XLIII). *Наконец поехал в деревню к моей матери.* — В конце февраля 1817 г. (Ак, Т. 1, с. XLIII). *Но еще же ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть и тек нападе на выю его и облобыза его.* — И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и побежав, пал ему на шею и целовал его (цитируется притча о блудном сыне; Лк, 15, 20). *я впал в жестокую нервическую горячку.* — Это произошло еще до встречи с матерью; Б. был болен с ноября 1816 г. до начала 1817 г. (Ф, с. 40).

7 (с. 140). *к будущей великой княгине Елене Павловне* — Фредерике Шарлотте Марии, принцессе Вюртембергской (1806—1873), с 8 февраля 1824 г. — жене великого князя Михаила Павловича.

8 (с. 140). *поэзия есть добродетель* — цитируется послание Жуковского «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814).

9 (с. 141). Издатели альманаха «Полярная звезда» Александр Александрович Бестужев (1797—1837) и Кондратий Федорович Рылеев (1795—1826) предполагали выпустить в свет первое собрание стихотворений Б. *«Маккавеи,* или Мученик» — трагедия французского драматурга А. Гиро (1788—1847). Осенью 1823 г. Н. И. Гнедич задумал коллективный перевод этой трагедии для актрисы Е. С. Семеновой. В работе должны были принять участие Дельвиг, Рылеев, П. А. Плетнев и М. Е. Лобанов. Перевод не был осуществлен.

10 (с. 142). Написано в первые дни знакомства (см. с. 351—352) с Николаем Васильевичем Путятой (1802—1877), впоследствии одним из самых близких Б. людей. Сохранилось более 40 писем Б. к Путяте (X, с. 708).

11 (с. 142). Николай Михайлович Коншин (1793—1859) — поэт, друг Б. *Анета* — Анна Васильевна Лутковская (ум. в 1879) — племянница Г. А. Лутковского. Сохранился ее альбом с автографами Б.

12 (с. 144). Ответ на сообщение Путяты, что Б. разрешено приехать в Гельсингфорс.

13 (с. 144). Михаил Евстафьевич Лобанов (1787—1846) — поэт и переводчик, знакомый Б. по Вольному обществу любителей российской словесности. *«Маккавеи» — см. письмо 9. Я переменил местопребывание.* — Жизнь в Гельсингфорсе, по-видимому, не оставляла Б. времени для литературных занятий.

«Особенным блеском светская жизнь отличалась зимой 1824 года. <...> Балы и вечера устраивались почти каждый день. <...> некоторые даже стали опасаться за здоровье участников всех этих вечеров» (X, с. 94—95).

14 (с. 145). Александр Иванович Тургенев (1784—1845), друг Карамзина, Жуковского, Вяземского; пользуясь своими обширными связями, особенно близостью к Александру Николаевичу Голицыну (1773—1844), министру духовных дел и народного просвещения, Тургенев помогал многим литераторам. «Уполномоченным и аккредитованным поверенным в делах русской литературы при предержащих властях и образованном обществе» назвал его Вяземский (Вяз., с. 338). *Арсений Андреевич* — Закревский (1786—1865), в то время генерал-губернатор Финляндии. Его просили за Б. Д. В. Давыдов (с. 404) и, очевидно, Путята. *Небольшую поэму* — «Эда».

15 (с. 146). С поэтом Иваном Ивановичем Козловым (1779—1840) Б. встречался в салоне Александры Андреевны Воейковой, урожденной Протасовой (1797—1829), племянницы и крестницы Жуковского. *вашего «Чернеца»* — рукопись поэмы Козлова (вышла в свет весной 1825 г.). *небесной Пери* — так называли Воейкову, видя в ней сходство с героиней стихотворной повести Жуковского «Пери и ангел» (1821); в примечании к первому изданию поэмы объяснялось, что пери — это «воображаемые существа, ниже ангелов, но превосходнее людей, не живут на небе, но в цветах радуги... и подвержены общей участи смертных» (Жуковский В. А. Собр. соч. в 4-х т., т. 2.—М.—Л., 1959, с. 475). *мой теперешний покровитель* — Закревский. *полемическая статья Кюхельбекера.* — «Разговор с Ф. В. Булгариным» (см. письмо 17). *Наши Фрероны* — имя французского литератора Э. К. Фрерона (1719—1776) сделалось нарицательным в результате насмешек его литературного противника Вольтера. *журнал Полевого* — «Московский телеграф».

17 (с. 149). С Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером (1799—1846) Б. сблизился вскоре после своего приезда в Петербург в 1818 г. *1-ю часть «Мнемозины»* — альманаха, который издавал в Москве Кюхельбекер в 1824—1825 гг. вместе с В. Ф. Одоевским. *Эйлер* Леонард (1707—1783), знаменитый математик и физик, был профессором петербургской и берлинской Академии наук. *в 3-й части «Мнемозины» разговор твой с Булгариным.* — «Разговор с Ф. В. Булгариным» Кюхельбекера — это ответ на возражения Булгарина против некоторых положений статьи Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие»; статья содержала критику элегического направления в поэзии, причем в качестве примера автор ссылался на «любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского» (Мн, 1824, ч. 2).

19 (с. 151). *да благо ти будет и долголетен будеши на земли.* — Исх., 20, 12. *общую нашу Альсину* — А. Ф. Закревскую (см. с. 11), которой был увлечен Путята. *La voilà telle que la mort nous l'a faite.* — Цитируется надгробное слово герцогине Орлеанской французского проповедника Ж. Б. Боссюэ (1627—1704).

20 (с. 152). *Шекспиров плуг.* — Вероятно, имеются в виду строки из трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра» (акт 2, сцена 2): «Вот женщина! Великий Юлий Цезарь. И тот свой меч в постель к ней уложил. Он шел за плугом, жатва ей досталась». *Фея твоя* — Закревская. *Кн. Львов* Александр Дмитриевич (1800—1866) — адъютант Закревского. *с генералом* — Закревским. *новую поэму* — «Бал» (1825—1828).

21 (с. 154). *Она* — Закревская. *«Леда»* (1824) — стихотворение Б. на мифологический сюжет, частый во французской эротической поэзии XVIII в. (вольный перевод произведения Э. Парни), было напечатано (Мн, 1824, ч. 4) за подписью***. Б. не включал «Леду» в свои сборники. *буре шуметь не позволе-*

но — Речь идет о стихотворении Б. «Буря» (Мн, 1824, ч. 4), которое «не было ни тогда, ни после вполне дозволено в печати» (Изд. 1869, с. 28).

22 (с. 155). *Жду... «Чернеца»* — отдельное издание поэмы; см. письмо 15. *отрывку из «Эды»* — из третьей части (в соответствии с делением ранней редакции) поэмы (ПЗ на 1825 г.). *небольшую поэму* — «Бал». *Перед отъездом его в Москву* — в 1820 г. *кулачные бои* — образ этот сложился в кругу друзей Вяземского, с неодобрением относившихся к его «полемическому задору». Поэтому «эпиграмма» Б., написанная на языке этого круга, выражала не столько осуждение, сколько солидарность и дружескую поддержку и была лестна Вяземскому.

23 (с. 157). Написано после получения Б. приказа о производстве в офицеры.

24 (с. 158). *Не рожден я для службы царской.* — Ср. в известной «Песне» (1815) Д. В. Давыдова: «Я люблю кровавый бой! Я рожден для службы царской!» *Магдалина* — Закревская; имя это, очевидно, было закреплено за ней после стихотворения Б. «Как много ты в немного дней...» (с. 51). *Мефистофелес* — граф Александр Армфельдт (1794—1875), друг Путяты, адъютант Закревского, стал прототипом Арсения, героя поэмы Б. «Бал» (Х, с. 93—94, 370—372).

25 (с. 158). *Мисинька* — англичанка, жившая в доме Закревских. *Каролина Левандер* — молодая девушка, уроженка Финляндии, сопровождавшая Закревскую в Петербург. *Парголово,* на Выборгской дороге, было местом, где встречали и провожали приезжающих из Финляндии, в том числе и самого Б. (см. с. 356).

26 (с. 160). *Серж* — Сергей Абрамович (1807—1866), младший брат Б.; хлопотавший о его устройстве в Петербурге. Дельвиг сообщал Б. в конце 1825 г.: «Твои комиссии мною исполнены: принимаются в колонновожатые во всякое время; свидетельство же находится в Инспекторском департаменте, и его должен твой брат вытребовать, подавши просьбу в оный» (Д, с. 308). Видимо, вскоре планы С. А. Боратынского изменились — он поступил в медицинскую академию в Петербурге (М, с. 42).

27 (с. 161). *к Авроре* Карловне Шернваль (1808—1902), юной красавице, дочери выборгского губернатора. Б. познакомился с ней в Гельсингфорсе и посвятил ей стихотворение «Девушке, имя которой было Аврора» (1825). *к Ознобишину* Дмитрию Петровичу (1804—1877), поэту и переводчику.

28 (с. 162). Известны три письма Б. к Пушкину. Переписка их, по-видимому, не была обширной, но несомненно, что часть писем, возвращенных Б. после смерти Пушкина (см. с. 430), была позднее утрачена. Письма Пушкина не сохранились. *Духов Кюхельбекера* — пьеса Кюхельбекера «Шекспировы духи». *что сделал для Рылеева* — речь идет о замечаниях, сделанных Пушкиным на полях отдельного издания поэмы Рылеева «Войнаровский» (1825).

29 (с. 164). Из переписки Б. с поэтом и литературным критиком Петром Андреевичем Вяземским (1792—1878) сохранилось 21 письмо Б. и два письма Вяземского. *Письмо ваше к барону Дельвигу* от 7 декабря 1825 г. — ответ на просьбу Дельвига о материалах для СЦ на 1826 г. (Д, с. 307, 414).

30 (с. 164). *«Урания»* — альманах на 1826 год, изданный М. П. Погодиным. *«Я есмь»* — стихотворение С. П. Шевырева. *московская молодежь* — имеется в виду Общество любомудрия — литературно-философский кружок, существовавший в Москве в 1823—1825 гг.; позднее большинство его членов объединились вокруг журнала «Московский вестник» (1827—1830). Этот новый для Б. круг не исчерпывает, но в главном определяет ту среду, в которой будет протекать его жизнь и деятельность в конце 20-х и в 30-е годы. *пиэтику на немецкий лад* — «Опыт науки изящного» (СПб., 1825), труд А. И. Галича (1783—1848),

профессора Петербургского университета, шеллингианца. *в своей эпиграмме* — «Соловей и кукушка»; напечатана в посылаемом с письмом альманахе. *в одной ненапечатанной пьесе* — предполагается, что это ранняя (1824), не сохранившаяся редакция послания «Богдановичу», впервые напечатанного в СЦ на 1827 г. Ср. также: «Смешно жеманное вытье!» («Подражателям», с. 70). *Камоэнс* Луиш ди (1524 или 1525—1580) — португальский поэт, автор эпической поэмы «Лузиады» (1572; рус. пер. 1788). *всю книгу* — Стихотворения Александра Пушкина. СПб., 1826.

31 (с. 165). *описание Финляндии* — в отрывке из «Эды» (МТ, 1825, № 22). *Бутков* Петр Григорьевич (1775—1857) — чиновник особых поручений при финляндском генерал-губернаторе. *генералу* — Закревскому. *Александр* — вероятно, младший брат Путяты, служивший в это время в 46-м егерском полку (Изд. 1951, с. 602).

32 (с. 167). *Толстой* Федор Иванович (1782—1846) — отставной гвардейский офицер, имел репутацию бретера, картежника и человека, пренебрегающего общепринятой моралью.

33 (с. 168). Владимир Васильевич Измайлов (1773—1830) — писатель-карамзинист, переводчик, издатель, публиковавший первые стихи поэтов-лицеистов; после 1820 г. сошел с литературной сцены. В 1826 г. он решил издать альманах «Литературный музеум» и был дружно поддержан всеми приглашенными им писателями, выразившими таким образом свое уважение к минувшей литературной эпохе (Вац., с. 101—102). *Поэма моя* — «Бал». *до имени Магдалина* — в стихотворении Б. «Как много ты в немного дней...»; видимо, и в измененном варианте оно не было пропущено цензурой. Вместо него Б. дал для альманаха стихотворения «А. А. Воейковой» и «Ты ропщешь, важный журналист...». *все благо, все добро.* — Цитируется стихотворение Г. Р. Державина «Утро» (1800).

34 (с. 168). Александр Алексеевич Муханов (1802—1834) познакомился с Б. в 1824 г., в Финляндии, будучи адъютантом Закревского; с 1826 г. стал адъютантом главнокомандующего Второй армией графа П. Х. Витгенштейна. *Ираклий* Абрамович Боратынский (1802—1859) — младший брат поэта, был в то время адъютантом Витгенштейна и встречался с Мухановым в Тульчине, где находился штаб Второй армии. *А. Ф.* — Закревская; летом 1826 г. она родила дочь (ОА, т. 3, с. 595). В начале 1826 г. Б. писал Путяте: «...В Москве пронесся необычайный слух: говорят, что Магдалина беременна? Я был поражен этим известием. Не знаю почему беременность ее кажется непристойною. Несмотря на это я очень рад за Магдалину: дитя познакомит ее с естественными чувствами и даст какую-нибудь нравственную цель ее существованию. До сих пор еще эта женщина преследует мое воображение, я люблю ее и желал бы видеть ее счастливою» (Ак, т. 1, с. 258). *«Дамский вечер»* — поэма «Бал». *читал мне Годунова.* — Б. присутствовал при первом чтении Пушкиным трагедии «Борис Годунов» в Москве 10 сентября 1826 г. на квартире С. А. Соболевского (П. в восп., т. 2, с 9, 373); возможно, Пушкин читал «Годунова» и одному Б.

35 (с. 169). *на нашего герцога* — Закревского. *печатаются ли мои сочиненья* — в письме Дельвига от 3 декабря 1826 г. говорится: «Твои стихотворения в цензуре, в феврале выйдут в свет» (Д, с. 322). По неустановленным причинам издание 1827 г. вышло не в Петербурге, а в Москве; см. письмо 38.

36 (с. 170). *Настинька* — жена Б. Анастасия Львовна.

37 (с. 171). Текст Вяземского воспроизводится лишь частично. *«Грузинский князь, газетчик русской...»* — эпиграмма на князя Петра Ивановича Шаликова (1768—1852), поэта, издателя «Дамского журнала» и редактора газеты «Москов-

ские ведомости», в которой печатались сообщения о военных действиях. Род Шаликова имел грузинское происхождение. *Александр Иванович* — Тургенев.

38 (с. 172). Николай Алексеевич Полевой (1796—1846) — писатель и журналист, издатель журнала «Московский телеграф». Полевой взял на себя выпуск в свет «Стихотворений Евгения Баратынского» (М., 1827) — первого отдельного издания его произведений, подготовленного Дельвигом; оно вышло в ноябре 1827 г., когда Б. находился в Маре. *«Див* и Пери» (СПб., 1827) — поэма Андрея Ивановича Подолинского (1806—1886), в конце 20-х гг. близкого к кругу Дельвига. *«Онегин»* — третья глава, вышедшая отдельным изданием в октябре 1827 г. *особые счеты* — связанные с покупкой Дельвигом у Б. его сочинений (см. с. 412). *вашего братца* — Ксенофонта Алексеевича Полевого (1801—1867), критика и журналиста.

39 (с. 174). *счастливой дороги* — 11 декабря Вяземский уехал к семье в пензенское имение своей жены Мещерское (ОА, т. 3, с. 169; Зап. кн., с. 406); в январе 1828 г. он вернулся в Москву.

40 (с. 174). *Вяземский* приехал в Петербург 27 февраля 1828 г. (Зап. кн., с. 408). *В моем Тамбовском уединении* — в Маре, где Б. находился с весны до осени 1827 г. (X, с. 128). *Дельвиг* приехал в Москву в конце января 1828 г. и провел там пять дней. *еще две песни* — четвертая и пятая главы «Евгения Онегина», вышедшие в свет 31 января 1828 г. отдельным изданием. *портрет* Пушкина, гравированный Н. И. Уткиным (1780—1863) с оригинала О. А. Кипренского (1783—1836), был приложен к СЦ на 1828 г.; принадлежавший Б. оттиск находится в музее-усадьбе Мураново (Изд. 1951, с. 603). *Василий Львович* Пушкин (1766—1830) в 1828—1829 гг. писал пародийную поэму «Капитан Храбров». *Громобой* — герой одноименной баллады Жуковского (1810), продавший душу дьяволу.

41 (с. 175). *вступил в Межевую* канцелярию — 24 января 1828 г. (Изд. 1983, с. 302). *дружескую критику* — очевидно, на сборник 1827 г., в котором многие стихотворения появились в переработанных редакциях. *А<рсений> А<ндреевич>* Закревский стал министром внутренних дел в апреле 1828 г. (Изд. 1951, с. 603).

42 (с. 177). *говорил с Полевым* — о финансовых расчетах, связанных с участием Вяземского в издании МТ в 1827 г. (Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество.— Л., 1969, с. 165—166). *журнальное предприятие* — см. с. 417. *проходя мимо вашего дома* — Б. жил почти напротив.

43 (с. 178). После смерти Дельвига письма Б. к нему были уничтожены (см. с. 363), уцелело только одно. Известно десять писем Дельвига к Б. *две пьесы* — предположительно «Фея» и «Уверение»; высказывалось мнение, что они посвящены А. Ф. Закревской и Б. не хотел печатать их по личным соображениям. *«Бесенок»* (1828) — опубликовано в СЦ на 1829 г. вместе с десятью другими произведениями Б. *портрет* Б. был сделан, по-видимому, в 1828 г. (см. Д., с. 329); он не был приложен к СЦ на 1829 г. *«Последнюю эпоху Золотого века»* — идиллия Дельвига «Конец Золотого века» не вошла в СЦ на 1829 г. *письмо от Пушкина* не сохранилось; в наброске его статьи о поэме «Бал» о *речи мамушки* не говорится. *Софья Михайловна* Дельвиг, урожденная Салтыкова (1806—1888),— жена Дельвига; после его смерти вышла замуж за С. А. Боратынского. *Настинька* — жена Б., далее, очевидно, ее рукой вычеркнуто полторы строки. *Сергей* — брат Б. (см. письмо 26). Дельвиг писал Б. 8 февраля 1826 г.: «Твой брат Сергей у нас. Он очень напоминает моего Евгения. Мы им, однако ж, не очень довольны. Все еще церемонится» (Д., с. 313). С. А. Боратынский постоянно бывал в доме Дельвига в конце 20-х гг. *Ширяев* Александр Серге-

евич (ум. в 1841) — московский книгопродавец и издатель. *«Двойник,* или Мои вечера в Малороссии» (СПб., 1828) — цикл повестей Антония Погорельского (Алексея Алексеевича Перовского, 1787—1836).

44 (с. 179). Степан Петрович Шевырев (1804—1864) — поэт и критик. *в заседании* Общества любителей Российской словесности при Московском университете, активным членом которого был Шевырев. *Иван Петрович Бороздна* (1804—1858) — поэт.

45 (с. 180). *роман Булгарина* — «Иван Выжигин» (1829). *Soit disant* — так сказать (фр.). *вроде Жильблаза* — плутовского романа А. Р. Лесажа (1668—1747) «История Жиль Блаза из Сантильяны» (1715—1735). *Раич* (Амфитеатров) Семен Егорович (1792—1855) — поэт, переводчик; в 1829 г. начал издавать журнал «Галатея», где вступил в резкую полемику с Н. А. Полевым. *Надинька Озерова* (1810—1863) — дочь шталмейстера, сенатора Петра Ивановича Озерова (1773—1843), московская знакомая Б. *Свербеева* Екатерина Александровна, урожденная княжна Щербатова (1808—1892), жена Д. Н. Свербеева (см. письмо 65).

46 (с. 181). Иван Васильевич Киреевский (1806—1856) — философ, литературный критик, близкий друг Б. Текст, написанный им, воспроизведен не полностью. *об Альманахе* — вероятно, имеется в виду «Московский вестник». *Статьи об Жук<овском>.* — Возможно, речь идет о статье, которую собирался написать Киреевский (К., с. 398).

47 (с. 182). *Василий Львович* — Пушкин. *«Станция»* — стихотворение Вяземского, опубликованное в альманахе «Подснежник» (СПб., 1829); по-видимому, речь идет об отдельном оттиске. *Выжигиных* — см. письмо 45.

49 (с. 184). *Фильд* Джон (1732—1837) — пианист и композитор, ирландец; с 1804 г. жил в Петербурге. *вашу пьесу К н и м, перемеченную Пушкиным.* — Сохранился автограф ранней редакции стихотворения Вяземского «К ним» («За что служу я целью мести вашей...»; 1828 или 1829) с правкой и замечаниями Пушкина, видимо, сделанными в Москве весной 1829 г. Приведенная далее строка в окончательной редакции изменена.

50 (с. 185). *«Адольф»* (1816) — роман Бенжамена Констана (1767—1830), который Вяземский начал переводить в Мещерском весной 1829 г.

51 (с. 186). Михаил Петрович (здесь и в другой записке к нему Б. ошибается в его отчестве) Погодин (1800—1875) — писатель, историк, издатель «Московского вестника» (1827—1830). *Домашние... хлопоты* — поездка в Мару, где Б. пробыл с конца сентября 1829 до весны 1830 г.

52 (с. 187). Сергей Дмитриевич Полторацкий (1803—1884) — известный библиофил и библиограф; до отъезда за границу в 1830 г. часто встречался с Б. в Москве.

53 (с. 187). *Стихов тебе пришлю* — для альманаха «Царское Село» на 1830 г., который собирался издать Коншин вместе с поэтом Е. Ф. Розеном. *при добром месте* — в 1829—1837 гг. Коншин занимал должность правителя канцелярии Главноуправляющего Царским Селом. *с твоею семейственною радостию* — рождением дочери Ольги. *сын* — Лев, родился 18 июля 1829 г. (М. с. 45). *дочь* — Александра, родилась 14 марта 1827 г. (М, с. XX).

54 (с. 188). *Авдотью Яковлевну* — жену Коншина. *выставлен год* — «1824», что, видимо, не соответствует действительности; см. письмо 43. Просьба была выполнена Коншиным.

55 (с. 189). *застанет ли тебя письмо мое в России* — Киреевский собирался за границу; он выехал из России во второй половине января 1830 г., перед этим проведя десять дней в Петербурге. *у Красных Ворот, в доме бывшем Мертва-*

го — дом Елагиных — Киреевских являлся, по словам П. И. Бартенева, «средоточием московской умственной и художественной жизни»; здесь бывали Пушкин, Жуковский, Дмитриев, Вяземский, Языков, Гоголь, Чаадаев. Двухэтажный каменный дом с мезонином был построен в середине XVIII в. (Хоромный тупик, 4; дом перестроен). «Прекрасный и обширный дом этот,— писал Бартенев,— с большим тенистым садом, находится в так называемом «тупике», т. е. в переулке, в который можно въехать только с одного конца, а другой упирается в строения. Это целая усадьба, каких в старину было в Москве много. Елагины купили ее у Д. Б. Мертваго, и тут помещалась не только их многолюдная семья, но почти всегда живали родственники и приятели, как, например, поэт Языков, написавший к Елагиным прекрасное послание, где говорится о «Республике привольной у Красных у ворот» (Вол., с. 88—89). *Паскевич* Иван Федорович (1782—1856), с 1828 г. граф Эриванский,— командующий русскими войсками во время русско-персидской и русско-турецкой войн.

56 (с. 190). Авдотья Петровна Елагина, урожденная Юшкова, по первому мужу Киреевская (1789—1877),— племянница Жуковского, мать братьев И. В. и П. В. Киреевских, хозяйка московского литературного салона. *Елагину* Алексею Андреевичу (ум. в 1846 г.) — отчиму братьев Киреевских.

57 (с. 191). *Максимович* Михаил Александрович (1804—1873) — историк, филолог, ботаник; для его альманаха «Денница» на 1830 г. Б. дал отрывок из своей новой поэмы «Наложница» (1829—1831).

58 (с. 192). *эти стихи* — см. письмо 57. *«Карл Смелый»* — исторический роман В. Скотта.

59 (с. 193). *вашей рукописи* — перевода «Адольфа» (см. письмо 50). *предисловию к Ф.-Визину* — в декабре Вяземский закончил «Введение к жизнеописанию Фон-Визина» (ЛГ, 1830, № 2, 6 января), ставшее затем первой главой его монографии «Фон-Визин» (СПб., 1848). «Введение» имело общетеоретический характер и содержало размышления об особенностях развития русской литературы. *Кривцов* — см. письмо 136.

60 (с. 194). *Сестра моя* — Варвара Абрамовна (1810—1891), в январе 1830 г. вышла замуж за Александра Антоновича Рачинского (1792—1866), владельца села Татево в Смоленской губернии (М, с. 74, 79). *никакого отношения от нового литературного общества* — вероятно, об этом же обществе Вяземский писал Пушкину 2 января 1830 г; см. с. 419.

61 (с. 195). *в самую ярмарку* — 26 июня. *где и вы гуляли третьего году* — Вяземский жил в Мещерском в 1828 г. и ездил оттуда в Пензу. *Золотарева* Евгения Дмитриевна (род. ок. 1811), дочь пензенских помещиков; ей впоследствии посвящал стихи Д. В. Давыдов. *воспетую вами головку* — в стихотворении «Простоволосая головка», посвященном Пелагее Николаевне Всеволожской (урожд. Клушиной). *Одоевская* Ольга Степановна, урожденная Ланская (1797—1872) — жена князя В. Ф. Одоевского. *стихи ваши* — «Песня» («Нам сияет Аврора...»). Б. познакомился с А. К. Шернваль в Финляндии (см. письмо 27); в начале 30-х гг. она была фрейлиной и жила в Петербурге, а с 1836 г., после замужества,— в Москве. *провела зиму в Петербурге.* — Вероятно, речь идет о графине Дарье Федоровне Фикельмон, урожденной княжне Тизенгаузен (1804—1863).

62 (с. 196). *Андрианополь* (Эдирне) — город в Турции, где в сентябре 1829 г. был подписан мирный договор, завершивший русско-турецкую войну.

63 (с. 197). *Астафьево* (правильно: Остафьево) — подмосковное имение Вяземского, где он жил во время эпидемии холеры в Москве (со второй половины сентября 1830 г.).

64 (с. 197). *письмо ваше* — 23 ноября 1830 г. Вяземский помечает в перечне отправленных писем: «Баратынскому со стихами «Конь мой» (Зап. кн., с. 205); это и есть *Степная прогулка* — стихотворение «Прогулка в степи» («Мой добрый конь, мой верный конь!..»), опубликованное не в СЦ, а в ЛГ (1831, № 2, 6 января). *Варшава возмутилась* — Польское восстание началось волнениями в Варшаве 17—19 ноября 1830 г. (первое сообщение в русской печати появилось 28 ноября); великий князь Константин Павлович, наместник в Польше, поспешно покинул с войсками Варшаву и направился к русской границе (см. Зап. кн., с. 434). *«Литературная газета» запрещена* 13 ноября 1830 г. 1 декабря было разрешено продолжить издание под редакцией О. М. Сомова (Д, с. 425—426). *четверостишие Казимира де ла Виня* (1793—1843), посвященное памяти жертв Июльской революции в Париже, было перепечатано ЛГ из французских газет.

65 (с. 198). С Дмитрием Николаевичем Свербеевым (1799—1874) Б. мог познакомиться еще в начале 20-х годов в салоне С. Д. Пономаревой (см. с. 360); в 30-е годы он посещал московский салон Свербеевых. *Последняя новость* — польское восстание.

66 (с. 199). *издавать журнал здесь в Москве.* — Видимо, речь идет о журнале, который, как писал братьям Языков 28 января 1831 г., «главы нашей словесности» (Пушкин, Б. и Вяземский) собирались издавать взамен ЛГ Дельвига (ЛН, т. 58, с. 107).

67 (с. 200). *Моя тетрадь* — очевидно, рукопись поэмы «Наложница» и предисловия, с которым она вскоре вышла в свет (см. письмо 71). *пробу печати* издаваемого Максимовичем альманаха «Денница» на 1831 г., где была помещена эпиграмма Б. «Поверьте мне, Фиглярин-моралист...».

68 (с. 200). *Озеров* — вероятно, Петр Иванович; см. письмо 45. *моя готова.* — Вероятно, «Перстень»; работа над повестью была продолжена; см. письмо 92.

69 (с. 200). *Семенова* Екатерина Семеновна (1786—1849) — трагическая актриса.

71 (с. 201). *Эдиция моя* — Наложница. Сочинение Е. Баратынского. М., 1831 (цензурное разрешение 20 марта 1831 г.). *Петерсон* Александр Петрович (1800 — не ранее 1887) — побочный брат А. П. Елагиной, знакомый Б. по ее салону.

72 (с. 201). *Смирдин* Александр Филиппович (1795—1857) — издатель и книгопродавец.

74 (с. 202). Михаил Данилович Деларю (1811—1868) — поэт и переводчик, сотрудник ЛГ. *стихи ваши* — «К могиле барона Дельвига» (ЛГ, 1831, № 6, 26 января).

75 (с. 203). *Сисмонди* Жан Шарль Леонар (1773—1842) — швейцарский историк, экономист, вероятно, имеется в виду его труд «Литература южной Европы» (1819). *Villemain* — Вильмен Абель Франсуа (1790—1870) — французский историк литературы. Возможно, речь идет о трех томах его «Melanges historiques et littéraires» (Paris, 1827). *Urbain* — Юрбэн Ш., владелец французского книжного магазина в Москве на Петровке. *Салаев* Иван Григорьевич (ум. в 1858) — московский книгопродавец и издатель.

76 (с. 204). *брошюрки* — «О «Борисе Годунове», сочинении Александра Пушкина». М., 1831; без подписи. *статью твою* — «Борис Годунов»; вошла в состав «Обозрения русской литературы за 1831 год» (Е, 1832, № 1).

77 (с. 205). *в Саре* — речь идет о героине поэмы «Наложница».

78 (с. 206). Более вероятно, что это письмо, а также письма 79, 80, 84, обычно считающиеся посланными из казанской деревни Л. Н. Энгельгардта

Каймары, написаны в подмосковном Муранове; в этом случае их следует датировать маем 1831 г. *твой роман* — «Две жизни»; остался незаконченным. *Деревья и зелень покуда столько же развлекают меня в деревне, сколько люди в городе.* — Ср. слова Сократа: «...я ведь любознателен, а местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе» (Платон, «Федр», 230 d). *Рамих* — московский врач, по-видимому, рекомендовавший своим пациентам заниматься верховой ездой (К, с. 355). *разбор Наложницы* в ЛГ, 1831, № 27, 11 мая; предполагается, что автор его — М. Д. Деларю.

79 (с. 207). *твои хлопоты* — связанные с продажей издания «Наложницы». *«L'âne mort* et la femme guillotinée» («Мертвый осел и обезглавленная женщина», 1829) и *«La confession»* («Исповедь», т. 1.—2, 1830) — романы Ж. Г. Жанена (1804—1874). *Свояченица* — С. Л. Энгельгардт.

80 (с. 208). *как ты найдешь Гнедича.* — В последние годы жизни Гнедич был тяжело болен. «Les *Confessions»* — («Исповедь», 1766—1769) — автобиографическая книга Ж.-Ж. Руссо (1712—1778).

81 (с. 209). *в одну субботу* — см. с. 357. *за жизнь Дельвига* — см. с. 421.

82 (с. 210). *«Элоиза»* — «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), роман в письмах Ж.-Ж. Руссо. *«Кларисса»* — роман С. Ричардсона (1689—1761) «Кларисса, или История молодой леди» (1747—1748).

84 (с. 212). *«Иоанна»* — имеется в виду драматическая поэма Жуковского «Орлеанская дева» (1821).

86 (с. 215). *журнал* — «Европеец». *возражение на мое предисловие* к «Наложнице» — статья Н. И. Надеждина (1804—1856) в журнале «Телескоп» (1831, № 10). *я бы непременно отвечал* — Б. отвечал Надеждину в статье «Антикритика» (Е, 1832, № 2).

87 (с. 216). *Гермес* Богдан Андреевич (1759—1839) — сенатор, в 1823—1833 гг. — главный директор Межевой канцелярии.

88 (с. 217). *стихи Пушкина и Жуковского* — брошюра «На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина» (СПб., 1831), содержавшая стихотворение Жуковского «Старая песня на новый лад» и стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». «Le *Nain Jaune,* ou Journal des arts, des sciences et de littérature» — «Желтый карлик, или Журнал искусств, наук и литературы» — антироялистский журнал, издававшийся в Париже в 1814—1815 гг.

89 (с. 219). *на днях тем же буду отвечать Пушкину* — Пушкин издавал СЦ на 1832 г. в пользу малолетних братьев Дельвига (см. с. 422). Б. послал ему стихотворения «Мой Элизий» («Не славь, обманутый Орфей...») и «Бывало, отрок, звонким кликом...», однако в альманах вошло только первое из них.

90 (с. 219). *Villemain* — см. письмо 75. *Гизо* Франсуа (1787—1874) — французский историк, автор трудов «История цивилизации в Европе» (1828) и «История цивилизации во Франции» (1829—1832), вошедших в его «Курс современной истории» (в 6 т.). *Языкову буду писать на будущей почте* — письмо с посланием «Н. М. Языкову» («Языков, буйства молодого...») было получено адресатом 23 ноября 1831 г. (ЛП, с. 663).

91 (с. 221). *поздравление* — очевидно, с рождением дочери Марии. *«Европеец»* — название журнала, который собирался издавать Киреевский. *моя пьеса* — «Бывало, отрок, звонким кликом...», предназначавшаяся для СЦ на 1832 г. (см. письмо 89). *критику Надеждина* — см. письмо 86. *должно искать ее в истине* — см. подробнее с. 19—20.

92 (с. 222). *Статья моя* — «Антикритика» (см. письмо 86). *за повестью, которую ты помнишь: «Перстень»* — напечатана в Е, 1832, № 2. *повести малороссийского*

втора — «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. *не нравится названи моей поэмы* — «Наложница», в новой редакции она получила название «Цыганка». *послание к Языкову* — см. письмо 90 Напечатано в Е, 1832, № 2. *Элегия* — «В дни безграничных увлечений...» (см. письмо 85); под названием «Элегия» напечатано в Е, 1832, № 1 *Алексей Андреевич* — Елагин.

93 (с. 223). *Драма* Б. не успела увидеть свет из-за запрещения журнала и до нас не дошла. *сказка* — повесть «Перстень». *объявление* — об издании журнала.

94 (с. 224). *за присылку «Адольфа»* — Адольф. Роман Бенжамен Констана. СПб., 1831 (перевод Вяземского). *Козарский* — Александр Иванович Казарский (1797—1833), морской офицер (ОА, т. 3, с. 620—621). *Пашковы, Киндяковы* — известные московские семейства. *вашу рукопись* — см. письмо 50 и последующие.

95 (с. 225). *о моей драме.* — Поскольку позже (письмо 104) Б. напоминает Киреевскому, что ждет его мнения о драме, можно предположить, что здесь речь идет о его предварительном, еще до чтения произведения, суждении о возможном успехе Б. в драматургии. Это позволяет датировать письмо концом октября — ноябрем 1831 г. в соответствии с другими упомянутыми в нем фактами. *От убивающия дар Надменной мысли совершенства* — из послания Жуковского «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814). *Жуковский* находился в Москве с конца октября до середины ноября 1831 г. *его новых баллад* — Баллады и повести В. А. Жуковского. Ч. 1—2. СПб., 1831; сохранился экземпляр, подаренный Жуковским Б. (ЛН, т. 58, с. 67).

96 (с. 227). *ответа Надеждину* — см. письмо 86; последующий фрагмент вошел в окончательный текст статьи. *Первый № твоего журнала великолепен.* — Видимо, Киреевский сообщил в письме содержание номера; он вышел только в январе 1832 г.

97 (с. 228). *новинку, Гизо* — см. письмо 90. *страшный Арцыбашев* Николай Сергеевич (1773—1841) — историк; его статьи, направленные против Карамзина, были опубликованы Погодиным в МВ (1828, №№ 11, 12; 1829, № 3), что вызвало негодование писателей пушкинского круга (см. К, с. 398). *«Je le vis...»* Ж. Расин, «Ифигения» (1674).

98 (с. 229). *Первое мое послание* — «Н. М. Языкову» (Е, 1832, № 2). *Второе* — «Языкову»; не было напечатано в журнале из-за его запрещения. *Перцов* Эраст Петрович (1804—1873) — писатель-сатирик, петербургский знакомый Пушкина. *Из своей комедии в стихах* — «Андрей Бичев, или Смешны мне люди».

99 (с. 230). *своим посланием* — стихотворением «И. В. Киреевскому» («В альбом», 1831). *задумали издавать журнал* — «Заволжский муравей».

100 (с. 231). *Обозрение 19-го века* — статья Киреевского «Девятнадцатый век», начало которой было помещено в Е, № 1. *О слоге Вильмена* — «Несколько слов о слоге Вильмена», статья Киреевского (Е, № 1). *Разбор Г о д у н о в а* — см. письмо 76. *Эпиграмма* была помещена в третьем номере, который остался не допечатанным из-за закрытия журнала; направлена против Н. А. Полевого, в ответ на его отрицательный отзыв о поэме «Наложница» (ЛП, с. 663—664).

102 (с. 233). *Мнение Жуковского, Пушкина и Вяземского* — Пушкин в письме от 4 февраля, перемежая похвалы журналу с практическими советами издателю, писал: «NB избегайте ученых терминов; и старайтесь их переводить, то есть перефразировать: это будет и приятно неучам и полезно нашему младенчествующему языку» (П, т. 15, с. 9). Вяземский писал Тургеневу 18 января 1832 г.: «Скажи Киреевскому, что «Европеец» его худо одет, то есть бумажно и печатно, что напрасно говорит он слишком резко и грубо московской публике по поводу «Горе от ума». Журнал гость, который ездит в дом Госпожи Публики.

не хорошо трактовать ее публичною, а особливо же на первое знакомство» (Т, с. 84—85). Видимо, к этому отзыву присоединился и Жуковский.

103 (с. 234). *«Бывало, отрок...»* — см. письмо 91. Запрещение журнала не дало Киреевскому выполнить эту просьбу.

104 (с. 235). *за Гизота* — см. письмо 97. *Разбор «Наложницы»* — во второй части статьи Киреевского «Обозрение русской литературы за 1831 год» (Е, № 2). *Твоя фраза* — «Так, часто не унося воображения за тридевять земель, но оставляя его посреди обыкновенного быта, поэт умеет согреть его такою сердечною поэзиею, такою идеальною грустию, что, не отрываясь от гладкого вощеного паркета, мы переносимся в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную». *порицаешь род, мною избранный.* — В статье говорилось: «Однако, несмотря на все достоинства «Наложницы», нельзя не признаться, что в этом роде поэм, как в картинах Миериса, есть что-то бесполезно стесняющее, что-то условно-ненужное, мелкое, не позволяющее художнику развить вполне поэтическую мысль свою. <...> Баратынский, больше чем кто-либо из наших поэтов, мог бы создать нам поэтическую комедию, состоящую не из холодных карикатур, не из печальных острот и каламбуров, но из верного и вместе поэтического представления жизни действительной, как она отражается в ясном зеркале поэтической души, как она представляется наблюдательности тонкой и проницательной, перед судом вкуса разборчивого, нежного и счастливо образованного» (К, с. 114).

106 (с. 236). *с сестрою Соничкой* — С. Л. Энгельгардт.

107 (с. 238). *Запрещение твоего журнала* — 22 февраля 1832 г.; поводом стала статья «Девятнадцатый век».

108 (с. 239). *«Вечера на Диканке».* — Вторая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя (Яновского) вышла в свет в начале марта 1832 г.

109 (с. 240). Иван Михайлович Симонов (1794—1855) — известный ученый-астроном, путешественник, профессор Казанского университета. Симонов интересовался литературой, в 1820-х годах в Париже посещал лекции Вильмена и Гизо. По-видимому, беседы Б. с ним касались и научных вопросов; в письме от 7 апреля 1832 г. Б. выражает надежду вновь встретиться с Симоновым «и еще раз поговорить о земле и о нас» (X, с. 602).

111 (с. 241). *трагедия Хомякова* — «Димитрий Самозванец»; весной 1832 г. автор читал ее в литературных салонах Москвы и Петербурга. *Каролина* Карловна Яниш (1807—1893), в замужестве Павлова,— русская поэтесса, переводчица.

112 (с. 242). *одна из здешних дам* — Александра Андреевна Фукс, урожденная Апехтина (ок. 1805—1853), хозяйка литературного салона в Казани, поэтесса. *Послание* ее неизвестно; Б. отвечал на него стихотворением «А. А. Ф...ой» («Вы дочерь Евы, как другая...»).

113 (с. 243). *Сарданапал* — герой одноименной трагедии Байрона (1821), мифический ассирийский царь. *Ермак* (ум. в 1584) — атаман волжских казаков-разбойников, завоеватель Сибири; герой одноименной трагедии Хомякова (1826). *издание* трагедии «Димитрий Самозванец» было разрешено весной 1832 г.; в 1833 г. она вышла в свет. *Наши* — тесть Б., Л. Н. Энгельгардт, с дочерью Софией Львовной.

115 (с. 244). *Виланд* Христоф Мартин (1733—1813) — немецкий писатель. Б. имеет в виду рассказ Карамзина о беседе с Виландом, содержащийся в «Письмах русского путешественника», письмо 34.

116 (с. 245). *Hugo* — Виктор Мари Гюго (1802—1885), французский писа-

тель. *Barbier* — Анри Огюст Барбье (1805—1882), французский поэт, выпустивший после Июльской революции сборник стихотворений «Ямбы» (1831).

117 (с. 246). *Вы недостаете Москве.* — С 1830 г. Вяземский поступил на службу и жил в Петербурге; в октябре 1832 г. семейство его окончательно переселилось туда (П, т. 15, с. 34). *Орлов* Михаил Федорович (1788—1842) — генерал-майор, участник Отечественной войны, декабрист; жил в Москве под надзором полиции. *жена его* — Екатерина Николаевна, урожденная Раевская (1797—1885). *вашего послания* — «К старому гусару» (1832); далее приведены две строки из него с небольшим изменением.

118 (с. 247). *издать альманах.* — Инициатором был Николай Александрович Мельгунов (1804—1867) — московский литератор, знакомый Гоголя; альманах, которому предполагалось дать название «Шехерезада», не был издан (ЛН, т. 58, с. 545).

119 (с. 248). *Вотчина* — наследственное земельное владение; Б. был занят делами, связанными с разделом Мары в конце 1833 г. *Берже* Филипп (1783—1867) — художник. *корректуру* — издания 1835 г.

121 (с. 249). *его журнала* — «Библиотеки для чтения», издававшейся А. Ф. Смирдиным вместе с О. И. Сенковским. *«Cent et un»* — «Paris ou le livre des cent et un» («Париж, или Книга ста одного»), многотомное издание, предпринятое в 1831 г. большой группой французских литераторов, чтобы помочь разорившемуся парижскому книгопродавцу и издателю N. Ladvocat (Изд. 1951, с. 611). *теория туалета* — в 1-й главе начатого Киреевским романа «Две жизни». *«Теория походки»* (1833) — эссе Бальзака.

123 (с. 252). *Lapidaire* — тип средневековой книги, в которой описываются свойства драгоценных камней. *Роман* Б. неизвестен.

124 (с. 252). *предисловие в стихах* — «Вот верный список впечатлений...»; в собрание 1835 г. не вошло.

125 (с. 253). *Contes bruns* («Темные рассказы») — коллективный сборник, в котором участвовал Бальзак (вместе с Ф. Шалем и Ш. Рабу); вышел анонимно в Париже в январе 1832 г. Очевидно, Б., как и Пушкин, пользовался брюссельским изданием 1832 г., имевшим титул: «Contes bruns par de Balzac» (см. Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 165—166). *Scènes privées* («Scènes de la vie privée») — «Сцены частной жизни» Бальзака; вышли в Париже в апреле 1830 г.

126 (с. 254). По-видимому, это не письмо, а набросок статьи; текст содержит стилистическую правку, показывающую, что Б. работал над ним, как над произведением, предназначенным для печати.

127 (с. 255). С Сергеем Александровичем Соболевским (1803—1870), поэтом, библиофилом и библиографом, Б. познакомился в начале 20-х годов, в Петербурге. По-видимому, письмо написано в то время, когда Соболевский жил в Москве между двумя поездками за границу.

128 (с. 255). София Львовна Энгельгардт (1811—1884) — свояченица Б. *послание к Вяземскому* — см. с. 92—93; в сборник 1835 г. не вошло.

129 (с. 256). *с новым произведением* — комедией Гоголя «Женитьба», которую он читал у Погодина 4 мая 1835 г. *ответ Д. В. Давыдова* — с выражением сожаления из-за того, что дела, связанные с покупкой деревни, заставляют его «предпочесть прозу и даже арифметику поэзии» (X, с. 604).

130 (с. 256). *своими постройками.* — В январе 1835 г. Б. купил дом в Москве на Спиридоновке (ныне ул. Алексея Толстого, 14—16; дом не сохранился). «Это было двухэтажное каменное здание с просторными помещениями полуподвального этажа, предназначавшимися для разных хозяйственных нужд.

Дом стоял еще с допожарных времен. Судя по архивным данным, Баратынский, приобретя его, принялся за сооружение новых хозяйственных построек, в том числе «кузницы с устройством четырех горнов» в каменном одноэтажном строении и «избы» в одноэтажном деревянном флигеле» (Вол., с. 72). *Первого сентября надеюсь уже быть в дилижансе.* — Эта поездка не осуществилась; часть лета и осень 1835 г. Б. провел в Маре (М, с. 51).

131 (с. 257). Николай Васильевич Чичерин — тамбовский помещик, знакомый Б. *Кривцов* — см. письмо 136. *Стриневский* Николай Федорович (ум. в 1839) — тамбовский помещик. *Катерина Борисовна* (урожденная Хвощинская) — жена Чичерина.

132 (с. 257). Датируя письмо, Б. сделал описку. *Я навестил отца* — Сергея Львовича Пушкина (1767—1840), находившегося тогда в Москве. *Я лишился моего тестя* — см. с. 429. *для вашего литературного сборника* — «Старина и новизна».

133 (с. 259). *«Современник»* в 1837 г. издавался друзьями Пушкина в пользу его семьи. Вяземский редактировал первый том (его частично успел подготовить сам Пушкин); основная работа над ним шла в марте. *этого стихотворения* — «Осень».

134 (с. 259). Анастасия Львовна Боратынская, урожденная Энгельгардт (1804—1860),— жена поэта. Опубликовано 19 писем Б. к ней. Письма 134 и 135 написаны по дороге в Мару, куда Б. приехал 16 мая и где прожил, в связи с хозяйственными делами, до начала июня 1837 г. (X, с. 605). *Скуратово* — имение Энгельгардтов в Чернском уезде Тульской губернии. *Соничка* — С. Л. Энгельгардт.

135 (с. 260). На письме почтовый штемпель: «Получено 1837 мая 22».

136 (с. 260). Николай Иванович Кривцов (1791—1843) — герой Отечественной войны 1812 г.; несколько лет служил в Лондоне, позднее был губернатором в Туле и Воронеже. В 1827 г. Кривцов вышел в отставку, поселился в своем имении Любичи (в 15 верстах от Мары), находившемся в голой степи, и за короткое время превратил его, по воспоминаниям Б. Н. Чичерина, «в прелестный оазис, уютный и просторный уголок, где можно было найти все удобства и все изящество образованного быта» (РА, 1890, кн. 1, с. 506). Образованный и начитанный человек, Кривцов был в дружеских отношениях с Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Вяземским, через которого, по-видимому, познакомился с ним и Б. (см. письмо 59). *Софи* — С. А. Боратынская (см. письмо 3). *к моему брату* — С. А. Боратынскому; о его болезни см. с. 376.

137 (с. 261). *Соничка* — С. Л. Энгельгардт, с 8 ноября 1837 г.— жена Путяты (X, с. 207). *куплеты Вяземского* — «На радость полувековую...»; были положены на музыку графом М. Ю. Виельгорским и пропеты на обеде в Петербурге, данном И. А. Крылову 2 февраля 1838 г. в честь пятидесятилетнего юбилея его литературной деятельности.

138 (с. 262). *отстройки дома* — см. письмо 130; осенью 1838 г. Б. отстраивал дом для сдачи внаем (Изд. 1936, т. 1, с. CIII). Он сам подшучивал над собственной «манией перестроек» («la manie des bâtisses»), называя ее фамильной болезнью, «la maladie de famille» (X, с. 628).

139 (с. 263). *ехать в Крым* — поездка не состоялась. *Настя* — дочь Путят.

140 (с. 264). *Путята* — София Львовна. *Пьеса* — «Толпе тревожный день приветен...», напечатана в «Отечественных записках», 1839, т. 2. *несколько небольших пьес* — «Были бури, непогоды..», «Еще как Патриарх не древен я...», «Благословен святое возвестивший!..» (С, 1839, т. XV).

141 (с. 265). *Пьер* — Петр Львович Энгельгардт (1802—1847), душевнобольной шурин Б. и Путяты. *Саблер* Василий Федорович (1797—1878) — московский

врач, содержавший приют для душевнобольных. *Бекер* Герман Генрих — онемеченный латыш, бывший учителем детей Б.; с начала 1840-х гг. стал главным управляющим имениями Б. (X, с. 615).

143 (с. 267). *малышка* — дочь Б. Юлия (1837—1874). *Наташа* — сестра Б. Наталия Абрамовна (1810—1855), гостившая в Муранове. *В Петербург* Б. выехал 30 января 1840 г. (Изд. 1936, т. 1, с. CVII). *Моего брата, сестер* (во французском подлиннике: belles-soeurs) — И. А. Боратынского, его жену (с 1835 г.) Анну Давыдовну, урожденную княжну Абамелек (1814—1889), а также С. Л. Путята. *Третье издание* не осуществилось.

144 (с. 268). *Продолжаю мой П-бургский журнал* — это второе письмо Б. жене из Петербурга; в первом, написанном, очевидно, в субботу, 3 февраля, он сообщает о своем приезде в столицу вечером в пятницу (2 февраля) и о встрече с Путятами и с братом (X, с. 618—619). *Анна Васильевна* (1810—1880) — сестра Н. В. Путяты. *экспликация* — объяснение. *Лиза Чиркова* — свояченица Д. В. Давыдова, двоюродная сестра А. Л. Боратынской. *у Одоевских* по субботам происходили литературно-музыкальные собрания. *о своей дочери* — десятилетней Ольге (1830—1851), лишившейся матери в апреле 1839 г. *Мятлев* Иван Петрович (1796—1844) — камергер, поэт, выпустивший в 1834 и 1835 гг. два сборника своих стихотворений. *Таракан как в стакан* — речь идет о стихотворении «Фантастическая высказка» (1833). *о своих* — имеется в виду семейство Елагиных — Киреевских, бывших в родстве с Жуковским. *путешествие Г-жи Курдюковой* — «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей — дан л'этранже» (1840—1844), юмористическая поэма Мятлева.

145 (с. 269). *Николай Васильевич* — Путята. *о наших супостатах* — Елагиных — Киреевских; предполагается, что причиной разрыва была ссора А. Л. Боратынской с А. П. Елагиной. Позднее, в 1860 г., Елагина писала С. М. Боратынской: «Неужели дети моего вечно мне милого Евгения Абрамовича наследовали непостижимую для меня ненависть своей матери?» (Ак, т. 1, с. LXV). *Авдотья Петровна* — Елагина. *Sophie K* — София Николаевна Карамзина (1802—1856), дочь Н. М. Карамзина от первого брака, фрейлина; вместе с Екатериной Андреевной Карамзиной, урожденной Колывановой (1780—1851), вдовой историографа, была хозяйкой литературного салона, с 1826 г. ставшего одним из важнейших центров культурной жизни Петербурга. *Блудов* Дмитрий Николаевич (1785—1864), дипломат, юрист, государственный деятель. Вероятно, первая встреча Б. с ним произошла летом 1824 г. на даче у Тургенева (см. с. 466). На первом чтении «Бориса Годунова 10 сентября 1826 г. в Москве у Соболевского (см с 447) Блудова не было: он слушал трагедию у Вяземского 29 сентября 1826 г. (Т, с 42), неизвестно, был ли на этом чтении Б. *«Тарантас»* (1845) — повесть графа Владимира Александровича Соллогуба (1813—1882); речь идет о ее первоначальном варианте. *Гагарин* Григорий Григорьевич (1810—1893) — художник. *ненапечатанные новые стихотворения Пушкина* — Жуковский в это время готовил к печати IX—XI тт. посмертного издания сочинений Пушкина. *Феофан* Прокопович (1681—1736), архиепископ Новгородский; цитируется начало его «Слова на погребение Петра Великого» (1725). *К<нягиня> Абамелек* Марфа Иоакимовна, урожденная Лазарева,— мать А. Д. Боратынской. *«La Lectrice,* ou une folie de jeune homme» («Чтица, или Увлечение молодого человека», 1834) — водевиль Ж. Ф. А. Баяра (1796—1853). *M-me Allan* — известная французская актриса; в 1837—1847 гг. играла в петербургском французском театре.

146 (с 270). *Софья Михайловна* Боратынская. *объезжал Арарат* — то есть навещал родственников А Д Боратынской, армянского происхождения. *Христо-*

фор Иоакимович Лазарев (1799—1871), камергер, был женат на Екатерине Эммануиловне Манук-бей (1806—1880). *Соничка* — С. Л. Путята. *Настинька* — дочь Путят. *жентильсы* — вероятно, в смысле «прелестные выходки», от «gentillesse» — любезность, приветливость (фр.).

147 (с. 271). *«Говорили это во время холеры...»*.— Внезапный отъезд Б. в казанскую деревню летом 1831 г. вызвал невыгодные для него толки в Москве (см. с. 422). По-видимому, источником их Б. считал семейство Елагиных — Киреевских. *Вельгорский* — Виельгорский Михаил Юрьевич (1788—1856) — государственный деятель, композитор и меценат, тесть В. А. Соллогуба. *Наташа* — Н. А. Боратынская; Б. привез брату письмо от нее (X, с. 619). *Лейхтенбергский* герцог Максимилиан Евгений Иосиф Наполеон (1817—1852); с 1839 г. был женат на дочери Николая I. *Павлов* Николай Филиппович — см. с. 459. *его письмо Одоевскому* — см. РС, 1904, № 4, с. 197—201.

148 (с. 273). *Тимирязева* София Федоровна (1799—1875), сестра Е. Ф. Кривцовой; муж ее — Иван Семенович Тимирязев (1790—1867), в то время астраханский военный губернатор. *у наших* — у Путят. *графиня Лаваль* — хозяйка известного петербургского салона.

149 (с. 274). *В субботу* — 10 февраля. *«Le gamin de Paris»* — «Парижский озорник» (1836), пьеса Баяра. *у дяди* — П. А. Боратынского.

150 (с. 275). *день его рождения* — 12 февраля. *Давыдов* Иван Иванович (1794—1863) — профессор Московского университета.

152 (с. 276). *племянник его Карамзин* — один из трех сыновей историографа; их мать, Е. А. Карамзина, приходилась Вяземскому единокровной сестрой. *Тальони* Мария (1804—1884) — парижская балерина, в течение трех сезонов (с 1837 г.) выступавшая в Петербурге; новый балет с ее участием — «Морской разбойник» — шел 9 февраля.

153 (с. 277). *на расставанье.*— А. Л. Боратынская с двумя детьми уехала в Петербург. *на обеде у Гоголя* — в честь его именин, 9 мая 1840 г., в саду у М. П. Погодина; в числе гостей были А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, М. Ф. Орлов, М. Ю. Лермонтов, М. А. Дмитриев, М. Н. Загоскин, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков, Свербеевы, М. С. Щепкин и другие. По какому-то недоразумению не был приглашен Н. Ф. Павлов (см. А к с а к о в С. Т. Собр. соч. в 5 т., т. 3. М, 1966, с. 179, комм. с. 393).

154 (с. 277). *накомерил* — от «commérage» — пересуды, сплетни (фр.).

155 (с. 279). *в воскресенье* — 12 мая. *Михаил Алекс<андрович> Салтыков* (1767—1851) — отец С. М. Боратынской.

160 (с. 282). *в Артемове* Б. с семьей жил в 1841—1842 гг., пока строился дом в Муранове (М, с. 62).

162 (с. 286). *взяли бы у вас детей* — на время поездки Путят за границу.

164 (с. 292). *Если Соничка решится ехать.*— В конце апреля — начале мая 1842 г. С. Л. Путята привезла детей к сестре и вернулась в Петербург (X, с. 634—635). *Братовщина* — село в 32 верстах от Москвы, в 13 верстах от Муранова.

165 (с. 292). *в соседней деревне* — вероятно, в селе Даниловском, где до конца 1840-х годов была церковь (Изд. 1983, с. 338). *в Троице* — т. е. в Троице-Сергиевой лавре. *Редакция бесподобна.*— 2 апреля 1842 г. был обнародован указ об обязанных крестьянах, согласно которому помещик получал право освобождать крестьян от крепостной зависимости с предоставлением им в пользование земельного надела, а крестьяне за это обязывались нести барщину или оброк. 25 апреля 1842 г. Б. писал сестре: «Вы получаете московскую газету, следовательно, знакомы с замечательным указом, поразительным по своей

сдержанности, по своей предусмотрительности, который незаметно разрешает самые большие сложности. Желаю успеха тому, кто не побоялся приступить к самому трудному и самому прекрасному делу. Взаимные права в некотором роде уже установлены — и в этом пробный камень» (Изд. 1951, с. 614; в подлиннике по-французски).

168 (с. 294). *посвящение* — послание «Князю Петру Андреевичу Вяземскому» (с. 92—93).

169 (с. 295). *моей книге* — «Сумерки». *моя постройка* — дом в Муранове. *Учитель рисования* — Эллерс, автор известного портрета Б. (М, с. 63).

170 (с. 295). *Аполлон Григорьевич* Путята (р. в 1812) — двоюродный брат Н. В. Путяты (Изд. 1983, с. 338).

173 (с. 299). *полное равнодушие к моим трудам гг. журналистов* — сборник Б. «Сумерки» был почти не замечен критикой; Белинский так описывал прием, оказанный современниками книге: «Давно ли каждое новое стихотворение г. Баратынского, являвшееся в альманахе, возбуждало внимание публики, толки и споры рецензентов... А теперь тихо, скромно появляется книжка с последними стихотворениями того же поэта и о ней уже не говорят и не спорят, о ней едва упомянули в каких-нибудь двух журналах, в отчете о выходе разных книг, стихотворных и прозаических» (Б, т. 2, с. 421). *Грот* Яков Карлович (1812—1893) — профессор русского языка, словесности и истории Гельсингфорсского университета, в то время гостивший у своего друга Плетнева в Петербурге (X, с. 637). *Пакет ко Льву Пушкину* — см. письмо 167.

174 (с. 300). *письмо от Настиньки* — жены Б. *от Карамзиной* — Софии Николаевны, с благодарностью за «Сумерки» и обращенное к ней стихотворное послание. *Настиньку* — старшую дочь Путят, находившуюся с ними за границей.

175 (с. 300). *«Консуэло»* (8 т., 1842—1843) и *«Занони»* (1842) — романы французской писательницы Жорж Санд (1804—1876). *Аннет* — А. Д. Боратынская. *Известия о ней и об Ираклии.* — С осени 1842 г. И. А. Боратынский исполнял должность ярославского военного и гражданского губернатора (М, с. 70).

176 (с. 301). *Павлов* Николай Филиппович (1805—1864) познакомился с Б. в 20-е гг. в Москве. В начале 30-х гг. Павлов гостил у своего университетского товарища Н. В. Чичерина в его тамбовском имении Умет; в это время он посещал Мару и сблизился с семейством Б. Все шесть повестей Павлова были опубликованы до 1842 г.; предполагается, что речь идет об одном из незавершенных произведений. Л. Е. Боратынский называл Павлова среди наиболее близких его отцу московских литераторов (Изд. 1869, с. 398).

177 (с. 302). *переезд* — в новый мурановский дом.

178 (с. 303). *m-me Fild* (Field) — вдова композитора Д. Фильда.

181 (с. 307). *в Тульскую губернию... и во Владимирскую* — там находились имения Скуратово и Глебовское. *Варинька* — В. А. Рачинская, сестра Б. *Лист* Ференц (1811—1886) выступал в Москве в мае 1843 г. (ОА, т. 4, с. 251). *Тальберг* Сигизмунд (1812—1871), известный пианист и композитор, выступал в России в 1836 г.

183 (с. 308). *Мейндорф* — Александр Казимирович Мейендорф (1798—1865), русский посланник в Берлине.

185 (с. 311). *Друзья, сестрицы, я в Париже!* — первая строка шуточного стихотворения Дмитриева «Путешествие NN. в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия» (1804—1805), написанное от лица В. Л. Пушкина, совершившего путешествие по Европе в 1803—1804 гг. *благодаря Соболевскому* — т. е. его рекомендательным письмам. *faubourg St.-Germain* — Сен-Жерменское предместье, аристократический район Парижа. *Ламартин* Альфонс де

(1790—1869) — французский поэт, политический деятель. *M-me Aguesseau* — маркиза д'Агессо, внучка известного государственного деятеля, канцлера А. Ф. д'Агессо. *Nodier* — Шарль Нодье (1780—1844) — французский писатель. *Thierry* — братья Тьерри, Огюстен (1796—1856) и Амедей (1797—1873), известные историки. *Сиркуры* — граф Адольф де Сиркур (1801—1879), французский литератор, и его жена Анастасия Семеновна, урожденная Хлюстина (1813—1863). *Балабин* Виктор Петрович — секретарь русского посольства в Париже (X, с. 234).

186 (с. 312). *собственных отелей* — т. е. особняков. *г-жа Скаррон* — жена французского поэта и драматурга Поля Скаррона (1610—1660); во время Фронды в его бедной квартире образовался литературный и политический салон, посещавшийся виднейшими представителями французской знати. *Сульт* Никола Жан де (1769—1851) — французский маршал, участник наполеоновских походов; при Луи-Филиппе министр. *Свечина* — см. прим. к письму 187. *Альфред де Виньи* (1797—1863) — французский писатель-романтик. *Мериме* Проспер (1803—1870) — французский писатель; находился в дружеских отношениях с Соболевским. *Мишель Шевалье* (1806—1879) — французский политэконом.

187 (с. 315). *к Т.* — Возможно, далее речь идет об А. И. Тургеневе и в связи с ним о его брате, декабристе Н. И. Тургеневе (1789—1871), после 1825 г. оказавшемся в эмиграции, а также о его хорошей знакомой Софии Петровне Свечиной, урожденной Соймоновой (1782—1857), хозяйке католического салона в Париже. Строки вычеркнуты А. Л. Боратынской, которой Путята давал читать эти письма после смерти поэта (Ак. т. 1, с. 270). *St-Beuve* — Сент-Бёв Шарль Огюст (1804—1869), поэт, литературный критик. *m-me Ancelot* — Ансело Маргарита Виржиния Шардом (1792—1875), французская писательница, хозяйка литературного салона. *прежним издателем одного из крайних республиканских журналов* — предполагается, что это социалист-утопист Пьер Леру (1797—1891), основатель журнала *«Revue Indépendente»* («Независимое обозрение»); в журнале активно сотрудничала Ж. Санд. *трогательную панихиду* — речь идет о посольстве легитимистов (сторонников законной — легитимной — династии) в Лондон, к жившему в эмиграции последнему представителю старшей линии Бурбонов графу Шамбору (1820—1883) для поздравления его со вступлением в совершеннолетие (Изд. 1869, с. 450). *...короля* — Луи-Филиппа (1773—1850), правившего с 1830 по 1848 г.

188 (с. 317). С Николаем Платоновичем Огаревым (1813—1877) Б. мог встречаться у А. И. Тургенева, которого «почти всякий день» посещал в Париже; одна такая встреча, 25 ноября 1843 г., отмечена в дневнике Тургенева (ВЛ, 1966, № 8, с. 251). Тогда же Б. мог познакомиться с поэтом и переводчиком Николаем Михайловичем Сатиным (1814—1873), также членом кружка Герцена.

190 (с. 318). *о вашей... потере* — 4 декабря 1843 г. умер отец Н. В. Путяты Василий Иванович. Во время Отечественной войны 1812 г. и походов 1813—1815 гг. он занимался устройством госпиталей и, будучи управляющим Виленской комиссариатской комиссией, снабжал обмундированием резервы русской армии и возвращавшиеся из-за границы русские войска (Изд. 1869, с. 452). *«Institut des Jésuites»* («De l'existense et de l'institut des Jésuitex», Paris, 1844) — книга французского проповедника-иезуита Равиньяна (1795—1858). *Гизот* — см. письмо 90; с 1840 г. занимал пост министра иностранных дел.

192 (с. 320). *несколько стихов* — «Пироскаф»; см. письмо 194. *Филемон и Бавкида* — престарелые супруги, оказавшие в своей скромной хижине гостеприимство Юпитеру; по их просьбе им было дано умереть одновременно — они

превратились в деревья. *княгиня Волконская* — см. с. 468. *Хлюстин* Семен Семенович (1810—1844) — брат графини Сиркур, общий знакомый Пушкина, Путяты и Б.; умер в Кенигсберге 28 марта (М., с. 84).

193 (с. 322). Начало письма неизвестно. *Настя* — дочь Путят.

194 (с. 323). *Настя* — А. Л. Боратынская. *два стихотворения* — «Пироскаф» и «Дядьке-итальянцу» — были опубликованы Плетневым в С., 1844, т. 35, № 8.

ВОСПОМИНАНИЯ

П. М. Дараган. Из «Воспоминаний первого камер-пажа великой княгини Александры Феодоровны. 1817—1819» (с. 326). РС, 1875, т. 12, апрель, с. 769—796.

В. А. Эртель. Выписка из бумаг дяди Александра (фрагменты) (с. 326). Русский альманах на 1832 и 1833. СПб., 1832, с. 240—320. Василий Андреевич Эртель (1793—1847) — литератор и библиограф, двоюродный брат Б. *приехавшим из Финляндии* — очевидно, весной 1820 г. *дежурить в Императорской библиотеке* — там служил Дельвиг. *Кульнев* Яков Петрович (1763—1812) — генерал, прославившийся храбростью и чудачествами. *Е<ристов>* — Эристов Дмитрий Алексеевич (1797—1858), лицеист второго выпуска, поэт-дилетант.

Н. М. Коншин. Для немногих (фрагменты) (с. 334). Отрывки из неопубликованной рукописи (РО ГПБ, ф. 369, № 1). Воспоминания о Боратынском или четыре года моей финляндской службы с 1819 по 1823 г. (с. 335). (Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова. Краеведческие записки, вып. 2. Ульяновск, 1958, с. 389—404). *Осенью* — Б. получил назначение в Нейшлотский полк в январе 1820 г. *зимнюю ночь 1819 года* — видимо, 1820 г. *греческих императоров* — династии Комнинов, правившей в Византии в XI—XIII вв. *графа Штейнгейля* — генерал-губернатора Финляндии в 1810—1823 гг. *Оден* (Один) — в скандинавской мифологии высший из богов, бог бурь и битв. *поехал в отпуск* — с 11 декабря 1820 г. по 1 марта 1821 г. (Изд. 1983, с. 302). *Помчался к своим домашним иконам;* ср.: «Я возвращусь к вам, домашние иконы» («Родина», 1821). В конце 1820 г. Б. ездил в Мару (РС, 1880, т. 29, с. 829—831). *«Соревнователь просвещения и благотворения»* издавался в 1818—1825 гг. Вольным обществом любителей российской словесности. Созданное в 1816 г. как благотворительное, оно с 1819 г. становится литературным центром будущих декабристов. После восстания 1825 г. деятельность Общества была прекращена. *Песни Иллиады* Гомера, над переводом которой Гнедич работал с 1807 г. *своих прекрасных дочерей* — басни. *Панаев* — см. с. 463. *Ф. Н. Глинка* (1786—1880), член раннедекабристского Союза благоденствия, был председателем Вольного общества в 1819—1825 гг. *Сенковский* О. И. (1800—1858) — ученый-востоковед, писатель, журналист; в 1819—1820 гг. совершил путешествие по Ближнему Востоку. *Около полутора года.* — Б. пробыл с полком в Петербурге с мая до поздней осени 1821 г. и затем февраль и март 1822 г. (Изд. 1936, т. 1, с. LVIII). *«on broutte là où l'on est attaché».* — «Где привязан, там и пасется» *(фр.).* — эпиграф к первому изданию «Эды» (1826). *нового главнокомандующего краем* — Закревский стал генерал-губернатором Финляндии в ноябре 1823 г. *из его письма* — письмо 36. *в один день* — в марте 1829 г. (П, т. 14, с. 41).

Н. В. Путята. <Примечания к письмам Е. А. Баратынского к Н. В. Путяте> (с. 351). Изд. 1869, с. 428—458. Письма Б., впер-

вые опубликованные с этими примечаниями, см. в разделе писем. *...прилагаемую записку* — письмо 10. *Следующее письмо* — 11 (не полностью). *несколько месяцев* — с конца октября 1824 г. до начала февраля 1825 г. *под названием «Могила»* стихотворение вошло в издание 1827 г., при первой же публикации (СЦ на 1825 г.) оно называлось «Череп». *«Авроре Ш.. ».* — «Девушке, имя которой было Аврора» (1825) Об А. К. Шернваль см. с. 446. *идти на лето в Петербург.* — Б. находился там с полком в июне — августе 1825 г. (Изд. 1936 г., т. 1, с. LVIII). *поехал в отпуск* — с 30 сентября 1825 г. на четыре месяца; Б. не вернулся в полк «за болезнию», а 31 января 1826 г. вышел в отставку (Изд. 1983, с. 302). *следующее письмо* — 35. *На службу* — см. прим. к письму 87. Из записной книжки Н. В. Путяты (с. 354). РА, 1899, № 6, с. 350, 352. *Дня через два* — в сентябре 1826 г. *в конце 1837 или в 1838 г.* — в начале 1840 г.; см. письма 144—152. *отрывок Пушкина* — «Баратынский». Из тетради выписок, заметок, воспоминаний и пр. Н. В. Путяты (с. 355). РА, 1863, стлб. 984. *Туманский* Федор Антонович (1799—1853) — поэт; с 1821 г. служил в Департаменте духовных дел в Петербурге, где и познакомился с Б. и Дельвигом (Вац., с. 57).

Из статьи В. П. Гаевского «Дельвиг» (с. 355). С., 1853, XXXIX, отд. 3, с. 28—66. Четыре статьи Виктора Павловича Гаевского (1826—1888) о Дельвиге — наиболее раннее биографическое и историко-литературное исследование о нем. Автор пользовался устными рассказами современников поэта В. А. Эртеля, Д. А. Эристова, А. И. Дельвига, М. Л. Яковлева (а также рукописью Н. М. Коншина), что придает работе ценность первоисточника. *В начале 1821 года* — в мае (Изд. 1936, т. 1, с. LVIII). *был избран в действительные члены Вольного Общества* — см. письмо 5. *Поселился на одной квартире с Дельвигом, в Семеновском полку.* — Не установлено, когда точно это было; возможно, они жили вместе несколько раз (в 1820—1825 гг. Б. приезжал в Петербург по меньшей мере семь раз; см. Изд. 1936, т. 1, с. LVIII). Есть предположение, что впервые Б. поселился вместе с Дельвигом еще до отъезда в Финляндию: приехав в Петербург осенью 1818 г., он жил сначала у дяди, П. А. Боратынского, а после зачисления в полк нашел частную квартиру неподалеку от его казарм, вблизи Семеновского плаца, в доме Василия Гижевского (Ежевского), на углу Госпитальной улицы и Среднего проспекта. Здесь Б. занимал три комнаты вместе со своим земляком — офицером того же полка А. И. Шляхтинским. В августе 1819 г. Шляхтинский уехал из Петербурга, и, вероятно, тогда же Б. оставил дом Гижевского и поселился неподалеку, в Пятой роте (линии) Семеновского полка, вместе с Дельвигом (Ш, с. 49, 51). *В 1824 году* — правильно: в 1825 г. *Пономарева* София Дмитриевна, урожденная Позняк (1794—1824) — жена богатого откупщика, хозяйка литературного салона в Петербурге. *«Благонамеренный»* — журнал, издававшийся в 1818—1826 гг. Александром Ефимовичем Измайловым (1779—1831), председателем (с 1816 г.) *Общества любителей словесности, наук и художеств,* в которое перенесла свою деятельность консервативная часть членов Вольного общества любителей российской словесности после того, как в нем приобрели влияние литераторы новой школы. *А. Ф. Воейков* (1779—1839) — поэт и журналист; об *А. А. Воейковой* см. с. 445.

А. В. Никитенко. Из «Моей повести о самом себе» (с. 358). Никитенко А В. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был», т. 1. СПб., 1904, с. 125—126. Александр Васильевич Никитенко (1804—1877) — критик и литературовед. *Рылеев* занял место правителя канцелярии Российско-Американской компании (созданной для освоения Аляски)

весной 1824 г. и поселился в доме компании (теперь набережная Мойки, 72; Ш, с. 192—193). *поэму «Войнаровский»* — закончена в начале 1824 г. и вышла в свет весной 1825 г. *офицер в простом армейском мундире.* — Б. впервые приехал в Петербург офицером летом 1825 г., однако трудно представить, чтобы в это время Рылеев читал «Войнаровского» как новость. Б. сблизился с Рылеевым, по-видимому, с конца 1823 г., через посредничество Бестужева, Коншина, а позднее А. А. Муханова. В «Памятной книжке» Бестужева за лето 1824 г. часты пометы: «У Рылеева с Баратынским», «У Рылеева вечером с Баратынским» (Изд. 1936, т. 1, с. LXIX).

В. И. Панаев. Из «Воспоминаний» (с. 359). Вестник Европы, 1867, т. 3, отд. 1, с. 264—266. Владимир Иванович Панаев (1792—1859) — поэт, автор сборника «Идиллии» (СПб., 1820), литературный противник группы Дельвига. После опубликования воспоминаний Панаева с опровержением их выступили Н. В. Путята, П. И. Бартенев и П. Г. Кичеев. *Яковлев* Павел Лукьянович (1796—1835) — литератор, брат М. Л. Яковлева и племянник А. Е. Измайлова.

Д. Н. Свербеев. Из «Записок» (с. 360). Записки Д. Н. Свербеева (1799—1826), т. 1, М., 1899, с. 229. Об авторе см. прим. к письму 65.

А. П. Керн. Из «Воспоминаний о Пушкине, Дельвиге и Глинке» (с. 361). Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка.— М., 1974, с. 51, 61—62. Анна Петровна Керн, урожденная Полторацкая (1800—1879),— приятельница Пушкина и Дельвига. Дельвиг и Пушкин (фрагмент) (с. 361). Там же, с. 76, 79—80. *«Там, где Семеновский полк»* — разбивка на строки неверна, стихотворение написано гекзаметром, излюбленным размером Дельвига; Б. он чужд, что заставляет приписывать ему меньшую долю участия в сочинении (Ак, т. 1, с. 323). О совместной жизни Б. и Дельвига см. с. 462.

А. И. Дельвиг. Из «Моих воспоминаний» (с. 362). Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. 1820—1870. Т. 1.— М.— Л., 1930, с.55, 62, 180, 227—228. Андрей Иванович Дельвиг (1813—1887) — двоюродный брат поэта. *Они были уничтожены* — А. И. Дельвиг рассказывает, как сразу же после смерти А. А. Дельвига были уничтожены его бумаги, «которых у него накопилось весьма много, так как он не рвал и не бросал большую часть получаемых писем... Читать эти письма считалось неприличным. К тому же читать было некогда, боялись каждую минуту прихода жандармов. Поэтому брали письма и другие бумаги целыми пачками и, удостоверясь, что в них нет денежных документов, бросали их в большие корзины, и десятки этих корзин побросали в печь...» (там же, с. 179—180). По-видимому, так погибли и письма Б. к Дельвигу. *Яковлев* Михаил Лукьянович (1798—1868) — лицейский товарищ Дельвига. *Щастный* Василий Николаевич (1802— не ранее 1853—1854) — поэт, сотрудник изданий Дельвига. *к моей воспитательнице, С. М. Боратынской* — см. с. 448. Поездка относится к осени 1833 г. (X, с. 172). А. И. Дельвиг постоянно бывал у Дельвигов с конца 1827 г., когда он четырнадцатилетним мальчиком приехал в Петербург учиться.

Т. П. Пассек. Из книги «Из дальних лет» (с. 363). Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания. Т. 1.— М., 1863, с. 239.

М. П. Погодин. Из «Воспоминаний о Степане Петровиче Шевыреве» (с. 364). П. в восп., т. 2, с. 29—31. *общим обедом* — 24 октября 1826 г.; см. с. 414. *«Нищий»* (1825) — повесть Погодина. *князь Мещерский* Василий Прокофьевич (род. в 1779) был председателем Московского цензурного комитета в 1827 г. *того Мещерского* — Прокофия Васильевича

(1736—1818), генерал-лейтенанта, курского помещика, актера-любителя, поэта и художника. В «Записках...» М. С. Щепкина (1788—1864) особая глава посвящена перелому во взглядах на искусство, совершившемуся в нем под влиянием Мещерского. *Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791—1859) — писатель, в 1827—1832 гг. был цензором.

К. А. Полевой. Из «Записок» (с. 365). Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого.— СПб., 1888, с. 176—180, 209. О К. А. Полевом см. прим. к письму 38. *«В лавочку были должны»* — см. с. 361—362.

П. А. Вяземский. <Посвящение к переводу романа Б. Констана «Адольф»> (с. 368). В кн.: Адольф. Роман Бенжамен-Констана. СПб., 1831. <Баратынский> (с. 369). Вяз., с. 270—271. Незаконченный набросок. *Полное собрание сочинений* — Изд. 1869, *«Примите, древние дубравы»* — И. И. Дмитриев «Освобождение Москвы» (1795). Из «Старой записной книжки» (с. 370). Вяз., с. 346—347. П. в восп., т. 1., с. 156—157, 159. *Лев... Александр* — Пушкины. Из статьи «Мицкевич о Пушкине» (с. 371). Вяз., с. 279, 293. Из «Автобиографического введения» (с. 372). П. в восп., т. 1, с. 124. *Баратынский говаривал* — см. письмо 22. Из статьи «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» (с. 372) Вяз., с. 311. *12 томов «Истории* государства Российского», тт. 1—12 (1816—1826).

Из «Рассказов о Пушкине, записанных со слов его друзей П. И. Бартеневым» (с. 372). Отдельное издание, Л., 1925, с. 27—28, 51, 53. *завидовал ему* — обзор материалов, характеризующих отношение Б. к Пушкину в связи с легендой о «сальеризме» Б., возникшей отчасти на основании этой записи, см. X, с. 179—186. *Елагин* Николай Алексеевич (1822—1876) — младший сын А. П. и А. А. Елагиных. *еще две строфы* неизвестны. *мальчишник* — 17 февраля 1831 г. *Варламов* назван ошибочно, вместо композитора Алексея Николаевича Верстовского (1799—1862). *Стихи* — вероятно, «В начале жизни школу помню я...», 1830 (П. в восп., т. 2, с. 381).

Б. Н. Чичерин. Из моих воспоминаний (с. 373). РА, 1890, № 4, с. 508—511, 517, 521—522. Борис Николаевич Чичерин (1828—1904) — философ, историк и публицист, сын тамбовского помещика, соседа Б. по имению, Николая Васильевича Чичерина. *Умет* — имение Н. В. Чичерина, недалеко от Мары. *Любичи* — имение Н. И. Кривцова; см. с. 456. *братьям* — А. А. и Б. А. Боратынским. *Барон Гакстгаузен* — правильно: фон Гартгаузен Август, немецкий путешественник, познакомившийся с И. А. и А. Д. Боратынскими в 1843 г. и рассказавший о встрече с ними в своей книге, вышедшей в 1847 г. в Ганновере (X, с. 620). *Лев* Абрамович Боратынский (1806—1858), оставив военную службу, еще некоторое время был чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе. После он поселился в своем имении Осиновка, в шести верстах от Мары, и прожил там до конца жизни (М, с. 24). *писал жене* — письмо 144. *Катерина Федоровна* Кривцова, урожденная Вадковская (ум. в 1861 г.) — жена Н. И. Кривцова. *письмо Евгения Абрамовича* неизвестно. *послание* Н. Ф. Павлова см. ТС, с. 65—68. *Зубков* Василий Петрович (1792—1862) — чиновник судебного ведомства, знакомый Пушкина.

П. Г. Кичеев. Воспоминания об Е. А. Баратынском (с. 378). Кичеев П. Г. Из недавней старины.— М., 1870, с. 174—182. Петр Григорьевич Кичеев — адвокат, литератор. *воспоминания... В. И. Панаева* — см. с. 359—360. *в «Русском архиве»*, 1868, вып. 1, были опубликованы письмо Б. Жуковскому (письмо 6) и два письма Жуковского Голицыну о деле Б. *отзыв П. А. Плетнева* — в его статье «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах». *в Бельское име-*

ние — Подвойское, принадлежавшее Б. А. Боратынскому. *Рядом с Пажеским корпусом* — он размещался в Воронцовском дворце, построенном по проекту Б. Ф. Растрелли (ныне Суворовское военное училище, Садовая, 26).

Л. Е. Боратынский. Из «Материалов для биографии Е. А. Баратынского» (с. 384). Изд. 1869, с. 394, 396, 399—400. Лев Евгеньевич Боратынский (1829—1906) — старший сын поэта; издал в 1869 г. его сочинения. *«С неба чистая, золотистая...»* — Эти строки связываются исследователями, либо как часть, либо как объект подражания и пародии, с агитационной нелегальной песней, сочиненной Бестужевым и Рылеевым, «Подгуляла я...». Имя Б. как предположительного автора ее фигурирует в протоколах следственной комиссии по делу декабристов (Изд. 1936, т. 1, с. LXXVI—LXXVII). *погребен 30 августа* — правильно: 31 августа 1845 г., см. с. 440. Из статьи Е. А. Боброва «Памяти Л. Е. Боратынского» (с. 385). Бобров Е. Дела и люди. Сборник статей.— Юрьев, 1907, с. 161—163, 166—171. *г-жа Геркен* Зинаида Евгеньевна (1840 — после 1916) — младшая дочь Б. *статью С. А. Венгерова* — «Баратынский, Евгений Абрамович», в кн.: Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 2.— СПб., 1891, с. 126—145. *о письме... к Жуковскому* — письмо 6. *Андрей Ильич* Боратынский (1813—1890) — сын дяди поэта, контр-адмирала Ильи Андреевича (1776—1836), и Софии Ивановны, урожденной Барышниковой (М, с. 25). *Голощапово* — имение в Бельском уезде Смоленской губернии (X, с. 2). *Андрей* Васильевич Боратынский (1738—1809 или 1810) — дед поэта; был женат на Авдотье Матвеевне Яцининой (ум. в 1791 г.), в приданое за которой получил Подвойское. *Семья поэта.* Две названные здесь дочери Б.— Екатерина (см. письмо 48) и София (1833—1838; М, с. XXI) — умерли в детстве; кроме того, были еще дочери, Юлия (см. письмо 143) и Зинаида (см. выше). *Беккер* — см. письмо 141. *Кошанский* Николай Федорович (1785—1831) — доктор философии, преподаватель русской и латинской словесности в Царскосельском лицее, автор книг «Общая риторика» и «Частная риторика», многократно переиздававшихся. *Огарев в своем стихотворении* — см. с. 435; автор его не Огарев, а Сатин (Ф, с. 165). *писал Погодину* — см. с. 439.

П. А. Плетнев. Евгений Абрамович Баратынский (с. 390). С, 1844., т. 35, № 9, с. 298—329. Статья полемична и имеет целью защитить память Б.— поэта (см. с. 437—438); создание живого образа друга не входило в задачу Плетнева и, по-видимому, представлялось ему маловозможным; так, он писал Гроту, противопоставляя ускользающий от определения облик Б. яркой «рельефности» Крылова: «Жуковский, Баратынский и подобные им люди слишком выглажены, слишком обточены, слишком налакированы. Их жизнь и отношения совпадают в общую форму с жизнию и отношениями всех» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 3.— СПб., 1896, с. 400). *Поповский* Н. Н. (1730(?)—1760) — поэт и переводчик, ученик М. В. Ломоносова, сыгравшего определяющую роль во всей его судьбе. *казалось, новый элегический поэт должен быть только подражатель* — Плетнев повторяет положение своей статьи 1824 г., см. с. 407. *по... выражению Жуковского.*— Имеется в виду его сборник «Для немногих» (в 6 т.; М, 1818); был отпечатан в небольшом количестве экземпляров и в продажу не поступал. *на последнем для него лицейском празднике.*— Далее цитируется (не точно) стихотворение «Чем чаще празднует лицей...», написанное для лицейской годовщины 19 октября 1831 г.; по-видимому, Плетнев смешивает его с незаконченными строфами «Была пора: наш праздник молодой...», прочитанными Пушкиным на праздновании 19 октября

1836 г. *последних своих поездок в С.-Петербург* — в феврале 1840 и в сентябре 1843 г. *автор «Истории России в рассказах для детей»* (ч. 1—6, 1837—1840) — Александра Осиповна Ишимова (1804—1881). *Переводчик Фритиофа* — Я.К.Грот; его перевод поэмы шведского поэта Э.Тегнера (1782—1846) «Сага о Фритьофе» (1819—1825) вышел в свет в 1841 г.

И. В. Киреевский. <Из вступительной заметки к библиографическому отделу журнала «Москвитянин»> (с. 396). К., с. 211—212. *статья, помещенная в нем,* — статья Плетнева (см. с. 390—395), напечатанная без имени автора. *в одном из ближайших №№ «Москвитянина»* — некролог Б., по-видимому, предназначавшийся для «Москвитянина» (см. с. 397—399), был напечатан в журнале «Библиотека для воспитания» (1845, ч. 3). Е. А. Баратынский (с. 397). К., с. 235—238. *29 июня.* — Общепринятая дата рождения Б., 19 февраля, была недавно опровергнута В. Шпильчиным на основании найденного им документа — записи о рождении (7 марта) и крещении (8 марта) будущего поэта в метрической книге церкви села Вяжля (см. ВЛ, 1976, № 9, с. 318). Однако новые материалы, обнаруженные А. М. Песковым (работа его находится в печати), ставят под сомнение эту поправку и, по-видимому, говорят о необходимости вернуться к прежней дате. *«Сладко проходит здесь жизнь наша»* — неточная цитата из письма 194.

БАРАТЫНСКИЙ В ПЕРЕПИСКЕ И ДНЕВНИКАХ СОВРЕМЕННИКОВ

Сомов безмундирный (с. 400).— Речь идет о ранней, рукописной редакции послания Б. «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры»; в последующих вариантах эта строка отсутствует. Орест Михайлович Сомов (1793—1833) не имел состояния и жил только литературным трудом. Позднее он издавал вместе с Дельвигом «Литературную газету»; в начале же 20-х гг. был литературным противником Дельвига и Б. *В.А.Жуковский — Н.И.Гнедичу. Начало 1824 г.* (с. 403). Публикуется по автографу (ПД, 103). *Дибич* Иван Иванович (1785—1831) (с. 404) — генерал-адъютант; уже было известно о его предстоящем вступлении в должность начальника Главного штаба, в которой он был утвержден 6 апреля 1824 г. (ОА, т. 3, с. 376), в день праздника Пасхи. Доклад не дал результата. *Муханов* Павел Александрович (1797—1871) — адъютант управляющего Главным штабом, знакомый Пушкина и Вяземского. *C'est bien là le cas de dire...* (с. 405) — Вот где можно сказать: «...безнадежно Одной надеждой только жить» — цитируется «Мизантроп» Ж.Б.Мольера (пер. Т.Л.Щепкиной-Куперник). *послание* Б. (с. 405).— Тургенев писал: «Третьего дня обедали у нас на Черной речке: Жуковский, Блудов, Дашков, слепой Козлов, а потом пришли Греч, Боратынский и Дельвиг. Боратынский читал прекрасное послание к Богдановичу» (ОА, т. 3, с. 55). Стихотворение было воспринято современниками как острый антиромантический выпад; в связи с этим особенно важно отметить, что Б. воспользовался первым же случаем, чтобы ознакомить с ним Жуковского и его друзей. *Н.В.Путята — С.Д.Полторацкому.* 6 августа 1824 г. Публикуется по автографу (ГПБ, ф. 603, № 175). *употребляет он* (с. 406) — Речь идет об А.Ф.Воейкове. *Письмо о русских поэтах* (с. 407) — статья Плетнева «Письмо к графине С.И.С. о русских поэтах» (СЦ на 1825 г.); Б., вместе с Пушкиным и Жуковским, автор называет представителем наступающего золотого века русской словесности. В рецензии на альманах (СО, 1825,

№ 2) похвала Б. была объявлена плодом дружеского пристрастия. *Об языке чувств* — отрывок процитирован П. Г. Кичеевым, см. с. 379. *забавную надпись* — стихотворение Байрона «Надпись на кубке из черепа» (1808); сравнивая его с «Черепом» Б., Плетнев писал: «Русский стихотворец в этом случае гораздо выше английского. Байрон, сильный, глубокий и мрачный, почти шутя говорил о Черепе умершего человека. Наш поэт извлек из этого предмета поразительные истины» («Соревнователь просвещения и благотворения», 1825, кн. 1). *я их обоих знаю лично* (с. 408).— Языков познакомился с Б. и Л. С. Пушкиным 12 июня 1824 г. (Яз. арх., с. 138). Неприязненное отношение к Б. в то время, отразившееся и в отзыве Языкова о «Пирах» и «Эде» (Яз. арх., с. 243), позднее изменилось. Л. Е. Боратынский называет Языкова, сразу же после Киреевского, в числе наиболее близких его отцу людей в Москве (Изд. 1869, с. 398). *Res-publica* — государство, буквально — всеобщая вещь (лат.). *Дибич взял доклад в Варшаву* — сопровождая Александра I, выехавшего туда 4 апреля (ОА, т. 3, с. 475). *в письме к...* — Цитируется письмо 22. *из сочиняемой им поэмы* (с. 409) — «Бал». *Дельвиг и Баратынский привезут мне и Анахарзиса Клоца* (с. 410).— Вероятно, речь идет о неосуществившемся намерении; сообщение А. П. Керн о том, что Б. посещал ссыльного Пушкина в Михайловском (П. в восп., т. 1, с. 391), ничем не подтверждено. О происхождении прозвища Кюхельбекера см.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники.— М., 1969, с. 327. *Резвоскачущая кровь* — выражение из послания Кюхельбекера «Грибоедову» (1821). *Ободрения у нас нет — и слава богу!* — Пушкин полемизирует со статьей Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» (ПЗ на 1825 г.). *...будут шаферами* — Б. не смог быть шафером у Дельвига, так как свадьба была отложена и состоялась только 30 октября, когда его уже не было в Петербурге. *...длинное письмо* — от Б.— письмо 25. *не поэт, а гражданин* (с. 411) — Рылеев обыгрывает концовку своего стихотворения «А. А. Бестужеву» (посвящение к поэме «Войнаровский», 1823—1824). *о долге поэта Баратынского* — Видимо, речь идет о деньгах, заплаченных Бестужевым и Рылеевым за сочинения Б. (см. с. 400). С начала 1826 г. за подготовку их издания берется Дельвиг. *Пинской* — Карниолин-Пинский Матвей Михайлович (1796—1866), чиновник, литератор. *за отставку* Б. (с. 412) — с 31 января 1826 г. Благодарное чувство к Закревскому он сохранял всю жизнь; в 30-е гг., встречаясь с ним в Москве, Б. писал матери, что не знает человека лучше: «Можно подумать, что это он сохранил благодарное воспоминание о моем пребывании у него, а я имел счастье оказать ему услугу» (М, с. 47—48). *для моего парника* — Имеются в виду СЦ на 1827 г. *Шереметев* Дмитрий Николаевич (1803—1871) (с. 413) — владелец крупнейшего состояния в России. *выкидывает лучшие пьесы* — Имеется в виду элегия «Признание», не включенная в издание 1827 г. *Эрострат* (Герострат) из желания прославиться сжег храм Афродиты в Эфесе. *обед* (с. 414) — у А. С. Хомякова по случаю основания журнала «Московский вестник». *Оболенский* Василий Иванович (1790—1847) — знаток древних языков. *Хомяков* Федор Степанович (1802—1829) — брат А. С. Хомякова, переводчик. *Веневитиновы* Дмитрий Владимирович (1805—1827), фактический руководитель Общества любомудрия, и Алексей Владимирович (1806—1872) — его брат, чиновник Московского архива Министерства иностранных дел; там же служили Владимир Павлович *Титов* (1807—1891), Иван Сергеевич *Мальцов* (1807—1880), Александр Вильгельмович *Рихтер* (1804—1849). *Розберг* Михаил Петрович (1804—1874) — литератор, историк. *Снегирев* Иван Михайлович (1793—1868) — профессор Московского университета, цензор. *Мещерский* (с. 415) — см. с. 463. *Шевырев* отрицательно отозвался об издании 1827 г., находя в нем «чувствования давно зна-

комые, и едва ли уже не забытые нами» и считая, что автор «однообразен своими оборотами и не всегда правилен, обличая нередкими галлицизмами заметное влияние французской школы» (МВ, 1827, № 1). *Фонтон* Феликс Петрович (1801—после 1862) — чиновник Главной квартиры действующей армии, впоследствии дипломат. Не ясно, где и когда могла произойти описываемая встреча; в марте 1828 г. Пушкин был в Петербурге, а Дельвиг — в Харькове. *Глинка* Сергей Николаевич (1775—1847) (с. 416) — поэт, журналист; в 1828—1830 гг. был цензором МТ. *Филарет* (Дроздов Василий Михайлович; 1782—1867) — с 1826 г. митрополит Московский и Коломенский. *Твоя критика* — на раннюю редакцию стихотворения Б. «Смерть»; все отмеченные места исчезли при переработке. *Фивские братья* — Полиник и Этеокл, сыновья Эдипа, вступившие в борьбу за власть в Фивах и в ней оба погибшие. *Федра* — жена царя Тесея, охваченная безответной страстью к пасынку Ипполиту, погубила его и убила себя, героиня трагедии Еврипида. *с княгинею Зенеидою* (с. 417) — Зинаидой Александровной Волконской (1792—1862), поэтессой, певицей, хозяйкой московского салона; в конце февраля 1829 г. она навсегда уехала в Италию. *Он издал свой «Бал» вместе с «Нулиным» Пушкина.* — Две повести в стихах. — СПб., 1828. *«Мазепа»* — поэма Пушкина «Полтава». *танцовали в Москве с Олениною* Анной Алексеевной (1808—1888); в 1828 г. Пушкин был увлечен ею, посвятил ей несколько стихотворений, сватался и получил отказ. Зимой 1829 г. Оленина приезжала в Москву; в дневнике ее записано: «Иногда выезжала по балам, но, по правде, веселья мало находила. Познакомилась с Баратынским и восхитила его своей любезностью» (П. в восп., т. 2, с. 78). *Рожалин* Николай Матвеевич (1805—1834) (с. 418) — литератор, бывший член Общества любомудрия. *...затрудняюсь говорить.* — В течение 1829—1830 гг. отношение Погодина к Б. сделалось откровенно недоброжелательным; к Б. «не лежит мое сердце», — признается он в дневнике 12 июля 1830 г. (П. в восп., т. 2, с. 21). Эта же запись показывает, что Погодин, очевидно, принял на свой счет эпиграмму Б. «Хотя ты парень молодой...». *Общества Любителей Русского Слова* (с. 419). — Речь идет об Обществе любителей российской словесности; 23 декабря 1829 г. состоялось торжественное собрание в честь 18-летия его основания (см. «Московские ведомости», 1830, № 1, 1 января, с. 9—13). *булгаринской выходки.* — В «Северной пчеле» (1830, № 11, 25 января) была высмеяна поэма Б. «Наложница» и отзыв Киреевского о его поэзии в статье «Обозрение русской словесности 1829 года». *«Цыганка»* — поэма «Наложница»; позднее ей было возвращено название «Цыганка». *Киреевские здесь оба* (с. 420). — В ноябре 1830 г. братья Киреевские возвратились в Россию после слушания лекций в университетах Германии. *5 повестей* — «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»; Пушкин рассказывает о болдинской осени 1830 г. *поэма* Б. — «Наложница». *разбор Дельвига* — его статья «Борис Годунов» (ЛГ, 1831, № 1, 1 января). *посылаемое тебе* — предисловие к переводу романа Б. Констана «Адольф»; см. с. 368—369. *Демиду* Федоровичу Муромцеву, управляющему Вяземского. *Дельвиг* умер 14 января 1831 г. *«Что душу волнует...»* (с. 421) — неточная цитата из «Графа Гапсбургского» Жуковского (перевод баллады Шиллера). *холостой... обед* — накануне свадьбы Пушкина; см. с. 373. *Моцарта и несколько мелочей* (с. 422). — В СЦ на 1832 г., изданные Пушкиным, вошла его трагедия «Моцарт и Сальери» и девять стихотворений. *Гекзаметрическая сказка* Жуковского — «Сражение со змеем» (1831). *Миерис* Франц (1635—1681) (с. 423) — голландский живописец; о сравнении Б. с ним и о возможном успехе Б. в комедии см. с. 454. *наш альманах* (с. 424) — «Шахерезада»; см. письмо 118. *Герке* Христиан Иванович (с. 425) — близкий знакомый семьи Веневитиновых, бывший воспитателем в их доме. *отвечает мне* — в

письме 117. *получаю письмо* (с. 426) — 118. *И. В. Киреевский — В. Ф. Одоевскому. 17 мая 1833 г.* — Публикуется по автографу (ГПБ, ф. 539, № 584). *Кошелев* Александр Иванович (1806—1883) — член кружка любомудров. *Он едет сегодня* — в Мару, где Б. прожил до весны 1834 г. Незадолго до этого уехал Хомяков, постоянно встречавшийся в это время с Б. и Киреевским. После выхода в апреле 1833 г. сборника Н. М. Языкова Киреевский, восхищаясь его стихами, писал ему: «То же действие, какое на меня, производят стихи твои на Баратынского и Хомякова. Почти каждый день говорим мы об них и всякий раз находим сообщить друг другу что-нибудь новое. Недавно у последнего, то есть у Хомякова, был прощальный ужин, после которого мы читали тебя до самого солнца...» (К, с. 410). *Здесь Баратынский.* — Б. ненадолго приезжал из Мары в казанское имение в связи с неурожаем (X, с. 171). *к... несносной бабе* (с. 427). — Речь идет об А. А. Фукс (см. с. 454); ее муж, профессор Казанского университета Карл Федорович *Фукс* (1776—1846), рассказывал Пушкину о Пугачеве в Казани. *Второв* И. А. (1772—1844) — литератор. *журнал* (с. 428) — «Московский наблюдатель»; редактором его был Василий Петрович Андросов (1803—1841). Издание осуществлялось на акционерно-паевых началах; Б. был в числе пайщиков, личное же его участие в журнале ограничилось четырьмя стихотворениями, опубликованными в 1835 г. *Полевой* — Ксенофонт Алексеевич, в одной из своих рецензий оспаривавший взгляд на войну 1812 г. как войну народную. *пристать к нам.* — Имеется в виду издание журнала «Современник». *Проси для меня* (с. 429) — для «исторического и литературного сборника» «Старина и новизна», который хотел издать Вяземский; издание не состоялось. *о статье Чаадаева* — «Философические письма к госпоже***. Письмо I» («Телескоп», 1836, кн. 15). За публикацию статьи журнал был закрыт, издатель его Н. И. Надеждин сослан, цензор отстранен от должности; Чаадаеву было запрещено печататься, за ним установили медицинский надзор, как за сумасшедшим. *Бартенев* (с. 430) Юрий Никитич (1792—1866) — литератор, служил в почтовом департаменте. Речь идет о посмертной маске Пушкина. *письма... к покойному* — По поручению императора Жуковский вместе с начальником штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельтом разбирал бумаги Пушкина после его смерти. Читать адресованные Пушкину письма он отказался. После того как они были прочитаны Дубельтом (письма Б., в числе других, читались 15—17 февраля 1837 г.; см.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. — М., 1962, с. 281), Жуковский возвратил их авторам. *подробности этой истории* (с. 431). — Б. знал их из ходивших по рукам писем Вяземского к его московским знакомым, а также из письма Жуковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 г. (П. в восп., т. 2, с. 341—355), где многое передано со слов Владимира Ивановича Даля, бывшего, как и Жуковский и Вяземский, свидетелем последних часов жизни Пушкина. *Макаров* Михаил Николаевич (ок. 1789—1847) — московский литератор-карамзинист, близкий И. И. Дмитриеву. *Книга* Генриха Иосифа Кенига (1790—1869), немецкого писателя, о русской литературе вышла в 1837 г. (в русском переводе: «Очерки русской литературы». — СПб., 1862); она была написана при ближайшем участии Мельгунова, частично под его диктовку. *Великопольский* Иван Ермолаевич (1797—1868) — литератор. *Баратынский приезжает к Жуковскому* (с. 432). Видимо, передан рассказ самого Б., только что возвратившегося из Петербурга; см. письма 145 и 151. Считается, что речь идет о стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума...» (1833) (см. X, с. 217; П. в восп., т. 2, с. 476). Но возможно, это «Стихи, сочиненные ночью, во время бессонницы» (1830), напечатанные в 1841 г. Жуковским с измененной концовкой. *Н. В. Путята — С. Д. Полторацкому. Август 1840 г.* — Публикуется по автографу (ГПБ,

ф. 603, № 175). *Журнал* (с. 433) — «Современник», с 1838 г. издававшийся Плетневым. *Сатин* — см. с. 460. *Кетчер* Николай Христофорович (1809—1886) — врач, поэт-переводчик, друг Белинского, член кружка Герцена. *А. Л. Боратынская — Н. В. и С. Л. Путятам. 11 июля (н. ст.) 1844 г.* — В подлиннике по-французски. *Иванов* Александр Андреевич (1806—1858) работал в Италии над картиной «Явление Мессии». Он взял на себя хлопоты, связанные с помещением тела Б. в церкви (см. с. 390) до перевозки его на родину. *два свои стихотворения* (с. 434) — см. письмо 194. *Паверс* Гирам (с. 435) — выдающийся американский скульптор; план заказать бюст у него не был осуществлен (см. X, с. 258—259). *Нащокин* Павел Воинович (1801—1854) (с. 436) — близкий друг Пушкина; Б. мог познакомиться с ним еще в Петербурге в 1819 — начале 1820-х гг. и, видимо, постоянно встречался с ним в Москве. *Воспоминание о Боратынском* (с. 437) — см. с. 335—351. *...свою статью* (с. 438) — см. с. 390—395. *...известная судьба нескольких членов Общества* — ставших декабристами. *один из русских в Париже* — эмигрант И. Г. Головин; в написанном им некрологе Б. смерть поэта была использована для политической спекуляции; номер газеты (1844, 16 сентября) был запрещен в России. *Иванчин-Писарев* Николай Дмитриевич (1790—1849) (с. 439) — московский литератор, близкий И. И. Дмитриеву. *В Мураново* семья Б. после его смерти не возвращалась; в 40-е гг. оно перешло к Путятам и посещалось многими известными писателями. Дочь Путят, Ольга Николаевна, была замужем за Иваном Федоровичем Тютчевым, сыном поэта Федора Ивановича Тютчева, после смерти которого в Мураново были перевезены его архив, книги и личные вещи. В наше время в усадьбе открыт мемориальный музей Б. и Тютчева. *О Нале и Баратынском* (с. 440). — Имеется в виду статья Плетнева об «индейской повести» Жуковского «Наль и Дамаянти» и некролог Б. (см. с. 390—395), напечатанные в С, 1844, т. 35, № 9.

СОДЕРЖАНИЕ

Л. В. Дерюгина. О жизни поэта Евгения Баратынского 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

I

Дельвигу («Так, любезный мой Гораций...») 26
Ропот 27
Разлука 28
Финляндия 28
К<онши>ну 30
Дельвигу («Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...») 31
Лиде 32
Разуверение 33
Дельвигу («Дай руку мне, товарищ добрый мой...») 33
Делии 34
Возвращение 35
Поцелуй 36
Лета 36
Безнадежность 37
«О своенравная София!» 37
Признание 38
Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры 39
Оправдание 42
К... 43
Череп 44
Звезда 45
Буря 46
Богдановичу 47
Песня 50
«Как много ты в немного дней...» 51
Надпись 52
Стансы 52
Дорога жизни 53
Ожидание 53
«Сердечным нежным языком...» 54
Д. Давыдову 54

Л. С. П<ушки>ну 55
А. А. В<оейков>ой 56
Эпиграмма («Что ни болтай, а я великий муж!..») 56
К*** 57
Эпиграмма («Оконченная летунья...») 57
Стансы 58
Последняя смерть 59
Уверение 62
Фея 62
Из А. Шенье 63
«Старательно мы наблюдаем свет...» 63
«Мой дар убог и голос мой не громок...» 64
«Не подражай: своеобразен гений...» 64
При посылке «Бала» С. Э. 65
Смерть 65
Княгине З. А. Волконской на отъезд ее в Италию 67
Эпиграмма («Поверьте мне, Фиглярин-моралист...») 68
Эпиграмма («Что пользы вам от шумных ваших прений...») 68
«Чудный град порой сольется...» 69
Муза 69
Подражателям 70
Отрывок 70
«Где сладкий шепот...» 74
«Бывало, отрок, звонким кликом...» 76
Мой Элизий 76
«В дни безграничных увлечений...» 77
Н. М. Языкову 77
Языкову 78
На смерть Гете 79
Кольцо 80
«К чему невольнику мечтания свободы?..» 82
«Наслаждайтесь: все проходит!..» 82
«Когда исчезнет омраченье...» 83
«Болящий дух врачует песнопенье...» 84
«О мысль! тебе удел цветка...» 84
«О, верь: ты, нежная, дороже славы мне...» 85
«Есть милая страна, есть угол на земле...» 85
«Весна, весна! как воздух чист!..» 86
«Своенравное прозванье...» 87
Запустение 88
«Вот верный список впечатлений...» 90

II

СУМЕРКИ

Князю Петру Андреевичу Вяземскому 92
Последний поэт 93
«Предрассудок! он обломок...» 95

Новинское 96
Приметы 96
«Всегда и в пурпуре и в злате...» 97
«Увы! Творец не первых сил!..» 98
Недоносок 98
Алкивиад 100
Ропот 100
Мудрецу 101
«Филида с каждою зимою...» 101
Бокал 101
«Были бури, непогоды...» 103
«На что вы, дни! Юдольный мир явленья...» 104
Ахилл 104
«Сначала мысль, воплощена...» 105
«Еще как Патриарх не древен я; моей...» 105
«Толпе тревожный день приветен, но страшна...» 106
«Здравствуй, отрок сладкогласной!..» 107
«Что за звуки? Мимоходом ...» 107
«Все мысль да мысль! Художник бедный слова!..» 108
Скульптор 108
Осень 109
«Благословен святое возвестивший!..» 114
Рифма 114

III

Звезды 116
Обеды 116
«На все свой ход, на все свои законы...» 117
«Спасибо злобе хлопотливой...» 117
С книгою «Сумерки» 118
На посев леса 118
«Когда твой голос, о Поэт...» 119
«Люблю я вас, богини пенья...» 120
Молитва 121
«Когда, дитя и страсти и сомненья...» 121
Пироскаф 121
Дядьке-итальянцу 123

ПИСЬМА

1. А. Ф. Боратынской. *<Осень 1814 г. Петербург>* 128
2. А. Ф. Боратынской. *<Осень 1814 г. Петербург>* 129
3. А. Ф. Боратынской. *<Январь 1818 г. Тамбов>* 131
4. С. С. Уварову. *12 марта 1821 г. Кюмень* 133
5. А. А. Никитину. *<Середина апреля 1821 г. Кюмень>* 133
6. В. А. Жуковскому. *<Конец 1823 г. Роченсальм>* 134
7. В. А. Жуковскому. *<Январь (?) 1824 г. Кюмень>* 140

8. В. А. Жуковскому. *<5 марта 1824 года. Кюмень>* 140
9. А. А. Бестужеву и К. Ф. Рылееву. *<Весна 1824 г. Роченсальм>* . 141
10. Н. В. Путяте. *<25 мая 1824 г. Вильманстранд>* 142
11. Н. М. Коншину. *<Сентябрь — октябрь 1824 г. Кюмень>* . . . 142
12. Н. В. Путяте. *11 октября 1824 г. Кюмень* 144
13. М. Е. Лобанову. *<Осень (?) 1824 г. Гельсингфорс (?)>* 144
14. А. И. Тургеневу. *31 октября 1824 г. Гельсингфорс* 145
15. И. И. Козлову. *7 января <1825 г. Гельсингфорс>* 146
16. А. И. Тургеневу. *25 января 1825 г. Гельсингфорс* 148
17. В. К. Кюхельбекеру. *<Конец января—начало февраля 1825 г. Кюмень>* 149
18. Н. М. Коншину. *26 февраля <1825 г. Кюмень>* 150
19. Н. В. Путяте. *<2-я половина февраля—начало марта 1825 г. Кюмень>* 151
20. Н. В. Путяте. *<Март 1825 г. Кюмень>* 152
21. Н. В. Путяте. *29 марта <1825 г. Кюмень>* 154
22. И. И. Козлову. *<Апрель 1825 г. Кюмень>* 155
23. А. И. Тургеневу. *9 мая 1825 г. Кюмень* 157
24. Н. В. Путяте. *15 мая <1825 г. Кюмень>* 158
25. Н. В. Путяте. *<Нач. августа 1825 г. Петербург>* 158
26. А. Ф. Боратынской. *16 августа <1825. Выборг>* 160
27. Н. В. Путяте. *<Ноябрь 1825. Москва>* 161
28. А. С. Пушкину. *<Первая половина декабря 1825 г. Москва>* . . . 162
29. П. А. Вяземскому. *<Конец 1825 г. Москва>* 164
30. А. С. Пушкину. *<5—20 января 1826 г. Москва>* 164
31. Н. В. Путяте. *<Около 19 января 1826 г. Москва>* 165
32. Н. В. Путяте. *<Январь 1826. Москва>* 167
33. В. В. Измайлову. *<Осень 1826 г. Москва>* 168
34. А. А. Муханову. *26 октября 1826 г. <Москва>* 168
35. Н. В. Путяте. *<Ноябрь 1826. Москва>* 169
36. Н. М. Коншину. *19 декабря 1826 г. <Москва>* 170
37. П. А. Вяземский и Е. А. Баратынский — В. А. Жуковскому и А. И. Тургеневу. *<25 февраля — 12 марта 1827 г. Москва>* . 171
38. Н. А. Полевому. *<25 ноября 1827 г. Мара>* 172
39. П. А. Вяземскому. *<Начало декабря 1827 г. Москва>* 174
40. А. С. Пушкину. *<Конец февраля (не позднее 23) 1828 г. Москва>* . 174
41. Н. В. Путяте. *<Апрель (?) 1828 г. Москва>* 175
42. П. А. Вяземскому. *<Апрель 1828 г. Москва>* 177
43. А. А. Дельвигу. *<Октябрь — начало ноября 1828. Москва>* . . . 178
44. С. П. Шевыреву. *<1826—1828 (?) гг. Москва>* 179
45. П. А. Вяземскому. *<18 марта — 1 апреля 1829 г. Москва>* . . . 180
46. И. В. Киреевский и Е. А. Баратынский — М. П. Погодину. *<1829 г. Москва>* 181
47. П. А. Вяземскому. *<Май 1829 г. Москва>* 182
48. П. А. Вяземскому. *<Лето 1829 г. Москва>* 183
49. П. А. Вяземскому. *<Лето 1829 г. Москва>* 184
50. П. А. Вяземскому. *<Лето 1829 г. Мураново>* 185
51. М. П. Погодину. *<1829 г.>* 186
52. С. Д. Полторацкому. *<Конец 1820-х гг. Москва>* 187
53. Н. М. Коншину. *<Вторая половина сентября 1829 г. Москва>* . . 187

54. Н. М. Коншину. <*Октябрь — ноябрь 1829 г. Мара*> 188
55. И. В. Киреевскому. <*Осень 1829. Мара*> 189
56. А. П. Елагиной. <*Осень 1829 г. Мара*> 190
57. И. В. Киреевскому. <*Осень 1829. Мара*> 191
58. И. В. Киреевскому. <*29 ноября 1829 г. Мара*> 192
59. П. А. Вяземскому. <*20 декабря 1829. Мара*> 193
60. П. А. Вяземскому. *24 января 1830 г. Мара* 194
61. П. А. Вяземскому. <*Июль — август 1830. Москва*> 195
62. Н. В. Путяте. <*Лето 1830. Москва*> 196
63. П. А. Вяземскому. <*Ноябрь (до 23) 1830 г. Москва*> 197
64. П. А. Вяземскому. <*Конец ноября 1830 г. Москва*> 197
65. Д. Н. Свербееву. <*Декабрь 1830 г. Москва*> 198
66. П. А. Вяземскому. <*Середина декабря 1830 г. Москва*> 199
67. И. В. Киреевскому. <*Декабрь 1830 г. Москва*> 200
68. И. В. Киреевскому. <*Декабрь 1830—начало января 1831 г. Москва*> 200
69. И. В. Киреевскому. <*1830-е годы. Москва*> 200
70. И. В. Киреевскому. <*30-е гг. Москва*> 201
71. И. В. Киреевскому. <*Апрель 1831 г. Москва*> 201
72. И. В. Киреевскому. <*Апрель 1831 г. (?) Москва*> 201
73. П. А. Плетневу. <*Апрель 1831. Москва*> 202
74. М. Д. Деларю. <*Апрель 1831 г. Москва*> 202
75. И. В. Киреевскому. <*Начало лета 1831 г.*> 203
76. И. В. Киреевскому. <*Июнь 1831. Казань*> 204
77. Н. В. Путяте. <*Июнь 1831 г. Казань*> 205
78. И. В. Киреевскому. <*Июль 1831 г. Каймары*> 206
79. И. В. Киреевскому. <*Июль 1831 г. Каймары*> 207
80. И. В. Киреевскому. <*Июль 1831 г. Каймары*> 208
81. П. А. Плетневу. <*Июль 1831 г. Каймары*> 209
82. И. В. Киреевскому. <*6 августа 1831 г. Каймары*> 210
83. И. В. Киреевскому. <*13 августа 1831 г. Каймары*> 212
84. И. В. Киреевскому. <*Август 1831 г. Каймары*> 212
85. И. В. Киреевскому. <*Лето 1831 г. Каймары*> 213
86. И. В. Киреевскому. <*21 сентября 1831 г. Каймары*> 215
87. Н. М. Языкову. <*Конец сентября 1831 г. Каймары*> 216
88. И. В. Киреевскому. <*8 октября 1831 г. Каймары*> 217
89. И. В. Киреевскому. <*Октябрь 1831 г. Каймары*> 219
90. И. В. Киреевскому. <*26 октября 1831 г. Каймары*> 219
91. И. В. Киреевскому. <*Ноябрь 1831 г. Каймары*> 221
92. И. В. Киреевскому. *29 ноября* <*1831 г. Каймары*> 222
93. И. В. Киреевскому. <*Декабрь 1831 г. Каймары*> 223
94. П. А. Вяземскому. <*Конец 1831 г. Каймары или Казань*> . . . 224
95. И. В. Киреевскому. <*Декабрь 1831. Казань*> 225
96. И. В. Киреевскому. <*Конец декабря 1831 г. Казань*> 227
97. И. В. Киреевскому. <*Начало января 1832 г. Казань*> 228
98. И. В. Киреевскому. <*18 января 1832 г. Казань*> 229
99. И. В. Киреевскому. <*Январь 1832 г. Казань*> 230
100. И. В. Киреевскому. <*Январь 1832 г. Казань*> 231
101. А. П. Елагиной. <*Начало 1832 г. Казань*> 232
102. И. В. Киреевскому. <*Февраль 1832 г. Казань*> 233

103. И. В. Киреевскому. *<Февраль 1832 г. Казань>* 234
104. И. В. Киреевскому. *<22 февраля 1832 г. Казань>* 235
105. И. В. Киреевскому. *<Начало марта 1832 г. Казань>* 236
106. И. В. Киреевскому. *<Начало марта 1832 г. Казань>* 236
107. И. В. Киреевскому. *<14 марта 1832 г. Казань>* 238
108. И. В. Киреевскому. *<12 апреля 1832 г.>* 239
109. И. М. Симонову. *<Весна 1832 г. Казань или Каймары>* . . . 240
110. И. М. Симонову. *<Весна 1832 г. Каймары>* 240
111. И. В. Киреевскому. *<Апрель — май 1832 г. Казань>* 241
112. И. В. Киреевскому. *<16-го мая 1832 г. Казань>* 242
113. И. В. Киреевскому. *<30 мая 1832 г. Казань>* 243
114. И. В. Киреевскому. *13 июня 1832 г. Каймары* 244
115. И. В. Киреевскому. *<Июнь 1832 г. Казань>* 244
116. И. В. Киреевскому. *<Июнь 1832 г. Казань>* 245
117. П. А. Вяземскому. *<Декабрь 1832 г. Москва>* 246
118. П. А. Вяземскому. *<3 февраля 1833 г. Москва>* 247
119. И. В. Киреевскому. *<4 августа 1833 Мара>* 248
120. И. В. Киреевскому. *<27 октября 1833 г. Мара>* 249
121. И. В. Киреевскому. *<28 ноября 1833 г. Мара>* 249
122. И. В. Киреевскому. *<22 декабря 1833 г. Мара>* 251
123. И. В. Киреевскому. *<Конец 1833 — начало 1834 (?) г. Мара>* . 252
124. И. В. Киреевскому. *<Весна 1834 г. Мара>* 252
125. И. В. Киреевскому. *<Середина 30-х гг. Москва>* 253
126. И. В. Киреевскому. *<1830-е годы>* 254
127. С. А. Соболевскому. *<Лето 1834—первая половина 1836 гг. Москва>* 255
128. С. Л. Энгельгардт. *<Начало ноября 1834 г. Мара>* 255
129. М. П. Погодину. *<Начало мая 1835 г. Москва>* 256
130. А. Ф. Боратынской. *<Весна — лето 1835 г. Москва>* 256
131. Н. В. Чичерину. *<Вторая половина 1830-х гг. Москва>* 257
132. П. А. Вяземскому. *5 февраля 1837 г. Москва* 257
133. П. А. Вяземскому. *<Март (?) 1837 г. Москва>* 259
134. А. Л. Боратынской. *<11 мая 1837 г. Тула>* 259
135. А. Л. Боратынской. *<15 мая 1837 г. Тамбов>* 260
136. Н. И. Кривцову. *<10 июля 1837 г.>* 260
137. Н. В. Путяте. *<Февраль 1838>* 261
138. Н. В. Путяте. *<Август 1838>* 262
139. Н. В. Путяте. *<Начало 1839>* 263
140. П. А. Плетневу. *<Начало 1839 г. Москва>* 264
141. Н. В. Путяте. *<Конец 1839>* 265
142. Н. В. Путяте. *<Конец 1839>* 266
143. А. Ф. Боратынской. *<Конец января 1840 г. Мураново (?)>* . . . 267
144. А. Л. Боратынской. *<4 февраля 1840 г. Петербург>* 268
145. А. Л. Боратынской. *<Начало февраля 1840 г. Петербург>* . . . 269
146. А. Л. Боратынской. *<Февраль 1840 г. Петербург>* 270
147. А. Л. Боратынской. *<Февраль 1840 г. Петербург>* 271
148. А. Л. Боратынской. *<10 февраля 1840 г. Петербург>* 273
149. А. Л. Боратынской. *<Февраль 1840 г. Петербург>* 274
150. А. Л. Боратынской. *<13 февраля 1840 г. Петербург>* 275

151. А. Л. Боратынской. *<Февраль 1840 г. Петербург>* 275
152. А. Л. Боратынской. *<Февраль 1840 г. Петербург>* 276
153. А. Л. Боратынской. *<10 мая 1840 г. Москва>* 277
154. А. Л. Боратынской. *<10 мая 1840 г. Москва>* 277
155. А. Л. Боратынской. *<13 мая 1840 г. Москва>* 279
156. П. А. Плетневу. *<5 июня 1840 г.>* 280
157. Н. В. Путяте. *<Осень 1840 (?)>* 280
158. Н. В. Путяте. *<Начало 1840-х>* 281
159. Н. В. Путяте. *<Начало 1840-х>* 282
160. Н. В. Путяте. *<Осень 1841>* 282
161. А. Ф. Боратынской. *<Начало зимы 1841. Артемово>* 285
162. Н. В. Путяте. *<Февраль (?) 1842. Артемово>* 286
163. Н. В. Путяте. *<8 марта 1842>* 291
164. Н. В. Путяте. *<Март — апрель 1842. Артемово>* 292
165. Н. В. Путяте. *<19 апреля 1842. Артемово>* 292
166. Н. В. Путяте. *<Начало мая 1842>* 293
167. П. А. Плетневу. *<26 мая 1842. Москва>* 294
168. П. А. Вяземскому. *<Конец мая 1842 г. Москва>* 294
169. А. Ф. Боратынской. *<Лето 1842 г. Артемово>* 295
170. Н. В. Путяте. *<Конец июля (?) 1842. Москва>* 295
171. Н. В. Путяте. *<Лето 1842 (?) Москва>* 297
172. А. Ф. Боратынской. *<Конец лета 1842. Артемово>* 297
173. П. А. Плетневу. *<10 августа 1842. Москва>* 299
174. Н. В. Путяте. *<Конец августа 1842. Москва>* 300
175. А. Ф. Боратынской. *<Осень 1842 г. Москва>* 300
176. А. Ф. Боратынской. *<Осень 1842. Москва>* 301
177. А. Ф. Боратынской. *<Начало зимы 1842 г. Мураново>* 302
178. Н. В. Путяте. *<Декабрь 1842>* 303
179. Н. В. Путяте. *<Начало января 1843. Мураново>* 304
180. А. Ф. Боратынской. *<Апрель 1843. Мураново>* 306
181. А. Ф. Боратынской. *<Июнь 1843 г.>* 307
182. П. А. Вяземскому. *<10 сентября 1843. Петербург>* 308
183. А. Ф. Боратынской. *<Октябрь 1843 г. Дрезден>* 308
184. Н. В. Путяте. *<Октябрь 1843 г. Лейпциг>* 310
185. Н. В. Путяте. *<Ноябрь 1843 г. Париж>* 311
186. А. Ф. Боратынской. *<Ноябрь 1843 г. Париж>* 312
187. Н. В. Путяте. *<Конец ноября — начало декабря 1843 г. Париж>* . 315
188. Н. М. Сатину или Н. П. Огареву. *<Конец 1843—начало 1844 г. Париж>* 317
189. Н. В. Путяте. *<Конец декабря 1843 г. Париж>* 317
190. Н. В. Путяте. *<Начало 1844 г. Париж>* 318
191. Н. В. Путяте. *<Начало весны 1844 г. Париж>* 319
192. Н. В. Путяте. *<Вторая половина апреля или середина мая 1844 г. Неаполь>* 320
193. Н. В. Путяте. *<Июнь 1844 Неаполь>* 322
194. Н. В. Путяте. *<2-я половина июня 1844 г. Неаполь>* 323

П. М. Дараган. *Из «Воспоминаний первого камер-пажа великой княгини Александры Феодоровны 1817—1819»* . . . 326
В. А. Эртель. *Выписка из бумаг дяди Александра (Фрагменты)* 326
Н. М. Коншин. *Для немногих (Фрагменты)* 334
Воспоминания о Боратынском или четыре года моей финляндской службы с 1819 по 1823 335
Н. В. Путята. <*Примечания к письмам Е. А Баратынского к Н В Путяте*> 351
Из записной книжки Н. В. Путяты . . . 354
Из тетради выписок, заметок, воспоминаний и пр Н В Путяты 355
Из статьи В. П. Гаевского «Дельвиг» 355
А. В. Никитенко. *Из «Моей повести о самом себе»* . . 358
В. И Панаев. *Из «Воспоминаний»* 359
Д. Н. Свербеев. *Из «Записок»* 360
А. П. Керн. *Из «Воспоминаний о Пушкине, Дельвиге и Глинке»* . 361
Дельвиг и Пушкин (Фрагмент) 361
А. И. Дельвиг. *Из «Моих воспоминаний»* 362
Т. П. Пассек. *Из книги «Из дальних лет»* 363
М. П. Погодин. *Из «Воспоминаний о Степане Петровиче Шевыреве»* . . 364
К. А. Полевой. *Из «Записок»* 365
П. А. Вяземский. <*Посвящение к переводу романа Б. Констана «Адольф»*> 368
<*Баратынский*> 369
Из «Старой записной книжки» 370
Из статьи «Мицкевич о Пушкине» 371
Из «Автобиографического введения» 372
Из статьи «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» 372
Из «Рассказов о Пушкине, записанных со слов его друзей П. И. Бартеневым» 372
Б. Н Чичерин. *Из моих воспоминаний* 373
П. Г. Кичеев. *Воспоминания об Е. А. Баратынском* 378
Л. Е. Боратынский. *Из «Материалов для биографии Е. А. Баратынского»* 384
Из статьи Е. А. Боброва «Памяти Л. Е. Боратынского» 385
П. А. Плетнев. *Евгений Абрамович Баратынский (Фрагменты)* . . . 390
И. В. Киреевский. <*Из вступительной заметки к библиографическому отделу журнала «Москвитянин»*> 396
Е А. Баратынский 397

Баратынский в переписке и дневниках современников 399

Примечания 441

Баратынский Е. А.

Б 24 Стихотворения. Письма. Воспоминания современников /Сост. С. Г. Бочарова; Вступ. ст. Л. В. Дерюгиной; Прим. Л. В. Дерюгиной и С. Г. Бочарова.— М.: Правда, 1987.— 480 с., ил.

В сборник известного русского поэта Е. А. Баратынского включены его лирические стихотворения, письма к А. Ф. Баратынской, А. С. Пушкину, А. А. Дельвигу, П. А. Вяземскому и др., а также воспоминания о нем современников.

Б $\frac{\textbf{4702010100—1396}}{\textbf{080(02)—87}}$ **1396—87** 84 Р 1

Евгений Абрамович БАРАТЫНСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПИСЬМА.
ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Составитель
Сергей Георгиевич Бочаров

Редактор
Е. М. Кострова

Оформление художника
Г. А. Раковского

Художественный редактор
И. С. Захаров

Технический редактор
Т. С. Трошина

ИБ 1396

Сдано в набор 29.12. 86. Подписано к печати 13.07.87.
Формат 60×84¹/₁₆. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 27,90. Усл. кр.-отт. 28,37. Уч.-изд. л. 25,04.
Тираж 350 000 экз. (1-й завод: 1—175 000 экз.).
Заказ 1600. Цена 1 р. 60 к

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии Издательства ЦК Компартии Латвии,
226081, Рига, ул. Баласта дамбис, 3.

1 р. 60 к.

